

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЮНОСТИ

• Абсурд •

• Антисоветизм •

• Андропов •

• Антисоветское •

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

• Бахтин •

• Бродский •

• Бунт •

• Диссидентство •

• Дружба •

• Еврей •

• Желание •

• Кайф •

Общежитие

• Ленин •

• Мама •

• Мышление •

• Народ •

• Одночество •

• Писательство •

СЕКС
УАЛЬНОСТЬ

• Писательство •

• Страх •

• Феминизм •

• Ювенильность •

У каждой жизни — свой словарь,
свой подбор и ассоциативная
связь главных понятий

Хочешь понять партнера?
Составьте тезаурусы
собственных жизней!



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
НОН ► ФИКШН

МИХАИЛ
ЭПШТЕЙН

СЕРГЕЙ
ЮРЬЕНЕН

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЮНОСТИ



МОСКВА
2018

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Э73

Художественное оформление серии *С. Власова*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:

© Александр Щепин / Фотобанк Лори / Legion Media

© Борис Кауфман, Юрий Иванов / РИА Новости

© Dmitry Agafontsev / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Эпштейн, Михаил.

Э73 Энциклопедия юности / Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 592 с. — (Филологический нон-фикшн).

ISBN 978-5-699-99091-7

Эта книга — совместная автобиография писателя Сергея Юрьенена и филолога и философа Михаила Эпштейна. Их дружба началась в 1967 г., на первом курсе филологического факультета МГУ, и продолжается полвека, теперь уже в США. Это не только двойная и диалогическая автобиография, но и энциклопедия самого таинственного, ищущего, страстного, мучительного, эгоистичного, кризисного, метафизического возраста — юности. Сто двадцать статей раскрывают в алфавитном порядке основные проблемы и лирико-философские грани юности от «Абсолют» до «Я». Охватывая семь лет, с 1967-го по 1974-й, книга погружает в мир юношеских увлечений и сомнений, творческих порывов, любовных терзаний, общественных страхов, экзистенциальных и профессиональных вопрошаний. Вместе с тем это опыт лирической культурологии: подробно рассматривается исторический и бытовой контекст эпохи, переходящей от «оттепели» к «застою», университетская и литературная среда, студенческие нравы, перемены в общественном сознании; даются колоритные портреты современников — писателей, ученых, профессоров МГУ. Это диалог сверстников, говорящих ИЗ юности — и одновременно О ней, в перспективе последующего жизненного опыта. Издание иллюстрировано фотографиями из личных архивов авторов.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-699-99091-7

© Эпштейн М., 2017

© Юрьенен С., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Содержание

Об авторах	10
Сердечная благодарность	12
Предисловие	13
А	15
Абсолют	15
Абсурд	20
Автобиография	22
Автобус	25
Америка	27
Андропов	31
Антисемитизм	33
Антисоветское	40
Апокалипсис	47
Б	49
Бабий яр	49
Бассейн	53
Бахтин	55
Бахтинские сироты	58
Битов	61
Бродский	67
Будущее	70
Бунт	72
В	73
Валери	73
Вещи	76
Взаимозависть	81
Взгляд	82
Влияния	85
Возраст	88
Вредные привычки	90
Время	92
Г	93
Гипотеза	93
Гражданственность	96
Д	98
Девушки	98
Диссидентство	103
Дневник	110
Дружба	116
Е	120
Еврей	120
Евтушенко	125
Ж	128
Жало в плоть	128
Желание	131
Женщина	134

З		136
	Замыслы	136
	Запад	142
И		143
	Идеология	143
	История	148
К		150
	Казаков	150
	Кайф	155
	Квартира	156
	КГБ	162
	Китай	164
	Книги	165
	Корни	169
	Корректность	173
	Культура	174
Л		178
	Ленин	178
	Литература	181
	Любовь	183
М		188
	Мама	188
	Марксизм	195
	Местомиг	196
	Мистицизм	198
	Молчание	200
	Мышление	202
Н		205
	Народ	205
	Насилие	207
	Наука	211
	Начальство	214
	Нежить	216
	Необъяснимое	218
	Несчастье	221
О		223
	Общежитие	223
	Одежда	224
	Одиночество	227
	Опыт	229
	Отъезд	230
П		232
	Паломничество	232
	Папа	234
	Переделкино	248
	Писательство	249
	Пишущая машинка	256
	Поколение	260
	Пол	262

	Политика	268
	Поэзия	281
	Правила жизни	284
	Праздник	287
	Профессия	288
	Профессора	295
	Публикации	299
	Путешествия	307
	Пушкин	316
Р		319
	Работа	319
	Религия	321
	Род и родители	326
	Родина	346
С		350
	Сексуальность	350
	Сновидения	354
	Собеседники	356
	Сописание	360
	Сторож	362
	Страх	363
Т		364
	Творчество	364
	Топор	366
	Ты, Миша	368
	Ты, Сережа	369
У		371
	Университет	371
	Учителя	373
Ф		379
	Фамилия	379
	Феминизм	389
	Филфак	391
	Франко	393
Ц		395
	Цвет	395
Ч		397
	Чтение	397
Э		399
	Экстремальное	399
	Этикет	401
Ю		402
	Ювенильность: юность навсегда	402
	Юность: метафоры	403
	Юность и молодость	404
	Юность: ее наследие	407
	Юность: определения	409
	Юность: потери	411
	Юность: разные поколения	412

Юность: уроки и взгляд отсюда	413
Я	414
Я, Миша	414
Я, Сережа	417
Вместо заключения	419
Приложения	422
Приложение I	422
Приложение II	437
Михаил Эпштейн	437
Сергей Юрьенен	445
Побег	445
Телефон	447
Телефон	447
Москва, ты кто?[40]	453
Послесловие	472
Summary	479
Книги Михаила Эпштейна	480
Книги Сергея Юрьенена	481



Миша и Сережа
Москва, Новопесчаная улица. 14 июня 1974

ОБ АВТОРАХ

ЭПШТЕЙН Михаил Наумович — филолог, культуролог, философ, эссеист. Родился в Москве 21 апреля 1950 г. Закончил с золотой медалью московскую школу № 5 (на Ленинском просп., физико-химический уклон). В 1967—1972 гг. — филологический факультет МГУ, диплом с отличием, специализировался в теории литературы. В 1972—1978 гг. работал корректором в издательстве и преподавателем русского языка и литературы на подготовительных курсах московских вузов, а внештатно — в отделе теоретических проблем Института мировой литературы. В 1970—1980 гг. публиковал статьи в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. С 1978 г. член Союза писателей СССР (секция критики и литературоведения). В 1980-х — руководитель литературно-интеллектуальных объединений: Клуб эссеистов, клуб «Образ и мысль», Лаборатория современной культуры. Первая книга — «Парадоксы новизны» (М., 1988). С 1990 г. живет и работает в США, профессор теории культуры и русской литературы Университета Эмори в Атланте. В 2012—2015 гг. — профессор Даремского университета в Великобритании, основатель и директор Центра гуманитарных инноваций.

Пишет по-русски и по-английски. Автор 30 книг и 800 статей и эссе, переведенных на 23 языка, в том числе «Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX—XX вв.» (1988), «Философия возможного» (2001), «Отцовство» (2003), «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004), «Все эссе», в 2 т., т. 1, «В России», т. 2. «Из Америки» (2005); «Постмодерн в русской литературе» (2005), «Sola Amore. Любовь в пяти измерениях» (2011), «Религия после атеизма. Новые возможности теологии» (2013), «Ирония идеала. Парадоксы русской литературы» (2015), «От совка к бобку. Политика на грани гротеска» (2015), «От знания — к творчеству» (2016), «Поэзия и сверхпоэзия» (2016), «Проективный словарь гуманитарных наук» (2017).

Автор междисциплинарных и сетевых проектов: Коллективные импровизации (с 1982 г.), Лирический музей (1984), Транскультура (1984, 1999), ИнтеЛнет (с 1995 г.); Книга книг: Словарь-антология альтернативного мышления (с 1998 г.); Веер будущих. Техногуманитарный вестник (2000—2003); Дар слова. Ежедневный лексикон русского языка (с 2000 г.) и др.

Лауреат премии Андрея Белого (1991), Института социальных изобретений (Лондон, 1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин — Веймар, 1999), премии «Liberty» (Нью-Йорк, 2000). Стипендиат американских и британских университетских и исследовательских фондов (Международный центр ученых им. Вудро Вильсона в Вашингтоне, Институт высших исследований в Дареме, Англия, и др.). Член Американского ПЕН-Центра.

ЮРЬЕНЕН Сергей Сергеевич — прозаик; журналист; радиожурналист; переводчик; редактор; издатель. Родился 21 января 1948 г., Франкфурт-на-Одере, Германия. Раннее детство провел в Ленинграде. Жил и учился в Гродно (1955—1957), Минске (1957—1967), а по возвращении в Россию — в Москве, на филологическом факультете МГУ (1966—1973). Литературная студия при Московской писательской организации (1973—1975). Выездной корреспондент (Белоруссия, Таджикистан), редактор, заместитель начальника отдела очерка в журнале «Дружба народов» (1974—1976). Поездка в Венгрию в составе Поезда Дружбы творческой молодежи Мо-

сквы (1975). Два месяца во Франции (1976). Участник Всесоюзного и общемосковских совещаний молодых писателей. Член Союза писателей СССР (1977). Первая книга прозы — «По пути к дому» (Москва, «Советский писатель», 1977).

Выбрал «свободу творчества» во Франции, где получил политическое убежище (1977). Литературную деятельность продолжал в Париже (1977—1984), Мюнхене (1984—1995), Праге (1995—2004). Сотни публикаций в русской эмигрантской и западной периодике. Более четверти века работал на Radio Liberty/Radio Free Europe Inc. Корреспондент, обозреватель, аналитик социокультурных процессов, ответственный редактор культурной программы. В 1986 году основал ставшую знаковой (и до сих пор сотрясающую воздух) ежедневную программу «Поверх барьеров» с литературным приложением «Экслибрис». Создатель и ведущий ряда других успешных программ и циклов, почти два десятилетия отвечал за культурную стратегию Русской службы РС. С 2005 живет в США (Нью-Йорк; Вашингтон, округ Колумбия; Риджвуд, Нью-Джерси; Нью-Йорк). Заместитель главного редактора журнала «Новый Берег» (Дания). Основатель и ведущий издательства «Franc-Tireur USA».

Автор более тридцати книг. Среди них романы «Вольный стрелок» (1980), «Нарушитель границы» (1982), «Сын империи» (1983), «Сделай мне больно» (1986), «Беглый раб» (1990), «Дочь генерального секретаря» (1991), «Союз Сердец» (2000), «Фашист промтел» (2001), «Суоми» (2005), «Линтенька, или Воспарившие» (2007), «Dissidence mon amour», «Фен» и др. Переведен на ряд европейских языков. Пять литературных премий, включая имени Набокова (1992) и «Русскую премию» (2009).

Член Американского ПЕН-Центра.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Марине Артуровне Вишневецкой —
за редакторское прочтение первого варианта рукописи.

Ольге Николаевне Аминовой —
за добрую, внимательную, высокопрофессиональную
поддержку на всех этапах работы с книгой.

Сергею Евгеньевичу Власову —
за блистательный дизайн обложки.

Степану Павловичу Костецкому —
за огромную помощь в работе с фотографиями.

Всем нашим друзьям, учителям, спутникам жизни,
упомянутым и не упомянутым в этой книге...

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

В.А. Жуковский. Воспоминание

Предисловие Михаил Эпштейн Энциклопедия себя как жанр

Мы видим себя глазами других. Во всяком автобиографическом письме, замкнутом на первом лице, не хватает тыла, затылка, спины.

Эта книга написана совмещением – и перебивкой – первого и второго лица. Самое громкое слово в ней – ТЫ. Это *диаграфия* – автобиография как диалог.

Но это не совместная автобиография двух юношей на фоне застойного времени (фону, кстати, и полагается быть неподвижным). Это портрет самой юности, точнее, опыт ее энциклопедии. Кажется, для автобиографий использовались все возможные роды и жанры, от лирики до эпоса, от романа до дневника, от писем до летописи. Энциклопедия – еще не испробованный жанр размышлений о себе и друг о друге. Считается, что энциклопедии подобают только научным дисциплинам, объективным фактам, историческим эпохам. «Физическая энциклопедия». «Энциклопедия балета». «Энциклопедия Великой Отечественной войны». Энциклопедия «Народы и религии мира»... А тут – Энциклопедия Нашей с Тобой Юности. Как этот жанр сочетается с интимностью, исповедальностью? Сами словосочетания «энциклопедия себя» или «энциклопедия нас» похожи на оксюморон. Энциклопедия – собрание объективных сведений, фактов; научное справочное издание, содержащее систематизированный свод знаний. Информационный эпос. Как возможна и для чего нужна *лирическая энциклопедия*?

Вспомним, что наряду с универсальными, отраслевыми, национальными энциклопедиями есть энциклопедии и персональные, например, «Шекспировская», «Лермонтовская», «Розановская», «Булгаковская» и т. д. Представим, что герой такой энциклопедии хотел бы сам рассказать о себе, не дожидаясь, пока им займется коллектив исследователей – или не надеясь, что такое когда-нибудь произойдет. А главное, полагая, что себя-то он знает лучше. В этом случае энциклопедия, в которой он собрал бы основные сведения о себе, стала бы лирической. Это энциклопедия, вывернутая наизнанку, в которой герой становится одновременно и автором, т. е. сам говорит о себе. Это автобиография, но в форме не последовательного рассказа, а набора словарных статей, которые охватывают основные мотивы жизни.

Но ведь таково вообще свойство нашей памяти. Большой жизненный сюжет, последовательность событий привносится позднейшей рационализацией, натяжкой памяти на суровые нити повествования. Собственное содержимое памяти распадается на *местомиги*, вспышки времени и пространства в их нераздельности. *Кто – что – где – когда*: вот элементарная единица памяти, а пожалуй, и неделимая единица жизненного опыта. «Я – дедушка – лето – поляна – лес – Измайлово». Совокупность местомигов и образует самое достоверное представление жизни в ее памятных вспышках, окруженных темнотами, как брызги звезд в космической мгле. Память, как и вселенная, в основном состоит из темного вещества.

Но есть еще и итоговый опыт языка, выраженный в словаре. У каждой жизни – свой словарь, свой подбор и ассоциативная связь главных понятий, их дробление на более частные. Соорганизация языка с памятью и дает жанр энциклопедии. При этом перекрещиваются персонально-именной и предметно-тематический способы отсылки. И в Энциклопедии Жизни, и в таком ее возрастном отсеке, как Энциклопедия Юности, имена собственные столь же значимы, как житейские слова и общие понятия. «Бахтин». «Девушки». «Квартира». «Казачков». «Писательство»... Связь всех явлений данной жизни не обязательно сюжеттообразующая, как в романе, она может быть и словообразующей, и музейно-выставочной

– круговым эхом, хороводом идей, взаимоотсылкой имен и понятий – как в Энциклопедии. Одновременно лирической и диалогической, персональной и концептуальной.

Хронологически Энциклопедия охватывает семилетие с 1967 по 1974 г., от поступления в университет до начала семейной жизни, когда общение между ее соавторами и согероями было особенно частым и близким, т. е. с 19 до 26 лет для С.Ю. и с 17 до 24 – для М. Э. Собственно, так полагает и психологическая наука: юность продолжается примерно от 17 до 21–23 лет (в разных интерпретациях). Но Энциклопедия забегает и на несколько лет назад и вперед, в «предъюнье» и «заюнье», от старших классов школы до отъезда С.Ю. во Францию в 1977 г.

Так уж получается, что название книги – Эн... Юн... – частичная анаграмма наших фамилий: Э-н и Ю-н (начинаются на соседние буквы, а кончаются на общую). Каждая словарная статья, как правило, состоит из чередующихся текстов двух авторов, которые начинаются инициалами фамилий, Э или Ю. Эта Энциклопедия – диалог не только двух личностей, но и двух призваний и мироощущений, в какой-то степени диалог философии и литературы.

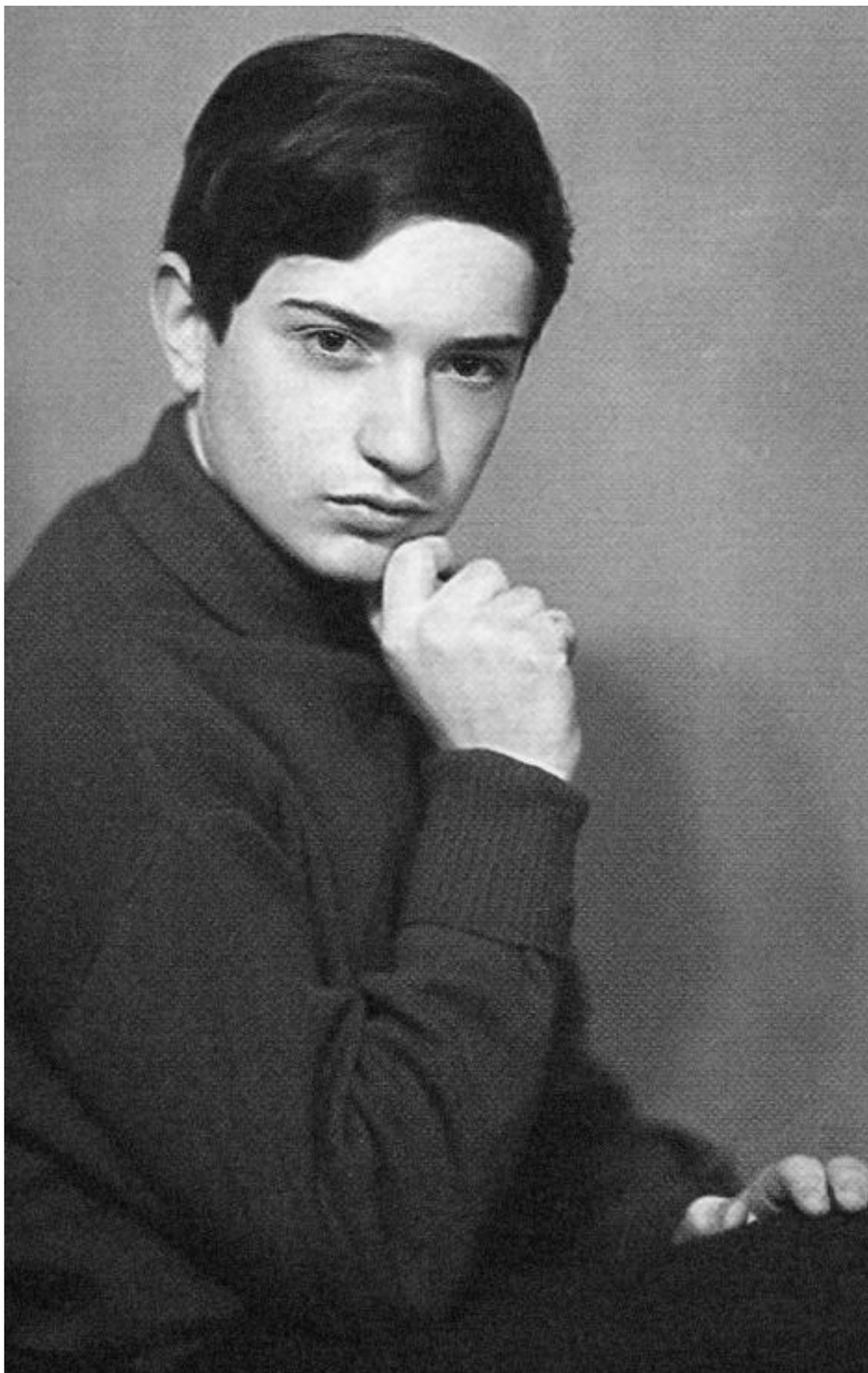
Книга в основном завершена в 2009 г., дополнена и переработана в 2017 г.

А

Абсолют

Э

Уже в ранней юности, если не в позднем отрочестве, я определил себя как абсолютиста – вопреки релятивизму и скептицизму. Это означало, что есть нечто высшее, к чему стоит стремиться. Есть движение, путь, надежда на обретение Главного, а не метание от одной точки зрения к другой, причем все они равно обманчивы и ненадежны.



Михаил Эпштейн, 1967

Абсолют, как ни странно, не исключал для меня ни либерализма, ни плюрализма, т. е. ценностей свободы и различия. Собственно, Абсолют образован от лат. *absolvere*, означающего «освободить», «отпустить на волю». Для меня в Абсолюте была важна его воздушная тяга, сила освобождения от всех идолов и зависимостей: политических, экономических, теологических, лингвистических. Это был для меня даже не столько строгий господин Абсолют, высший, непоколебимый принцип, – сколько прекрасная госпожа Абсолюция, динамика освобождения. Для меня это означало:

интеллектуальное бескорыстие, любовь к мысли ради нее самой;
верховенство человечества над всеми национальными и конфессиональными делениями;
поиск единой, всеобъемлющей веры, которая сближала бы всех людей;
профессиональная открытость любым фактам и выводам;
уверенность в том, что самое драгоценное – это личность и то, что отличает ее от всех других;
настроенность на любовь и чувство всегдашней ее нехватки...

Ю

Литература к моменту нашей встречи вытеснила все другие страсти.

Какая «жизнь»? какая «первичная реальность»? Все было решительно вторичным – что вне литературы. Включая собственно Абсолют (про шведскую водку мы тогда не слышали, а представление о понятии, о *Брахмане*, у меня с тринадцати лет не умозрительное, благодаря «опыту смерти»: беспредельность распаханного небытия, куда уходит сущее, то есть конкретно «я» как его образчик, становясь все меньше и меньше, превращаясь в медленно и долго затухающую искорку...).



Сергей Юрьенен. 1965

Был еще и абсолют этический. Стать хорошим человеком. Задача, поставленная в стране, основанной на принципе «нравственно то, что служит делу коммунизма», была настолько сложна, что проекту первого романа я дал название уступчиво-снисходительное: «Иногда хороший человек». К тому же «хорошесть» в моем случае была обусловлена писательством как главной целью, а установка на это шла вразрез и вопреки. Миллион терзаний было на этом пути, пока я не схватился, как за мантру, за формулу Томаса Манна, которой он обязан Ницше: «Мораль художника есть воля к творчеству».

Итак: абсолютизм с приставкой «лит».

Внутри него был и другой – мечта (которую, кстати, я еще не пережил) о произведении абсолютном. Так я воспринимал обращенный ведь и ко мне призыв Федора Михайловича, желавшего русскому юношеству возвыситься духом: «Формулируйте ваш идеал!»

В том укреплял и Лев Николаевич, сделавший для наглядности незабываемо-корявый рисунок в Дневнике: при переплыве реки бери повыше, все равно снесет.

См. ЛЮБОВЬ, РЕЛИГИЯ

Абсурд

Э

«Абсурд» было модным понятием нашей юности, в том же ряду, что «пограничная ситуация», «выбор» и «ангажированность» – проникшие к нам через железный занавес веяния экзистенциализма. Камю, миф о Сизифе. Сартр, бытие и ничто. Конечно, в нашей железобетонной реальности даже «абсурд» был спасением: в теплоте бессмыслицы можно было согреться от холода всепланирующего рассудка.

Но, как ни мил был мне экзистенциализм, абсурда я все-таки не любил и даже не верил в его возможность. У К. Паустовского в «Книге о жизни» выведен учитель гимназии, у которого любая бессмыслица, сказанная учеником, вызывает приступ ярости. Мне такая реакция понятна, бессмыслица мне тоже наносит личную обиду, но я вижу за ней не столько чью-то злую волю, сколько лень мысли. В юности я был убежден, что любая бессмыслица – признак недомыслия, а если ее додумать, то откроется игра многих смыслов. Абсурд – непонятый парадокс.

Так, Сизифов труд приводится у А. Камю как образ вселенского абсурда: Сизиф вкатывает камень на гору, а тот всякий раз скатывается, и такова вся человеческая жизнь: тщетная страсть, или абсурд, достойным ответом на который может быть только самоубийство. Но вспомним, что Сизиф был разбойником и отчаянным пройдохой, по преданию, одурачивший даже богов (Танатоса, Аида, Персефону). Таким образом, «сизифов труд» как воплощение абсурда – это, на самом деле, парадокс: тот, кто обманывал других, теперь сам обманывается, в его труд встроен сам механизм обмана. Даже глупый камень и гора могут обмануть того, кто обманывал богов.

Вот так и с абсурдом: это блеклая, дерюжная изнанка какого-то очень точного и жуткого смысла. Это не отсутствие смысла, а злой, подлый, коварный, пугающий смысл. Я готов многое не понимать, но есть в конце концов и *предел моему непониманию*.

Зато я вполне принимаю и даже люблю вещественный беспорядок, включая тот, который царит на моем столе, в моей комнате (помнишь?). Он подыгрывает моей работе и располагает к внутреннему сосредоточению. Поскольку не на чем вокруг успокоить взгляд – все торчит, разбросано, неприкаянно – остается только держаться за мысль и выстраивать порядок в голове и на бумаге. Беспорядок – это не бессмыслица, а приют многих непроявленных смыслов.

Ю

Лучезарная победительность, с которой в своем «доэдиповом» детстве открывал глаза. Полное единство с царством-государством. Подданными любим и обожаем. С появлением «нового» папы особых перемен не произошло, благодаря исключительной красоте этого офицера-великана: черноусого и с парадной шашкой.

Все изменилось с появлением брата. Родного по маме, но не по отчиму, которого должен был называть я «папой», хотя мой настоящий находился в Большой комнате вместе с бабушкой, дедушкой, тетей Маней, Ириной: увеличенный снимок в рамке и урна, кипарисовой этажеркой вознесенная к зареву икон.

«Он ему как родной». Может быть, только об это «как» постоянно спотыкаешься, разбивая сердце на кусочки. «Родной» и «как родной». А между этим щель, и дует холодом

изгнания. Так вот трехлетний Гамлет в коллизии, осложненной единоутробным братцем, обретает отвращение к зову Крови и Земли, начиная предпочитать родство по Духу, Ближнему – Далекое, Действительности – Мечту.

Абсурд как процесс выгалкивания «из ряда вон». *За луну или за солнце?* Нет, я не за проклятого японца, я тоже за луну – *за Советскую страну!* Но все родились внутри нее, а я – в Германии. Может быть, я немец? Нет. Ты у нас русский мальчик. А почему фамилия чухонская? Кто тебе так сказал? Папа? Он тебе не папа, а муж твоей мамы. Вот твой папа. С гордостью носивший нашу с тобой фамилию. Не чухонскую, а финско-шведскую. Скандинавия. Где это? Да тут рядом. Где Ижоры с дядей Васей? (*Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши милые глаза...* – и там, на берегу Невы, именно на берегу, потому что очень высоко, жил младший брат дедушки, милейший человек, но неудачник по причине оторванных пальцев. Вершина карьеры дяди Васи, моего двоюродного деда, – проводник Октябрьской железной дороги, по которой он будет привозить мне в город Гродно передачи от дедушки и бабушки.) Дед отвечал – почти что там. Немножко дальше. И это меня удивляло. Почему тогда мы живем в России, а не в Скандинавии? Давай туда уедем? Оно бы неплохо. Только близок локоток, а не укусишь. Почему? Вырастешь – поймешь. В каком кафе на Невском твои любимые эклеры? «Норд». Правильно. И мы оттуда. Наши дальние предки, внучек, – основатели России. Варяги!..

Важная фамилия, понятно, но мне дают другую, ненастоящего папы, зато настоящую русскую (после чего руки сами потянутся к зловещей книжонке «Смерть под псевдонимом»...). Заодно увозя из Северной Пальмиры, из столицы, пусть и бывшей, на самую окраину – в такую дикость, где, кроме нас, по-русски никто не говорит, а если говорят, то так, что «было бы смешно, когда бы не было так грустно». Потому что хоть тоже и советская, но новая страна мне совсем чужая. Не Россия...

«Изгнание и царство» – книга Камю. Детство переставило порядок слов.

Так на чужбине и произрастал: лия слезы под полонез Огинского, мечтая слиться с отобранной Родиной, постигая проклятую собственную уникальность, а она, по мере умножения знаний о себе, становилась все более печальной и все менее и менее объяснимой. Я не мог себя не самопознавать, а сам этот процесс сводил меня к абсурду. Или возводил, как в ранг и степень? Я чувствовал себя живым его воплощением. Как образцово-показательный пример. Маленькая драма абсурда в красном галстуке.

Так продолжалось до одиннадцати лет. До момента, когда однажды в самолете очинил точилкой карандаш и открыл записную книжку.

Все, злые чары спали.

Мир может смысла не иметь, но лично я его обрел. Намного быстрее, чем потерял. В один момент.

Дневник

6 июля 1970

Минск

...Спасение от абсурда жизни – в литературе, в работе, в писательстве масштабном, с расчетом на долговременность книги...

Автобиография

Ю

«Бедный, бедный мальчик...»

Небесно-голубые глаза сентиментальной, хотя «поволжской» немки. После завтрака секретничали с мамой на нижней площадке старой цементной лестницы, взойдя по которой, немка рванулась прочь от своего немца – ко мне. Сдерживая слезы, тянет бело-веснушчатую руку, чтобы меня погладить, но я не даюсь. Немец в сетчатой курортной шляпе держит руку на калитке и всем своим нарядным видом выказывает неодобрение действию супруги: я с ним солидарен. Я только что выказал молодечество, обрушив с высокой ветки град желтой алычи. За что меня жалеть?

«Не знаешь ты своей истории...»

Еще одно из этих огромных взрослых слов. Размер его был таким, что мог подходить стране, в одной из точек которой я нахожусь (Сочи, вершина горы Батарейка). Или векам – тем же «средним», над которыми корпела сестра. Но мне, 9-летнему?

«Мама, разве у меня есть *история*?»

«Это кто тебе сказал?!»

Неприятности, ссоры и скандалы, но правда доходила. На всякого мудреца хватает простоты. Наивные, они проговаривались, а я «мотал на ус». Собирал свою мозаику, прообраз пазлов. «Расскажи!..» Перед моим натиском они уступали, но оставляя зияния недоговоренностей. Чего нельзя было не чувствовать, что приводило в ярость. Все заодно, как сговорились! Не зная, что был «оберегаем», я штурмовал бастионы безмолвия «больших»:

«Как – не фашисты? Кто мог убить папу, если не фашисты?»

«Держи язык за зубами!» Впервые услышал я это от мамы после своего спонтанного монолога в ленинградском троллейбусе. Не помню, какие истины глаголил и кого из королей раздевал догола, помню только, что мне нравилась реакция пассажиров, парализованных страхом.

Язык так и рвался наружу.

Но к 12 годам уже был не «без костей».

Лето 1960-го, Рижское взморье, Дзинтари. «Знаешь, почему меня ребята любят больше, чем тебя? – Вожак стаи, сбившейся во дворе на месяц, смотрит снисходительно. – Потому что я, в отличие от тебя, все говорю ребятам. Понимаешь? Все!..» И он был прав. Я не хотел ронять репутацию, умалчивая о том, что было интересней всего для слушателей. Вожаку на репутацию было наплевать. «Вчера залез на вышку, ту, что над голым пляжем, а обратно по лестнице спуститься не могу. Пришлось вернуться на верхотуру и заняться там на букву «о», – и рукой покажет для тех, кто не понял. Лажая не только себя. Мать и отца он тоже не жалел. Они бы ужаснулись, если бы услышали сына. Полное соответствие молодца с пословицей. Только не ради красного словца, а ради ребят. Чтобы ребятам было интересно. В этом смысле мне тоже было о чем рассказать. Сдерживала установка: сор из избы не выносить. Я не завидовал вожаку, но он меня восхищал. Полной свободой слова от семьи и самого себя. Красивый, наблюдательный, с чувством юмора. И не легкомысленный, а легкий. Ничто его не давило. То есть жизнь грузила, как каждого из нас, но мальчик сбрасывал свои камни с души, радуя тем самым коллектив таких, как я, или совсем уже язык проглотивших.

Все это было в год моего 12-летия, на исходе которого меня ожидала первая в жизни встреча со смертью в милицейской форме. Сдержанный, я проговорился! И выпущенное

слово не было воробьем. «Идут, как полисмены», – сказал я вслед патрулю. Милиция, которая нас, согласно Маяковскому, берегла, тут же развернулась на сто восемьдесят градусов и рухнула на меня стеной.

Из сына убитого отца пытались вышибить дух те же самые советские люди.

После операции и выписки, вылеживаясь дома, прочитал «Смерть Ивана Ильича». Первый мой экзистенциальный текст. Все, началось десятилетие «толстовства». (Помнишь, как после первого семестра отправились в Ясную Поляну? Об этом у меня есть рассказ «Зона тишины».)

Когда поправился, поехали с мамой в центр мне за обувью на зиму. Центральный книжный магазин на Ленинском проспекте находился прямо напротив республиканского КГБ (растянувшегося на весь квартал, чтобы закрыть находящуюся позади тюрьму). На букинистическом стеллаже увидел Льва Толстого: темно-горчичного цвета блок – 20-томник! А у нас дома только прочитанный мной однотомник из «Библиотеки школьника». Я сам ужаснулся непомерности охватившего вожделения, но мама Толстого мне купила. Не вместо, а вместе с сапогами – не импортными, а «нашими», кирзовые голенища, но яловый носок: натянул на ноги и уж не безоружен против Заводского района и грядущей зимы 1962 года. Тогда я и начал читать дневники великого человека, исходившего в писательстве не столько из воображения, сколько из пережитого им самим.

«Автобиография»?

Отчим над своей наглядно мучился. Всю кухню задымил. «*Места и главы жизни целой отчеркивая на полях*». Или все-таки *вычеркивая*? Призыв оставлять пробелы в судьбе ко мне не относился. Далеко не все заполнил, вырывая из окружающего мира факты своей «био». Зная, что писать буду о ней и заранее этим мучаясь. Но деться от нее было некуда, эта био была впечатана в меня, как травма и тавро, и я в ее кровь макал перо – чтобы в одно прекрасное мгновение юности быть поддержанным словами Томаса Манна о Толстом, о его «аристократическом автобиографизме».

Отчим:

– Будь у тебя Ясная Поляна, я бы слова не сказал. Что хочешь, то и делай. Но время Ясных Полян, сынок, прошло.

Тоже правда. И что делать?

Объявить себя «аристократом духа» – и будь что будет.

Э

Человек, который мог себе позволить в советские годы иметь или писать автобиографию, отдельную от истории своего народа и человечества, был, конечно, аристократом. Но мне этот традиционный жанр остается чужд своей сюжетностью: хронология событий быстро улетучивается – и остается только пространственный и смысловой континуум, собрание всего, что успела на данный момент накопить жизнь. Меня волнует не биография, а биограммы, единицы жизненного опыта, вечные темы любви, дружбы, встреч, личных событий и переживаний, которые сшивают жизнь повторами, списками, перечнями. Заглядывая в свои юношеские дневники, я вижу целые страницы, исписанные рядами и парадигмами. Самые экзистенциальные моменты моей жизни. Самые радостные. Самые горестные. Девушки, к которым я что-то испытывал. Самый длинный список всех людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Списки знакомых по степени внутренней близости и значимости. Списки главных поэтов и писателей всех веков, русских и иностранных. Списки мыслителей, наиболее повлиявших на меня. Места, где я побывал. Любимые города. Оттого меня так волнует поэтика списков у Сэй-Сенагон и у Мишеля Монтеня, ведь список – это вещи, изъятые из хода времени и соотнесенные не сюжетом, а лейтмотивом, биограммой,

идеограммой, откуда вырастает и любимый мною жанр эссе. Жизнь мне представляется не линией, протянувшейся во времени, но скорее кругом в пространстве, созерцаемом с разных сторон. А это и есть энциклопедия (греч. «энциклиос» – циклический, круглый, круговой).

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, Жизнь как нарратив и тезаурус

Автобус

Ю

Вот что нас сближало несомненно: автобус 111. От Центра на Ленгоры и обратно.

Утренние рейсы были школой интернационализма, пусть не вполне пролетарского: все цвета кожи. Не в обиде, но слишком тесно. Я предпочитал вечерние, «экзистенциальные».

Чтобы занять получше место, я поднимался на площадь Революции, где была конечная, верней, начальная, а потом проезжал «свою» остановку, у филфака «на Моховой», через Большой Каменный мост мимо «Дома на набережной» и кинотеатра «Ударник» – и далее по всему Ленинскому проспекту с поворотом на Ленгоры к Главному зданию и остановкой у лестницы Клубной части.

Лучшие моменты в 111-м: 1967-й, дождливые дни перехода осени в зиму, я возвращаюсь вечерами на Ленгоры, читая взятого в факультетской библиотеке Андре Жида, пятитомник которого издан сгоряча при раннем сталинизме. Не могу сказать, что в полном распадае от, но одно сознание, что я читаю «Имморалиста»... на всю жизнь запоминая отравленные строки финала про розы, *которые гнили не распускаясь* (чего я так боялся, надеясь все же распуститься).

Другой пик того же автобуса, это когда я решил, что пора начинать книгу о Москве, и разыскал в библиотеке, в никем не читаемом здесь журнале «Дон» первый роман Фолкнера «Солдатская награда»; читабельно, но еще как второй руки Хемингуэй...

Автобус почти пуст, я на любимом месте – сзади, у последнего, уютно скошенного к локтю окна. Высоко, все под контролем – и салон, и жизнь, в которой еще ничего не испорчено, кто-то мне нравится, но ни в кого еще я не влюблен, и голова на месте, и вот-вот от этой вынужденной читательской пассивности я перейду к прямому действию своей собственной прозы, пассажи которой реяли и сгущались надо мной, как туманности, небулы, галактики...

И так прекрасно ехать, взгляд за окно (отрываясь от Франции 1917 года), а там уже универмаг «Москва»... и знать, что при всей самозабвенности конечной остановки своей никак мне не проехать, потому что 111-й долго будет огибать периметр нашего византийского небоскреба.

Дневник

16 сентября 1967

Вчера: в окошке на крыше автобуса видел изнутри его уходящую вверх громаду университета в синем осеннем солнечном небе.

* * *

Возможно, самое сильное счастье – предписательское – познано на тех одиноких рейсах возвращения на Ленинские горы через всю Москву – а заодно и мимо темного и узкого устья перпендикуляра твоей, Миша, улицы.

Э

Да, 111-й – транспортная ось нашего бытия: от старого МГУ на проспекте Маркса до нового на Ленинских горах. Вероятно, мы с тобой ездили на нем в противоположных направлениях. Ты первые два года с Ленгор в центр, от университетского общежития на старый филфак; а я в последующие три года из дома на ул. Е. Стасовой (у Донского монастыря) на Ленгоры, куда филфак переехал из центра (1969). Почему-то от поездок в автобусе ничего не запомнилось, кроме заледенелых стекол и морозного пара. Ну и трижды выпрямленного числа 111, как символа юно-мужских надежд и устремлений. Да еще именная топография: по проспекту Ленина, через площадь Гагарина, к университету Ломоносова. Политика встраивалась в науку и вместе с ней убегала в университетский городок над Москвой-рекой.

Америка

Ю

«– Том!

Нет ответа.

– Том!

Нет ответа.

– Куда же он запропастился, этот мальчишка?...»

Америка изначальная, это – поэтика начал. Beginnings американских книжек как ни у кого. Быка за рога. Без предисловий. Раз, и ты уже там. На другом боку глобуса. Втянут с головой в нечто яркое, солнечно-веселое, понятное и неизменно интересное. Америка? Скучно не будет.

БССР – одна из учредительниц ООН. Благодаря этому из Нью-Йорка, с берегов Ист-ривер, возвращались в Минск люди, *побывавшие в Америке*. Одной из них была бабушка соученика, похожего на поросенка с белым отложным воротничком. В наш 3-й класс этот Новиков принес однажды револьверчик системы *Derringer*. Водяной, конечно. Но черная пластмасса, рельеф. Мозги мои сместились. «Еще есть кое-что...» Заманив к себе домой, Игорь Новиков дал подержать мне медную статую Свободы.

5 декабря 1960. День советской конституции. Ночной патруль, который не сумел меня убить и даже заткнуть мне рот, утверждал при разборке, что я обозвал их «полицаями». Что такое для них был «полицай»? Словарь Ожегова: «(*презр.*) Во время Великой Отечественной войны во временно оккупированных районах: местный житель, служащий в фашистской полиции. Служил *в полицаях*». По возрасту они, конечно, не служили, но были из белорусских деревень, страдавших и от полицаев, и от партизан. Уязвимость их понятна. Но оба были сильно выпивши. На обоих зимние шапки с опущенными и завязанными под подбородками «ушами». Прикрытыми к тому же высокими воротниками овчинных полушубков. Они просто не расслышали, что я сказал им вслед. Ни в коем случае не оправдываю нас, двенадцатилетних: братьев-близнецов Подколзиных и себя. Пятиэтажный дом над нами, как и все, что были по периметру, отмечал светлый сталинский праздник, а мы, отчасти отпущенные погулять, отчасти выставленные на мороз, сидели на скамейке, на выгнутой ее спинке, подпирая кирпич стены и попирая ногами рейки, где общепринято сидеть. К тому же мы глумились. Избитых выражений сам я избегал, но смеялся, конечно, над тем, как сплевывали близнецы: «День советской *проституции!*» Когда слева на свет окон вышел патруль, один близнец прошептал: «Мусора...» Мы тут же сползли на сиденье, чтобы не придрались. А я вполголоса сказал:

«Идут, как *полисмены*».

Имея в виду, конечно, полицейских США. И не с тем, чтоб оскорбить сравнением. Полисменов изображали обычно в форме полиции Нью-Йорка: восьмиконечный верх фуражки, наглухо застегнутый мундир с двумя рядами пуговиц и неизменная дубинка. На карикатурах они выступали как прислужники Уолл-стрит, но мое отношение к ним было, скорее, положительным. Благодаря отчиму, который своими глазами видел в Австрии, как работает дубинками с пьяными *Джи-Ай Military Police*. Говорил, что в Америке полисмен умеет все, даже роды принимать, про их авторитет и статус неприкасаемости и что берут туда не с улицы, как у нас: а только высоких и крепких парней...

Таких, как только что прошли.

Местомиг: 13 лет, я в Ленинграде, март. Через Арку Генерального штаба и проезжую часть за ней выхожу на Дворцовую площадь. Начинаю пересекать наискось. Где-то ближе к центру, равноудаленный как от Эрмитажа, так и от окон Генштаба, я вынимаю из кармана руку и разжимаю ладонь. Новенькая монетка в 1 цент. В профиль Авраам Линкольн. Справа 1961. Над кучерявым президентом *In God We Trust. В Бога мы верим*. Ну и верьте. Бабушка тоже верит. Но зачем всему миру об этом объявлять? Еще и с вызовом? Все равно если бы на наших монетах чеканили *Мы верим в коммунизм*. Наивные какие-то...

День сырой и тусклый, но монетка радостно зеркалит. Странно! Год только начался. А цент, только недавно отчеканенный в Америке, уже успел пересечь Атлантический океан и попасть в Ленинград. Американские темпы. Чарли Чаплин. Турист какой-нибудь привез.

Я шел в Эрмитаж. По делу. Какие были дела у отрока? Получить консультацию в отделе античности по поводу приобретенной древнеримской монеты (дупондий, Германикус, 1-я половина I века). Но мысли были заняты Америкой. Об американцах во время войны и после, в Германии и Австрии, с большой симпатией рассказывали и мама, и отчим. Но в Америке смог побывать только мой дворюродный дед по бабушке, Константин Сергеев, с руководимым им Мариинским театром.

И я.

Монетка перенесла меня в Америку. Моя физическая оболочка шагала по Дворцовой площади, но сам я был там, за океаном. В тот местомиг мне открылась магия моего нового увлечения. Нумизматика уничтожает границы пространства и времени. Делает собирателя таким свободным, что даже страшно. Что, если, в одно мгновение попав в Америку, я не смогу вернуться?

L'Amérique insolite (1960). Фильм Франсуа Рейшенбаха на советских экранах назывался «Америка глазами француза» и был «до шестнадцати». Прорвался в 13. С чем себя долго поздравлял. Небоскребы, авианосцы, хула-хупы. Поперечно-полосатые трусы в обтяжку долго – до смены кадра – сползали у бегущей по кромке пляжа на Биг Сур.

Сегодня бы сказали: «Крышеснос».

Американские монеты в Советском Союзе нечасто попадались. Я был крайне ограничен в средствах, но искупал это воспламененным рвением. В моей коллекции, где, согласно сохранившейся тетради с грифельными оттисками, было представлено 67 стран, отсутствовал даже заветный доллар с Эйзенхауэром. Но было вот что: два одноцентовика, один со зданием, другой с колосьями, три серебряных дайма, два никеля, один с Вашингтоном, другой с индейцем и бизоном, и три серебряных куотера: 1952 года, 1928-го и 1906-го.

Живых американцев я видел в Минске только раз, на Круглой площади. Возвращался по проспекту Ленина, купив в центре учебники на предстоящий год, и увидел у обелиска со звездой автобус, интуристов и своих ровесников, их осаждавших, теребивших и *клянчивших*. Я смотрел на это со смесью отвращения, восхищения и зависти. Я бы так не смог. Не только из чувства советской гордости, собственного, общечеловеческого достоинства, но еще и по причине страха. А эти не боялись ни врагов, ни милиции. Один отбежал на тротуар с добычей. Сунул в рот пластинку чуингама – невиданную, но многожды *читанную*, – на меня повеяло сладким запахом мяты. «Вкусна-а... – и, глянув с состраданием, что разделить наслаждения я не могу. – На!» – сунул мне обертку. Даже две, внутреннюю, с зубчатым обрезом серебряной бумаги, и внешнюю. Желто-зеленую. Цвета были такой невиданной яркости, что обертку я добавил в свою коллекцию редких и странных вещей. *Курьезов*.

1963. 22 ноября – скорее даже в ночь на 23-е – на больничной койке услышал новость. Мозги разбухли так, что больно стало от пластмассовых наушников. Я их сорвал. Палата была просторная, все спали. В коридоре под настольной лампой дремала немолодая сестрица. Я прошел мимо, а когда возвращался, она подняла голову. «Ты чего не спишь?» – «Кеннеди убили». Залилась слезами моментально, до выяснения подробностей. Капли дождя сбегали по стеклу. Лоб мой пылал, и я его приплюснул к холодной плоскости. Дождь был подсвечен лампочкой внизу, над дверью морга.

Журнал «Америка», согласно взаимной договоренности супердежав, должен был быть доступен во всех киосках «Союзпечати». Но я этого глянцевого иллюстрированного издания никогда не видел. До того как в 9-м классе, будучи в гостях у нового приятеля, не сходил в их туалет. Над унитазом самодельный стеллаж был набит этой «Америкой» – годовыми комплектами, начиная с середины 50-х. Втайне от родителей приятель стал мне их давать. Год за годом. Листал я «Америку» не без брезгливости. Но сортирный душок, который мне мерещился, забивался самодовольным запахом заокеанской полиграфии.

Догнать, а уж тем паче перегнать такое было совершенно невозможно: Хрущев меня поражал совершенно безумным отлетом от реальности.

Америка была в журнале раем.

Поступив в МГУ, на первом же курсе я попал в общежитие Главного здания. Это был целый город. Библиотеки, столовые, киоски, лотки. Полно красивых девушек. Но наслаждался я ГЗ недолго. Месяца не прошло, как пришлось собирать монатки и переезжать на дальнюю окраину Ленгор, в 5-й корпус студенческого городка. А все из-за американцев. Они подняли бунт и дошли до посольства США, которое их поддержало. Почему вьетнамцев поселили в Главном здании, а их в студгородке? Во Вьетнаме, конечно, война, но политические предпочтения СССР не должны отражаться на бытовых условиях американских стажеров, которые не привыкли жить вчетвером в одной комнате, где некуда поставить даже холодильник...

Ричард Пукач был не из этих стажеров, но его тоже переселили в ГЗ. Насильственно. Этому американцу больше нравилось в 5-м корпусе, и он сюда приходил общаться с парижским испанцем Карлосом, чилийцем Родриго и мной. Здоровенный парень, кровь с молоком. Старше меня, 19-летнего, он выглядел лет на 16–17 и производил впечатление цветущей девственности. Я рядом с ним казался себе искушенным и порочным. Только в русскоязычном контексте – не в Америке, конечно, – фамилия Пукач звучала малоблагозвучно, указывая к тому же на восточнославянские корни его отца, по воле которого Ричард в МГУ и поступил. Акцента почти уже не было. Лексикон потрясал. Русский язык его был совершенно блистателен. Не потому что говорили на нем в его семье, как можно было предположить, а потому что парень в Союзе работал. Не расставался с блокнотом. Если в разговоре возникало незнакомое слово, тут же бесцеремонно вынимал и заносил.

Я помню, как мы сидели друг против друга. «Что будешь делать на зимние каникулы? В Минск? А я полечу в Париж, батя туда из Америки прилетает. Надоело тут мне, знаешь...» Я чувствовал себя, как будто в книге Сэлинджера «Над пропастью во ржи» – где Холден с соседом по общежитию (не с прыщавым Экли, а со здоровяком Стрэдлейтером). Тем более что Дик при этом, расставив замшевые сапоги 45-го размера, бросал нож, втыкая его в пол и *портя нашу социалистическую собственность*. Хотелось, чтобы он это прекратил, но Дик продолжал жаловаться и бросать нож. Кей-Джи-Би снова сбило с его машины *Lancia* первые три буквы. «Думают, что я из-з-з... как по-русски Си-Ай-Эй?» – «ЦРУ», – подсказал я. «Ага... Так как, *Moonraker'a* берешь?» – «А ты прочел?» – «Угу». – «И как?» – «Нор-

мально...» На своем родном языке он ничего умнее романов про Бонда, к сожалению, не читал, и если уж это покупать (потому что дарить он мне не собирался), то я предпочел бы *From Russia with Love*, но что есть, то есть. – «Сколько?» – Он назвал стандартную цену покетбука в букинистическом. Где Флемингов, конечно, под стекло не выставляют...

Дневник

18 апреля 1968. Воскресенье

Нынче встал в 12 дня; утро провалялся, перелистывая *Moonrakers* by Fleming и раскаиваясь, что отдал за нее 5 рублей.

* * *

Пукач не закончил МГУ, уехал раньше, а за «связь с иностранцем» пострадала наша с ним общая знакомая, дочь львовской гинекологини Инна Г. Так сказать, *постфактум*.

В целом первый мой американец оказался ниже уровня моих представлений об Америке. С другой стороны, в силу своей добросовестной честности именно он стал первым человеком Запада, который дал себе труд познакомиться со мной как прозаиком.

Дневник

2 апреля 1969

Давал читать «С [тепени] [родства]» Ричарду, Родриго, Карлосу: только первый прочел до конца.

* * *

Той весной среди прочего я читал Торо. «Упрощайте же, упрощайте!» Американский совет мне нравился. Себе я казался слишком сложным.

Э

Поражен тем, как много в твоей жизни уже тогда было Америки. В моей ее просто не существовало, даже как образа или идеи. Помню только однотипные марки со статуей Свободы. И вид ее меня леденил. Шипы или прутья на ее голове воспринимались как змеи на головах мстительных Эриний. Я тогда не знал, что эти семь лучей короны обозначают то ли семь морей (почему так мало?), то ли семь континентов (откуда столько?), но если бы и знал, мне было бы все равно. Тяжело-угрюмое, надменное выражение лица, факел в одной руке, свод законов в другой. Я не хотел попасть в страну, где даже свобода столь бездушная, каменная, со слепо-выпуклыми глазами.

Андропов

Ю

В моей советской жизни был момент, когда наши с ним взгляды встретились. Конечно, не мировоззренческие.

Это было в парадной ЦК КПСС на Старой площади. Мы оба были в темных очках. Он со стеклами только отчасти затемненными, я – в бескомпромиссно темных и привезенных, кстати сказать, из любимой его Хунгарии. Они сменили разбитые, которые я носил лет с 17, в подражание герою фильма «Пепел и алмаз».

Потом я много слышал о подземных путях сообщения между Лубянкой и Старой площадью; были они или нет, но Андропов воспользовался наземным. В парадном, на мраморном подоконнике стояла хрустальная пепельница; я истолковал это как дозволение и закурил. В этот же момент извне подкатил лакированно-черный «ЗИЛ» (системы «членовоз»), двери распахнулись, на тротуар не вышли, а высыпались неважно одетые человечки, маленькие, но юркие и расторопные: Андропов, появившись, оказался на голову выше своих телохранителей. Они пристроились к нему спереди и сзади, и эта высокогорбая гусеница – самый маленький мужичок во главе – двинулась через залитый солнцем тротуар. «Портрет» я узнал, конечно. Погасить? Но сигарету было жалко, вместо этого я просто решил не затягиваться, пока процессия не пройдет мимо меня и во внутренние застекленные двери, которые были уже распахнуты «голубыми мундирами». Головной телохранитель, открыв входную дверь, не пропустил вперед себя шефа КГБ, а уверенно двинулся дальше, к выходной двери тамбура, читая через стекло меня – непредвиденную угрозу. Я стоял к ним лицом, руки не за спиной, в пальцах правой сигарета. Мужичок-с-ноготок – в шапке с кожаным верхом и чуть ли не в смазных сапогах, – расколол меня, тут же отбросил, как пустой орех, а вот плывущий за ним, как пароход, Андропов задержался на мне взглядом из-под венгерских очков. Может быть, видел мое досье и опознал? Взгляд сверху был нейтральным, как Монблан, – но все же слегка в сторону малоодобрения. Только чего? Того, что я оказался очевидцем? К тому же с непочтительной сигаретой? Или того, что было у меня на уме и ему, шефу «полиции мысли», неким непостижимым образом стало известно?

Вторую сигарету закуривать мне не пришлось. Руководящий сотрудник МО, бритый до сизости, благоухающий и улыбающийся, вынес мне испанский паспорт моей жены со вкладышем выездной визы. Игриво пошутил на тему о возможностях «правлящей» партии, спросил о здоровье Ауроры, пожелал скорейшего и полного...

Год спустя Юрий Владимирович Андропов стал автором секретного письма под названием «О поведении за рубежом писателя Юрьенена». Направленное им в 1978 году в ЦК КПСС письмо было скопировано Владимиром Буковским в начале 1990-х, когда на краткий промежуток явным стало немало тайного и предано огласке в составе его «Советского архива».

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ДИССИДЕНТСТВО, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА, «МОСКВА, ТЫ КТО?»



СССР
КОМИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

16 ИЮЛЯ 1978 г.

№ 1439-А

г. Москва

Секретно

24-330А/4

ЦК КПСС

О поведении за рубежом
писателя ЮРЬЕНЕНА

В настоящее время за рубежом в антисоветской пропаганде активно используется имя московского писателя ЮРЬЕНЕНА, который выехал во Францию с семьей осенью 1977 года по приглашению родственников жены и в феврале с.г. обратился к французским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Известно, что ЮРЬЕНЕН Сергей Сергеевич, 1948 года рождения, беспартийный, член Союза писателей СССР, состоит в браке с гражданкой Испании ГАЛЬЕГО Ауророй, которая ранее обучалась в СССР и работала переводчицей в АПН. Ее отец - ИГНАСИО ГАЛЬЕГО, один из руководителей Компартии Испании, мать - ЛАРА ЭСПЕРАНСА РОДРИГЕС, служащая французского центра по распространению коммунистической литературы, брат - РУБЕН ГАЛЬЕГО РОДРИГЕС, программист издательства газеты "Кманите".

С момента объявления о своем решении не возвращаться в СССР ЮРЬЕНЕН систематически выступает на страницах реакционной буржуазной и антисоветской эмигрантской прессы, в том числе в изданиях НТС, с резкими клеветническими заявлениями в отношении Госкомиздата СССР (т. Букалин) на ЮРЬЕНЕНА.

(Э. Якимельников)

(Э. Андропов)

Письмо Ю. В. Андропова «О поведении за рубежом писателя Юрьенена»

Антисемитизм

Ю

Ты, Миша, записался на семинар к кандидату наук В. Н. Турбину, престижному «Товарищу Время, Товарищу Искусство», – и за год «всех превзошел». Твоя курсовая, увесистая машинопись под названием «Теория новеллы», тянула на докторскую, говорили все. Ты уверенно и без видимых усилий опережал сокурсников – спеша тем самым на неизбежное рандеву с «государственным антисемитизмом».

Будучи государственным, этот А. был антиконституционным. «Непреложным» законом конституций СССР, Сталинскую включая, неизменно объявлялось равноправие граждан во всех сферах жизни – в том числе культурной – независимо от национальности и расы. По букве, ограничение прав евреев, выражение ненависти к ним – и даже «пренебрежения» – должно было караться законом.

«Лурьенен, финский еврей...» – придумал наш общий знакомый-остроумец.

Не могу сказать, что юдофилом я родился. С другой стороны, может быть, именно и *natural born*. Мама имела такие «пассионарные» волосы, такие тонкие черты лица, что за ней, «угнанной в рабство», дети Третьего рейха бегали с криками: *Jude! Jude!*.. Глаголя, возможно, истину, на которую, к счастью, не реагировало местное гестапо («просвещенной» земли Вестфалия, что на границе с Бельгией-Голландией).

В Ленинграде сталинском и сразу после «борьбы с космополитизмом» знакомыми маминными были – Богини в «Толстовском» доме на нашей Рубинштейна (родственники Штейнов-писателей); Бесицкие на Литейном, Гольданские на Марата. Для мамы, выросшей в космополитической атмосфере приморского Таганрога, визиты к тете Кате, дяде Яше и бабушке Эмилии Соломоновне, к горбунье-биологине Мирре Иосифовне с засекреченным московским братом, который впоследствии оказался ядерным физиком Гольданским – да, тем самым, – были праздниками, там было весело и вольнодумно, она там «изливала душу»; я же предоставлялся самому себе (что меня вполне устраивало), читал книжки, которые находил у детей Бесицких Бори и Зины (Чуковского или Маршака) – или созерцал «каменные мешки» питерских дворов.



Проект обложки моего романа. На фото – Гиммлер в Минске. 14 августа 1941

Жаркая весна 56-го года (а именно 13–15 мая), Пять углов, мне восемь, брату пять. Большая комната. Мы заболели на каникулах и лежим в бабушки-дедушкиной высокой кровати «с шариками». Слушаем новости из Москвы по радио, которое стоит на мраморе буля.

Дедушка работает над архитектурным, подперев чертежную доску толстыми книгами типа «Вопросы ленинизма». XX съезд, Хрущев в Кремле развенчивает Сталина, писатель Фадеев кончает самоубийством «в состоянии тяжелой депрессии», вызванной болезнью под названием «алкоголизм». Настроение у деда приподнятое. Что и понятно: дожил. Тут открывается дверь, тетя Маня объявляет: «К вам ваш друг!» Питерский друг наш Миша Богин, ему десять лет, весьма упитан, перед взрослыми не теряется, к нам же и вовсе снисходителен: «Как дела, малыши? Дай пять... поправишься, вернешь...» Из рукава мне в ладонь выскользывает вперед рукоятку... стилет! Когда он показывал нам тайны улицы Рубинштейна, говорил, что у него есть такой, как в Рыцарском зале Эрмитажа, но я не поверил. Лезвие пускает «зайчиков», рукоятка музейного вида. Миша накрывает стилет краем нашего одеяла, потом, мол, налюбуйтесь. Щедростью друга я сражен – пусть не подарок, пусть только на «поддержать» в качестве стимулятора здоровья. «Как дела, малыши?» – после его ухода смеется дедушка. А тетя Маня берет этот вопрос к себе на вооружение, чтобы еще подтрунивать над нами.

Не знаю, насколько воспоминание «в тему», но, при всей его сдержанности, у деда, который сам в империи Российской считался «инородцем», вряд ли были причины для любви к евреям. ВЧК замела его, как только возникла, он (как и Гумилев) был среди первых заключенных офицеров на Гороховой, 2, где «нас было, как сельдей в бочке» (теперь там музей политической полиции России). Не помню про Дзержинского, но Моисея Соломоновича Урицкого, председателя Петроградской ЧК, дед видел своими глазами. Через три года после сцены со стилетом он, передавая духовное наследие внуку, рассказывал про «красный террор» без каких-либо национально-расовых обертонов: в конце концов, отомстил Урицкому не Иванов-Петров-Сидоров, а еврей Каннегисер, о чем дед прекрасно знал. И «Гришка Зиновьев», на которого дед возлагал главную вину за расправу с офицерами, для меня после его рассказа еще долго останется столь же русским, как Отрепьев и Распутин – «Гришки» предыдущие.

Не «Северная Пальмира» отяготила мое детство еврейским вопросом, а первая страна изгнания. Белоруссия, тогда ее называли. БССР. А до того – Генералбезирк Вайсрутениен, Генеральный округ Белорутения. Полигон антисемитизма в экстремальной форме. Ванзейская конференция по окончательному решению имела место 20 января 1942 года, массовые же расстрелы в Беларуси начались сразу после вторжения немцев летом 41-го. Когда Гиммлер посетил Минск, чтобы наблюдать за показательным расстрелом ста узников Минского гетто, по всей «Белорутении» уже были убиты десятки тысяч евреев. Можно представить, как раскрутился маховик холокоста, если к Ванзейской конференции убитых было миллион.

Сначала я попал в *Принеманье*. Город Гродно. За трехлетний период немецкой оккупации здесь было убито 30 тысяч. Гетто было два, оба исключительно кровавых, и с такими злодейскими играми, что меркнут даже «Список Шиндлера» и «Благоволительницы». Главное гетто, Нуммер Айнс, располагалось сразу за мостом над бывшей Петербургско-Варшавской железной дорогой – на Скидельской площади и вдоль одноименной улицы. В это «место силы» – inferнальной – и оказался я «заброшен».

Год 1955-й. Возвращаясь из школы, первоклассник в суровой школьной форме и с ранцем за плечами переходит упомянутый мост. Слева Скидельский рынок, за ним воинская часть: километры кирпичной стены. По правую сторону улицы, где было гетто, – сначала дощатые лавки, потом один-два старинных дома, а затем наши ДОСы, Дома офицерского состава, построенные немецкими военнопленными.

В апреле поехали «на природу» в восточном направлении от Гродно; из окна «газика» я увидел первый в жизни концлагерь: ряды бараков с пустыми окнами и без дверей, обнесенных столбами с ржавой и местами рваной колючей проволокой. «Что это?» Взрослые промолчали – меня «оберегая».

Ответили беспощадные книги. В приемной частного врача, кроме уютных кресел и круглого столика с журналами, был застекленный книжный шкаф. Когда маму пригласили, я подошел, склонил голову, начал читать корешки. И обнаружил книжку, от которой похолодел. «Злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Белоруссии». Шкаф был не заперт, я вынул книжку – это был сборник документов. Волосы дыбом встали. Слова «эксгумация» не знал, но сразу его понял. Будучи «младшего возраста», я читал книги не только «для среднего и старшего», но и «взрослые». Но эту я бы и взрослому не дал. Совершенно невозможно было оказаться застанным мамой при подобном чтении. Не должна мама знать, что я *знаю*. Что не пребываю более в блаженном неведении. И царствие мое уже отнюдь не небесное. В руки попал ключ к их взрослой тайне, которая от меня скрывалась. Зло.

Я знал, кто за него в ответе. Немцы, фашисты, захватчики, «звери». Но чувствовал почему-то и свою собственную вину. Таково было свойство этого Зла. Оно было столь ужасно, что даже знание о нем, прикосновение к нему как-то вовлекало в соучастие. А кроме и помимо вины, я испытывал стыд. Совершенно интимное, насквозь прожигающее чувство стыда за Человека как такового. За свою принадлежность к этому роду, который хуже «зверей». К двери кабинета с той стороны приблизились голоса. Я сунул книжку под пояс шорт, а поверх рубашку. До этого момента я никогда ничего не крал (во всяком случае, не помню чтобы). Я ходил с мамой по плитам и булыжникам города Гродно, и книжка, прижатая к коже, кричала: «Вор!» Это была самая верхняя ступенька, но я чувствовал, что уже стою на лестнице Зла, ведущей вниз, как эскалатор в ленинградском метро – от которого судьба оторвала. Мама ничего не замечала. Я внес этот ужас в невинную квартиру и спрятал под матрас.

С тех пор я стал умножать познания по части Зла. «Нюрнбергский процесс», «СС в действии» и прочий советский нон-фикшн. Однако про то, что острие Зла было направлено главным образом против евреев, узнал не сразу. Книжки растворяли евреев среди жертв фашизма одной национальности – «советских граждан». В чем была своя логика. Все мы были их враги. Мы, которых немцы хотели обратить в рабство, но наши танки оказались лучше...

Как раз о танках я читал тем летом – толстую книжку о сражении на Курской дуге. Под колоннадой и утопая в протертом местами до основы бархатном кресле, куда вечерами выходила курить сигарету через длинный мундштук ясновельможна пани Янина Пожариска. Дача в Пышках снималась в ее имении. Кроме нас, пани сдавала комнаты двум ученым, Копысскому и Сулле. Лев Борисович Сулла, во время войны фронтовой разведчик, а тогда известный гродненский учитель (через три года станет директором школы № 2), был высок, худощав и облик имел надменный, будто гордился тем, что носит имя римского императора. Меня не замечал, но у него была дочь Диана, 17 лет. Я был в нее влюблен, безнадежно сознавая разницу в возрасте. Зиновий Юльевич Копыцкий, в прошлом тоже фронтовик, стал известным в Беларуси историком: специалист по городам республики, доктор наук, сотрудник Академии. Умер в 1996 году в возрасте 80 лет. В Пышках, когда родители с Копыскими подружились, историку было сорок. И у него был пунктик. Закалка. Подпав под его влияние, мама вменила и мне в обязанность каждое утро бегать под руководством Зиновия Юльевича с его детьми Борей и Мишей. Босиком, в одних трусах, через ельник, перепрыгивая через незаросшие еще воронки, окопы и траншеи к Неману. Здесь был переход к водным процедурам. «Сняли трусы!» Сыновья подчинились, но на расстоянии некоторого смущения. Тут я и обнаружил, чем отличаются от меня эти мальчишки. Несмотря на то что мать у них была русской, оба сына Залмана Юдовича (как изначально звали их отца) прошли процедуру обрезания. Ни о чем подобном я не слышал, но не мог не верить своим глазам. Отростки завершались не собранной воедино и от этого сморщенной кожицей, но лиловыми набалдашниками. Именно в этом была причина замешательства. Это я понял. Но

тайна обрезания была для меня за семью печатями. Врожденное уродство? Но чье? Их или мое? Весьма болезненное самоисследование произошло во время послеобеденного «мертвого часа». Избавлю тебя от пахнущего ленинградским рокфором физиологизма, который я с отвращением стряхнул в окно на георгины. Был жуткий страх, что отныне я стану, как мальчишки Копысского, но приданный мне отросток восстановил привычную форму, а я тем самым избавил себя от угрозы *фимоза* (о котором узнаю лет через пять из «Справочника фельдшера»).

Различие, обнаруженное на берегу Немана, никак не подготовило меня к реакции на слово «жид». Впервые услышал в Минске. Слово взорвалось над асфальтом в промежутке между монастырским зданием офицерской гостиницы (где сейчас Институт теологии) и окружным Домом офицеров (ОДО). Мне было 9, я знал не только слово «идиот» (благодаря роману, принесенному отчимом), но и другие ругательные. Но такого жуткого эффекта не наблюдал. Мальчик по фамилии Рыбак, которого обозвали, завизжал как пронзенный. Весь в слезах бросился домой, в гостиницу, а там пожаловался отцу, который был комендантом ОДО и просто так случая этого не оставил.

Мне некому было жаловаться, когда я увидел то же самое слово на двери нашей квартиры в Заводском районе. Слева была квартира Гинцбургов, справа евреи тоже (красавица-юрист с бесподобными дочками, увы, много старше меня; а в другой комнате – совсем древняя старушка, всех потерявшая в гетто и глядящая целыми днями на улицу усохшим лимоном лица). Но слово под нашим синим почтовым ящиком было адресовано мне. Может быть, врагами с соседнего двора. Но, возможно, девочками. Блондинками, влюбленными в шатена. Зная и другие ругательства, выбрали самое сильное. Чтобы пронять меня до глубины души. Двенадцать лет: я сочинял уже стихи. Не зная пока, что «в сем христианнейшем из миров поэты – жида». Тем не менее не воспринял как нечто незаслуженное. Девочки или враги, но в Заводском районе меня считали другим. Не таким, как все. Что мне и высказали. По желтой охре белым мелом, который я тогда поспешил размазать голый рукой так, чтобы мама, газеты вынимая, не смогла прочесть.

В центральной школе № 2, где я продолжил учиться после восьмилетки, детей-евреев почти не было. Что и понятно, здесь учились дети «больших» партийно-правительственных родителей, включая сыновей председателя Верховного Совета БССР Шауро, которого вскоре переведут в Москву на должность заведующего отделом культуры ЦК КПСС (и в этом качестве Василий Филимонович станет заклятым врагом Александра Яковлева, будущего «архитектора перестройки»). Так вот: Рубина и Баркан. Больше никого. Тихая интровертка Света Рубина «шла» на золотую медаль. Не менее одаренный Лев Баркан «подрывал устои». Директор наш Лепешкин благоволил к ним обоим – и к интеллектуалам вообще. За отсутствием объектов, антисемитизм, сочащийся «сверху» от власти имущих отцов, в моем классе был направлен на новичков – меня, шатена, и моего приятеля-брюнета. Но он носил под пиджаком половинку гантели, а я получил признание как главный литератор школы, и все эти белобрысые и русые агрессоры смирились. Изгой не изгой, но болевой порог «гоя», возможно, был слишком высок, а кругозор исключительно узок, так что атмосфера не казалась мне особо изуверской. Как в этой престижной школе, так и в Минске вообще. Приписывал я эту толерантность ветрам с Запада, которыми обвевала нас Польша, а также пацифизму национального характера (допустим подобную абстракцию): в конце концов, Беларусь явила же миру и Василя Быкова, и Алеся Адамовича, и Светлану Алексиевич. Играла роль и память о холокосте. Несмотря на послевоенные усилия «сверху» закатать ее в бетон, «снизу» шок неевреев, очевидцев разнообразно-массовых злодеяний, был таким, что я не слышал «Гитлера на них нет» – пока не покинул БССР.



Юрьенен, Йоссель, Тарашкевич. 5-й класс 62-й средней школы Заводского района г. Минска. 1960

А вот Москва шокировала. «У, жидовка! Как земля таких носит?!» Услышала в 1972 году моя будущая жена, парижская испанка, как только вышла из 552-го автобуса в Солнцево, где я снимал квартиру. Меня всего перевернуло, но Аурора сказала хладнокровно, что ее и в Польше девочкой в костелы не впускали. А уж когда на черной «Волге» привезли ее семью знакомиться с избранником, Солнцево убедилось окончательно: студент связался с богатыми евреями. Это место (бывшее *Сукино* и будущий центр организованной преступности) себя еще покажет во всей красе. Вернемся в МГУ, каким нас встретил «величавый храм науки».

Наших мальчиков и девочек «еврейской национальности» в коридоре четвертого этажа 5-го корпуса подвергал насмешкам и гонениям некто З-ов, обер-стукач и юдофоб. Юродливо-уродливый и злобный тролль добавочно угнетал обоняние принципиально немытым телом и портвейном. Мог быть персонажем Достоевского, но Федор Михайлович его бы отбросил, погнушавшись (а вот Мамлеев подобрал бы). Однако кто-то (сам З-ов распускал слухи о близости к декану, машиной которого якобы занимался) наделил коридорного антисемита властью. Молчаливо, но его поддерживала «русская группа», куда входили отслужившие в армии и на флоте пожилые студенты. Меня за контакты с гонимыми эти патриоты называли «жидовствующим». На коллективном медосмотре в поликлинике врач-невропатолог о негласной политике борьбы с евреями в МГУ говорила с одобрением. Считая меня своим и стуча по коленным чашечкам резиновым молоточком. А был бы я евреем? Разбила бы их стальным?

Из романа

«ДОЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ»

Актальный зал был полон.

Красный диплом на курсе был единственным. Его без лишних слов вручили Перкину.

...У Перкина на голове пилотка из газеты. Эсфирь Наумовна была в соломенной шляпке с парой лакированных вишен, на руках нитяные перчатки.

– Поздравляю, – сказал Александр.

– Было б с чем...

– *Красный* же диплом!

– А в аспирантуру сына замдекана. С обычным синим.

Еще на первом курсе профессор, потрясая курсовой работой Перкина, кричал, что он бы за это сразу ученую степень – *гонорис кауза*!

– Не тебя?

Перкин мотнул головой.

– Свободное распределение, – сказала его мать. – На все четыре стороны.

– Одна пока открыта, – заметил Александр. – До Вены, а там куда угодно. Хоть в Иерусалим, хоть в Гарвард.

– О чем ему и говорю.

Перкин сжал челюсти.

– Вот так уже неделю – как бык. – Повернувшись к Инес, мать Перкина перешла на идиш.

– Инес из Парижа, – сказал Александр.

– Откуда?

Перкин буркнул:

– Сказано тебе.

– Лева, не хаами. А я подумала, что вы нашли себе... Средство *передвижения*, как говорится. По-русски девушка не понимает?

– Я понимаю, понимаю, – заверила Инес.

– Ой, извините... Лев, надень панамку! Удар сейчас хватит. Остановите его, Александр...

Перкин отбросил руку:

– Все меня вытолкнуть хотят. Неужели даже ты не понимаешь, что это родина?

Ему было семнадцать, когда Александр с ним познакомился на лекции. Голова у него была забинтована. Он только что похоронил отца, а вдобавок был избит шпаной. Ударили кастетом, а потом ногами. Но он держался, этот вечно небритый мальчик, вещь-в-себе. «Ночь хрустальных ножей» на факультете стояла все пять лет. Он был единственный, кто выжил. Для того чтобы оказаться с «красным» дипломом в тупике. На выжженном пространстве Ленинских гор.

Под черным солнцем.

* * *

...Роман романом, но еще на первых курсах и красавица Айзенштадт (Краснодар), и Аркаша Гольденберг (Волгоград), и Паша Лерман (Баку) были элиминированы под тем или иным предлогом.

Сквозь стены МГУ прошел только ты.

Единственный.

По-моему, это подвиг.

См. БАБИЙ ЯР, ЕВРЕЙ

АНТИСОВЕТСКОЕ

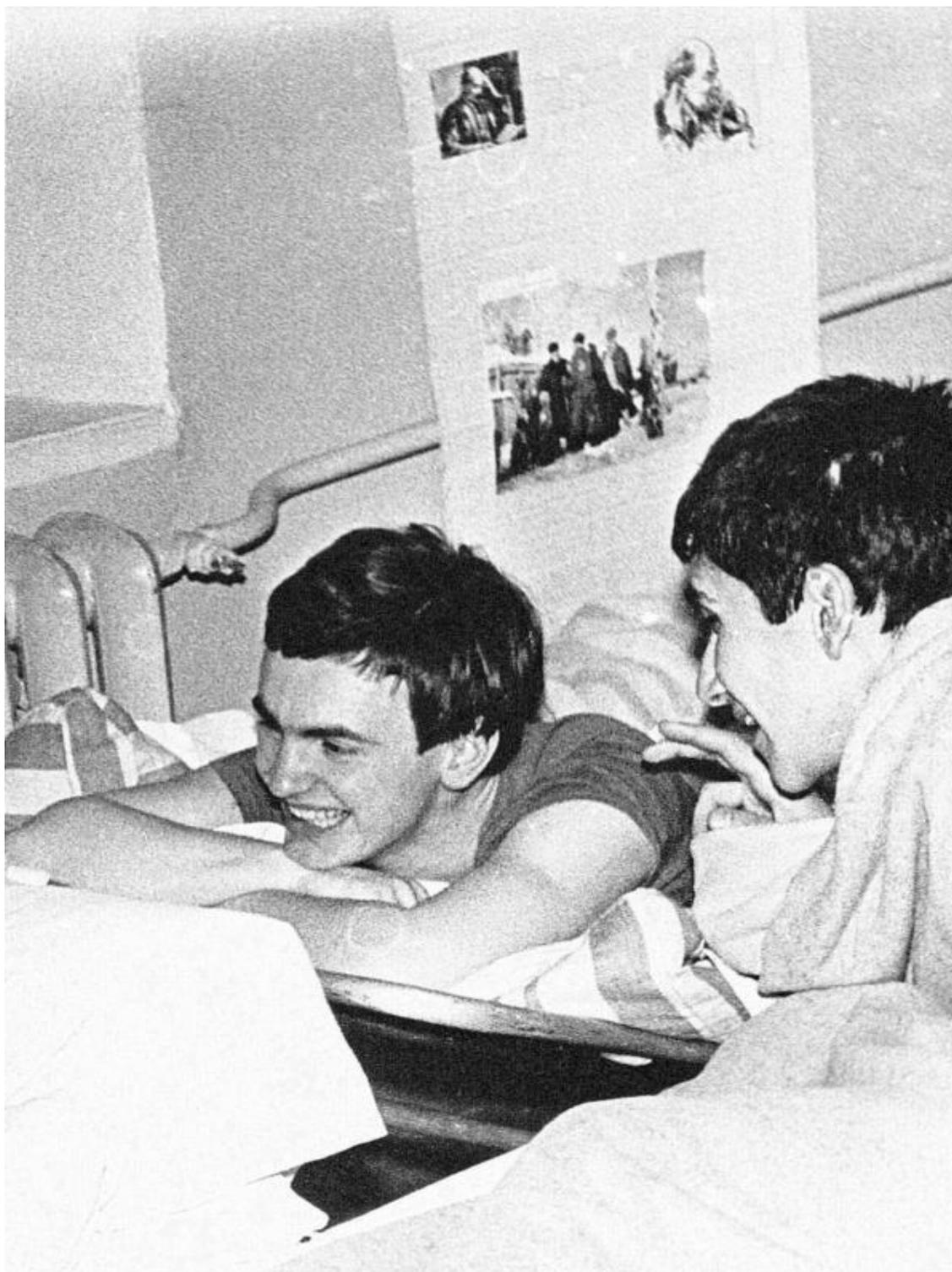
Ю

Жарким летом абитуриентства столкнулся я на Ленгорах и с тем, о чем прежде только читал в газетах – с реальностью «тлетворного влияния».

В Минске у меня был его проводник – уехавший затем в Канаду Лев Баркан. Пламенный мальчик. Мы познакомились в 1962 году на республиканском пионерском слете. Впервые от него я услышал уверенно произнесенное – и самой жизнью выдвигаемое на первый план – слово «сперма» (когда кругом все говорили «малафья», а я знал даже слово «смегма»). Потом судьба свела нас в школе № 2, на Кирова. Лев учился в параллельном классе «Б» и вызвал общешкольный скандал, высказав в сочинении по роману «Война и мир» аргументированную гипотезу о цивилизационной благотворности национального поражения в Отечественной войне 1812 года. Однажды по приглашению Льва я отправился очень далеко – за вокзал, где в клубе барачного типа давали премьеру «Гамлета» с ним в главной роли. Перевод, разумеется, «*Бориса Леонидыча*». Холодно было так, что «пассионарная» молодежь выдыхала пар, не снимая пальто во время этого коллективного оммага Пастернаку на окраине Минска. В десятом классе Лев дал списать мне слова дерзкой песни (с автором которой мы еще встретимся на этих страницах) «Товарищ Сталин, вы большой ученый». На переменах мы обсуждали с Барканом московский процесс над «перевертышами», и это по наущению Льва я поспешил обзавестись Синявским – пока только в качестве автора предисловия, еще более повывисившего номинал пастернаковского тома в «Библиотеке поэта». Вот это была книга! Помнишь? Сразу два стратотерпца, пойманных под одну обложку (темно-синюю, «классическую»), как бы прямо в момент передачи бесконечной эстафеты российского мученичества за свободу слова. Не книга – символ веры. В руки берешь – как будто присягаешь.

Так вот, Лев рассказывал про какого-то студента, которому в Минске дали десять лет за «*Токаря Мертваго*» (как для конспирации называл он преступный роман). Так что я знал о Тамиздате. Однако, за исключением случайно попавшего в руки разворота из выходящего в Нью-Йорке «Нового Русского Слова», тамиздатской продукции в руках не держал.

А стоило попасть в Москву, как – вот! Сдавая экзамены, ночами в общежитии я читал запрещенные стихи Пастернака, но главное – Мандельштама. Об этом репрессированном поэте только отдаленно слышал. Мой сосед им бредил, называя исключительно «Осипом Эмильевичем» и закидывая голову: «Я скажу тебе с последней прямокой...» Этот юноша, в третий раз пытавшийся взять Москву, в своем Орле работал в театре осветителем. В отношении меня он оказался просветителем. Поделившись толстой книгой, не случайно, как я и предположил, обернутой в «Известия». То была неведомо как попавшая провинциалу в руки «Антология русской поэзии», изданная в США американским профессором, но с фамилией – русее не бывает: Борис Филиппов...



Сергей Юрьенен и Лев Баркан на молодежном фестивале Прибалтийских республик и Белоруссии. Рига, 1966

В Главном здании МГУ (ГЗ в дальнейшем) первым моим «блоком» стал Б-222 (как ни странно, не в гуманитарной зоне «В», а у мехматян). На другой день после «заселения» в качестве студента я обнаружил подsunутую мне под дверь листовку – первую в жизни увиденную не в музее. Меня призывали на Пушкинскую площадь в защиту исключенных студентов. Классе в седьмом со школьной сцены страстно декламировал: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...» Вот и повод – отчизне посвятить порыв. Пойти?

Конечно, подмывало. Но МГУ мне дорого достался. 2 сентября я уже сходил на похороны Эренбурга. С одной стороны, увидел там Евтушенко (а еще, из опознанных, Бориса Слуцкого, к которому меня прижало, и заплаканного Юрия Власова, писателя-штангиста). Но с другой – столкнулся и оценил противостоящую силу милиции и служивых «в штатском». Наглядный результат аналогичных «порывов» томился за стеною блока, где временно проживал великовозрастный заочник, пропущенный через лагеря за попытку побега из СССР и теперь печатавший куплеты в журнальчике «Клуб и сцена». На этом основании заочник стремился к духовному общению, от которого я уклонялся. Не пошел навстречу и призыву показать себя не тварью дрожащей, не молчаливым большинством, а «политическим животным». Порвал листовку, спустил в унитаз и отправился по объявлению о продаже с рук англо-американских покетбуков: мечтал найти *Ulysses*. Я рылся в картонке, которую оставил британский стажер, а подвыпившие старшекурсники уже решали, кого послать за водкой, когда я сделаю свой выбор и выложу бабки, и, гогоча, вели такие разговоры со своими пожилыми девушками, что у меня, листающего книги и стоящего на колене к ним спиной, горели уши. «Ты машку бреешь, Машк? А покажи?»

В тот день попался мне только D. H. Lawrence – увы, не *Lady Chatterley Lover*.

Э

Ноябрь 1971 года. Мы, старшекурсники филфака МГУ, проходим педагогическую практику в московской школе № 16 с литературным уклоном (около Ленинского проспекта). Нам поручено вести классы под наблюдением А., учителя литературы. Он незаурядный учитель, лет 30, яркой гусарской наружности, любимец класса. Как порой бывает с учителями словесности, подавившими или не развившими в себе какой-то литературный или филологический талант, он тяготился своим положением учителя и компенсировал это запоями, к которым его ученики относились с пониманием и состраданием и старались помочь. А. был настроен резко антисоветски и не скрывал этого от воспитанников – некоторые его выпускники и сами потом пошли в диссиденты. На уроках он был бесстрашно откровенен. Мы успели с ним пообщаться до занятий – и признали друг в друге «своих», не диссидентов, конечно, но нормально инакомыслящих интеллигентов.

И вот в этом элитарном литературном классе, избалованном рафинированным учителем и повидавшем много всяких именитых гостей, поэтов, писателей, филологов, я вел занятия по творчеству А. Блока. Горел, парил, взмывал, особенно с учетом того, что меня с живейшим интересом слушала одна ученица, вдруг ставшая мне небезразличной. И вот – поэма «12». Я описываю демоническое вдохновение, охватившее Блока, разоблачаю иллюзию, что красные, стреляющие в Христа, сами его бессознательно исповедуют, говорю о варварстве уличных орд («запирайте этажи») – и, в историческом контексте 1918 г., употребляю выражение «советский режим». Это выражение, что сейчас трудно понять, воспринималось как антисоветское, видимо, потому, что «режим» – нечто временное. Но логически, конечно, трудно объяснить, почему «советская власть» – это хорошо, «ура!», а «советский режим» – это плохо, «долой!». Такая была устойчивая коннотация, которую я, конечно, осознавал, но в пылу лекции не придавал значения – ну, переступил на вершок, так мы же здесь свои люди, мы все понимаем, А. и не такое вам говорил.

Что делает А.? Он сидит на задней парте, слушает практиканта. Что-то в моей речи его уже, видимо, настораживает, а когда я дохожу до «советского режима», он поднимается и взмахом руки обрывает меня: «Я прекращаю урок. Так говорить недопустимо!» И идет к директору школы докладывать об антисоветской пропаганде в классе. Уж не помню, повел ли он меня к директору или она сама пришла и вывела меня из класса, но от преподавания меня отстранили по идеологическим причинам. «Мы сообщим в университет, и там решат,

что с вами делать дальше. У нас вы больше не будете вести практику». А это был последний, выпускной год, уже просматривался диплом с отличием. Да какой там красный диплом, мне бы теперь волчий билет не получить, т. е. вообще не вылететь из университета с недопущением во все другие – за антисоветскую пропаганду!

Что делалось с мамой, у которой я – единственная надежда (папа в 1969 г. умер)!

Руководителем нашей педпрактики был некто Василий Журавлев. Каким-то невероятным образом ему удалось замять скандал по поводу моей антисоветчины. Не знаю, что он для этого сделал. Может быть, наоборот, чего-то НЕ сделал: кому-то не позвонил, не донес, не передал, не возбудил дела. Поступил не по правде, но и не по лжи, а в ту эпоху это было самое драгоценное. И вообще как-то вдруг он исчез с моего горизонта. Большое ему человеческое спасибо! В школу я больше не приходил. Но и в университете обо мне молчали. Так это само собой и рассеялось.

А А. я с тех пор не видел. Мой друг Е., который тогда учился в этом классе и сидел на моем уроке, объяснял мне потом со слов А., что тот решил, будто я нарочно устраиваю провокацию. Подставляю его как учителя. И тогда он решил меня опередить. «Но как же, – удивляюсь я, – ведь он сам был такой антисоветчик!» – «Именно поэтому, – объясняет Е. – За ним водились грехи, и тут он решил сразу себя обелить, выставить стражем порядка». Была и другая, не политическая, а психологическая версия, у той девочки: А. возревновал ко мне свой класс, который его боготворил, – и, добавляла она, после этого скандала от него некоторые отвернулись. Я же не понимал: почему, если он был встревожен, то по-дружески не подошел ко мне, не отозвал в коридор, не попросил быть осторожнее – почему так торжественно взмахнул рукой, открывая путь моему изгнанию из университета (он не мог себе этого не представлять)?

У А., по слухам, оказался печальный конец – он спился и вынужден был уйти из школы...

А теперь, рассказав всю эту историю со своей точки зрения, я хочу представить иную, более умудренную. Как если бы мне об этом рассказала умная, расположенная ко мне, но открытыми глазами на меня глядящая женщина. Например, та же самая, уже умершая девочка, если бы она могла воскреснуть. Она помогла бы мне понять, почему я сам в этой истории нравлюсь себе еще меньше, чем А.

Говорит она: «А. чувствовал, что на его век «советского режима» точно хватит – так зачем растравлять себя и других этой жалкой, бессильной антисоветчиной? Для него это было последним шансом выделиться, проблистать, заслужить самоуважение. Да, он не автор книг, не писатель, не ученый, не университетский профессор, но зато он смеет говорить правду, и ученики его любят, верят ему, верят в него. И вот в этом, самом задушевном, ты решил его превзойти, отобрать у него единственное его превосходство – быть самым честным перед своими мальчиками и девочками. Пусть ты был начитаннее, речистее (совсем не факт, но допустим). Но он-то уж точно имел все привилегии на откровенный и бесстрашный разговор со своим классом. Ты и в этом, последнем, захотел отнять у него лавры. В чем же тогда он мог отстоять свое превосходство, свое право на это место и на этих людей? Как иначе осадить тебя, пришельца-завоевателя? Показать всем, что твое бесстрашие – это опасная игра, провокация, направленная против него, а в конечном счете и против всего класса. Пойдут слухи, класс распустят, А. останется без работы, класс – без Учителя. Да, он многое себе позволял, шутки, анекдоты, намеки, но даже директриса его терпела, даже инспектора РОНО, потому что свое право на маленькую антисоветчину он заслужил долгой работой на большую систему – протираанием штанов на учительском стуле, проверкой сотен тетрадей, исправлением тысяч ошибок, корпением над оценками, скукой на собраниях и проработках. Он похоронил себя в этой школе, в этих детях, чтобы из них пробились хоть какие-то свежие

ростки. А ты пожелал права на антисоветское без заслуг перед советским, – чтобы одной легкой рукой сорвать весь банк. Вот за все это ты и получил. За свою наглую юность! За самонадеянность выскочки, за то, что посмел отбивать чужое стадо у законного пастуха. За то, что самая умная и таинственная девочка класса так смотрела на тебя! За то, что у тебя впереди было все – другие девочки, ум, не разрушенный алкоголем, и возможность жить в другое время и в другой стране. Бедный А.! Он должен был прекратить это издевательство над своей жизнью, которую ты на его глазах сводил к нулю. Ты думал, что свергаешь советскую власть, а ты свергал его, А... Не дай бог тебе самому это испытать! Именем А., будь всегда и везде вторым... Именем всех, кто не состоялся...»

А может быть, во всей этой истории важна не моя или его вина, а двусмысленность самого времени, когда человек, откровенно говоривший то, что думал, или хотя бы чуть-чуть проговаривавшийся, рисковал дважды: во-первых, как диссидент, во-вторых, как возможный провокатор? Он рисковал своей жизнью – перед властями, и своей честью – перед единомышленниками. Сколько было случаев, когда настоящие, жертвенные диссиденты объявлялись – или вправду являлись – вольными или невольными провокаторами! Самое тяжелое состояние общества – когда правда выступает как подстрекательство, как двойной обман.

Ю

Gaudeamus igitur!
Iuvenes dum sumus!

После школы мы с тобой с полным на то правом предполагали жить. Однако Кремль нанес *сюркуп*. Игроцкий термин первого курса, мы толковали его как «превентивный удар». Именно так, заранее Кремль задал нам пределы, введя в игру существования потенциально фатальный фактор. Именно в тот год, когда мы стали студентами главного «оплота вольномыслия» в стране, в другой трехбуквенной аббревиатуре новый ее шеф инициировал специальную структуру для борьбы с идеологическими диверсиями.

В юридической литературе и комментариях к Уголовному кодексу РСФСР можно было прочесть (но мы в то время игнорировали такие тексты): *«Идеологическая диверсия – это такие способы воздействия на сознание и чувства людей, которые направлены на подрыв, компрометирование и ослабление влияния коммунистической идеологии, на ослабление или раскол революционного и национально-освободительных движений и социалистического строя и осуществляются с использованием клеветнических, фальсифицированных или тенденциозно подобранных материалов как легальными, так и нелегальными путями с целью причинения идеологического ущерба».*

Именно с этим призвано было бороться созданное Ю. В. Андроповым сразу после его назначения в мае 1967 года на пост председателя КГБ 5-е Управление, получившее известность благодаря борьбе с диссидентами (от лат. *dissideo* – не соглашаюсь, расхожусь) – лицами, отступающими от учения господствующей церкви (инакомыслящие)». То есть лица, не соглашавшиеся с политикой советского правительства по тем или иным вопросам внутренней или международной жизни, трактовались КГБ как «инакомыслящие». Над всеми нами был подвешен фирменный их меч в виде статьи 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) и статьи 72 (организационная антисоветская деятельность).

Кто эти «все мы», сколько нас было?

Есть данные (см. «Новости разведки и контрразведки», 2003, № 7–8, с. 30), что, «по оценкам самого Андропова, «потенциально враждебный контингент» в СССР составлял 8,5 млн человек». Фаворит Андропова и глава 5-го Управления Филипп Денисович Бобков постфактум давал еще более конкретные цифры. Если в 1956–1960 годах за антисоветскую

агитацию и пропаганду (по статье 58–10 УК РСФСР 1928 г.) было осуждено 4 676 человек, в 1961–1965 гг. (по статье 70 УК РСФСР 1960 г.) – 1 072, то в 1966–1970 гг. – 295, а в 1981–1985–150 человек.

Размах работы впечатляет. По данным архивов КГБ СССР, за период 1967–1971 гг. было выявлено 3 096 «группировок политически вредной направленности», из числа участников которых было «профилактировано» 13 602 человека. В 1967 г. было выявлено 502 такие группы с 2 196 их участниками, в последующие годы, соответственно, в 1968 г. – 625 и 2 870, в 1969 г. – 733 и 3 130, в 1970 г. – 709 и 3 102, в 1971 г. – 527 и 2 304.

А сколько при этом было лиц, взятых «на оперативный учет»?

Нам с тобой и в этом плане повезло. Мы все состояли на особом учете, на привилегированном – у нашего ровесника, сокурсника и сына главы 5-го Управления КГБ. Сережа Бобков, гуманитарно образованный мой тезка и поэт, держал нас в поле зрения, давал свои оценки, делал свои выводы. Помимо факультетских, у нас с ним было две встречи тет-а-тет. Потом, напуганные тем, что нам открылось, мы с ним взаиморастолкнулись.

В 1972 году на Ленгорах, у подоконника филфака, мой тезка угостил меня – нарочно не придумать! – польской сигаретой с испанским названием «Carmen»¹ и дал понять, что в курсе «моих знакомств с девушками из Иностранной группы».

На 5-м Всесоюзном совещании молодых писателей в холле гостиницы «Юность» он без предисловий (а прошло лет 5–6) заявил, что оценил мою тайнопись в производственном очерке «Главные люди» – и даже процитировал мне «избранные места»².

Так и продолжалось до моего финального убытия в Париж: встречи на ходу в ЦДЛ, фраза-две с его стороны, которые говорили о том, что я – «в его списке». К тому времени тезка начал носить темные очки, а список вполне мог оказаться «черным», не попади я благодаря парижской жене³ в ситуацию исключительности и неприкасаемости.

Относительной, конечно. Провокации на меня так и посыпались. Вот одна из них, подтверждающая твой вывод о «двойной лжи».

Владимира Буковского обменяли на генсека чилийской компартии 18 декабря 1976 г. В этот же день или в один из последующих в гостинице «Октябрьская» был прием в честь группы испанских коммунистов, после отсидки во франкистских тюрьмах приглашенных в Советский Союз. Ко мне там пристал московский испанец, сотрудник «посткоминтерновского» журнала «Новое время». Пытался сбить на антисоветчину, но я не вовлекался. В непосредственной близости от представителей руководства партии – почетного президента Долорес Ибаррури и моего тестя – в исполнении стукача прозвучал якобы народный комментарий (скорей всего, придуманный в ведомстве Андропова): «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую блядь, чтобы Брежнева сменять?» В номере я рассказал тестю. Думал, он поддержит мое возмущение: все-таки меня провоцировали прямо за его спиной. Но «падре» неожиданно напал на меня. Почему не дал отпор. Почему не заявил, что как советский гражданин ты возмущен?

¹ Которые, согласно надписи, содержали американский табак и были, поскольку из соцлагеря, паллиативом для нежелающих выглядеть «низкопоклонцами»: КГБ времен Андропова был в этом смысле щепетильным. В отличие от ЦК КПСС, где в открытую курили настоящие американские.

² Ты, Миша, догадался о злоумышленности названия, которое «сублиминально» должно было отсылать к «Бедным людям» – дебюту ФМД.

³ Гальего Родригес Аурора (1946–2009). Переводчица художественной литературы, включалась в Индекс лучших переводчиков Франции с иностранных языков (английский, русский, испанский, польский, чешский и др.). Дочь Игнасио Гальего, «исторического лидера» Испанской КП, генерального секретаря Компартии Народов Испании, вице-президента кортесов. Мать Рубена Гальего, писателя, лауреата премии Букер/Открытая Россия (2003). Родилась 14 сентября 1946 г. в Нейи-сюр-Сен под Парижем. С 1950 по 1956 г. жила в Варшаве. По возвращении во Францию закончила лицей в Монтрее под Парижем. С 1966 по 1977 г. училась на филологическом факультете МГУ, затем – в аспирантуре Института мировой литературы им. Горького. Весной 1972 г. познакомилась в МГУ с Ю. и до осени 1998 была его женой.

Что я мог ответить тестю? Что скорей бы сквозь землю провалился, чем пошел на такое лицедейство. Совершенно не способен был сказать я даже стукачу, что возмущен «как советский гражданин». Но и очередная гэбэшная провокация шокировала меня отнюдь не грубой антисоветчиной частушки.

См. АНДРОПОВ, ДИССИДЕНТСТВО, ИДЕОЛОГИЯ, «МОСКВА, ТЫ КТО?», ПОЛИТИКА

Апокалипсис

Э

Исторический и религиозный апокалипсисы – в моем «лобачевском» восприятии эти параллели пересекались, но исторический был раньше и важнее: третья мировая. Мысль моя была в том, что возможность ядерной войны – это искус самоубийства, через который человечеству необходимо пройти на пути к духовной зрелости. Пока человек не может убить себя, он еще ребенок. Вот так и человечество до 1950-х гг. еще барахталось в пеленках, и даже масштабы прежних мировых войн были недостаточны для его саморазрушения. Только после создания ядерного оружия вопрос «быть или не быть» перешел для человечества на уровень сознательного выбора. Так что во всей скуке и бесславии нашей эпохи все-таки у каждого дня и года был свой остро-событийный смысл: мы выбирали жизнь. Прав был философ Николай Федоров, которого я раньше не любил и недооценивал: Апокалипсис потому и предначертан человечеству религиозно, чтобы оно исторически, усилием каждого дня и волей к самоспасению, могло его отдалить.

Ю

Дневник

7 мая 1966.

Минск

Впервые в жизни приснилась атомная война.

22 марта 1968.

...Я глянул в верхнюю часть окна и испугался: рядом с одиноко стоящим огнем, слишком ярким для звезды, двигался медленно еще один, он двигался около первого так медленно, что я подумал равнодушно: вот летит ракета на нас; потом... понял, что это огонь на движущейся стреле подъемного крана...

7 марта 1969.

Сон. 900 рублей стоила Зикина машина. Я оставался ночевать в ней – и всю ночь со мной было что-то невообразимое: водило, как хмельного. И я увидел, первым из людей, войну в небе. Было тепло, лето.

Утро. В общежитии – брат, мама. Не верят. Потом все узнают. Во всем приметы страшного нового – война. По краям неба летают ракеты.

Сталин, живет в Танжере (или в Тунисе). Ставит З-ову [тому самому стукачу с этажа. – Ю.] зачеты. Я долго всматривался в его подпись. Он хорошо выглядел. С З-ым у него была дружба.

Потом еще в комнате. Содрогание от сознания измены. За окном уже март, снежок. Я вижу самолет, он медленно, красиво и низко летит, и вижу: из него падает бомба – на спортплощадку упадет. Я ложусь на пол. Но взрыва не слышу. А бомб много, и они медленно опускаются.

В общежитии начинается беганье, все бегают, ищут, где спрятаться, я – тоже, навстречу бегут люди с искаженными смехом лицами, хохочут и бегают, «сейчас и со мной начнется...», вдруг кто-то хватает меня сзади за бока – это брат, я было подумал: он уже готов, но нет, брат еще держался, и мы одни бежали по тесному коридору общежития, сознавая себя среди бегущих рука об руку с нами вполне невменяемых людей – хохочущих, хихикающих, заливисто смеющихся, плачущих, искаженных смеховой истерикой.

Такие это были бомбы.

1 июня 1970.

...Будущее связывается с категорией возможности. Будущее есть то, чем я должен быть, поскольку я им могу не быть...

* * *

Теперь, Миша, в 2016–2017 гг., мы то и дело слышим, точнее, читаем в социальных сетях о «последних временах». Скажу, что меня этот новый «апокалипсис нау» трогает уже не так, как в юности, когда снилась третья мировая. Мы, возникшие вместе с Бомбой, свои «последние» благополучно пережили. И стресс холодной войны, и ядерный *Der Angst*, и Советский Союз, и даже свои надежды на перемены к лучшему.

Сейчас объективно времени меньше, чем было в юности, а почему-то кажется, что больше. В юности – моей, во всяком случае, а она была очень зыбкой, – не было уверенности даже в завтрашнем дне. Не в смысле что придется еще туже затягивать ремень, а в том, что я физически продлюсь до послезавтра.

Дотянуть же до фатальной цифры «29» казалось вообще невероятным. Я думал, что судьба мне умереть на подступах. Потому что перевалить через этот срок было преступлением и святотатством перед памятью отца. Возраст, в котором его не стало, виднелся в перспективе, как шлагбаум. Как наглухо закрытые ворота, из-за которых сквозило замогильным. Я приближался к этой цифре с нарастающей тревогой. И было отчего. Потому что именно в возрасте отца я умер. Гибель метафорическая, но вполне «всерьез». Произошло это в мои двадцать девять.

Шлагбаум поднялся, ворота открылись, Бытие, пусть и советское, осталось позади, а впереди был «миф о загробной жизни». «Золотой теленок», кажется? Миф, в котором новой тени царства Аида предстояло как-то оперировать.

Б

Бабий яр

Ю

Мне было десять лет, когда мы попали, как тогда говорилось, «на» Украину. Не знаю почему, но мама решила «снять дачу» где-то в самой глубинке, в Житомирской области, в деревне Клочи, что под городом Коростень. Но до этого броска в неведомое мы остановились в Киеве.

Там в красивом, но облупленном высоком доме в то лето почему-то жили наши ленинградские знакомые Богини, мама и сын ее Миша⁴. Еще там был жизнерадостный дядька с запорожскими усами и ласковым говором. Радиоточка на кухне пела «Дивлюсь я на небо – та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю». Все почему-то понимая, я смотрел в безграничное пространство над обрывом, на котором стоял дом. Далеко за Днепром горел закат, и я тоже сожалел, что Бог не дал мне крыльев, чтобы покинуть эту землю. Главная причина – невозможность отношений с местной детворой.

Несмотря на жару, мальчишки ходили в длинных штанах. Я был в коротких. Они приняли меня за иностранца, что я зачем-то подтвердил. Йа, йа. Откуда? По занесенной песком плите тротуара веточкой написал: *Berlin*.

Теперь был вынужден играть в молчанку – якобы по-немецки. Мальчишки и девочки весело щебетали, ползая по броне, а я, в одиночестве стоя внутри башни, тупо крутил из последних сил за ручку, вращающую ствол этого почему-то брошенного посреди одичавшего сада танка, слушал невообразимые речи с местным акцентом и шурился в смотровую щель на солнце.

Образ некоммуникабельности.

Причем по моей собственной вине.

Стоит ли удивляться, что вспомнилось об этом в первый же год настоящего и необратимого самоизгнания, в квартале Бельвиль? Я еще не познакомился с Виктором Некрасовым, киевлянином и борцом «за Бабий Яр», но уже прочел «сюиздатский», без купюр, роман Анатолия Кузнецова, «невозвращение» которого 10 лет назад было событием для меня, невозвращенца будущего, на первом курсе МГУ...

Из парижских манускриптов

Неподалеку стояло редкое дерево: на нем росли грецкие орехи. Невысокое такое дерево. Орехи были еще неузнаваемые: зеленые, мягкие. Когда он потрогал, стоя под деревом, то подумал, что зрелыми их не увидит. Жесткими, твердыми, замкнутыми, непрони-

⁴ Богин Михаил Шоломович (1946–2000). Окончил факультет драматического искусства ЛГИТМиКа (1973). Работал режиссером в ленинградских театрах, режиссировал концерты на радио, телевидении Ленинграда, Новгорода, Горького, Иркутска, Рыбинска, Читы, Ташкента, Алма-Аты, Владивостока (1973–1983). Преподавал актерское мастерство, режиссуру и теорию драмы в вузах и театральных студиях, доцент кафедры киноискусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (до 2000). Автор пьесы «Баллада о парнишке» (1972). Второй режиссер на киностудии «Ленфильм» (с 1983), снял фильмы: «Это было у моря» (1989); «Такси-блюз» (1990); «Я служил в аппарате Сталина, или Песни олигархов» (1990); «Большой концерт народов, или Дыхание «Чейн-Стокса» (1991); «Хрусталеv, машину!» (1998). Убит в Санкт-Петербурге 3 августа 2000 г.

цаемыми. Зело тверд сей орешек, говорит отчим, медленно сводя пальцы в кулак, внутри которого пара грецких орехов, зело тверд, но не для русского кулака.

А вокруг был пустырь. Небольшой такой пустырек, обнесенный помойной бузиной. Дни стояли знойные, и из-под бузины, заслуживающей свой эпитет, наплывали запахи гниения. Только внутри можно было спастись от вони. Внутри был один запах – крутой, обжигающий ноздри, спекающийся в легких. Запах нагретого металла. Запах толстой брони. Запах неуязвимости.



Бабий Яр. 1958

С фотоснимка с узорчатым обрезом улыбаются две женщины и по-разному смотрят два мальчика, их сыновья, другого зовут Миша. Не вспомнить, кто снимал, но моим рукам вспоминается и вес, и шероховатость дорогого фотоаппарата, и страх отзывается в моих пальцах,

вслепую ощупывающих непривычный рельеф в поисках спусковой кнопки, и трудно усомниться в памяти своих рук, но, с другой стороны, тот, другой мальчик, который не толстый, не скрестил над выпяченным животом свои руки, не в войлочной шляпе, не на переднем плане и не стал впоследствии кинорежиссером, тот мальчик, содержащий в себе тьму-тьмущую возможностей... тот мальчик без судьбы, но рядом с матерью... тот мальчик, Господи...

Они стояли над оврагом, пятнистые от солнца и листвы, и дом, где жили Богини, был минутах в пятнадцати... точнее, был неумолимо близко, а овраг, что удивительно, имел свое название, довольно странное, Бабий Яр, – ну, пусть я один такой темный из всех русскоязычных на Божьем свете: сознаюсь, раскрыл последний том словаря... так, стало быть, из тюркских темных языков и означает крутой, обрывистый берег. Обрыв. Областного значения словцо.

И рой догадок: отчего же Бабий?...

Ох, мать городов русских, я, разрозненная частица некогда крещенного тобой народа, православная моя мука, отчаяние неверия, ибо как принести в жертву точность? И разве не судьба – погибнуть, сгинуть и рассеяться, но – точным. Не сорвавшись с линии, приемлемой душе, и только лишь тебе, душа, одной. Одна из точных линий – вот приложение усилий.

Итак.

Неподалеку дерево стоит.

Бассейн

Ю

Однажды в порядке познания столицы СССР (а говоря «аналитически» – то в поисках утраченного материнского начала) посетил в крещенские морозы бассейн «Москва».

В прошлом остались минские бассейны. В первый, сокрытый в Доме офицеров, в левом его крыле, нас с братом привела мама весной 1957 года. Конечно, у нас был опыт Финского залива, но в канун первой поездки на Черное море решено было нас подготовить к более бурным испытаниям. Бассейн был маленький. С трехметровой вышки страшно было прыгать, казалось, можно промахнуться мимо воды. В ранней юности, когда я стал «строить тело», бассейны возобновились, но другие: дощатый и старый на Комсомольском озере и новый «современный» в спортивном комплексе у Ботанического сада. Оба открытых.

Дневник

13 июня 1964.

...Джон встал, взял ласты и пошел вниз; скамья, откуда он встал, была мокрой; они шли по краю бассейна, скользили по доскам. Павлик поднимался, он был мокрый, плавки потемнели, он нес ласты, и с них капало. Парень: попробую переплыть бассейн. Да, под водой... Не знаю, может с первого раза не переплыть.

Я начал плохо. Все зависит от прыжка. Если хорошо прыгнуть, три метра пройдешь по инерции. Где я вынырнул? Где тот парень или ближе. Все зависит от прыжка, а я плохо начал.

* * *

Иными были и причины возобновления. «Пусть лучше спортом занимается, чем бегают по девочкам», – мрачно услышал я, как объясняла мама приехавшей из Ленинграда бабушке мои вечерние сборы в дорогу. Бассейн был не вместо девочек. С помощью большой воды велась подготовка к «Большому Сексу». Образы его маячили сквозь рваный пар плечистыми фигурами пловчих. Торпедами они врезались в мою голову, чтобы не покинуть ее больше никогда. Мы с ними не соприкасались, работали на разных дорожках, разделенные толстыми канатами, пропущенными через пенопласт, однако находились в одной стихии, пусть и хлорированной, но сближавшей куда более, чем равнодушный воздух, и я знал, что параллели не навечно: рано или поздно мы непременно сойдемся. Но бассейн был не только контроль, раздевалки, душевые и располосованный голубой прямоугольник. Бассейн включал еще и путь к нему, а особенно обратно, в темноте. Пролегая через местный «индастриал», путь этот был рисков. Был и другой, трамваем и троллебусом в конец проспекта. Но я предпочитал «срезать» опасно.

Еще и в этом плане «школа мужества».

Пятнадцать лет, шестнадцать...

Далекое прошлое.

В канун двадцатилетия я казался себе всеведущим, как автопортрет Ходасевича. Не будучи, конечно, желтым, как змея... Но удивить меня ничто уже не могло. Входил и тут же убеждался в inferнальности этой «Москвы», построенной вместо взорванного храма. Сквозняки раздевалок, неприглядность старого кафеля, какие-то закутанные фигуры на бор-

тиках сегментов. Жуть непроглядной и скорее мертвой, чем живой воды. Вместо доверия к символу всезащищающего лона – полное опаски отчуждение. Возможное присутствие Танатоса на месте Эроса – полностью отсутствующего. Несмотря на прожекторный свет, ничего не видно от клубов пара, голова мерзнет и не оставляет мысль, что могут утопить в порядке столичных развлечений (тогда ходили слухи о жертвах этого бассейна). Я отдергивался и уносился кролем прочь, соприкоснувшись с посторонним телом. Но я попал удачно, не слишком поздно, и, кроме меня, в раздевалке был только москвич средних лет с сыновьями-подростками, на которых я, общежитская «безотцовщина», смотрел снисходительно, нахлобучивая на мокрую голову пыжик...

Зима 1967–1968.

1-й курс.

В следующий раз в бассейн приду уже в Париже.

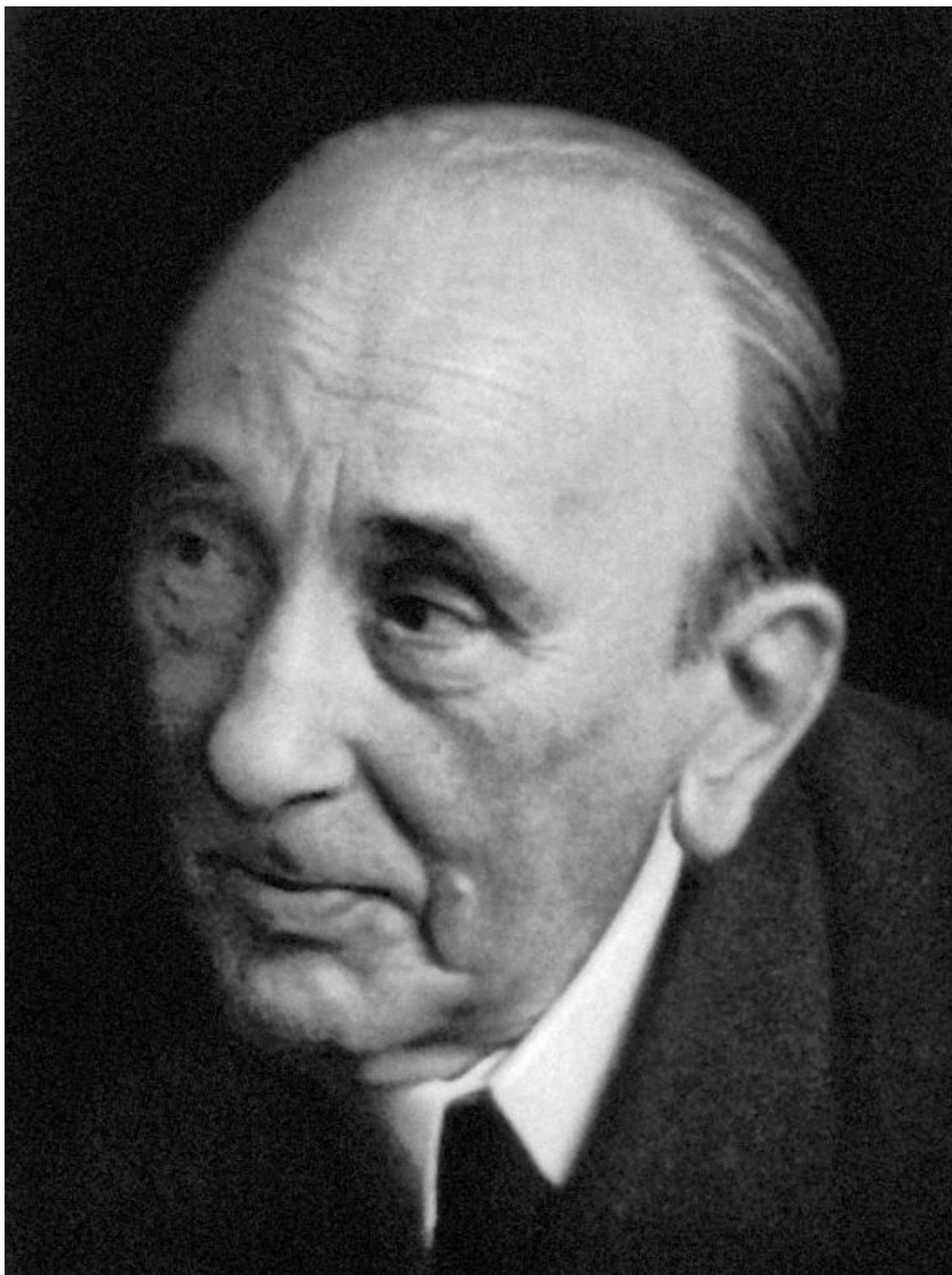
Э

Помню эту иссиня-неоновую, подкрашенно-подсвеченную воду и как надо было подныривать с головой под загородку на входе-вплыве из раздевалки. Морозный воздух щипал ноздри и мокрые волосы. Уличный шум смешивался с ближним плеском, – вокруг резвились русалки, и я не без умысла пересекал им дорогу. Какое-то сладкое чувство меня влекло в эту дымящуюся дыру, живую оттепель, паровую отдушину в центре морозной Москвы... На том самом заколдованном месте, где высился когда-то храм Христа Спасителя, главный храм Третьего Рима, разрушенный для того, чтобы там же возвести главный храм второго мира, Дворец Советов – на полкилометра в высоту. А осталась от этих святилищ только мокрая дыра, в которую мы и окунались.

Бахтин

Э

Ты видел один раз Ю. В. Андропова, а я – Михаила Михайловича Бахтина, к которому попал по милости дочери Ю. В. Андропова, молодой и красивой филологини Ирины, которая ходила в семинар к Владимиру Николаевичу Турбину и по его просьбе выбивала для Бахтина какие-то медицинские и жилищные блага у высшего начальства. Весной 1970 г. Турбин повез своих семинарцев в Подольск, чтобы показать им «льва» и чтобы он «помахал им хвостиком». Бахтин был (как теперь принято говорить) «культовой фигурой» в турбинском семинаре, посвященном приложениям и переложениям бахтинского наследия. Сначала мы пололи и поливали какие-то грядки во дворе подольского дома для престарелых, где в то время жил Бахтин с супругой (московскую квартиру он получил позже). Это нужно – объяснил Турбин – чтобы задобрить начальство престарелого дома и показать им значимость Бахтина. А потом в награду мы получили право на свидание с Мыслителем. Он сидел на кровати, рядом с ним, выставив босые ноги с педикюром, сидела его жена, худенькая, похожая на птицу и так же щебетавшая. Нас было человек 15–20, семинарцев и примкнувших, но говорил, кажется, только я, забросав Бахтина вопросами по теории новеллы (о которой писал курсовую) и о его философских симпатиях. Вообще мне трудно бывает заговаривать в компании, даже не столь большой, но, когда случается редкая встреча, удача которой может не повториться, меня несет, как случилось и при встрече с Битовым (см. ниже). Моя речевая наступательность (в основном вопросительная), возможно, объяснялась и тем, что я старался заполнить паузу, – все другие молчали.



М. М. Бахтин. Из всех фотографий ближе всего к тому, каким я его запомнил

Бахтин говорил не слишком много, но и не отмалчивался. Он признался в философских симпатиях к Максиму Шелеру и Отто Больнову (Volpov), ученику Хайдеггера. Он сказал нечто о значимости К. Маркса и Ф. Ницше и о том, что учение последнего, к счастью, не отягощено догматикой и схоластикой (возможно, это его суждение я не тогда, а позднее слышал от Турбина, вряд ли он так доверился бы студентам, тем более пришедшим по наводке дочери Ю. Андропова Ирины). Он посетовал, что в русской и советской науке теория новеллы почти не разработана, и приветствовал мой будущий вклад в нее (здесь нужно поставить смайлик).

Он вспомнил в какой-то связи про серийные романы рубежа XIX–XX вв. о приключениях Рокамболя и посмеялся вместе с женой над чепухой и абсурдностью тех сюжетов. Он пренебрежительно отозвался о теософии и антропософии, назвав это мистикой низшего разбора. На вопрос, чем он занимается как ученый в последнее время, Бахтин ответил: теорией речевых жанров. Он точно так же мог бы ответить на этот вопрос и десять, и двадцать, и сорок лет назад. Я ушел не очарованный и не разочарованный, но под сильным впечатлением самого факта встречи с великим человеком, который вовсе не обязан демонстрировать свое величие всякому встречному-поперечному, тем более третьекурснику.

Ю

Слухи об этой исторической встрече дошли и до меня на Ленгорах. И о том, что Бахтин почесывал седую грудь. И о том, как вы разобрали на сувениры всю пачку его печенья «Лимонное».

Потом в Париже, в книжной лавке у славной площади Сен-Мишель, увидел его книгу по-французски рядом с Бютором и запрещенным в СССР Бердяевым... имя которого даже Трифонов смог протащить, только назвав *Белиберяевым*... Возгордился так, что готов был показывать пальцем не только Ауроре, но и продавцу (за отсутствием покупателей). Потом впал в горечь антисоветизма. В стране четверть миллиарда носителей «серого вещества», а где мыслители, которых можно миру предъявить?...

Со школы читал и перечитывал обе его книги – «Проблемы поэтики Достоевского» и о Рабле. Концепт полифонизма отвечал моей толерантной антитоталитарности («Я – человек широких допущений», говорил я о себе). Тогда как «карнавализация», «смеховое начало» – это, конечно же, раскрепощало, оправдывая известные эксцессы.

И низ материально-телесный
Был у нее прелестный...

Не будущий ли наш приятель сочинил?

Э

Конечно, Юз Алешковский.

Бахтинские сироты

(С. Бочаров, Г. Гачев, В. Кожин, В. Турбин)

Э

Это поколение литературоведов, которое пришло к зрелости в конце 1950-х – начале 1960-х гг. и формировалось под воздействием идей Михаила Бахтина (1895–1975). Можно назвать их «бахтинскими сиротами», по аналогии с известными «ахматовскими»: молодыми поэтами из близкого окружения Анны Ахматовой. Сформировались они в тот же самый период: Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. Дмитрий Бобышев дал такое название «соахматовцам» в стихотворении «Все четверо»:

И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела: в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.

«Воспитующей» для сирот Ахматовой была не только ее поэзия, но сам воздух культуры Серебряного века, который они впитывали через нее. По свидетельству А. Наймана, «Ахматова <...> учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу, – ему тоже, но походя, и, кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. <...> Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха».

Таков был механизм культурного наследования в то переломное время: перескочить через голову «отцов», т. е. предыдущего, сердцевинно-советского поколения 1930–1940-х. Учиться не у Симонова, Исаковского или Твардовского, но у Ахматовой. После ее смерти осиротевшие поэты окончательно повзрослели и пошли каждый своим путем.

Такое «сиротство», казалось бы, уникальное, на самом деле – частный случай общей модели преемственности: не только в литературе, но и в литературоведении. *Бахтинских сирот* тоже было четверо: Сергей Бочаров, Георгий Гачев и Вадим Кожин работали в отделе комплексных теоретических проблем Института мировой литературы; Владимир Турбин преподавал на филологическом факультете МГУ. Эти четверо познакомились с книгой М. Бахтина о Достоевском, изданной еще в 1929 г., – и разыскали забытого автора, жившего после ссылки в глухом Саранске и преподававшего в Мордовском педагогическом институте. Они признали Бахтина своим учителем, добились переиздания его книг и публикации рукописей и способствовали его переезду в Москву. От Бахтина они восприняли уроки не только профессионального литературоведения, но сам дух свободного мышления и вопрошания о последних смыслах, о месте личности в культуре и языке.

Возрастной разрыв между Бахтиным и «бахтинцами» был лет на 10–15 меньше, чем между Ахматовой и «ахматовцами», и эпоха культурного наследования, взятая ими за основу, была не предреволюционная, а скорее ранняя послереволюционная, 1920-е гг. Но по сути это было то же самое стремление вступить в диалог с «позапрошлой» эпохой, минуя прошлую, – учиться не у М. Храпченко или В. Ермилова, а у самого М. Бахтина, изгоя советского литературоведения, практически ничего не опубликовавшего в 1930–1950 гг.

Пути бахтинских сирот, за пределом их общей привязанности к учителю и заботы о его здоровье и интеллектуальном наследии, тоже оказались очень разными. В. Турбин (1927–1993), по натуре педагог и публицист, преподавал бахтинский метод, теорию жанров на филфаке МГУ, в своем семинаре, который привлекал самых одаренных и неортодоксальных студентов, хотя и сам носил черты бахтинской ортодоксальности. Г. Гачев (1929–2008) переплавил бахтинское наследие в свой оригинальный метод космо-психо-логоса в изучении национальных культур. В. Кожин (1930–2001), поначалу разрабатывавший бахтинскую теорию романа, двинулся затем в ряды славянофильских мыслителей и успешно их возглавлял в 1970–1980-е, пока не был вытеснен геополитически более хищными и метафизически наглыми евразийцами.

С. Бочаров (1929–2017) в наибольшей степени остался «частным лицом», свободным от всяких трендов и направлений: ни к чему не примыкал, ничего не провозглашал, а писал о тех, кого любил, на языке четкой филологической прозы, не впадая ни в жаргон какого-либо «изма», ни в ассоциативный произвол эссеистики.

Уже в 1960 г. он был фигурой легендарной. Помню восторженный шепот филологических девочек, когда он появился на каком-то вечере в МГУ. «Посмотри, это Бочаров, ведь правда, он похож на Христа?» В Бочарове были тонкость, изящество, сосредоточенность, самоуглубленность, мало свойственные даже лучшим представителям советской интеллигенции. Он умел нести в себе какую-то тишину.

В 1970-е годы я почти еженедельно встречался с ним на заседаниях сектора теоретических проблем Института мировой литературы. Там громко звучали голоса В. Кожина, П. Палиевского, Е. Мелетинского, А. Михайлова, И. Подгаецкой... От выступлений Бочарова оставалось впечатление, что он не все сказал и хранит и переживает в себе недосказанное. Вот эта воздержанность, своего рода аскетизм слова и мысли были тем «христианским», что выделяло его среди языкастых «язычников».

Труды его тоже были немногочисленны и немногословны. Они привлекали не смелостью идей и широтой обобщений, а чистотой филологического вкуса, разборчивостью, интеллектуальным тактом в сочетании со «свежестью нравственного чувства»; недаром Л. Толстой, о котором это было сказано, стал одним из его главных героев. Бочаров заходил и в XX век, но крайне осторожно, удерживая филологию на максимальной дистанции от политики: «поток сознания» у М. Пруста, «вещество существования» у А. Платонова.

В нем не было ничего ослепляюще-яркого, но он был светлой личностью и светлым мыслителем в очень серое, а порою и мрачное время. Ни на что не покушался, не потряс Зал основ, за что и был любим всеми, тогда как три других «сироты» нажили себе много идейных врагов и стилистических насмешников. С. Бочаров в ряду других бахтинских сирот воспринимался как самый скромный, филологически совестливый, морально вменяемый, без идеологических и философских претензий.

И в этой своей ничейности и вселюбимости С. Бочаров, как ни странно, оказался ближе всех самому наставнику – М. Бахтину. Правда, Бахтин не был «ничейным» – он был «всехним». Каждый из него черпал что хотел и сколько хотел: и философию, и культурологию, и антропологию, и лингвистику, и христианство, и экзистенциализм, и соборность, и русскую идею... Оттого оказалось так много бахтинских «кругов» и «кружков»: от старших и сверстников (М. Каган, Л. Пумпянский, И. Канаев, П. Медведев, В. Волошинов) – до «сирот». Бочаров вышел из бахтинского круга – и не разомкнул его в прямую линию направления, а сжал просто в точку, в искусство глубоко личной филологии. Из всех «бахтинских сирот» он ушел последним, как будто поставив эту необходимую точку в конце эпохи.

Ю

Солженицына выслали из СССР 13 февраля 1974 г. «Голосов» мы с А. не слушали, не имея по бедности транзистора, но как-то я об этом узнал (сосед сказал или человек на улице). Следующее собрание Литературной студии при Московской писательской организации и городском комитете комсомола было посвящено «промывке мозгов». И там, в Центральном доме научного атеизма, под который была отдана городская усадьба начала XIX века на Таганке, неожиданно-негаданно появился один из «бахтинских сирот». Я сидел в правом ряду, перед которым «учительский» стол был в пределах моей слышимости. Кожин, занимая место за столом, склонился над нашими «учителями» и понизил голос: «Будут спрашивать о Солженицыне». Видимо, на этот случай он и был приглашен. Чтобы компетентно разъяснить, за что и почему был выслан писатель, который открыто боролся с коммунизмом на заднем плане нашей юности. Те, кто устраивал актуальную «промывку мозгов», не сомневались, что вопрос о Солженицыне прозвучит. В лекции, которую мы, начинающие литераторы, прослушали – ни слова ни о Солженицыне, ни о высылке. «Вопросы будут?» Гробовое молчание. Притом что имя «Солженицын» было на уме у всех, никто его вслух не произнес. Мне показалось, что Кожин был разочарован этой демонстрацией тотального отсутствия гражданского мужества. Экспертные услуги, к которым он был готов, оказались невостребованными.

БИТОВ

Ю

Боже мой, какой значительностью все было исполнено!

Поход к Писателю...

Севастопольский бульвар, зимнее начало 1971-го.

Я звоню тебе из ГЗ, из роскошно-дубовой «сталинской» телефонной будки в фойе своего этажа. Тебе, потом Битову. Мы договариваемся о встрече. Связник. Соединитель. Ты его читал, но о тебе он знает только от меня. Консолидатор. Волнение в обе стороны. Чтобы тебе понравился. Чтобы понравился ты.

Сырой холод. Мокрый московский снег. Жужжание грузовиков. Рыжие колеи. Район новостроек. Мы купили пиво и несем в лохматой авоське (откуда, казалось бы, у нас? Но одолжили, запаслись, была...). Звон бутылок на узкой лестнице, где авоську нам приходится переть по диагонали, ты сзади, я впереди...

Битов? Такая фамилия, что раз встретишь – не забудешь. Впервые мне она попала в глаза в найденном у сестры сборничке Александра Кушнера – в качестве посвящения к стихотворению 1962 года «Два мальчика, два тихих обормотика...»⁵. Привожу его целиком, поскольку это один из эталонных шедевров моего поэтического отрочества. Потом я наткнулся на сборник самого Битова «Большой шар», написал автору, завязалась переписка (получение каждого письма отмечалось мной в дневнике) и наконец – очная встреча.

Дневник

Битов.

Токсово, Глухая, 28. Сосн. Напр. Финл. Тел. В 2-28-7. Л-д, П-22, Аптекарский пр., д. 6, кв. 34. Ленинград, Д-25, Невск. 110, кв. 32. Ж 2-95-14. Д.р. 27 мая 1937 г.

6 января 1968.

...Письмо от А. Б-ва

7 января.

...Вечером написал письмо А.Б.

22 января.

Уехал в Л-д в 16.50.

25 января.

После пяти, ночь, 26 утром – у А. Битова в Токсово (три строки плотно замазаны, чтобы не прочли те, кто в общежитии читал мой Дневник).

⁵ Два мальчика. *А. Битову* Два мальчика, два тихих обормотика, ни свитера, ни плащика, ни зонтика, под дождичком на досточке качаются, А песенки у них уже кончаются, Что завтра? Понедельник или пятница? Им кажется, что долго детство тянется. Поднимется один, другой опустится. К плечу прибилась бабочка – капустница. Качаются весь день с утра и до ночи. Ни горя, ни любви, ни мелкой сволочи. Все в будущем, за морем одуванчиков. Мне кажется, что я – один из мальчиков. 1962

8 марта 1968.

Ленинград

Приезд. Слякотная погода. Звонок к Б, – отвечала жена... Приглашение. До 5 утра – в подавлении волнения и чтении из (нрзб.).

9 марта.

С 11 до 2.30 у Б. Книги. О собственном творчестве. Подарки и отдарки. «Дом».

Вечером дома. Чтение: «Образ», «Инфантьев», «Бездельник», «Записки из-за угла». Любовь к перу.

10 марта.

С 12 до 1.29 у Б. Вокзал, у сестры. Дома. Отъезд... В поезде сделал наблюдение, которого нигде не встречал. Иногда я думаю неосознанно-словесно; иногда же словесность мысли понимается – тогда мысль как бы записывается с ощущением усилия ведения ее.

16 марта.

«...» Битов писал «Пенелопу» 8 часов. Или я путаю с Кафкой. Причем он писал по свежим следам – предполагаю.

Где-то в те дни мы с Битовым шли по Невскому, радуясь солнцу, как вдруг ему навстречу некто маленький и в больших очках: «Андрей!» – «Александр!..» Кушнер! Поэт. Автор того самого стихотворения «Два мальчика...». Кушнер сказал Битову, что прочитал его роман и у него есть возражения относительно роли аристократии. На эту тему они, стоя на Невском, спорили, а я смотрел на этих тридцатилетних и поздравлял себя с таким поворотом судьбы – вот уже и приобщение к питерской литературной жизни!

На том же Невском встретился и Вольф – Сергей Вольф, которого Битов называл своим учителем. Но этого высокого бегуна-бородача в советских тренировочных штанах мы встретили не с Битовым, а с Ингой Петкевич, и было это позже...

1970, 17 марта.

Я в СПб. «Гербарий» и «Армения». Инга и Андрей, Эльза и Луи, Жан-Поль и Симона... Силуюсь восстановить число. Только что пробило половину, скоро четыре. Число узнаю, проснувшись. Теперь началось у меня время *sans sexe*.

18 марта.

Jour sans sexe и в Минске [где Лена] и в Ленинграде.

19 марта.

J.s.s. Ездили по рынкам в поисках копилки для Ани. Монологи А. Б. До, во время и после обеда. До 5 ночи читал его.

20 марта.

Sans sexe. Еще встреча, теперь остались одни усы. Поехал с ним, разошлись у Смольного. До четырех ночи читал «Гербарий», замечательный роман.

21 марта.

Sans. В промежутках между едой лежал и перелистывал, не вчитываясь, *Giles Goat-Boy* by John Barth. Безмысленно мне.

22 марта.

Дождлся вечера, пришел к ним, сказал о «Гербарии», пили чай, шампанское, мной принесенное, и я больше слушал. А Инга мне очень нравится. Он мне показывал фотографии, одновременно одеваясь в дорогу, а она собирала ему чемодан; все были довольны друг другом. И потом мы пошли, он с чемоданом, по Невскому и простились. До 5 ночи читал принесенные рукописи – 2-ю часть романа, ранние рассказы – «Воспоминание о бочке», «Вафли», «Чужая собака», «Кашей бессмертный» (Старая сказка)». Разводы. Почему-то мне легче стало думать о предстоящем романе. а) «Жизнь и репутация Левы Одоевцева» б) «Пушкинский дом»...

23 марта.

...прочитал «Эники-беники».

...

25 марта.

Рассказ Вульфа, роман Джонса (слабый), «Осквернитель праха», «Приметы» Кушнера, «Нюрнбергский эпилог», чтение.

25 марта – 6 апреля.

После пассажа у Инги уехал ночью в Москву, где моментально стало тошно, и через три дня я налегке вернулся в Ленинград. Никаких перемен в образе жизни не было, встретился еще несколько раз с Б...

* * *

Ну и так далее. Просто радуюсь возможности внести хоть какую-то хронологическую документальность благодаря дневникам, воскресшим к этому изданию.

Вернемся к нашему визиту.

Там, на Невском, 110, две большие комнаты в его коммуналке были обставлены XIX веком. Здесь же эмигрант из идеологически тесного Ленинграда, вырвавшийся в Москву, которую он намерен «взять», обитал в обстановке советского studio – однокомнатной квартире в блочном доме. Кровать, «стенка». Столик под лакированной подвесной полкой. Блеск стекла, блеск темного лака – ненавистный образец мебели, которая экономит пространство. Что стоит на подвешенных полках со сдвинутыми стеклами? То, чем он восторгается на тот момент. Академическое издание. «Рукопись, найденная в Сарагосе». Ян Потоцкий. (Барокко не любя, не разделяю восторг. Не знаю, что судьба готовит мне испанку, у которой среди прочего окажется и польский опыт, и язык.)

Пробитые его когтями кружочки клавиш. Паршивая заедающая машинка, творящая в высшей мере рациональную лирику, которая тогда была пределом публикабельности. Сидим неудобно. Тесно. Ты самый младший и наименее светский – скажем так, имея в виду твою бесцеремонную настырность. Этого я не предвидел. Встреча проходит не так, как мне представлялось. Битову, видимо, тоже, он бросает взгляды на меня. Не ждал он, что его это нарвется на эго 20-летнего Эпштейна. Твой бадиленгвидж. Порывистость до того, как сел – и придавил всей гравитацией. Тяжесть твоей неподвижности. Твое самообъятие – пределы тебя, себя в них заключающего.

Иногда ты его размыкаешь, чтобы взять со стола стакан с холодным «Жигулевским». Горьковатым. Пьется плохо. Хочется тепла. Согреться нечем. Жрать, как всегда у Битова,

нечего. (Раз в Питере с Ингой Петкевич, женой-писательницей, они меня угостили. Жареные сосиски с гречневой кашей, тоже со сковороды. Но пришлось бежать за хреном через Невский в гастроном, потому что у них кончился, а я вот никак не мог без и чувствовал к тому же, что должен внести вклад. Купленный мой хрен был изготовлен на заводе *Ильича* – на что за столом, придвинутым к стене в полосатых обоях, я обратил внимание супругов, заслужив похвалу за антисоветскую наблюдательность. «Какой закомплексованный юноша», – предполагаемый после моего убытия комментарий Инги Петкевич, от которой я впервые услышал это впоследствии модное выражение – по поводу другого визитера.)

Твоя холодная самоуверенность. Его питерская спесь. Он только что из-за своей первой заграницы. Преимущества члена СП СССР. Польша. Купленные там американские джинсы. Знакомство с Анджеевским, автором романа «Пепел и алмаз» (который уступает фильму Вайды, но тоже мною очень почитаем). Его смятенность. *Зачем все это ему нужно?* Прагматической пользы – ноль. Я-то хоть Набоковым его обеспечиваю – и конфиденциал со стажем. Со «вкусом» – признанным за мной давно. Кайф в плане московской коммуникации ему приносит только Юз Алешковский, который и подкармливает заодно. Битов нервничает. Отбегает, чтобы заняться кофемолкой – полированный цилиндр металла, который с треском он накручивает. Схватившись, как за символ фаллопревосходства. Запах кофе (если не в тот раз, то в другие точно). Я самоустраняюсь, предоставляя вас друг другу.

Вид из окна на заснеженное пространство между панельными домами небытия, как существование, на которое мы обречены. В которое мы сейчас вернемся, разойдясь по своим в нем местомигам. Которое может прорезать только это, что мы тут втроем переживаем, – контакт. Коммуникация. Но с твоей стороны в ней занят только мозг. Который обслуживает необходимое тебе самоутверждение. Ты подавляешь человека, который старше тебя на 13 лет, своим количеством сюжетов. Своим потенциалом.

Чем закончилась встреча? Возможно, мы уходим, провожая его на встречу с Юзом – в драповом пальто, гневно-ревниво сверкающего на нас своими красными глазами. На «пацанов».

Мы выходим на улицу. Мы остаемся внутри поколения, которое состоит из нас двоих. Никого больше я не знаю, а если знаю, то почему-то мне неинтересно. Ты интересен. Ты у меня – такой.

После этого телефонные упреки Битова. «Зачем вы привели ко мне...» Тем не менее, и в этом весь Битов, сепаратные отношения между вами возникли незамедлительно.

Чему я – консолидатор по природе – был альтруистично рад.

Э

От Битова и тебя исходила аура Прозы, в которой я, несмотря на все юношеские порывы, чувствовал себя чужаком. Лет пять – университет насквозь – я провел в этом разделенном с тобою прозаическом томлении, писал рассказы, хотя в лучшем случае мне следовало бы писать только сюжеты, планы, конспекты.

В первую встречу, изящно и щадяще рассказанную тобой, я передал Битову какие-то из своих писулек. И вот вторая, главная встреча, приговор Мастера.

Из дневника

11.3.1971.

«Ресторан «Ялта», потом у Битова на квартире, потом пришел Сережа, и вечер провели у Сережи. Б. страшно талантлив, речь великолепна, заворожил, мысль течет полноводно и не поддается переложению и обработке. Разговорно агрессивен, все темы берет себе и на себя, крайне монологичен.



С Андреем Битовым у него на Красносельской. Москва, 2003

О моих рассказах: очень точны на уровне замысла, сюжета, философской идеи, но не вполне пластичны, не хватает реальности. Читатель понимает все авторские ходы, сочувствует им, но не подчиняется, не овладевается. Я беру сразу слишком далекие вещи. Раздражает духовность, тонкость, – нужно тонкость выводить из грубых вещей; цена грубой мысли. По проблеме лучше всего «Гость» (нелюбовь оказывается сильнейшим чувством), по написанию – «Мертвая Наташа». Слишком чувствуется любовь автора к себе, самолюбование посредством саморазоблачения («Паломник»). Выдаю о себе больше, чем собираюсь сказать, – проговариваюсь (впрочем, как и Толстой, Достоевский). Свежесть и цельность нравственного чувства (он мне «завидует»). Замысел романа одобрил. Предлагал по мере накопления приносить».

Когда я в московском ПЕН-центре, вернувшись в Россию первый раз за 13 лет (2003), встретил его президента Андрея Битова на чествовании ветеранов ко Дню Победы, он сразу вспомнил этот первый эпизод. «Приходит ко мне 20-летний Миша и спрашивает: «У вас сколько задумано сюжетов?» Ну я повертел в голове, вроде 7 или 8. «А у меня, – он говорит, – 138». Даже цифру запомнил. Вот так я тогда, в 1971-м, по глупости и гордыне мерился с Битовым. Разница в том, что он все свои 7–8 воплотил. И даже больше. А я из 138 – ни одного. Потому что все мои сюжеты очень быстро проговаривались, это была не Проза, а Замысел, Сюжет или Конспект как отдельный микрожанр.

Ю

Меня ошеломил («*О*уенно хорошо!*») – повторял я, как в *записных книжках у тебя сохранено дословно*) твой, Миша, прозаический дебют – «Мертвая Наташа» и другие рассказы цикла. Я понимал твою интенцию к универсальности, но – среди прочего, так сказать, – ты для меня был и остаешься метафизическим прозаиком, который на краткое мгновение в конце 60-х – начале 70-х выставил «рожки» и тут же их втянул обратно в защитный панцирь. Пренебрегши невероятной сюжетобразующей потенцией ради того, чтоб стать, кем стал – гуманитарным Солярисом. Самостоятельной Вселенной в кругу нерасчисленных светил.

Впрочем, что значит «пренебрегшим». Твои примеры в «Даре слова», эти «свертки» романов, – замечательный пример сверж (русской) литературы.

И для второго издания «ЭЮ» добавлю. Всегда ждал твоей прозаической книжки. И дождался. Более того – сам же набрал и напечатал, тобой мне доверенную «Просто прозу».

Э

Если бы я сегодня, в 2017 г., обратился к Битову, то вот что написалось бы:

Вы занимаете в моей жизни совсем особое место, настолько особое, что при всем своем профессиональном опыте я не могу и не хочу осмыслять этот факт литературоведчески. На заре далекой юности, в 1960-е, Вы подарили мне интонацию разговора с самим собой. Как человек думает о себе, как осмысляет свои чувства, с какими словечками подступает к труду саморефлексии... Это сложилось у меня под воздействием «Дачной местности», «Сада», «Пенелопы», «Инфантьева»... А потом и живых разговоров с Вами. Во всем этом был камертон времени, задающий ритм духовного пробуждения именно тогда, в 1960-е. Толстой, Достоевский при всей своей мощи не отзывались во мне так, как Ваша проза, с ее неуверенной интонацией медленного самовникания, отстранения, со всей этой мелкой маетой души, трудно доходящей до каких-то внезапных озарений. Могу сказать, что это во мне – битовское. Хотя не мог бы указать тех конкретных вещей, пассажей, строк, где это прямо выразилось, кроме, может быть, моего юношеского рассказа «Мертвая Наташа» (опубликованного в «Новом мире» 45 лет спустя после того, как я в 1971 г. послал его в журнал). Но это битовское вошло в состав внутренней жизни, в морфологию и синтаксис души, что гораздо важнее. И за это я хочу Вас поблагодарить. Трансмиграция души происходит еще при жизни, литература – одно из мощнейших ее средств, и то, что по крайней мере в одну из душ Ваша трансмиграция вполне удалась, могу засвидетельствовать от первого лица.

См. ЗАМЫСЛЫ, ПИСАТЕЛЬСТВО

Бродский

Э

Мы ведь не были бродскианцами? Или все-таки были?...

Ю

Не до фанатизма, во всяком случае. Про «рыжего» гения впервые услышал еще мальчиком в Ленинграде. От Гольданской, подруги моей мамы и сестры известного академика⁶, который, там случившись после своего возвращения из США, сестру, как мне помнится, в смысле «гения» поддерживал: в квартире Мирры Иосифовны Гольданской на Марата юный Иосиф читал стихи. Это было еще до статьи «Окололитературный трутень» в ленинградской газете «Смена» (1963), но я – 12-13-14 лет – уже был отравлен самиздатской поэзией Питера. К ней, «истинной, но непечатной», приобщала меня Зика – Зимфира Викторовна Типикина, моя старшая сестра, студентка питерского рассадника свободомыслия, пединститута имени Герцена.

В МГУ я просто продолжил эстафету. Жаркий май – июнь 1968-го. В общежитии, в 5-м еще корпусе, вошел, небрежно стукнув, и оторопел – красавица Айзенштадт спала нагая, вся в испарине, так что невероятной красоты пубис проступал как бы сквозь матовый туманец.

Ошеломленный, сделал шаг назад и, затворяя дверь, оглядел коридор – не воспользовался бы кто этой странной доверчивостью. Заснуть среди бела дня прекрасной и голой с незапертой дверью в корпусе, полном козлююношей...

А вот внутри этого воспоминания еще одно, только что возникшее: я же явился к этой не-Данае в срок, ей же и назначенный, по самиздатскому делу, за стихами Бродского.

⁶ Гольданский Виталий Иосифович (1923–2001).



С сестрой Зимфирой. Невский проспект, 1972

Затем перестукивал на своей машинке в предбаннике умывалки – комнате для чистки ботинок, где стоял деревянный ящик с колодкой. Резонанс от Бродского был охуенный (эпитет не для эпатажа, а звукописи ради). «Через два года износятся юноши... через два года. Через два года...»

Э

Именно за эти стихи я, признаюсь, недолюбливал автора в те годы, воспринимал его как заурядного (анти) советского циника. «Перемелем истины, переменим моды...» Верил, что мы не износимся ни через два года, ни...

Ю

Ну да. Твою тогдашнюю веру подтвердили жизнью. И последний раз в районе невероятной цифры «60». Так долго не живут, как говорят *jeune et cruel*, молодые и жестокие.

Но тогда эти стихи «с берегов Невы» вторили боли по «Збышеку», Збигневу Цыбульскому, сорвавшемуся с поезда «алмазу» и моему исчезающему в Москве под напором западных «первоисточников» полонофильскому романтизму, где посланцы богов умирают молодыми, и не просто, а в безнадежной борьбе с превосходящей силой и по всем азимутам.

А вот через одиннадцать лет в Париже я подарил новоприбывшему на Запад Алешковскому мою со студенчества любимую «Kolibri». Made in DDR. С гордостью made. Великая фирма «Groma» превзошла тут все мировые стандарты, сотворив самую красивую, самую надежную и плоскую портативку эпохи противостояния миров. (Швейцарский Hermes, ближайший конкурент, правда, был поменьше, но отличался жестяным призвуком и был недо-

сягаем в принципе: я его видел только у австрийского стажера в зоне «Д» – с латинским шрифтом, разумеется.)

Надо сказать, что широкий жест в Париже совершил я не только потому, что был очарован еще не изданными манускриптами «Кенгуру» и «Руки»: имел место и психологический нажим со стороны их автора. Ему, мол, не на чем, а у меня тут электрическая IBM размером в полстола. Что ж. Застегнул в футляр – вручил. Оказавшись в США, однако, «нюокамер» подарил ее Бродскому.

Сейчас, в компьютерную эру, ламентации мои, возможно, трудно понять. Но этот антик и сейчас высоко котируется у собирателей артефактов Cold War. Первая «фамильная» машинка меня не застала и осталась пренатальным мифом: я еще не родился, а отец, еще живой, переслал ее из Германии в Ленинград, где дед ее сдал в ломбард, и все. С концами. Сожаление превратилось в мечту, которая страстно овладела мной в четырнадцать-пятнадцать лет после сэлинджеровских «Над пропастью во ржи» и «Эсме – с любовью и всяческой мерзостью»; кто читал, поймет. В девятом классе в виде производственного обучения я, отвергнув автодело, решительно выбрал «делопроизводство», которым овладевал три года единственным среди девочек представителем мужского пола (вместе с аттестатом зрелости получив диплом «машинист-стенографист»). Родителям обязан своим первым – трофейным «Ideal»'ом (по поводу которого мама беспокоилась, не надо ли регистрировать его «в МГБ»). В МГУ сначала был пластмассовый чешский «Consul», чему предшествовал незабвенный магазин пишущих машинок на Пушкинской, а в нем «запись» и очередь, и собирание денег путем затягивания ремня. Станина вскоре треснула и стала раздражать. Временно «махнувшись» с Битовым, отбивал потом пальцы на его «Москве» с рычажками, которые после каждого удара надо было разнимать.

И наконец...

Гэдээровское мое чудо, ради которого за бесценку была загнана в штаб-квартиру Всеобщего общества нумизматов на Горького вся коллекция отрочества, можно лицезреть на многих фотоснимках из нью-йоркской квартиры нобелевского лауреата. В Западной Германии, а именно в Мюнхене на Радио Свобода, получая от Бродского письма (неличного характера), я узнавал неповторимый шрифт, который впечатался в мой «гештальт» с тех самых пор, о которых здесь мы говорим.

Будущее

Ю

Из парижских манускриптов

Москва, 1967.

Из Коммунистической аудитории (МГУ, на проспекте Маркса) мы вышли на сентябрьское солнце, и ты, мой милый и единственный друг, оставшийся в «эпицентре апокалипсиса» как очевидец и летописец распада, хулимый в 1982 году со страниц многомиллионнотиражной «Литературной газеты» за грубую асоциальность и космический стоицизм, а тогда – 17-летний мальчик, только что кончивший с золотой медалью среднюю школу, сдавший в МГУ на все пятерки, вынудивший их тебя принять, невзирая на лимиты, ограждающие вузы страны от проникновения таких, как ты, спросил:

– Кем ты хочешь стать, Сережа?

– Писателем, – ответил Сережа, щурясь на золотые купола, торчащие над зубастой кремлевской стеной, как груди прилегшей там на отдых гигантской амазонки. Не все мужчины ею еще добиты...

– Да... Но какого масштаба?

– Если удастся достигнуть масштаба Казакова, буду удовлетворен.

– Неужели?

– Вполне.

Я видел, что он поражен скромностью моих претензий. Он сдержанно молчал, потому что мы только что познакомились.

Где-то через месяц, окосев, мы шли в обнимку мимо громады университета на Ленинских горах, две крохотные фигурки, растворялись во тьме меж фонарями...

– Мне еще только 17... Пять лет на университет, три на аспирантуру. Двадцать шесть... В 26 я буду гений! – Вырвался и закричал, быть может, впервые в жизни во весь голос: – Я все переверну!

И кулаками потрясал, воздевая их к сигнальным огням здания, красным среди звезд. Час назад в общежитии он выпил кружку «старки». Эмалированную. Не для того чтобы сравняться с нами, общежитейскими, а от ужаса, я думаю, – потому что попали мы в компанию наших сокурсников, которые принимали в 5-м корпусе столичного гостя. Сын одного из боссов КГБ, давно спившийся «вечный студент», компетентно рассказывал нам, обомлевшим провинциалам, о методах казней в застенках ведомства папы, о выстрелах сквозь тайное отверстие сзади – в основание черепа...

– Перевернешь, – поддакнул я, несколько уязвленный мегаломанией друга, который был двумя годами младше.

Резко, разбрызгивая лужицу, повернулся.

– Думаешь, нет?

– Думаю, да. Если дадут точку опоры.

– Мне? Ха! Мне не дадут. Мне и не нужна. Я сам себе точка опоры. Сам, сам!.. В 26!

Увидишь.

Я посадил его на 111-й автобус.

Махнул вслед удаляющимся огням и под морозящим дождем пошел обратно в общежитие, мучаясь своей, как мне казалось, неспособностью к иллюзиям.

Какие убогие претензии к миру у людей! До этого момента кроме себя я знал только одного человека, который перед нашим расставанием в привокзальном ресторане города Минска изложил сверхзадачу: стать действительным членом Академии наук с тем, чтобы безнаказанно предаться преступному сладострастию. Стать гением Зла. Мой новый друг хочет стать гением Разума, хочет, чтобы мозг его разросся, как это гипертрофированное мегаздание, которое для нас построил Сталин: мимо иду и все никак его не миную... А я? Вру, извещая друзей, что хочу стать писателем. Тогда как на самом деле хочу стать хорошим человеком, а это не тот прожект, о котором стоит кричать на всех углах.

Засмеют-с. Вот и Битов не одобрил, когда я рассказал ему про замысел романа «Иногда хороший человек».

То есть и писателем хочу, конечно, но таким, перо которого целиком поставлено на службу человеку, идущему в этой жизни стезей нравственного самоусовершенствования. То есть писателем *русским*. В уме я всегда добавлял этот эпитет, со словом «писатель» для меня неразделимый. Ведь вся наша национальная идея, считал я тогда, – самоусовершенствования. Так что это понятие «русский» – для меня было чем-то вроде моральной категории. Вроде повышенного правдолюбия.

В отличие от понятия «советский», которое было категорией однозначно аморальной.

Э

Спасибо тебе за этот эпизод 1967 г., чудом сохранный! Я начисто не помню – да и понятно, после «старки»; а вот кагэбэшный рассказ чуть-чуть сейчас разморозился во мне, тошнотворно зашевелился отогревок. Эти мальчики на Ленгорах: один хочет перевернуть мир, а другой – «всего лишь» найти Бога и стать хорошим русским писателем... Кажется, даже Герцен и Огарев на тех же горах, еще Воробьевых, хотели меньшего от себя, клялись в ненависти к деспотизму и посвящали себя борьбе с провинциальным самодержавием. За сто с лишним лет Воробьевы взлетели до Ленинских и ставки в игре повысились, мы стояли в центре «Империи Зла», только что ошеломленные рассказом о том, как оно буднично вершится в нашем городе, может быть, прямо здесь и сейчас, под ногами, в подполье, выстрелом в основание черепа. Было от чего опьянеть и возжелать высшей судьбы.

Бунт

Э

В принципе, я одобрял бунт, но как бунтарь был бездарен и знал это. Вопреки Марксу, заявившему, что «счастье – в борьбе», я воспринимал борьбу как несчастье. Борьба делает меня вдвойне несвободным: от противника, с которым я связан по рукам и ногам, – и от себя самого, потому что, ввязавшись в драку, я не могу заняться ничем другим: намертво скован усилием каждой мышцы. Борьба – самое несвободное состояние. Моя стратегия в том, чтобы переводить отношения в другую плоскость, точнее, объем, где я и мой потенциальный враг могли бы обойти друг друга и больше никогда не встретиться.

Ю

Тупое слово. «Низколобое».

Я предпочитал возвышенные. Мятеж. Восстание. На площади Восстания в Ленинграде меня всегда охватывали чувства, соответствующие этому поразительному все же названию; там, у ротонды метро, я с особой пристальностью вглядывался в лица сограждан: сознают ли они в своем рабстве невыносимый сарказм топонима?

Сомневаюсь в освященной психоанализом альтернативе Fight or Flight, Бороться или Бежать. В моем опыте побег был формой борьбы, а не сдачи на милость победителю. Даже когда в отрочестве уходил из дома по шпалам железной дороги. До Москвы, куда она вела, не доходил, будучи одолеваем морозом и метелью. Но каждый раз продвигался все дальше и дальше в избранном направлении.

См. ПРАВИЛА ЖИЗНИ

В

Валери

Из дневника

15.3.1974.

«Пример Поля Валери соблазняет меня говорить лишь с полной ясностью (а потому и краткостью) о том, что в мире духа существует с незыблемостью факта. Но если говорить лишь о понятном, то как пробиться к непонятному? Для Валери речь хороша кристальной ясностью, для меня же речь не результат, а сам процесс понимания. Я очертя голову бросаюсь в авантюры слова, чтобы хоть в одном случае из десяти прикоснуться к чему-то невыразимому. Я веду речь на завоевание непонятного, я насыщаю ее предельным риском. Такая речь может потерять свою ясность и простоту, веками накопленную в народном языке и научных понятиях, и ничего не приобрести взамен, стать претенциозно-бессмысленной и риторически-пустой. Но такова цена риска. «Есть слово – значение темно иль ничтожно...» И не только в поэзии, но и в метафизике. Валери озабочен гарантиями ясности, его слог отвергает любые двусмысленности. И что же? Результат – тоненький томик стихов, эссе и речей. А вся жизнь, основные усилия – бесконечные тома «Тетрадей», сплошной процесс, так и не приведший ни к какому результату».



Ю

Моим Валери был Хемингуэй, надолго ограничивший меня задачей «писать хорошо». Сколько раз я бросался в мутный поток раскованного словоизлияния, но был вылавливаем стилистическими сетями... «Тятя, тятя! наши сети притащили мертвеца». А мне хотелось, чтобы мое единственно верное слово, *le mot juste* (Флобер, он среди учителей Эрнеста), было бы еще и максимально витальным.

От Хемингуэя я спасался его антиподом, и надо думать, что не без успеха. «Фолкнер! Фолкнер!» – кричала, помню, входя ко мне, наша общая знакомая Нина Константинова, про-

читав в общежитии МГУ один из моих тогдашних рассказов – пропавших даже в памяти, которая удержала, и почему-то в свете керосиновой лампы, только непрерывность предложений и тему: деревенскую, кстати сказать.

Вещи

Э

С вещным миром у меня никогда не было близких практических отношений, но есть широкий круг вещей (включая явления природы), которые я люблю и воспринимаю как родные, «веществу» с ними. Особенность этих вещей в том, что они содержат в себе маленькую тайну, поворот ключа, зеркальце, возможность развеществления. К числу таких материальных явлений, выражающих призрачность самой материи, относятся: пена, раковина, вино, маска, маятник и другие.

Эти вещи кажутся магическими, ибо они в ходе существования изменяют свою сущность. Они находятся на грани бытия и небытия, это предметные мнимости. Отсюда их частое использование в фольклоре, литературе, живописи и театре. Они двойственны: они есть, и в то же время их нет. Они являют парадоксальность самой жизни, которая включает в себя смерть. Это – диалектические предметы, в которых однозначность и сплошность грубо материальных вещей (типа камня, дерева, стола, шкафа и т. п.) уступает место загадочному двоению и мерцанию смыслов.

В юности я изобрел науку *фантоматику*, которая классифицирует подобные вещи и исследует через них слои бытия и небытия, попеременно проступающие в них. Я выделял следующие основные классы *фантомалий* (так я назвал эти странные предметы на грани полубытия):

1. Самоисчезающие: пузырь лопается, искра гаснет, снежинка тает, мыло смыливается, клубок разматывается.

2. Обратимые: лестница, маятник, в которых все движения повторяются в обратном порядке.

3. Полусуществующие, воспринимаемые одним органом чувства и невоспринимаемые другим. Например, тень воспринимается только взглядом, но не ошупью, не запахом, не слухом; дым обладает видимостью и запахом, но лишен осязательности; стекло осязаемо, но невидимо. Это обманчивые вещи, которые частью даны, частью отсутствуют и, вызывая стремление проверить, закрепить их существование в других органах чувств, обнаруживают свою иллюзорность.

4. Бесконечно подвижные, существующие и несуществующие – не в плане восприятия (3), а в плане собственной зыбкости, неуловимой подвижности, хотя и не переходящей в иное бытие: облако, волна, туман.

5. Складные, раздвижные и т. п. вещи, в которых заключена возможность дискретного изменения формы (а не непрерывного, как облако, волна), чаще всего сделанные, механические: веер, зонт, ширма.

6. Отражающие или отраженные, лишенные собственной субстанции: зеркало, блик, отблеск, эхо.

7. Превратные, метаморфозные, изменяющие форму: зерно, семя, куколка бабочки.

8. Меняющие облик других вещей, производящие метаморфозы: дрожжи, вино.

9. Сквозные, ячеистые, дырчатые, функционально использующие пустоту: сеть, решето, сосуды, соты.

10. Возникающие на грани разных стихий, в виде кратковременных сочетаний воздуха и воды, воздуха и твердого вещества: пена, пузырь, крем.

11. Сокровенные, замкнутые, т. е. не показывающие себя до конца, разрушающиеся при попытке их полностью увидеть и исследовать: раковина, яйцо, орех. Часто состоят из ядра и

оболочки, при этом одно достижимо и обладаемо лишь за счет другого: сохраняя скорлупу, нельзя достать ядро; достав ядро, нельзя сохранить скорлупу. Целость выдает свою тайну лишь ценой разрушения.

12. Симметричные, обладающие природной или искусственной симметрией: снежинка, калейдоскоп, бутон цветка, крылья бабочки.

13. Мимикрирующие, выдающие себя за другое: маска, парик.

14. Мерцающие, спонтанно проявляющие или не проявляющие свои свойства, возникающие и исчезающие, зажигающиеся и гаснущие: светлячок, маяк.

15. Пропускающие и отражающие – и при этом преломляющие свет: призмы, магические кристаллы и шары, кривые зеркала, в которых образ реальности отличается от нее самой.

Вот среди каких вещей я чувствовал себя своим. Позднее, уже в зрелом возрасте, мне придумалась наука *тегименология*, противоположность феноменологии: она учит не о явленности, но о сокрытости вещей («тегимен» – греч. «покрытие»). Это наука о покрытиях, оболочках, обертках, упаковках, о тех многообразных слоях, которыми вещи и человек прячут свое сокровенное нутро. Тело – один из предметов тегименологии, как и одежда, жилище, город, маска, грим, скорлупа, фантик, чехол... Все это вышло из опыта юности, когда мир, абсолютно явленный в детстве, вдруг предстал как череда сокрытостей, и прежде всего – как искусство сокрытия самого себя.

Ю

Перекресток Пять углов известен в Питере как будто бы с середины XVIII века. Наш дом был построен в 1862 году (когда был заключен в Петропавловку Чернышевский, а Достоевский опубликовал рассказ «Скверный анекдот»).

Я рос до семи лет среди вещей, сработанных в XIX столетии и даже раньше: дедушку с бабушкой «уплотнили», но отобрали далеко не все, благодаря чему их Большая комната была маленьким Эрмитажем. Там был, например, буль эпохи Людовика XIV (черное дерево, бронзовые пальметки, перламутр, мрамор) – подарок бабушке от княгини с нашей лестницы. Там я получил представление о природе вещей. Качестве их и красоте. Были, правда, и позднейшие вторжения. На треснутом во время бомбежки мраморе консоли на гнутых ножках стоял привезенный из Германии отцом до того, как он там погиб, ламповый Telefunken; благодаря его шкале с названиями городов открыт был мной латинский алфавит и запредельно-беспредельный его мир.



Пять углов, СПб. Современный вид перекрестка

Советский предметно-вещевой окружающий мир если меня и волновал, то в смысле удручения топорностью. За исключением оружия. Но и здесь предпочитал, скорее, оружие разбитого врага. Длинные штыки с орлиной рукоятью. Машиненгевер, шмайсер. Парабеллум.

Любимые вещи? Альбом с марками Третьего рейха был трофейный и с одного края обгорел при взятии Берлина; кроме того, однозначная судьба изначального владельца навевала жутковатость. Слово с того света филателист нечто такое против меня злоумышлял (и я даже не очень удивился, когда это воплотилось в жизнь).

Бабушка подарила мне не то чтобы сокровища, но вместилища для них. Чугунный ларец с узорами и прохудившейся бледно-голубой подушечкой. Кожаный короб с коронованной буквой «Е» и датой «1776». В ларце когда-то хранились драгоценности; в коробе, согласно бабушке, «прованское» масло. Он издавал действительно какой-то странный запах екатерининских времен. В нем я хранил «бонны»; в ларце свое русское «серебро». Отрочество с традиционной формой сублимации и собирательской триадой (филателистика, филуменистика, нумизматика, бонистику включая) – мой способ «увидеть мир в одной песчинке» – было апогеем моего вещизма, который стремительно убывал по мере продвижения к юности.

К этому отношения не имеют ни пройденная в школе «Молодая гвардия», которая приравняла любовь к красивым, а тем более западным штучкам, к латентному предательству «всего советского», ни модный тогда Жорж Перек⁷, изобретатель «шозизма» и критик мелкобуржуазности. Просто наступал возраст отрешенности. С одной стороны, ничто, кроме литературы, меня не интересовало, с другой – за своей машинкой, которую не просто украсть, сидел я посреди открытого мира общежития, где все мои *les choses* стояли под «батутом» в чемодане, который не запирался. Но там опять-таки были книги. Или перманентные эле-

⁷ Его роман (*Les Choses*) («Вещи») вышел во Франции в 1965 году, а два года спустя и в русском переводе.

менты моего декора – вырезанные из журнала «Америка» фотоснимки: Фолкнер на фоне амбара, Апдайк, жонглирующий яблоками. Селин с изгнаннической сетью вен на виске был вырезан из французского журнала... Визуал. А ни единой вещи вспомнить не могу. Их не было. Даже зажигалки. Американские сигареты, когда перепали, превращались в дым. Нина*** с ром-герма подарила мне однажды за любовные заслуги хромированную ногте-стрижку, но даже эта мелочь меня смущала. Рассматривая крохотную надпись *Made in U.S.A.*, я не мог не думать о гнусном образе инженера-предателя, который – вот незабвенная цитата:

«...втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом.

– Премиленькая вещичка! – говорил он. – Подумайте только – зажигалка, она же перочинный ножик, она же пульверизатор! Нет, все-таки у нас так не умеют, – говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи рядовых крестьянских женщин работали на тракторах и комбайнах на колхозных полях.

Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами, по несколько раз в день перелистывать заграничные журналы – не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест, эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить, а те, что завозили иногда сослуживцы, – журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин и просто женщин возможно более голых»⁸.

(Прививка против «низкопоклонства», да, – но еще и одно из эrogenных мест советской литературы для средней школы.)

* * *

Наутро мне оставалось дописать вот эту главку до завершения первого варианта нашей «Энциклопедии», как перед пробуждением приснился сон, в котором я увидел самые любимые вещи жизни – портативную пишущую машинку и книги. Машинка была как моя «Колибри», а вот книги, упакованные в прозрачный чемоданчик под названием «Новинки года», представляли собой плотно спрессованные клубки жгутобинтов – то ли накладываемых читателем на свои раны, то ли содранные с ран писателя. Во сне я даже не задавал себе вопросов, поскольку подобная форма книг мне представлялась вполне естественной, и я просто брал клубок за клубком, чтобы изучить аннотацию с картинкой – в виде ярлыков они были наклеены на торцы этих книг, как это делается с клубками пряжи в магазинах.

Странность сна объяснима, видимо, тем, что теперь, далеко после юности, книги чаще всего являются мне в виде компьютерного свитка, «ленты»...

Вещи баснословных лет до Америки не дожили, за что справедливо укорил меня приезжавший брат. С другой стороны, он не писал по миру такие вензеля, как я. Что-то пропало в Париже во время квартирной кражи на рю Пуату, а потом было брошено женой, совсем не шозисткой тоже, при переезде в Мюнхен. Золотой бабушкин крестик, прапрадедом сработанный и с выбитой в основании вертикали буквой «Ю», уборщица украла в Праге на Сокольской. Сохранилась только легкая серебряная ложечка, которую изуродовал я в младенчестве, когда прорезались зубы.

Может ли вещь стать вещей?

Помнишь, как на первом курсе Степанов предложил мне написать парадигму существительного по моему выбору?⁹ Я выбрал слово «наваха» – только приблизительно пред-

⁸ Александр Фадеев. «Молодая гвардия».

⁹ Дневник. 19 декабря 1967... Коллоквиум по языкознанию. Степанов мне не понравился. Как я опозорился у доски:

ставляя, что это такое. Через несколько лет Аурора мне это подарила – из толедской стали и бритвенно-острое. Ничего особенного наваха эта не резала, кроме того, что разом отсекала начальную фазу моей форсированной вестернизации, куда «шозизм» в той или иной мере, но был встроен, – от периода юности, отягощенной разве что чемоданом с книгами и машинкой.

См. ФИЛФАК

Взаимозависть

Ю

В Коммунистической аудитории меня пронзает укол зависти к тебе, сидящему ниже и с непринужденностью девственника, лишённого каких-либо задних мыслей, то есть, конечно же, «передних», и чисто *по-дружески*, по-товарищески общающемся перед началом лекции с девочками из нашей группы... С той же Тен, которая меня волнует миндалевидным разрезом глаз и шафранной кожей... Они, девочки, тебе доверяют – тебя трудно заподозрить в коварных умыслах...

Э

А я, наоборот, завидовал твоей искушенности. Если девочка говорила с тобой, для нее это уже что-то значило, плюс или минус, а со мной – ровно ничего. Инна Тен была прелестна, европейская кореянка. Шафранная кожа, идеально причесанная гладкая головка, тактильно соблазнительные, хотя визуально непроницаемые кофточки, – и при этом сама скромность и преданность мужу-физику. Я негодовал, когда она, по-восточному покорная, тащила с тяжелым портфелем за мужем и его приятелем, которые о чем-то болтали, не обращая на нее внимания.

Ю

Этот ранний брак, эта возмутительно-преждевременная вписанность в безысходность советского быта... Очень мне было жалко русскоязычную корейскую девушку с именем французского эстетика. Допускаю, что сострадание было формой ревности к ее супругу.

Взгляд

Ю

За опрометчивое слово в Заводском районе можно было поплатиться жизнью. Зная об этом априори, посильно старался не выпускать на волю слов-воробьев.

Однако было еще «зеркало души»...

Я отстоял томительную очередь, но, когда сфокусировал свой взгляд, приемщица отказалась принимать тару. При этом ни слова я не произнес. Ни до, ни в момент, ни после. Припер обратно в раздутой авоське. Молочно-кефирные бутылки были безукоризненны в смысле вымытости и целостности горлышек, так что мама отправилась на дознание. «Говорит, ты не так на нее посмотрел». – «Я *никак* на нее не смотрел, – что было правдой: смотрел я внутрь себя. – И вообще я думал совершенно о другом». – «Вот она и говорит. Много о себе думает, а мы для него пустое место. Я, говорит, что, не человек?»



Гродно. 1956

Со взрослым миром подобных конфликтов у меня еще не было. Зато с ровесниками... «А чего он так глядит?» – мотивировали при разборках в кабинете у директора мои одноклассники причины, по которым проливалась на затоптанный пол моя кровь. «Как он глядит?» – «А так!..»

Возложенная мной на себя «омерта» в порядке компенсации придавала, должно быть, особую выразительность глазам. Они меня выдавали, настраивая против. Так или иначе, но тягостное это «Дело о Взгляде» велось на меня с детства и вплоть до высадки на конечной остановке вагона «Москва – Париж».

По пути, кстати, глаза мои тоже изучались. Профессионально. Пограничники советские; пограничники гэдээровские (польским было наплевать). Старые гэбисты в форме проводников. Попутчиков было раз-два и обчелся, зато «компетентные» тоже.

Взгляд меня не выдал.

К 29 годам мимикрия стала тотальной. Но и юность осталась далеко позади.

Э

Это похоже на Цинцинната Ц. из «Приглашения на казнь». Его единственная вина была в том, что в обществе взаимопрозрачных он один оставался непрозрачным, имел некое отдельное пространство внутри, что и выдавалось взглядом. «Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости...» Это уже не Набоков, это Венедикт Ерофеев.

Влияния

Э

Влияние – это категория эстетическая: кто на кого повлиял в литературе и искусстве. Но вместе с тем и психологическая, приложимая прежде всего к отрочеству и юности. Это самые влияемые, впечатлительные возрасты. «Дурное влияние». «Вася на Петю хорошо (плохо) влияет». Влияния можно разделить на культурные, заочные – и живые, очные (дружеские, учительные, средовые, поколенческие).

По степени влияемости я, наверно, серединка на половинку, ни мягок, ни тверд. Минералы различаются на шкале твердости: от талька, который можно раздавить пальцем, до алмаза, на котором вообще нельзя оставить царапин. Я был где-то в промежутке, как флюорит или апатит, которые можно царапать стеклом или ножом. В раннем отрочестве, начиная лет с 11, на меня всего сильнее влияли Лермонтов и, пожалуй, Тургенев – в духе романтизма, рефлексии, самокопания. В позднем отрочестве, 15–17 лет, место Лермонтова и Тургенева заняли Фет и Бунин, с их импрессионизмом и эстетическим полночувственным «изнеможением» от жизни. Но главной стала энциклопедия жизни и души под названием «Война и мир».

Из живых влияний отрочества отмечу Агнессу Владиславовну Эггед (открытость, здравомыслие, гуманизм, либерализм, см. УЧИТЕЛЯ). Чуть-чуть влияли мальчишки из летней республики «Юность Замоскворечья»: Миша Фролов (очень мужественный, немногословный), Сережа Меркулов (словесно ловкий и убедительный). В школе особых приятелей и влиятелей не было.

В университетские годы главное очное влияние шло от тебя, полуочное – от Битова. Твое влияние было эстетическим – не только в смысле литературы, но и общей жизненной установки. Это была моя эстетическая стадия, по Кьеркегору. Главное – приобрести как можно больше опыта, прикоснуться ко всему, во все вникнуть и упиться дарами жизни, перебирая их как можно более широко, ни на чем особо не останавливаясь, запасаясь впрок впечатлениями для писательства. Так я это, во всяком случае, воспринимал, по мере своей испорченности: ошущенчество, впечатленчество, наслажденчество.

Уже потом, в 1973–1974 гг., сильным стало влияние Саши Бокучавы, с которым мы общались в основном во время долгих трамвайных поездок на нашу общую службу – подготовительные курсы по русскому языку и литературе (МЭИ). Это был переход к этической и экзистенциальной стадии, подготовка к решающему выбору, к жизни в единственном числе (одна семья, одна жена, одна работа). Сам Саша был больше теоретиком, чем практиком этой «второй» стадии (по Кьеркегору), – но теоретиком пламенным, вдохновенным и обольстительным. Он был старше меня лет на семь, красавец и умница, мысливший больше вслух, чем на письме.

Среди очных влияний юности отмечу также нашу сокурсницу Ольгу Седакову с ее неизменной, упорной приверженностью высокой классике. Это было не совсем мое – но вчуже вызывало уважение как творческий выбор.

Что касается заочных влияний, то из близких, современных и соотечественных, самое сильное шло от М. Бахтина (см. БАХТИН М.М.) и С. Аверинцева, в меньшей степени Ю. Лотмана и Г. Гачева, а из дальних... Кого я только не перелистывал и не перелопачивал в поисках себя! Сильнейшим было влияние гуссерлевской феноменологии, кьеркегоровского и сартровского экзистенциализма и маркузианской «новой левой» контркультуры. Вечно зеленел древо жизни Гете, от него исходили три могучие ветви – философия жизни

Ф. Ницше, морфология культуры О. Шпенглера и утонченная, интеллектуально-художественная, эссеистически-мифологическая проза Томаса Манна, у которого я начал учиться эссеизму раньше, чем у М. Монтеня. Откровением стали Р. М. Рильке и «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. С Г. Гессе и Р. Музилом я познакомился позже, уже во второй половине 1970-х. Влияние немцев вообще было определяющим, оно опосредовало и еврейские влияния – прежде всего Ф. Кафки и М. Бубера. Из французов – Поль Валери и Ролан Барт. Из отечественных мыслителей – Вл. Соловьев и Н. Бердяев, в меньшей степени Л. Шестов, В. Розанов, П. Флоренский. Напомню, что речь идет о конце 1960-х – начале 1970-х, когда всю эту литературу приходилось добывать исподтишка на черном рынке или одалживать у друзей; изредка выпадало счастье достать ксерокопию.

Ю

Чем ниже нас низвергало после Ленинграда, тем больше мама требовала от меня «активной жизненной позиции». Человеком в футляре мама не была. Она была «общественницей». В том смысле, что вела борьбу за справедливость. Одинокую, бесстрашную, самоотверженную. Не то что ее вдохновлял образ Данко у Горького. Она сама была этим Данко. Готовой вырвать себе сердце, чтобы воспламенить пассивную толпу. В Третьем рейхе, в арбайтслангере, не боялась гестаповцев, вдохновляя барак отмечать день Парижской коммуны и ведя саботаж на военном заводе. Под конец войны спасла свой девичий барак от расстрела, сумев вразумить совершенно обезумевших Ваффен-СС с автоматами наперевес. В центре Минска, на проспекте Ленина, подняла толпу и отбила у милиции парнишку, которого вталкивали в «воронок» за бытовой антисоветизм. С тем же темпераментом мама взялась за меня, когда после Ленинграда, Гродно, центра Минска мы оказались «на периферии», в Заводском районе.

Я не должен «замыкаться» и скупым рыцарем сидеть на сокровищах накопленной культуры. Должен нести ленинградский свет в окружающие массы одноклассников, отродье люмпен-пролетариата, обреченных на снос деревень Слепянка (Большая и Малая), амнистированных уголовников и цыган из поселка «Шанхай», что под насыпью узкоколейки. Прививать им культурные навыки. Поднимать малолетних бандитов до своего уровня. Оказывать, короче, позитивное влияние.

Благими призывами мама не ограничивалась – не думай. Квартира регулярно заполнялась «обделенными» сверстниками из числа моих заклятых врагов, включая их вожака по кличке Бубна (и фамилии Бубновский). Дурными запахами снятых верхних одежд. Одного за другим стоило бы сначала вымыть в ванной, но до этой крайности мама не доходила; так что приходилось обонять и терпеть. Я раздавал тапочки и носовые платки, чтобы им было куда сморкаться, сплевывать и харкать. Предлагались настольные игры, газеты, журналы, книжки, тома «Детской энциклопедии». Выступал с мини-лекциями. Проводил беседы на темы культуры. Рассказывал про Эрмитаж. Дети матерились, взамен обучая меня. В завершение был «товарищеский чай»: скатерть, цветы, сладкое. Результаты? Вполне сопоставимы с моей чертвевековой культуртрегерской деятельностью на аудиторию в десятки миллионов. Экклезиаст был прав. Бубновский вскоре припер маме мешок муки, «спизженной» с хлебозавода. Благодарность мама, конечно, отклонила, но прикипел он к ней на всю свою оставшуюся жизнь. Впоследствии навещая после каждой очередной своей отсидки.

Субъект влияния рос тоже. Из положительных они стали отрицательными. С точки зрения чужих и влиятельных родителей, я проповедовал сомнительные мысли, выступая за «подлинность». В условиях научно-технической революции отстаивал гуманитарную стезю. Вел подрывные речи на тему «быть собой». Следовать не воле родителей, а своему призванию. Вырывать себя из болота «не-подлинности». Не идти по благу, куда устраи-

вают предки, а ехать поступать в Москву. В старших классах меня от моих приятелей стали «ограждать». Потом, правда, когда Москва обломала мне рога, родители стали снисходительней. Дети их, мои бывшие одноклассники, стали минскими студентами дневных отделений, а я превратился в заочника журфака на позорных работах за 45 рублей в месяц. «А что мы говорили? Кто оказался прав?»

Фиаско. Полный крах. Влияние свое я потерял. На них. Однако же не на себя. Вцепившись в книгу «Современный экзистенциализм» (под редакцией Ойзермана; издательство «Мысль», год 1966-й), я повторял, что цыплят по осени считают. Еще найду, как Ясперс говорит, лазейку в тоталитарной массовидности.

Стану писателем.

Срок пришел, я сжег мосты – уволился с работы, самоотчислился из БГУ, выписался из всех пяти библиотек – и снова отправился в Москву на Ленинские горы.

В смысле живых влияний, был я не сказать что восприимчив. Дедушка собирал для меня библиотеку и объяснял то, что в моих первых книгах было непонятно. Иногда я ставил его в затруднительное положение: «Что значит «б» с точками? – Где это? – Тут. *Я лучше в баре б... буду подавать ананасную воду?*» Дед воздействовал не только любовью к литературе, но и отношением к жизни. Своей иронической и самоироничной легкостью. Мама влияла – жизнестойкостью, веселой и открытой. Отчим – образом простой и честной мужественности. Битов: интенсивно, но кратко. Аурора, моя Европа. Ты...

Список тех, кому должно отдать дань в литературе, меня самого удивил, но вот хронологически, начиная с самых молодых ногтей, мои разновеликие кредиторы: Бабель, Хемингуэй, Сэлинджер, Л. Н. Толстой, Джойс, Достоевский, Казаков, Бунин, Битов, Кафка, Пильняк, Вольфганг Борхерт, Фолкнер, Т. Манн, Норман Мейлер, Набоков, Кортасар, Селин...

При этом мало с кем из представленной ими портретной галереи манило меня отождествиться – ну разве что маленький беглец Гек, который Финн, затем Ник Адамс, затем лирический герой из «Прощай, оружие!», отчасти Холден Колфилд, отчасти герой уже помянутого рассказа «Эсме – с любовью и всяческой мерзостью», а еще безымянный мальчик из рассказа Фолкнера «Поджигатель»... кто еще? Любитель-фотограф из рассказа Кортасара «Слюни дьявола». Из русских героев, конечно, Николай Всеволодович Ставрогин – по оценке Томаса Манна, *самый леденящий*.

За философию взялся я в 15 лет в Крыму, где после больницы находился в санатории Министерства обороны. Сосед-генерал удивлялся моей способности так долго держать на весу «кирпичи» Истории мировой философии. Хронологически первым, как и для всего человечества, был Платон и «Сократические диалоги». Далее Сартр: эссе о нем, напечатанное в машинописном школьном журнале «Знамя юности» Светой Рубиной, которая была главредом до моего появления, назвал я по первой его прочитанной работе «Экзистенциализм – это гуманизм». Дневники «ранних» лет полны имен, названий, конспектов, разборов и цитат. До германских источников француза я в то время не добрался, хотя главная книга Хайдеггера (в переводе на английский малопроницаемая) сопровождала меня всю юность. А вот его учитель Гуссерль оказал. «Учиться видеть!» То было, конечно, крайне поверхностное представление о феноменологии как смыслообразующей интроспекции, но я беспощадно «выносил за скобки» то, на что смотрел, и склонен был вместо «намерение» говорить «интенция». Мыслители древности: стоики, киники, индусы и китайцы. Монтень. Шопенгауэр. Кьеркегор. И, конечно, Фрейд: тут я решительно разошелся с Битовым, который вслед за Набоковым стал говорить о «венском шарлатане», а вот с моей женой, предавшейся психоанализу еще во французском лицее, мы совпали с самого первого дня.

См. КНИГИ, УЧИТЕЛЯ, ЧТЕНИЕ

Возраст

Э

Есть возрасты, которые носишь, как шубу с чужого плеча. В юности у меня было такое чувство, что это не мой возраст, что я должен через него пройти по необходимости, по закону взросления, но что я был бы рад поскорее сбросить эту тяжелую для меня ношу и облачиться в какой-нибудь деловой костюм или семейный халат. Мне кажется, что подростком (до 17) или молодым (после 22–23) я был больше в своей стихии.

Ирония одежной метафоры в том, что я на всю жизнь зафиксировался именно на свитерах, которые начал носить в юности, и не люблю костюмов и другой «взрослой» одежды. В университет хожу, лекции читаю только в рубашках и свитерах. Еще более глубокая ирония в том, что обстоятельствами жизни сейчас, заканчивая эту книгу, я отброшен в тот самый неприкаянный возраст, который в ней описываю. Как будто эта книга меня «заговорила» и перенесла назад на много лет, в пору грез, призраков и надежд, перевешивающих массу зрелого «уже-бытия».

Ю

Дневник

1968, 17 марта.

В 11.45.

Для меня ясно одно – что взрослой жизни, о которой я думал серьезно в отрочестве, такой, какой я себе представлял, – ее нет, и для меня ее не будет. В 16 лет я думал о том, как изменится мое самосознание в 20 лет, но оно неизменное, и я сейчас, в 20 лет, сознаю себя так же, как и в 13 – возраст иллюзий о будущей жизни; иллюзий, которые вдруг ушли...

* * *

Где-то к концу работы над этой книгой мне, Миша, приснился сон. Солнечный проспект. Новый Арбат по направлению к Кремлю, но только с неправильной стороны: то, что должно быть в реальности с правой руки, переместилось по левую.

Я везу на тележке рукопись книги Президенту, а точнее «читающей» его Фаворитке. На левой руке у меня пододеяльник, налитый водкой. Это бакшиш. Некоторые прохожие улыбаются по-доброму, понимая, в чем тут дело.

– Вы уверены, что Она дома? – пропускает меня хозяйка прачечной, изнутри которой вход к Фаворитке, но из входа сквозит пустотой отсутствия.

У них здесь свои заботы – мне не вполне понятные. По мнению хозяйки, дело решится положительно, если нанести на короткие рукава рубашки красную кайму. Чем и призвана заняться служащая здесь девочка. Она вдавливают кристаллы в ткань утюгом и грубо отвечает хозяйке, что знает лучше, потому что на самом деле она белей нее и у себя дома была совсем белая. Я окидываю девочку взглядом.

– Вы здесь так загорели?

– Да.

Чувство собственной важности ее переполняет. Самоволие и всевластие, желание подменить все и вся собой, доходит до того, что она по ходу работы с утюгом приказывает расстрелять всех сверстников, призванных в помощь. «Девочка Жизнь? – думаю я, вспоминая блокадную повесть Николая Чуковского. – Нет, эта девочка – Смерть!» Но я не успеваю отдаться гневу, потому что девочка Смерть идет еще дальше:

– А разве вам они нужны для книги?

– А как же! Ну, конечно!

Девочка делает жест. Телега, запряженная невидимой лошадей (только оглобли торчат), возвращается, и я вижу, что она полна трупов. Расстрелянные дети лежат друг на друге, как в игре куча-мала. Девочка предусмотрительно велела переложить их половиками (исподдверными, пыльными) и другими тряпками, чтобы трупы не пачкали друг друга кровью, но я вижу, что половики промокли, и вид этой черно-сочной влажности наполняет меня сознанием полной необратимости. Однако Девочка – не только Смерть. Она есть девочка Воскресение и Жизнь. По мановению ее руки, точнее, по нетерпеливому щелчку сухих ее пальцев, начинает шевелиться верхний мальчик – коротко стриженный, в светлой рубашке и темных штанах. Вся телега приходит в движение. Дети оживают неохотно, и я понимаю – почему. Из определенности небытия они возвращаются в полную неопределенность жизни – к этому низкому небу над плоской землей, только слегка разрытой, поэтому непонятно, в каких целях? То ли сельскохозяйственные работы? То ли рытье окопов и траншей, создание линии «заблагорезанно подготовленных позиций» для отступающей армии? И вообще. Что будет дальше? Этого не знаю ни я, ни они – сажающиеся в телеге, поднимающиеся, неуверенно слезающие на вновь предстоящую им землю.

Э

В чем смысл твоей сновидческой притчи? За все отвечать не берусь, но все же... У меня такое чувство, что все прожитые возрасты – это наши дети. От младших – до старших. По мере умирания в одном возрасте и перехода в следующий эти умершие возрасты воскресают уже в виде наших детей. Вот мальчик Мишенька, прижавший к животу мяч; вот юноша Миша, строчащий конспект в Коммунистической аудитории; вот молодой отец, помогающий дочке-первенцу делать первые шаги по дачной дорожке; вот репетитор Михаил Наумович, ведущий занятие с учениками; вот professor Epstein, выступающий с лекцией на конференции... Все мои «я» – разновозрастные дети. Кому-то из них нынешний я прихожусь прадедом, кому-то дедом, а сорокалетнему professor Epstein – отцом. Я их давно перерос и могу общаться с ними как с родными – любясь ими, подтрунивая, пеняя, наставляя, делясь новостями из более поздних возрастов и черпая запас свежих переживаний из более ранних. Все мы члены одного большого, теплого семейства. Пристрастнее всех я, пожалуй, к юноше Мише, своему внуку. Вот кого учить и учить. Вот кто ведет себя так глупо, самоуверенно и беспомощно. Вот кого мне жаль больше, чем всех других.

См. Послесловия. К ФИЛОСОФИИ ВОЗРАСТА

Вредные привычки

Э

Первой моей вредной привычкой было собирание монеток (там, где они дома плохо лежали) и складывание про запас в сломанный старинный кувшин, куда, я думал, родители не заглядывают. Лет в 7–8 я уже накопил, наверно, несколько рублей «медью и серебром» – и каково же было щемящее чувство позора, когда мама раскрыла мое хранилище и реквизировала в пользу семейного бюджета! Это навсегда подорвало во мне стяжательские наклонности, и, насколько я помню, «жадиной-говядиной» меня никто не дразнил.

В шестом или седьмом классе я начал курить, чтобы не отстать от мальчишек, а поскольку законных способов и средств добывания курева у меня не было, я не гнушался даже подбирать окурки на улице – и складывал их где-то в сарайчике. Отец был заядлый курильщик, но обирать его исподтишка я не решался. Мама и этот мой склад нашла и распрошила – и взяла с меня честное слово, что я больше никогда не буду курить. Слово держу, тем более что редко какой запах вызывает во мне большее отвращение.

Водку впервые попробовал на вечеринке уже в 10-м классе, и она отчаянно мне не понравилась. И по сей день я предпочитаю сладкий алкоголь, красные, особенно крепленые вина. Но больше всего ликеры: шоколадные, кофейные. Впрочем, не исключено и локальное воздействие: так, в Эдинбурге с наслаждением пьется виски, а в Дублине пиво, притом что обычно эти напитки мне чужды. Это атмосферические напитки, в которые вселился гений места.

Что касается вредной привычки, свойственной периоду созревания, то я с ней изо всех сил боролся – и на долгие месяцы побеждал. Думаю, ничто так не закаляет волю, как борьба с этой привычкой.

Ю

Дневник

18 лет.

Что я когда-либо пил:

1. Водку
 - а) московскую
 - б) столичную
 - в) старку.
2. Спирт, разбавленный водой.
3. Самогон.
4. Коньяк
 - а) три звездочки
 - б) четыре звездочки
 - в) югославский
 - г) венгерский.
5. Бренди.
6. Рислинг румынский.

7. Ркацители.
8. Фетяску.
9. 777.
- 10...

Как тебе? Сравни с Америкой, где пиво с 21 года. Но это не список начинающего алко-голика. Попытка сопоставить себя с героями любимого писателя. То, что пили они в Ита-лии и Франции, отражал параллельный список. Хемингуэй возбудил интерес к алкоголю, но уберег от крепких напитков. В стране водки с юности был взят иной ориентир:

Пил:

- 8/X-66. Cabernet (болг.) – так себе; красное, сухое.
- Шампанское румынское полусладкое – неплохо.
- Портвейн белый таврический – дерьмо, мягкий, крепленный.
- 9/10. Каберне молдавское – хорошее вино.
- 10/10. Гамза (болгарское) – сухое, но довольно сильное, красное.
- 13/10. Коктейль (и неплохой, но 1 р. 19 коп) на втором этаже с К.

На Ленгорах мной правили *Liebe und Hunger*, Любовь и Голод – не «веселие Руси». Бутылка была редкостью. Американская сигарета тоже. Вот это был неподдельный кайф. Скажем, «Пелл-Мелл» без фильтра.

Аурора могла курить и «Шипку», но с ее появлением пришел кофе, тогда как алко-голь отошел куда-то на задний план. В ее парижской коммунистической семье исповедо-вали ленинское: «Трезвость, трезвость и еще раз трезвость». Речение советских 70-х: «Без кайфа лайфа нет». Но лайф оказался возможным и без кайфа в алкогольном смысле. Кофе и сигареты (как назвал Джармуш свой фильм, посвященный нашей генерации). Этого было нам достаточно. В состоянии, которое завещал Ильич, мы на пару и склонялись к «примар-ному» (то есть «примитивному» по-французски, а именно на этом языке нас за это упрекали) антикоммунизму.

Время

Э

Время я переживал очень напряженно, чувствовал каждой клеткой, как оно уходит, и пытался его задержать – остановить мгновение. Не потому что оно прекрасно, а потому, что оно пусто – и мне хотелось вложить в него как можно больше труда и смысла. Мне был близок горестный вздох Юлия Цезаря: «Двадцать два года, и еще ничего не сделано для бессмертия!» Я укорачивал эту максиму до дней и часов: «Уже целый час прошел – а еще ничего не сделано для бессмертия».

Вместе с тем на меня порой находили приступы оцепенения.

Из дневника

21.4.71.

«Слабеет напор жизни... Все бы сидел, как каменный божок, и созерцал, и ощущал течение времени сквозь себя. Время завораживает своей мирностью, ибо мгновения невольно и без борьбы *уступают* друг другу. Нет ничего невозмутимее и чище времени. Пусть его, пусть... Радуюсь эпическому полноводью и глади снов».

Следуя графике таких зигзагов, подъемы в моей жизни плавно чередовались со спадами. За шесть лет: с 17 до 23 – я пережил три больших подъема:

1-й курс (1967–1968);

конец 3-го (у В. Турбина) – начало 4-го курса («Мертвая Наташа», 1969–1970);
и «6-й курс», уже после окончания МГУ, когда работал в ИМЛИ (1972–1974).

Периодичность была такая: год подъема – полтора года упадка.

После окончания университета моя погоня за временем перешла в новое исчисление – «единицы работы». Каждая единица равнялась примерно часу продуктивного труда, итогом которого должна была стать напечатанная на машинке страница или 40 прочитанных страниц. Длилось это года три, а потом я женился и стал давать себе поблажку. Чувство времени изменилось: его полнота определялась уже не производительностью, а внутренней насыщенностью, состоянием души.

См. ПРАВИЛА ЖИЗНИ, РАБОТА

Г

Гипотеза

Э

Из дневника

1.4.1973.

«У меня нет ни дара слова, ни дара фантазии, ни дара общительности, ни дара обаяния, ни дара аналитика, ни дара умельца... Но если бы существовал отдел гипотез, я бы в нем продвинулся в начальники. Из наличных элементов реальности складывать вероятности для будущего – таков мой особый дар, который мог бы пригодиться мне в обществе, которое гадает о своем будущем на тысячелетия вперед. Сейчас такое общество можно найти только в сумасшедшем доме...

Открываю бюро гипотез. Гипотезы, в отличие от планов и проектов, не несут никаких обязательств перед будущим и сами не накладывают на него никаких обязательств. Позиция гипотезы по отношению к будущему благородна: она не навязывает ему себя, но ищет в настоящем средств, которые могли бы пригодиться будущему. Если проект – это переход возможности в действительность, то гипотеза – это переход действительности в возможность. Проект: одна из тысяч возможностей выбирается для осуществления в действительности. Гипотеза: одна-единственная действительность порождает тысячи возможностей».

Ю

Одну из самых прекрасных «а что, если?...» моей погибающей советской юности подарила мне Аурора удушливым летом 1972 года – «когда все горело».

В момент рождения гипотезы мы гуляли в «зоне отдыха» за Киевской железной дорогой, по которой спустя три года я отправлюсь на «поезде дружбы» в свою первую границу – Венгрию. Такого поворота события я, подпольщик, представить себе не мог в тот день, когда мы нарушили наше солнцевское «взаперти» и вышли, чтобы, помимо кофе с сигаретами, добавить в режим питания еще и воздух. Жарко было очень. Сосняк полон ржавых консервных банок и бутылочных осколков. Меня охватил стыд за родину, которую без комментариев созерцала иностранка. Озерцо, к которому мы вышли, было набито, как автобус в час пик. Выгоревшая трава вокруг стоящей в воде толпы тоже сплошь покрыта телами отдыхающих. Наше появление многих заставило повернуться на живот и даже принять сидячее положение. Чтобы лучше видеть. Множество глаз уставилось на нас – обычных, казалось бы, студентов МГУ. Острое любопытство. Что мы будем делать дальше? Озерцо было «не резиновое»; но будь оно даже совершенно безлюдное, лезть в это я бы не рискнул из-за колера и консистенции того, что его наполняло. Просто позагорать? Она в парижском купальнике, я в полосатых японских плавках... как бы мы выглядели среди «семейных» трусов до колен, атласно-коробчатых бюстгалтеров, складок жира и подвернутых рейтуз. Обнажаться мы не решились. Но просто так уйти, повернувшись к народу спиной, казалось тоже невозможно. Зачем обижать людей? Мы сели на голую землю, я оперся на локоть. Стоило закурить сига-

рету (на последние франки Аурора приобрела блок «Pall Mall»'а в отеле «Украина»), как лежбище перед нами стало приходить в движение. Курильщики «Беломора» и «Примы» омрачились, выражая недовольство потусторонним благовоением. Какой-то мордovorот поднялся и стоял на одной ноге, ища, куда поставить занесенную. Глядя при этом в нашу сторону – хорошо, если только с намерением «стрельнуть». Подруга моя пребывала в состоянии блаженной доверчивости к этому миру и удивленно расширила и без того огромные глаза, когда я предложил без промедления валить из этой «зоны».

Тем самым, возможно, вызвал соответствующий «поезд мыслей».



Ждем автобус 552 до «Юго-Западной». Солнцево. 1972

По пути обратно в Солнцево Аурора стала перебирать варианты совместного существования в «биполярном» мире тех времен, когда терциум не был датур. Здесь? Из подполья надо будет выходить. Становиться писателем официальным. Советским? Ну да. Ты же советский гражданин? Членом Союза писателей. Как твой... Он спился. Со мной тебе этого не грозит. Мы посмеялись, я сказал:

- Есть еще вариант Солженицына.
- Бороться с режимом?
- Просто писать свободно.
- В стол? Как сейчас?
- Нет, печататься... Там.
- Это лагерь.
- Я буду писать про любовь. За любовь не посадят?
- Нет. Невозможно.
- Почему?

Я еще не знал, кто у нее отец. Второй случай в жизни, когда в разговоре со мной про отца затемнили. Первый был, когда «шефа жандармов» назвали историком. О своем парижском отце она сказала: пишет для газет. Журналист? Вроде того.

– Не вариант, – закрыла она тему. И другим голосом, будто стараясь прозвучать легко, задала вопрос: – А если тебе в Париж уехать?

- Да хоть завтра.

– Нет, я серьезно?

Она нарисовала мне картину полного отчаяния. Украина, бидонвиль, и я, еще один выброшенный на свалку истории русский писатель, сижу под горячим солнцем чужбины на пороге своего дома из картона и шифера с канистрой дешевого красного вина...

– Французского?

– Другого там нет. Но из пластмассы пьют только клошары.

– Что ж, буду пить и я.

– Ты уверен, что готов к такому? А к тому, что тебя там будет некому читать?

Заранее и беспощадно моя будущая жена отнимала у меня все возможные иллюзии, после чего предрекла, впервые тогда выступив в роли Кассандры:

– Жизнь твоя будет там трагичной.

– Жизнь вообще трагична, говорит ваш Унамуно.

– То есть ты бы со мной уехал?

Прямо над нами загрохотал поезд – как раз мы проходили бетонный туннель под железной дорогой. Поперек. Тогда как поезд перекатывал свой грохот в западном направлении. Чтобы быть услышанным, просто нельзя было не перейти на крик:

– ...!...!!

Гражданственность

Э

Время от времени мной овладевали гражданственные порывы. Пик таких настроений пришелся на 17 лет. Я даже решился на трудный разговор с мамой (с папой боялся поднимать эту тему).

Из дневника

2.6.67.

«Вчера вечером говорил с мамой о гражданственности. Она взволновалась: «Ты сумасшедший, ты не знаешь жизни, никому нельзя об этом говорить. Нельзя идти против большинства, тебя предадут, арестуют, посадят, ты погубишь себя и родителей, сломаешь себе всю жизнь. Одумайся, тебе всего 17, ты вырастешь и поймешь, что это бредни юности».

Я же знаю только одно: жить нужно так, как сам считаешь нужным, а не как большинство; жить для высоких целей, для правды и добра, для людей, всем своим существом воздействовать на бытие, не уходить от него в семью или науку, не бояться повернуть против течения – пусть хоть сильный всплеск будет!»

«3.6.67.

Фильм «Встреча с прошлым» – о борьбе с кулаками в Грузии. После кино заговорили с Тамарой Мутовкиной [одноклассницей] о несправедливости раскулачивания, о советском строе. Сперва Тамара слушала с интересом, но скептически; потом удалось ее зажечь. На мой вопрос, вступила бы она в тайную организацию, ответ был: да. Я страшно рад и чувствую ее родной и близкой. Но какая теперь на мне ответственность! Ведь раз она знает и участвует, уже нельзя отступить, ограничиться словами – это должно определить жизнь! А вдруг я не способен на Дело? Мне страшно, что я недостаточно серьезно ко всему этому отношусь...»

Тамара мне нравилась (умеренно), но ко мне относилась с безразличием, у нее были совсем другие вкусы (рослый, атлетичный Габриелян). И вдруг, за несколько месяцев до окончания школы, она расположилась ко мне, стала подолгу разговаривать, мы бродили по улицам, ходили в кино, я ей помогал готовиться по английскому к выпускным и вступительным. Как только мы оба поступили в университет, она со мной раззнакомилась, и стало ясно, для чего я был ей нужен. Потом ходили слухи (ею же пущенные), что она вышла замуж за летчика, что он героически погиб, – мне в это не верилось, а вскоре она исчезла из университета. Вот так распался романтический союз как бы влюбленности и как бы гражданственности.

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ДИССИДЕНТСТВО, ПОЛИТИКА

Ю

Дневник

МГУ,

14 января 1968.

...Перевели мне письма жен – Лар. Иос.¹⁰, Майи Васильевны¹¹ (были напечатаны в *Forum'e, Vienne*. – Странное чувство, когда думаешь, что это происходит сейчас, в эту минуту; и я ловлю себя на мысли: все, сюда не пиши – опасно. – Сегодня узнал о деле Гинзбурга. Я не волен совладать с тем чувством, которое вызвал процесс и приговор (7 лет). Гнусно, грязно, постыдно. Совестно. Как современно звучит Толстой: «Не могу молчать!» И мне хочется бежать к людям, где понимают, где возникает единство чувства и сострадания, к людям, которые не молчат.

...

Профессия, которой я намерен посвятить себя, и внутренне и – сейчас – внешне, опасна для жизни.

15 января 1968.

«Человек – мера всех вещей», – пишут у нас. И тут же лагеря, берут «за книжку», издеваются, лишают пайков, бьют ногами. Самоуправление подонков. Жизнь в руках подонка. Зуб болит.

* * *

Добавить можно только то, что к людям, которые не молчат, я все же бежать раздумал. Дезавуировал порыв.

¹⁰ Лариса Иосифовна Богораз (1929–2004) – советский и российский лингвист, правозащитница, публицист. В 1989–1996 гг. – председатель Московской Хельсинкской группы.

¹¹ Мария Васильевна Рóзанова (1929) – литератор, публицист, издатель. Жена писателя Андрея Синявского, в то время находившегося в Дубровлаге.

Д

Девушки

Э

Трудно мне было с ними... Мое сентиментальное воспитание было робким, консервативным, домашним. С уличными я почти не знался, с одноклассниками вне школы общался мало. Классе в четвертом я влюбился в тихую одноклассницу по имени Оксана и сохранил это чувство до конца 7-го класса, до переезда в другой район и другую школу. Я был настолько робок, что за четыре года не только ни единым намеком не приоткрыл ей своего чувства, но и вообще единого слова не посмел ей сказать, что в условиях ежедневной совместной учебы было по-своему не менее красноречиво, чем признание...

7-й класс, 13 лет:

Из дневника

1.1.1964.

«Она умна, скромна, начитанна, оригинальна (а может быть, вульгарна? Эти два понятия легко спутать, особенно когда имеешь дело с развязной или циничной вульгарностью). Ее нельзя заподозрить в антисемитизме, так как ее лучшая подруга Байер – польская еврейка. Самостоятельна и неизнеженна. А каково ее отношение ко мне? Вероятности таковы:

Ненависть 3 %;

Презрение 7 %;

Равнодушие 60 %;

Чувственность 13 % (о чем я мог судить, потому что время от времени она подходила, улыбалась и теребила рукав моего кителя);

Нравлюсь 10 %;

Любовь 7 %».

* * *

Вообще, в анализе чувств я, следуя Стендалю, любил прибегать к математике.

Позднее, уже в старших классах, было еще одно увлечение, тоже одностороннее и поневоле платоническое, поскольку девушка, дальняя родственница, жила в очень далеком городе, а на письма почти не отвечала.

На первом курсе МГУ, познакомившись с тобой, я впервые узнал, чем занимаются настоящие мужчины, особенно в университетском общежитии, и приказал себе: «Будь наконец мужчиной!» Но мои попытки напустить на себя некую юношескую брутальность были столь жалки и искусственны, что скорее отталкивали, чем привлекали девушек, и ни одной из надежд на форсированные отношения с однокурсницами не суждено было сбыться. Если у меня есть причины сильно себя не любить, то на первом курсе они проявились сполна: я изо всех сил, напролом, пытался стать кем-то вопреки своей природе; это был вдруг запоздало прорвавшийся переломный возраст. Вот запись того времени. Мне только что исполнилось 18.

Из дневника

24.4.1968.

«...Потом, когда я читал ей свои рассказы и из «твердого мужчины» превратился в мальчика, она сказала: «Вот сейчас ты искренен, а раньше, когда обнимал, был неискренен, переигрывал». И это правда. Это не любовь, а желание доказать себе свою способность любить – самолюбие. И целовал я ее не иначе как с внутренней любопытной и стеснительной усмешкой, вполне осознавая натянутость положения. «Странно, но я на тебя не обиделась», – заключила она, когда мы уже гуляли по Донскому монастырю. Мне обидно, что меня даже в отрицательном плане не воспринимают всерьез, но, увы, пока это справедливо. После расставания я даже почувствовал облегчение, что мне уже не надо корчить из себя опасного мужчину».

На филфаке романтических отношений не возникало; одна из попыток оборвалась очень быстро, на прогулке по Ленгорам, когда девушка внятно объяснила мне свою уклончивость: ничего у нас с ней всерьез не получится, поскольку ее родители не любят евреев.

Летом, 18 лет, я поехал в северную фольклорную экспедицию (Карелия), которая стала не только прообразом всех моих последующих странствий по России и встреч с ее поющим, сказывающим и верующим народом, но и началом любовного опыта. Одну белую ночь я провел в обществе местной девушки, шведки с бунинским именем Галя Гансен, но все опять-таки ограничилось поцелуями, поскольку представление о том, что делать дальше, у меня было смутное.

Ю

Дневник

17 лет.

Какие девушки оказали на меня влияние, как сложился я в отношениях с ними (Гродно: 4 имени; Минск: 13 имен...).

Сейчас меня интересует только Наталья Стромок. Необходимо победить...

Я и во сне тебя не касался. Ты во сне на холмах стояла с другими...

Она снилась мне 30-го на 31-е на холме. И я сводил ее оттуда. Она смелей меня... И я не знаю, наивность ли это была, когда она сидела на тахте с ногами или что – соблазнить, что ли, она хотела меня?

2 ноября 1965.

Ну вот. Я знаю все уже – как умирают (*от моей руки пахло железом ручки неотложки, когда я допивал холодный чай, оставленный мной, мать кубинской революции – защитная моя рубашка с темно-зеленой заплатой на спине*), как мучаются, знаю любовь...

29 ноября 1965.

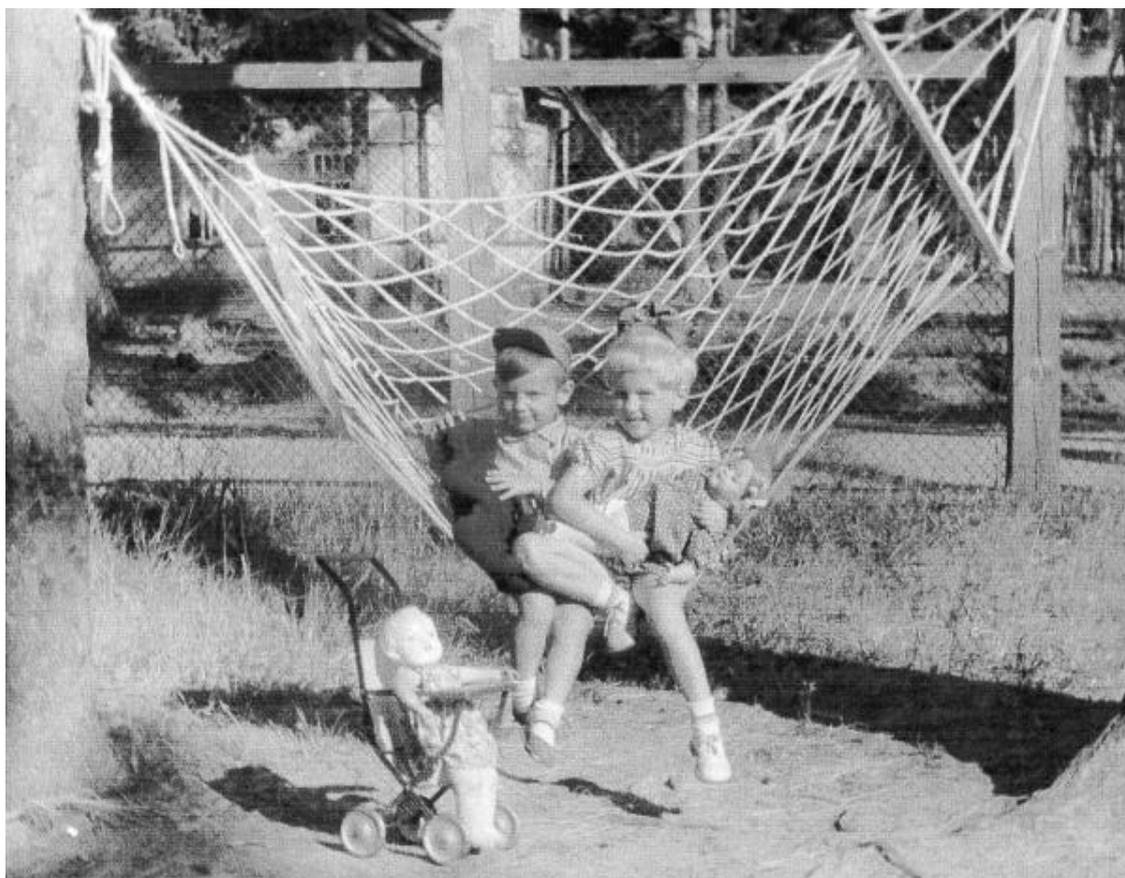
Блок. Записные книжки.

Покуда ты любовь свою таил,

Я верила – ей нет предела в мире.
...
Но ты нашел пределы и слова.
Зажегся день. Звезда любви – мертва.

* * *

Что можно сказать о девушках? Они возникали – запечатленные в последующих текстах, ради которых, собственно говоря, и появлялись. Я ведь тупо твердил тогда, что «Я – только функция моей пишущей машинки».



Сереза с безымянной блондинкой. Финский залив. Начало 1950-х

В августе 1967 года Тамара С*** согласилась прийти ко мне на свидание в 5-м корпусе, но в последний момент послала вместо себя подругу Свету Филоненко из Курска; теперь же разыскала меня в Интернете, чтобы высказать нечто вроде сожаления о пропущенной возможности и целой жизни, которая, по мнению Тамары, могла бы протечь...

Но не случилось.

Зато произошло другое. Так сказать, жизнь.

И девушки – ее воплощенная радость. Находящая на тебя волна за волной. Главное, что можно сказать, это что девушки – красивы. Были, остаются и пребудут. В деле спасения мира, боюсь, от них мало что зависит. Зато они спасают тех, кто красоту их может оценить. Я поймал себя на том, что мало цитирую, так что изволь, *Франц Кафка*:

«Юность счастлива, потому что обладает способностью видеть красоту. Все, кто сохраняет способность видеть красоту, никогда не стареют».

Э

Еще я припомнил один наш с тобой общий местомиг. Была у меня маленькая телефонная дружба с одной невидимой девушкой (Валей? Зоей?). Позвонил куда-то по ошибке, напал на приятный голосок, который на вопрос, что вы сейчас делаете, ответил: «Ем яблоко». Простота ответа умилила, да и прельстила косвенным напоминанием о том, чем занялась Ева с Адамом после вкушения яблока. Изредка ей позванивал, общих тем не было, но как-то тянулось по слабой привычке-полунадежде. Как-то мы с тобой решили сотворить алхимический фокус и явить невидимку. Нехотя, но она все же приехала с подругой к тебе на квартиру, где мы их уже ждали со скромным угощением, не без вина. Почему девушка скрывалась, стало ясно при ее появлении – оказалась невзрачной, что не уменьшило нашего вежливого дружелюбия к скромным, пэтэушного вида особам, которые предпочитали отмалчиваться и держались чуть скованно в обществе студентов. Помню, как, бессобытийно и беспредметно проведя время, мы расстались без сожаления, и ты задумчиво сказал, удовлетворенно оценивая происшедшее в форме их несобственно-прямой речи: «Накормили, напоили и даже не вы**ли». Увы, они не выглядели столь оживленными и счастливыми, как мы, бескорыстные джентльмены, имели право рассчитывать. Больше ни встреч, ни даже звонков не было.

Вот мелкий эпизод, без последствий, без чувств, без особого смысла – *местомиг* как минимальная единица в структурном составе жизни. И что с ним делать? почему он помнится? в какой пазл вставляется этот крошечный кусочек?

Ю

Мне запомнился пазл покруче. Это было в Москве после военного переворота в Чили. Жена и наша совсем еще маленькая дочь были в Париже. У тебя есть рассказ «Мед месяца без жены». Вот, слушай. Предоставленный самому себе, я затосковал и решил устроить парти бывших эмгэушников. Пригласил чилийца с его русской подругой и тебя. Ты пришел с юной блондинкой. Я поставил диваны, или скорее то, что в Америке называется *love seat*, по длинным сторонам журнального столика, так что вы оказались лицом к другу, а себе я поставил стул. Главной темой стала судьба Родриго. У меня не было впечатления, что он рад возможности выбрать свободу в СССР, но после победы Пиночета что ему оставалось? Поворот истории где-то там, где Огненная Земля и Антарктида, отобрал у человека родину, а у девушки его – надежду увидеть мир. Мы им сочувствовали, и все более и более по мере выпитого. Где-то в процессе мы с твоей блондинкой столкнулись в ванной. Там мы с женой стирали пеленки, а сейчас натянутые мной веревки зияли пустотой, и вот на этом сиротливо-кафельном фоне твою блондинку я поцеловал. Удивив тем самым самого себя. Чилиец с подругой отбыли, а вы остались, а потом остались и на ночь в дальней комнате. Их было только две, но квартира большая, «сталинская», звуконепроницаемая, где третьей комнатой служила мне в тот период кухня. Я мыл посуду и терзался изменой в форме поцелуя. Теперь огорчу тех, кто предвидит развитие в жанре *ménage à trois*. Наутро вы уехали, а я стал думать, как жить дальше: один в Москве, где может случиться все. Тут же Москва мои тревоги подтвердила. Стук в дверь. Блондинка возвращается. Теперь она хочет быть со мной. В идеале навсегда, а если это невозможно, то на пару дней. Иначе отец убьет за то, что не ночевала дома. Да, но как же Миша? Туда нельзя, там мама. «Давайте я вымою посуду». Девочка была мила, но я не поддался и убедил ее отправиться домой. Что было жестоко в перспективе отца-убийцы. Но я дал трешку на такси. Когда загудел мотор лифта, спуская все это на тор-

мозах, я испытал большое облегчение. Любимой жене не изменил, а заодно остался верным другу. Минус поцелуй, конечно. Но в свете «окна возможностей», которое я захлопнул, это прегрешение было заглажено, можно сказать, субстанциально.

Э

Ничего серьезного с этой блондинкой у меня быть не могло, несмотря на пылкость увлечения, и ее «измена», о которой она мне рассказала, лишь помогла мне это осознать.

Ю

Непреложный факт юности: девушек почему-то всегда больше у других. Не знаю, что меня больше поражало – способность П*** совращать «тургеневских» наших девушек или сама совращаемость этих девушек как некое их имманентное свойство?

На кухне у Сперанских сидит первокурсница и трудится над своей текстильной курсовой. Туда заходит П*** и уже минут через пятнадцать минут рассказывает в комнате Андрею и его жене, змееголовой киевлянке, – супруги, они хохочут, – как лишил целокупную девственность буккальной невинности.

«Хочешь пососать? – А что? – Конфетку!» И та, как зачарованная, склоняется к извлеченному зеббу.

Мне всегда казалось, что это форма мести стране, которая сделала П***, уроженца Тегерана, невыездным.

Э

У меня так вопрос никогда не возникал: у кого больше девушек? Если была одна девушка, и еще с ней можно было говорить и понимать друг друга, – уже счастье. Почему-то к гаремам меня никогда не тянуло, даже в фантазиях.

Ю

Дневник

18 марта 1968.

Верные выводы о женщинах делаешь только тогда, когда наблюдаешь за чужими женщинами, равнодушными к тебе. Это дополняет знание о той, которая твоя. Не знаю ничего более поучительного для влюбленного, как наблюдение за женщиной вообще.

Неужели мне суждено еще влюбляться?

Отвратительное состояние.

10 апреля 1968.

Дать человечеству 24 часа, а потом конец, и тогда человек проявил бы себя истинно. Убийство? Нет. Поиски наслаждения? Ну, поймет 2–3 женщин. 24 часа безделья.

А что бы я делал? Попрошался бы со всеми, стал бы говорить с другом: что вот, конец-пиздец, выпил бы, может. Поспал, чтобы сократить время. Вдруг! Мысль моя: умереть с женщиной в постели. А лучше с двумя. Вот правда этого человека.

Диссидентство

Ю

«ВСЕ ВЫ ЗВЕРИ, ФАШИСТЫ» – написал я на обоях коридора коммунальной квартиры № 69 дома 29 по улице Рубинштейна у Пяти углов. Это – самый первый текст, изготовленный мной сознательно. Красным карандашом под названием «Тактика», принадлежащим отчиму, слушателю военной академии.

Мне было 5 лет, и я хорошо помню, что, пища, что было процессуально долго, думал, что воспроизвожу собой картину, на которой дети в стране капитала пишут на стене PAIX!¹² Те дети боролись за мир, я объявлял войну. Большая комната пыталась вбить клин между мной и сводным братиком Павликом, который им был неугоден. Тогда, уводя брата, я ушел и сам. Но мне было мало того, что я лишил их своего присутствия. Гнев искал сомасштабного выражения. Затупляя карандаш, я уродовал «общие» обои. Соседка Матюшина пронесла мимо нас кастрюлю с супом. Будучи нашим общим врагом, она радовалась конфликтам в нашем стане. Прекрасно видя, что я «творю», сделала вид, что ничего не замечает.

Overreaction. Разумеется. Но хватил я через край только по отношению к тем, кому послание адресовалось. Обитатели Большой комнаты были и остались в памяти самыми гуманными людьми той жизни. Дедушка, Бабушка, Тетя Маня. За исключением Иры, ходившей в красном галстуке, они были «бывшими» людьми. Согласно той же Матюшиной, должны были еще радоваться, что их не расстреляли. Все были жертвами нового режима. Но чудом выжили и, несмотря на 35 лет своего мучительного существования в СССР (после 17-го года), удерживали мягкость «прежнего мира». По отношению к моему брату тоже. Но он был «чужая кровь», а я «своя». Меня любили намного больше, чем его. Протестуя против несправедливого распределения любви, я был чудовищно несправедлив по отношению к своим родственникам.

Но слова, написанные «Тактикой», оказались верны стратегически. Впоследствии я мысленно повторял «звери, фашисты» еще много-много раз, пока меня не осенила догадка, что все здесь, на что я наступаю и по чему хожу, засеяно зубами дракона. Того и гляди разинет пасть. Сама почва здесь «онтологически» брутальна. Все это пространство вмененного существования, где сама установка на гуманизм невольно становилась источником инакомыслия.

Я был преждевременно политизированный ребенок. География «сына империи» тому способствовала. Каждая новая точка на карте ставила под вопрос общесоветский режим. Ленинград с моим петербуржско-петроградским родом по отцу. Западная Белоруссия с непреодоленной в ней Польшей и нависающей с юга непокорной Литвой. Минск с Заводским районом, где клокотала «новочеркасская» ярость начала 60-х.

Хлебные бунты меня не волновали, мама доставала где-то «батонны», но с 4-го класса я стал брать в районной библиотеке политиздатовские книжки о «венгерских событиях». Результатом стала романтизация восстаний. Не только обреченных, *эроика* которых, конечно, была непобиваемой. Но для меня не было особой разницы между трагедией Будапешта и триумфом Гаваны. С 1 января 1959 года решительно встал на сторону барбудос, а через год написал оду на разгром врагов Фиделя в Заливе Свиней.

Сегодня – воскресенье,

¹² Решетников Федор Павлович. «За мир!» 1950. Государственная Третьяковская галерея.

Но вы не воскреснете.
Ваши матери мелко крестятся...
По тревоге не встанешь, золоченый шеврон,
Завязший, погибший на Плайя-Хирон...

Запечатал в конверт и отправил в «Известия» – первая попытка пенетрации в партийно-советскую печать. В стихах я радовался нашим победам в космосе, обличал англосаксонский неоколониализм, одобрял речи Хрущева в ООН... как вдруг был обвинен в фашизме.

Из рассказа,

начатого в 14 лет

Павлик и Игорь жили в микрорайоне. Они были знакомы давно, с детства. Игорь переехал в новый дом напротив. Они играли в войну на свалке, ходили за «кошками» далеко, в ботанический сад, стены которого осенью ярко пылали от темно-красных сладковатых ягод. Они с увлечением делали самопалы: загибали медные трубки, гвоздь с резиной, и очищали в трубки серу со спичек. Оттягивали гвоздь и били по каблуку. Ходили в кино на детские сеансы. Оба много читали, и вскоре выяснилась разница во вкусах. Кидали снежки в прохожих, впрочем, кидал Павлик, а Игорь лепил ему снежки. В четвертом классе впервые поссорились. Вот из-за чего. Оба учились хорошо, получали пятерки. Но однажды за упражнение, которое Игорь списал у Павлика, он получил четверку, а Павлику вляпали двойку. Упражнение было одинаково написанным. Игорь отказался идти к Василию (ученики так называли своего учителя) с вопросом. Он боялся, что ему тоже «вляпают».

Потом, очень скоро, они помирились.

* * *

Ненадолго.

Бабушка привезла мне из Ленинграда альбом с марками, подобранный моим отцом в берлинских руинах. Последние страницы сплошь были покрыты марками с фюрером. Одну из этих одинаковых махнул на что-то с вышеописанным Игорем.

Последствия обмена оказались ужасными. Папаша Игоря на фронте был контужен, что вылилось в расстройство, из-за которого его списали из рядов Вооруженных сил. На марку, увидев ее в классе у сына, набросился с сапожным шилом. Гитлер был в профиль, глаз разглядеть было не просто, но он его выколол. После чего взялся за ремень с латунной пряжкой. Выбил признание и отправился с сыном по месту моего жительства. Возможно, даже с шилом. Но дома не застал (я был на занятии изокружка в Доме пионеров). Маме стоило больших трудов утихомирить дядьку. Орал на весь подъезд, брызгал слюной и грозил сообщить «куда следует». Может, и сообщил. Но он состоял на учете в психбольнице, так что все заглохло. Гитлеров из обменного фонда я, конечно, изъял.

Старшая сестра Зимфира училась в институте имени Герцена на Мойке. Приезжая на каникулы в Ленинград, наводил у нее порядок, читал студенческие тетради и разворачивал вложенный в них машинописный самиздат. «Когда русская проза пошла в лагеря», «Я стою на песке», «Давайте после драки помашем кулаками», «Стихотворения Юрия Живаго»

из романа Пастернака. Так я узнал, что «у нас ее край непочатый поэзии истинной, хоть непечатной». Ее приятель Максим Прийма, студент Химико-фармацевтического института и киноман, однажды принес ей на Невский журнал «Юность», где напечатался его двоюродный брат Василий Аксенов: «Два рассказа». Вскоре я прочел «Коллеги», а там и «Звездный билет» – манифест советского бит-поколения. «Все едут на Восток, а мы на Запад»...



Сергей Юрьенен, Иосиф Маршак – выпускники восьмилетки. 1964

В Минске сблизился с одноклассниками Маршаками. Близнецы, брат и сестра. Люба соревновалась со мной на уроках английского, а с Осей мы «инакомыслили» до конца восьмилетки. Оба давно живут в Калифорнии, а тогда мы с Осей на уроках обменивались острыми «фразами», источником вдохновения которых были записные книжки Ильфа и Петрова. Отец их слушал «голоса», так что опосредованно, через Осю, я был в курсе событий в Москве, где обострялась борьба с «наследниками Сталина». Евг. Евтушенко, стихами которого полны мои тетрадки тех лет, боролся еще и против антисемитизма. Не унижаясь до трусости коллег, оспаривал самого Хрущева...

Мне было 14, когда «Кукурузник» начал поход на литературу и искусство «шестидесятников». Я стоял коленями на кухонной табуретке и с возмущением читал в газетах стенограммы этих кремлевских «встреч» с нападками на авторов «Юности», которые мне стали еще дороже: Аксенов, Вознесенский... во главе, конечно, с Трубачом их поколения. Но доставалось и старшим. Виктору Некрасову – «По обе стороны океана» найду и прочту. Хуциеву – за фильм «Застава Ильича» (впоследствии «Мне двадцать лет»). В газетном пересказе особенно впечатлил кощунственный, как писали, эпизод, где 20-летний герой задает вопрос отцу, погибшему на войне: «Как жить, отец?» На что отец с того света отвечает: «Не

знаю, сын. Мне меньше, чем тебе». Примерил на себя. Моему отцу было вдвое больше, чем мне, когда он погиб. Двадцать девять. Он мне тоже ничего не посоветовал. Я сам решал, как мне жить.

Я давно перестал славить победы в космосе, но и в антисоветизм не впал. Западная литература во главе с «Папой», а затем – благодаря ему – открытый по-русски Джойс спасали от политизации. Скорее меня можно было обвинить в том, за что был изгнан из литобъединения. ЛИТО было при газете «Знамя Юности», но юным там оказался только я. Все были взрослые, все с профессией. Журналисты, инженеры, врачи, а один «начинающий» даже в форме милицейского майора. День моего «обсуждения» превратился в фурор. Правда, благодаря не столько поэзии, сколько прозе. «Попомните мое слово, – горячился журналист в кожаной куртке, о которой я даже не мечтал. – Этот мальчик далеко пойдет!» – «Если милиция не остановит», – шутили другие энтузиасты, но майор всем видом заверял, что такого по отношению ко мне он не допустит. Я был рекомендован к публикации на «Литературной странице» газеты. Взрослые дяди – согласно дневнику, их звали Валерий Москаленко, Владимир Моисеев, еще кто-то (им не было еще и тридцати) повезли меня в «Дом мастацтв», где под самый дорогой коньяк стали читать свои произведения, спрашивая мнения. У меня, у школьника. Такое начало литературной жизни мне понравилось. Однако – недолго музыка играла. Руководитель ЛИТО, который улыбался, соглашаясь с единодушной оценкой моего творчества, письмом на бланке газеты известил, что по результатам чтения я отчислен за «низкопоклонство перед западной литературой». Мне предлагалось учиться у Горького, Шолохова и почему-то Серафимовича.

Конечно, я переживал и бил мешок, подвешенный в дверном проеме. Но тут хотя бы ставились на вид чисто стилистические расхождения. Зиновий Юльевич Копысский, приятель родителей, шел дальше. Литература для вашего сына, мол, только предлог. На самом деле он нацелен на подрыв устоев. В «Новом мире» мы, как и все, прочитали «Один день Ивана Денисовича». После взаимояростных споров с отчимом мне была названа перспектива дальнейшей моей юности: колючая проволока. Наличие лагерей при Сталине при этом отрицалось. «Кому ты веришь, мне, сибиряку, или рязанскому училищке?»

Дневник

18 лет.

1966. Май, 13.

Поражение по химии.

Был на V съезде писателей БССР.

Быков; Кожевников в президиуме.

Выступление Гречко¹³.

«При Сталине больше порядка было», – со злобой.

Май, 22.

«...» Спор, дискуссия, поучения, ругань. Быков, отец, я. А также Пастернак.

– Не хочу из-за Быкова терять сына.

И все такое.

Май, 23.

А наутро – мать. «Нет, не все равно!!!»

¹³ Маршал, главнокомандующий Объединенными ВС государств – участников Варшавского договора. С апреля 1967 года до своей кончины – министр обороны СССР. Один из организаторов ввода советских войск в Чехословакию 1968 года.

<...>

«Роман требует болтовни; высказывай все начисто», – советовал Пушкин А. Бестужеву.

6 июля 66.

Юрьенен, приглашаю трепаться,
Юрьенен, ты романом ранен,
Юрьенен, а не слишком ли рано,
За роман тебе, братец, браться,
Юрьенен,
Затяни ремень!..
И смелей, Юрьенен, смелей.

По-моему, с автором все ясно. Диссидентство тут не самоцель. Литература – главное.

Э

Уже с 8-9-го классов у меня начался период романтического диссидентства, я стал воспринимать мир по Пушкину: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Тогда же, на уроках химии и в беседах с классным руководителем, я заявил о своем несогласии с атеизмом. Поступив на филфак, я первым делом попытался создать литературный журнал оппозиционного направления. Об этом были разговоры и совещания с тобой и Борей Сорокиным – другом Вени Ерофеева, старшим и опытным диссидентом, уже *исключившимся*. Но дальше намерений дело не пошло, потому что все, включая ведомых и неведомых мне стукачей, видели мою чудовищную наивность, и, вероятно, именно это спасло меня от ГБ. На нашем курсе учился чеченец по имени Норик, 24 лет, мы дружили, и однажды он меня по-доброму предупредил, чтобы я не зарывался, что есть разные люди и меня могут неправильно понять. Я принял к сведению, и лишь потом до меня дошло: а откуда он, собственно, знал, что я «зарываюсь»? Уж не поставлен ли он был?... Мой романтический «политикоз» продолжался на первом курсе и стоил мне ученических отличий: две единственные четверки, по логике и фольклору, я получил за первый семестр. Но с лета 1968 г. научные и художественные, а также, конечно, любовные и экзистенциальные интересы стали перевешивать политику.

Из дневника

18.7.1973.

«Случайно встретился в трамвае с тетей Людой. Ей за 50, искусствовед, друг старых друзей нашей семьи. Мучительный разговор. Выяснилось, что я, в 23 года пишущий статьи по литературоведению для советских (а каких еще?) журналов, не располагаю ее к уважению. Поскольку своим поведением оправдываю существующий строй. Чтобы писать нечто стоящее, надо понимать, что вокруг остались одни мародеры, все таланты перебиты... Я: да ведь это понятно даже подростку при первом взгляде. Но что же остается делать? Уйти в сатиру? Не может же все человечески великое и вечное в нас кончиться только потому, что вокруг все так подло и пошло. Овладение профессией, вне отношения к режиму, дает человеческую и историческую свободу и меру вещей. Примиритель Пушкин больше борца Рылеева.

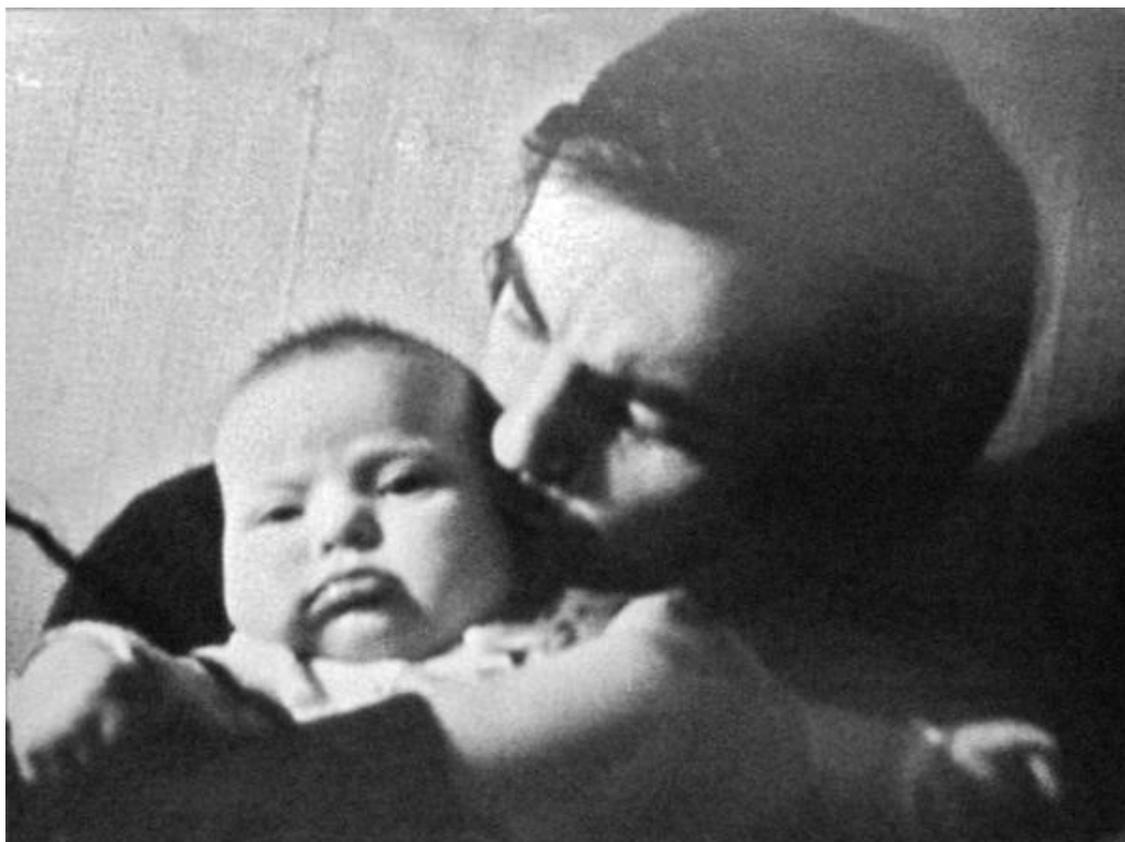
...Все равно стыдно. Не могу себя простить, что случайно ли, в шутку ли обмолвился про «волю народа», которая якобы свершилась в России в XX в. Но что же делать: возвра-

щаться к моему диссидентству, когда мне стукнуло 16 лет? Или все же работать? Обидно, что почти чужой человек несколькими искренними фразами доводит меня до таких сомнений в себе. Пишу статью для сборника, редактируемого М. Храпченко и Я. Эльсбергом. А в какой сборник еще писать? Это и есть «вокруг»?

Ю

В том же 1973-м, в сентябре, пришла пора и мне выходить из своего подполья. Нашей дочери Анне, Аните, шел четвертый месяц, и мы ее тогда почему-то называли Чон (что иногда я расшифровывал как ЧОН – Часть особого назначения).

Отцом я стал в 25 лет – и сразу почувствовал, что вступаю в новый возраст, юность позади. Впрочем, чувствовать эту метаморфозу я начал в 24, когда в один прекрасный осенний день Аурора сказала, что у нас будет ребенок. По причинам глубоко антисоветским сына я не хотел. В ноябре – декабре 1972-го я много писал, Аурора же рисовала что приходило в голову. Однажды нарисовала предстоящую мне дочь. Рисунок мне очень нравился, но главное, что воплотился он точь-в-точь, и даже еще точнее. *Дочь-в-дочь...* Не знаю я ответ на вопрос, как могло такое получиться, я бы отнес сей судьбоносный эпизод в рубрику «Необъяснимое»...



Осень 1973

Ребенок всем хорош, однако в подполье с ним не усидишь. Одним своим криком толкает к социализации.

Я последовал совету Ауроры подать рассказы на творческий конкурс Литературной студии при Московской писательской организации (и МГК ВЛКСМ). Она узнала об этом конкурсе из газеты «Вечерняя Москва». Более того – сама и отвезла туда мои рассказы после

того, как я их перепечатал и уложил в папку. Приемная дама¹⁴, которая сидела в ЦДЛ на втором этаже, тут же прочитала один и заверила жену, что у этого автора проблем не будет. Так и оказалось. Меня приняли. И я вышел на поверхность – голый к волкам.

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА

¹⁴ Ничего случайного все же не бывает: с этой дамой я познакомился, уже «выбрав свободу» в Париже, когда мой публикатор, диссидент Александр Глезер, представил меня в Монжеронском замке тогдашней своей супруге – Майе Ильичне Муравник.

Дневник

Э

Дневник я вел с 11 лет до 25, т. е. классически, как положено, между детством и взрослостью – через все отрочество и юность, когда острее всего переживается «я» в его разладе с миром и мучительных попытках навести мосты. Собственно, дневник и есть такой мост, попытка «омирить» себя, «осебейть» мир, предъявить взаимные счета и их оплатить. Детство – еще свернутый бутон, носит весь мир в себе; взрослость принадлежит миру, осваивается и опошливается в нем, социализируется, профессионализируется, типизируется... Дневник же – место их взаимопритирки, дополнительная жировая складка, слой самореконструкции, оберегающий «я» от самых болезненных уколов и прямых попаданий в его нежнейшие, уязвимые точки.

Вот самые первые записи, мне 11 лет.

1962. Дневник Эпштейна Михаила

«10 января.

В каникулы я был у тети Сони и за диваном нашел дневник Эдика (*двоюродного брата, на 14 лет старше меня*). Это пробудило во мне желание вести дневник. Я слышал по радио, что многие великие люди вели дневники. Я тоже решил вести дневник – может, буду великим человеком. А если нет, что ж, все равно пригодится, как дневник Анны Франк. А может быть, я напишу, когда стану взрослым, книгу по этому дневнику. А если не то и не другое, все равно интересно потом будет читать.

11 января.

1-й день 2-го полугодия. Мне страшно не хотелось идти в школу, но что поделаешь. Вместо 6 уроков было 4. Говорят, арифметика и ботаника заболели. На уроках никого не спрашивали. Дома я решил читать «Записки охотника» и прочел «Хорь и Калиныч». Думал, будет скучно, но оказалось интересно.

13 янв.

В воскресенье писать не мог – увидела бы мама. На английском меня, Контора, Федорова, Киселева и Пукмана вызвали к директору. Зашли в кабинет. Думал, нам дадут грамоту. Нет, нас фотографировали для стенда «Лучшие ученики нашей школы». Мы ушли. Урок уже кончился. В коридоре был один наш класс. Ко мне стали приставать Репин, Адлер и мелкая сошка – Коршунов, Дубцов и др. Купцов – редкий наглец. Хотя он и не пристаёт, но я его ненавижу больше всех, и он меня, наверно, тоже. Как бы я хотел избить его, это проклятое, желтое, вытянутое, как огурец, лицо!.. Стал драться с Адлером, но разошлись. Дома было все обыкновенно. Я мылся в тазу».

* * *

Больше всего в моих дневниках – самокопания и самобичевания. У поэта Николая Ушакова есть такие строки: «Мир незакончен и неточен – /поставь его на пьедестал /и надавай

ему пощечин, /чтоб он из глины мыслью стал». Мой юношеский дневник – это нескончаемые пощечины, которыми я превращал себя из вязкого месива в некую мысль.

А вот одна из последних записей – примерно за два месяца до того, как по-новому повернулась жизнь, вышла на взрослые рубежи:

3.12.74.

«Нет выше радости, чем радость чтения своего дневника человеку, в котором твой процесс вочеловечения получает свое завершение. Человек, которому можно без стыда читать свой дневник, – это и есть тот человек, ради которого мы вочеловечиваемся, это и есть свет для нашей тьмы, как мы – тьма для его света... Нет ничего выше той радости, в которую мы обращаем свой стыд. <... > Вот – дневник; теперь нужно найти человека, которому я мог бы его прочитать. Поставив точку, отправляйся на поиски человека».

Ю

И мне было те же одиннадцать, когда я купил себе записную книжку и карандаш. Это было в минском аэропорту перед вылетом в Ленинград на самолете «Ил-12» (такой же здесь разобьется через год).

Поездка не планировалась, а была внезапной. Дед заболел. Я не знал, насколько это было серьезно, но мама, меня провожавшая, была печальна и смотрела в высокие окна на бетонные плоские дали и самолеты. В буфете сказала: «Александр Васильич мне заменил отца».

Положим, это было преувеличением, но меня в тот момент снова охватил интерес к ее родному отцу – все же второму моему деду. Кто он был и что с ним стало? Годами добивался, и вот сейчас мама сдалась. Тайна ее отца открылась за одноногим столиком, у которого мы стояли. Какао был еле теплый. На мрамор, на торговую кальку, был отложен коржик, который было ни маме, ни мне не раскусить. Обычно мама этого так бы не оставила. Вернула бы буфетнице в обмен на тот же кекс. Она боролась за свои права. Но не в тот момент чистосердечного признания. Оказалось, что отец ее был иностранец. За что и поплатился жизнью.

Тут только бы расхохотаться.

Too much.

Для меня это было слишком много. За мрамор не схватился, но почва из-под ног ушла. Я так хотел быть русским! Дедушка, то есть главный мой, питерский, чванился своей нордичностью, но при царе он тоже ведь хотел. Пошел на войну, чтобы геройством заслужить право на русскость.

Я раскалывал маму дальше, она поддавалась, то и дело оглядываясь на мужчину у дальнего столика. Потом мы сели в новенькие кресла на хромированных ножках. Мне захотелось в туалет. «Тебя проводить?» Нет, я спустился сам. На обратном пути остановился у киоска. Мне нужно было поделиться тем, что я только что узнал. С записной книжкой.

Когда самолет взлетел, я нарисовал на блекло-бирюзовой обложке символ. Кинжал, скрещенный с увеличительным стеклом. Шерлок Холмс был моим идеалом, я хотел стать детективом. Разгадывать тайны. И вот одна на меня так обрушилась, что был сам не рад.

На Пяти углах первым делом поделился с дедушкой, который вместе с бабушкой встретил меня в Пулково. Он не удивился. Уже знал от мамы, что второй мой дед был австрияк. Много повидал он их в Галиции. Главным образом убитых. И раздувшихся от жары, как жабы. Ночью полз во ржи в разведку, въехал одному рукой в брюхо, оно лопнуло и всего обдало. Ф-фу!

Мы хохотали. Ему оставалось лето, два с лишним месяца. И я был вызван к смертному одру, чтобы он успел мне передать то, что считал он важным. Для детских ушей или

нет, значения уже не имело. Чего не понимаешь, найдешь потом в книгах. Про гимназию – Гарин-Михайловский. Который бросился в пролет. Про юнкерское училище – в «Юнкерах» Куприна.

Сам он рассказывал о том, что в книгах не прочтешь за ненаписанностью таковых. *Oral history* в СССР 1959 года была посвящена в основном зверствам сволочи: *красной*. Той самой, которую я славил в первом классе: «Рабочий тащит пулемет...» Так я узнал про ЧК на Гороховой, 2, про злодейские убийства аристократов, барышень и офицеров. Про «Кресты». Куда он попал по доносу дальнего родственника бабушки, которого взял из Новгородской губернии себе в ординарцы и тем самым спас от передовой. «Славка Мареничев такой был. Отомстил мне за то, что драил сапоги. Был никем, хотел стать всем. Но ничего путного не вышло...»

Почему они с бабушкой остались? Не ушли в Финляндию по льду? Во-первых, бабушка была брюхата твоим папой, ну и... Кто мог подумать, что так все обернется. Хорошо, браунинг в Фонтанке утопил. Нашли бы, сразу к стенке. Ему повезло. Не расстреляли, как других. Через три года вышел из тюрьмы с приобретенной там «волчанкой» и справкой, что перевоспитан и прочно стоит на платформе Советской власти. Как это «на платформе»? Я хохотал, представляя себе: наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка, а на платформе – он один. Схватившийся за кепку или что тогда носили. Чтоб не унесло. Дед смеялся вместе со мной, но извлекал из книжного шкафа картонки из-под обуви, рылся, находил и разворачивал передо мною справку из ЧК. Точно... Тюрьма не только изуродовала ему лицо, но исказила и фамилию. Именно с этой прохудившейся на сгибах желтой справки, где вместо «Юргенен» вписали «Юрьенен», и началась наша советская история.

Заодно на клеенку выливался визуальный материал. *Cartes postales*. Фотографические «карточки». Открытка с Хрустальным дворцом из Лондона от предка... Это вот Юргенсоны. Вернулись в Швецию, – у них большой ювелирный магазин был на Невском, угол Лиговки. Лысый идиот, для юмора надувший щеки, совсем не идиот, а дед твой, внучек. Наш с дядей Васей и тетей Маней брат. У него был в Хельсинки отель. Мог бы жить припеваючи, так нет. Поехал туристом в Ленинград. Однажды с бабушкой сидим, пьем чай. Колотят в дверь. Гости... из Большого дома, который они себе построили на Литейном. Тужурки кожаные, синие фуражки. ЧК? Да, но называется уже НКВД. Вводят нашего интуриста, а мы его не видели с семнадцатого года. Двадцать лет спустя, как у Дюма вон. Сажают на стул. И нам велят садиться. Против него. Сидим и смотрим друг на друга. А они на нас – фуражек не снимая. Никто ничего не говорит. Только маятник – тук-тук. Все! «Свидание окончено». Тут брат снимает кепку и отвечает нам поклон. Последний? Да, внучек, но нюанс... Мы видим, что голова в ожогах. Говорить запретили, но брат придумал, как обмануть их, и показал нам, что перед гибелью там пережил. Папиросочки свои об лысину ему гасили...

Так дед меня грузил и сам иногда пускал слезу. А в промежутках он болел. Им занималась бабушка. Предоставленный самому себе, я каждое утро выходил на встречу с любимым городом. Запах Питера был неповторим, рыдать хотелось. Первым делом в магазине «Охотник – Рыболов» на Литейном приобрел складной никелированный нож с колечком-держалкой. Такой большой, что не влезал в кармашек шортов (в просвещенном Ленинграде я не стеснялся ходить, «как немец»). Была проблема сокрытия, потому что с ножом я не расставался во время посещения музеев: Эрмитаж, Кунсткамера, Военно-Морской, Музей Радио имени Попова, музей Арктики с медведем в вестибюле...

Одна из записей была посвящена визиту в музей-квартиру Н. А. Некрасова на Литейном, 36: «12 комнат, а говорят, что бедно жил!»

Рассказ мой деду поднял настроение.

Сидя у печи, я читал «Хаджи-Мурата». Дед слез с кровати, обошел квадратный стол, открыл скрипучую дверцу застекленного шкафа, достал том Куприна, нашел место и стал читать мне вслух из «Суламифи»:

На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

– А мы?

– Все, внучек. Все и все. Как ни прискорбно...

Рифленая колонна возвышалась почти до потолка, прибитый в изножье лист жести был теплым. В огне передо мной рушились царства-государства. Одна империя за другой. Черт с ними, пусть проходят. Царь Соломон и дедушка были правы, конечно, но сам я почему-то был уверен, что не «пройду».

Бабушка вдруг: «Маня! Кислородную подушку!»

Меня отправили в Ижору к двоюродному деду. Сидели на скамейке в огороде, смотрели на Неву. Слушали ночью соловьев. Дядя Вася когда-то был Базиль. Он тоже был женат на русской. Только простолюдинке. Она в нем души не чаяла, купила ему лодку. Но грести он не мог из-за нехватки пальцев. Сидел на веслах я. Сначала катал его, потом самого себя. Однажды чуть не попал под баржу. Ржавую. Потом под новую «Ракету» на подводных крыльях. Другой раз выбился из сил. Стало уносить. В Финский залив, где сволочь топила офицеров. Стер руки до мяса. Вытащил лодку, вылез на обрыв, а там травой забвения заросший памятник. Александр Невский разбил тут шведов. Чего им не жилось? Чего им всем надо было в этой России? Что тут такого, кроме соловьев?

В иллюминаторе открылся Ленинград, накрытый дымным колпаком; я записал: «Увижу ли тебя еще?...»

Имея в виду город, а не деда.

Это была последняя страница. И я не смог записать в тот свой первый дневник то, что, благодаря необходимости самоотчета, наблюдал сверху: поразительно безмятежную славянскую природу на затянувшемся закате. Во время кольца над Минском увидел сверху Ленинский проспект, а за ним, на улице Володарского, какой-то замок, зарешеченные сверху дворики. Кто-то сказал: «Американка...» Я взглянул над креслом, мне подтвердили: «Тюрьма».

Неужели действующая? С неба меня пронзила жалость к брошенным за решетку людям. Как же так, в самом центре города, где живу Я, – *тюрьма*?

* * *

Этой записной книжкой начался мой Дневник. Эмигрантская жизнь – не лучший способ его сохранить. Часть пропала в Москве с чемоданом бумаг, оставленных на хранение доверенному человеку. Что-то при переездах с квартиры на квартиру в Париже. Что-то затопили лопнувшие трубы в подвале в Мюнхене. Самый большой удар по дневнику нанесло похищение моего архива в Праге. Я считал, что пропало все, но часть дневника ко мне вернулась – за что всецело обязан брату, который навел меня в Америке.

Один из отцов-основателей этой страны своим «журналом морального совершенства» породил Дневник Толстого, начатый в 17 лет, чтобы за два дня до смерти на станции Астапово завершиться французской максимой: *Fais ce que dois, advienne que pourra. Делай что должен, и пусть будет что будет.*

Свой я начал на пять лет раньше, чем юный Лев, – и никому не подражая. Движимый только потребностью разделить неподъемность бытия с тем, кто возникает благодаря этой письменной инициативе, как встречное отражение в зеркале. Партнер, готовый подставить плечо, как делают атланты Эрмитажа. В дневнике я записывал замыслы, мысли и сны, задавал себе правила жизни и вел контроль за исполнением. Делился, короче, жизнью, стараясь сообщать ему правду, только правду и ничего, кроме правды. Но удовлетворял он меня в этом смысле не полностью. По объективным причинам не мог ему открыться до конца, хотя прибегал к стенографии как шифру. Дома мама, в общежитии стукачи. После каждой записи, за которой наблюдали три пары глаз соседей, нужно было прятать в чемодан, а он не запирался, да и хер с ним. Главное, завету Толстого следовал, что дневник и отражал.

И вот однажды в Москве слышу от тебя, что ты тоже ведешь – и не просто, а «Метафизический».

Как Габриэль Марсель, которого я очень уважал априори как хронологически первого французского экзистенциалиста, не отказавшегося от религии в пользу Маркса и даже Фрейда: его «Метафизический дневник» я мечтал прочесть с 18 лет, когда узнал о существовании этой книги из сборника «Современный экзистенциализм» под редакцией Ойзермана.

Я попросил почитать. Ты отказал. Я выхватил. Мы стали бороться. Я отобрал. Мы выбежали из дома. Я знал, что такое *privacy*, сам страдал от вторжений в мое. Но теперь это было не просто нарушение границ приватности. Чистый садизм с моей стороны, который довел тебя до слез бессилия. К тому же на моей стороне был перевес, я был в тот раз у тебя дома с Юрой Токаревым – давно уже отчисленным из МГУ и обретавшимся там нелегально. Ты шел за нами по своей улице имени старой большевички чуть не до самого Ленинского проспекта, хотя мне кажется, что вернул тебе твой метафизический дневник (нечитанным, конечно) сразу после железнодорожного переезда – был такой на той улице?

Э

Да, железнодорожные пути завода «Красный пролетарий». Похищение помню, но не обстоятельства и развертку действия. Какое-то время мы даже не разговаривали, у меня в дневнике есть запись о том, как мы одни сидим в аудитории и каждый подчеркнуто занимается своим делом.

Ю

Общая тетрадь или большая записная книжка. Точно, что сопровождал меня Юрок. Возможно, его присутствие и было причиной того, что в тот раз ты неожиданно отказал мне в откровенности. Которую я очень ценил в вопросах не метафизической, а сексуальной откровенности, ибо одно дело, экстравертивный секс (в котором я считал себя нарушителем) и совсем другое – импозивный, который ты с присущей тебе неустрашимостью ментально исследовал, что побочным эффектом имело разрушение моих собственных комплексов, которые у меня были и не могли не быть, хотя на лице это и не было написано. И вообще это значимый момент. Свидетельствующий «от противного» об интересе к метафизике. О том, что метафизика была для нас последней границей, за которую мы друг друга не пускали. Но я не то что выкрал – просто насильственно отнял в борьбе с тобой твою тетрадь. Как Крым. Только с куда меньшими на то основаниями. Ты догонял нас по улице Стасовой, пока не разрыдался. Потрясенно-пристыженно тетрадь твою я тебе вернул. Ничего прочтено, конечно, не было. Помню солнечный день. Весна, одуванчики... Или март и хрусткое кружево на лужах? Нет, по-моему, было жарко по-летнему, что я и прочувствовал, когда

мы вышли с Токаревым на солнце Ленинского проспекта. Вместе с угрызениями совести. И с тем странным, но сильным сиротским чувством, которое можно называть «смыслооставленность».

См. ПРИЛОЖЕНИЕ, «ОСЕННЕЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. Метафизический дневник».

Дружба

Э

Первые три наших местомига.

Из дневника

«5 окт. 1967.

Разговор с Сережей Юрьененом (в лингафоне и после). Пишет рассказы (сюжет: 3 женщины и юноша едут на кладбище). Переписывается с Казаковым и Битовым. О чем ни заговоришь, все читал. Разговор расшевелил тягу к письму, дал себе зарок уделять этому не меньше 15 ч. в неделю.



Сережа, Слава Хлесткин и Миша. Москва. Квартира Миши. 1972

13 окт. 1967.

Вчера был у С. в общежитии. 4 часа разговаривали. О проекте программы. Он: выкинуть политическое, ибо журнал может попасть за границу. (Э., ретроспективно: Почему не прямо в ГБ? Ю: Но я, позавчерашний школьник, только что ведь из Минска, из «горизонтальной» жизни, где всесилие Аббревиатуры не ощущалось так, как в МГУ.) О своих рассказах, о писательстве вообще. С. считает, что нужно уметь видеть детали (как Бунин), я же – что в каждой строчке должно быть мировидение. Он рассказывал о своем литобъединении в Минске, о намерении ходить по редакциям, о семинарах в Литинституте. Потом о женщинах. Оказывается, дерзость их нисколько не сердит, наоборот.

31 окт. 1967.

28-го, в субботу, собрались в пивном баре: я, Боря Сорокин¹⁵, Сережа, Батыр. Говорили. Я с жаром, но не слишком реалистично. Боря выпрашивал, от себя не говорил. В разговор вступил парень за соседним столом, в поддержку моей решительности против Бориной уклончивости. Потом пошли в коктейльную в «Москву», я говорил с этим парнем. Он: драться с бюрократами, не размениваться, изучать философию. Пишет стихи, инженер. Расстались дружески. Б.С. меня упрекал в наивности, говорил, что я себя загублю, что надо изучать разные точки зрения. Купили «Старку», поехали в общежитие на Ломоносовском. Договорились: читать и обсуждать свое, изучать Ницше, Фрейда, приглашать критиков, поэтов. Внешне все должно быть гласно (много стукачей: Биндерман, Золотов). Собираться в общежитском кафе этажа. Немного пьяный, я болтал с С. Ю. Вернулся в начале 1-го. Первый мужской разговор за бутылкой».

Ю

Счастье, что ты сумел вывезти и сохранить свой дневник. Благодаря ему мы точно знаем день, когда прозвучала наша «клятва на Ленинских горах»: **28 октября 1967-го**. Когда я провожал тебя из Пятого корпуса и с территории Студгородка за кинотеатр «Литва», на Мичуринский проспект, к остановке троллейбус 34.

Дату подтверждает и мой собственный дневник, привезенный в Америку мне братом. Вот он, голос юности:

Дневник

13 октября 1967.

МГУ, Студгородок, 5-й корпус.

Недоволен собой. Нарушил свои нормы общения. Много и дружески выболтал Эпштейну, врал и хвастал. О женщинах не вспоминать и не говорить. О работах тоже...

18 октября.

...Бросил я, едва перевалив через первую тысячу слов, нудный рассказ «Гололед» (но я вернусь к тебе, сука!), и теперь – измочалюсь, а напишу сильный, давно замысленный рассказ «Мертвый час, изгой», – зря только название дал знать Эпштейну.

Буду слушать лишь себя; а прислушиваться только к величайшим – вот как Фолкнер, – а средних, наших, любить, а потом... любить, как первую любовь.

¹⁵ Друг и confident Венедикта Ерофеева.

28 октября,
13.07.

Домом считать место, где ты живешь; и не привязываться к нему.

Фолкнер. «Писатель у себя дома». Рассказ.

Интересно растолковывать поступки, жесты: может быть, так... а может быть, и этак...

0.00.

Принял сто граммов; трезв. Э[пштейн] был косой: «Девять лет, и я переверну мир!»
Новые люди:

Б. Сорокин, 26, критик. Копна волос над кружкой. Пил: с оглядкой на меня. Тонкая лепка носа. Толя. Сухое северное лицо. На деда похож малость. Правой рукой доставал платок из левого кармана (левая рука в масле).

Читаю. Софокл. «Антигона».

* * *

В отличие от любви, у дружбы были лимиты. Может быть, беспредельной дружба была только пунктирно, *местомигами*, а потом нас разносило по своим отдельным экзистансам, которые в тогдашней советской структуре бытия были разведены беспредельно: ты с твоим статусом москвича, с постоянной московской пропиской, и я с моей временной, с правом находиться в Москве на срок учебы, на пять лет, после которых была полная тьма и неизвестность, непроницаемая для воображения... Что со мной будет? В какую точку Одной Шестой распределят? Дойду ли до диплома вообще, не сорвусь ли в необытийный ужас под названием Советская армия?

Так или иначе, но ты, самый главный мой друг в Москве, ничего не сказал о смерти твоего отца – я узнал только пост мортем.

Но и не приходил ко мне в больницу, где меня, потерявшего 2 литра крови, спасли осенью 1970-го. Прилетала из Минска мама – заранее прощаясь со мной в самолете, готовясь к встрече с очередным мертвецом ее жизни – совсем еще юным. Нина Константинова, восторженно меня читавшая (по-южному была щедра), принесла мне только что вышедшую «Аду», по-английски, с роскошной орхидеей на обложке, и «Колыбель для кошки» модного Воннегута: «Мы с тобой из одного карасса». Боря Тарасов¹⁶ приходил – не помню, с Лией или без. Прилетала из Минска Лена, с которой мы на лестничной площадке стоя. Прижимая ее к стене, я чувствовал, что на этот раз выкарабкался. Первая Градская, городская клиническая имени Пирогова, находится неподалеку от Донского монастыря и твоего дома, но мне, выздоравливающему со скоростью, возможной только в юности, даже в голову не приходило, что ты мог бы заглянуть. Почему-то все время считал, что, как ни паршиво мне, тебе еще паршивей: по определению.

Э

Мы встречались только по счастливым поводам. Особого рода застенчивость? Нежелание видеть взаимную беспомощность там, где помощь нужна?

Твоя жизнь – в окружении девушек, приятелей, каждодневных приключений в общезжитии – мне представлялась настолько ярче и насыщеннее моей, что для недугов и вообще всего «скудного» в ней не было места. Такое было с моей стороны ослепление.

¹⁶ Автор книг о Паскале (Тарасов Б. Н. Паскаль. М.: Молодая гвардия, 1979 (2-е издание – 1982); был ректором Литинститута.

Но и с твоей стороны было то, что можно назвать исчезновением. Есть люди с невидимыми энными измерениями, «норами инакомерных пространств», куда они время от времени исчезают. За тобой я постоянно чувствовал такое «иное». Тебя неделями, даже месяцами не бывало на занятиях. Твое появление в аудитории бывало для меня радостным сюрпризом, но в промежутках – я не знал, что с тобою происходит. Я мог предположить, что ты уже в Питере, или в Минске, или на даче у друзей, или работаешь над новой вещью, не вылезая из общежития, или с какой-нибудь чаровницей уединился в соловьином саду. Ты появлялся и исчезал без уведомлений, что придавало таинственности тебе и обаяния дружбе, но и очерчивало пределы соучастия. Ты был ино-странцем задолго до того, как им стал, и твой отъезд в Париж в 1977 г. в какой-то мере даже вывел тебя из этой метафизической неизвестности, поскольку уточнил ее географически. «Где-то там» из области фантазии стало фактом.

Кстати, мне всегда везло на исчезающих друзей и приятелей (назову еще Сашу Бокучаву), хотя сам я по природе остающийся, всегда на своем месте, сам себе бываю скучен.

См. ТЫ, МИША; ТЫ, СЕРЕЖА

Е

Еврей

Э

Слово «еврей» для меня звучало едва ли не страшнее, чем «жид». Да «жида» я почти и не слышал, это было неприлично-ругательное слово – и оттого в нашем кругу почти книжное, словарное, диалектно-далевское. А «еврей» было спокойно-убивающее слово, достающее из тебя подноготную на виду у всех. Это было аккуратное, законное слово, от которого было не отвертеться, не дать в морду обидчику, не пожаловаться. Оно звучало громко – в абсолютной тишине. От него замирало и обрывалось сердце. Это был суд, перед которым оставалось только стоять с повинной головой и заливаться краской стыда. Быть евреем было постыдно – как быть червем. В самой фонетике русского слова «еврей» есть нечто отвратное, от чего накатывает приступ орфозпической рвоты. Сочетание букв «вр» и «рв» отмечено как экспрессивно отрицательное, что подтверждается многими словами: *рваный, рвота, червь, рвач, вор, ворон, врать, вред, вредитель, привередливый, стерва, курва, отвращение, воротить* (с души), *врезать* (по морде), «*в рот*» (ругательство). «Еврей» било наотмашь, как увесистый сгусток всех этих слов; звучало как набирание слюны для плевок. Слово-харкотина. Произносилось: «е-в-в-В-Р-р-е-й», с особым упором и перекатом на стыке В и Р, где слышалось – и подразумевалось – нечто рвотно-червивое. Дополнительная экспрессия задавалась двумя обрамляющими «йэ – эй» (йэ-вр'-эй), которые звучали издевательским хохотком, как сдавленный смешок в горле (не отсюда ли – и свифтовские чудища «йеху», и стивенсоновские пиратские «йэ-хо-хо»?). Попробуйте посмотреть на себя в зеркало, старательно произнося звук «й» – вы увидите нечто, причиняемое только жжением йода или лицезрением йэврея. «Еврей» можно было произносить медленно, смачно, тягуче, как звуковую пытку, долбежку слуха: сначала морщить и скалить рот, потом перекачивать звук вокруг тошнотворных «рв» и «вр» и наконец выхаркивать прямо в лицо презрительным окликом – «эй!».

Это слово и то, что им обозначалось, было жалом слуха. Было еще и жало в плоть (см. стр. 157).

Ю

Именно поэтому деликатная власть избегала этого слова. В детстве слышал от взрослых «французы» и крутил головой, никаких иностранцев вокруг не видя. Кажется, при нас возникло это официальное – «лицо еврейской национальности». Или уже было в Третьем рейхе?

Как преданному читателю мне иногда становилось неловко за любимых писателей, даже за Толстого, которому «трудно было любить еврея» (то есть должно, но нелегко). Тем более за Достоевского, а позже меня ставил в тупик Селин. Как вообще вопрос о совместимости гения и злодейства. Потому что эти внеличные фобии великих и почитаемых рыли исторические ходы к газовым камерам и Абсолютному Злу. Я с юности считал себя персоналистом, и в этом выборе свободным от расово-национальных предрассудков, фобий и филий, о чем впервые всерьез заговорил только в Париже с французским писателем

и социологом, просвещенным сионистом Альбером Мемми, автором среди прочего труда «Портрет еврея», – он разыскал меня, прочитав «Вольного стрелка».

Так вот, о филиях и фобиях: считал, что свободен, но был ли? Не знаю, как я бы развивался, если бы меня оставили в Ленинграде. Много об этом думал, пытаюсь представить себя на месте «непрерывных» питерцев (как Битов). Наверное, и там бы почувствовал свою особенность, но все было бы сглажено космополитизмом «Северной Пальмиры», где были евреи, но хватало и недорепрессированных «варяжских гостей». Даже на нашей лестнице в Питере были еще две-три фамилии на «-нен» и «-сон».

В БССР «необщее» моей физиономии превратилось в инакость. Тут я стал привилегированным сыном русскоязычного военнослужащего (если не «оккупанта»). К тому же осознал себя поэтом. Тут же на двери и появилось слово «Жид». Среда нас отбрасывала друг к другу. Он – Маршак, Баркан – более жгуч, но все мы смотрим друг на друга карими глазами взаимопонимания. У нас одни и те же средства самозащиты. Юмор, ирония, насмешка. Чувство собственного достоинства препятствует слиянию с коллективом. Печальными глазами разума мы смотрим на то, как ведет себя «среда». Лиц во дворе не существует, поэтому там бьют прямо в морду, в нее же получая, а в играх осыпают друг друга камнями, что кончается потерей глаза. Всего еще не зная, мы чувствуем нашу «заброшенность» в место, гепатологию которого громоздят слои зловещих напластований – там и дом-музей I съезда РСДРП, и замолчанное гетто, и «Немиги кровавые берега», и убитый Михоэлс, и вузы КГБ, и Ли Харви Освальд, вряд ли случайно отправленный в «самый заментованный город Союза» (как сказал один беглый оттуда «силовик»).

Явно, что мы – не в своей тарелке.

Но где она, наша?

Баркан нашел Канаду, Маршаки – Калифорнию, а мальчик с улицы Рубинштейна, которую в Минске сменила еще более «говорящая» Долгобродская, надолго превратился в Агасфера. Москва, Париж, Мюнхен... Потом была Злата Прага, где узнал о судьбе приятеля детства из «Толстовского» дома. Этот Миша Богин, с которым нас сфотографировали однажды на краю Бабьего Яра, в отличие от дяди-писателя Штейна (изображенного Довлатовым), упорствовал в неотъезде, стал известным в Питере режиссером и, получив аванс на «Ленфильме» в пару тысяч у. е., был найден в своей квартире убитым и со следами пыток стандартным орудием перестройки – раскаленным утюгом).

Но возвращаясь: твой блистательный лингво-социофизиологический анализ все же ограничен страной, где прошла наша юность. Страна Дрейфуса и Селина говорит *juif* – что журчит, как *joûir* – жовиально-радостно и почти как «оргазмивать».

Э

Я как-то спросил тебя: хотел бы ты быть евреем?

Ю

Интересно, что я мог тебе тогда ответить? И насколько искренне?

Потому что были моменты, о которых говорить тебе я избегал. Как о том, например, что у меня был шанс – не то чтобы стать евреем. Но влиться в этот мир. Или «примазаться». («А ты к нам не примазывайся», – сказал коллега в Праге: пропел мне шутливо в лифте Радио Свобода.)

В 14 лет в Друскининкае, «на водах», я влюбился в ровесницу из Москвы. С первого взгляда. Местомиг: под присмотром деда она плещется в Немане, который в Литве называется Нямунас. Купальник закрытый, но облипающий. Лимоново-банановый, как Сингапур.

Только не яркий. Палевый. Очень идущий к черным волосам. Дух замирает. Что же мне откроется, когда она будет выходить? То и открылось. Хотя я смотрел в лицо, в глаза. Но одновременно видел и то, что было облеплено этим купальником. Наивным, трикотажным, без второго защитного слоя. Все не все, но главное было видно. Стыдно девушке, однако, не было. Она не могла не знать, что после Нямунаса вся на виду. Но принимала этот свой вид. Дед ее тоже. И родители, которые за моей спиной разговаривали с мамой. Я прилагал все усилия, чтобы скрыть то, чем был охвачен. Возможно, даже небрежно сунул руки в карманы, чтобы оттопырить фронтон любимых рижских вельветовых штанов. Или скорее прикрылся альбомчиком для рисования, с которым не расставался, будучи в то время художником-графиком, но отчасти из соображений маскировки, «страдающая приливами» (как о том прочитала мама в журнале «Здоровье»). Но родителям девушки все стало ясно. Нравится. И я понравился ей тоже.

Семья была просвещенная. Ученые на отдыхе. В итоге курортных отношений маме было сделано предложение. Забрать меня к ним в Москву. 9-й, 10-й, 11-й классы мы с ней будем ходить в одну школу, возвращаться вместе домой, где у нас будет отдельная комната, снимать друг с друга стрессы мешающей учебе гиперсексуальности, а после аттестата зрелости регистрируем отношения. Как тебе такой вариант? Как? Я еле сдерживал восторг. «Пойдешь примаком к евреям?» Слово «примак» меня уязвило, но по существу вопроса... почему же нет? Ничего умнее в мой адрес из мира взрослых до сих пор не приходило. И это было решение всех моих проблем. Но маме идея показалась слишком революционной.



Художник-график. 1962

Так что, с одной стороны, конечно, было искушение – персоналист не персоналист.

Кроме всего прочего, благодаря пресловутой поправке Джексона, быть евреем стало означать реальную возможность другой страны. Однако ко времени твоего вопроса я уже столь долго пребывал в сознании своей трудноопределимости, что оно стало органичным. Несмотря на формально-паспортную принадлежность к титульной нации, количество «кровей» во мне зашкаливало, я ощущал свою принадлежность к стольким культурам сразу и одновременно, что уже тогда подозревал: оптимальное местоположение для меня, возможно, есть только Америка, частью которой сам я всю свою доамериканскую жизнь и являлся – ходячий «плавильный котел».

Но это было только подозрение. Де-факто же юноша просто был *советским* – отдельно взятым воплощением денационализированной общности под названием *советский народ*. Советским, важно подчеркнуть, *всечеловеком*, поскольку это ведь тоже был модус бастардизованного, но все же космополитизма, по которому сейчас тоскует насильственно «национализированная» молодежь РФ. А я, находясь в том модусе, разумеется, страдал, сознавая

себя конечным результатом inferнальной переболтанности. Какого разлива продукт? Из миксера советской истории.

Роман «Дочь генерального секретаря» в журнальной публикации назывался у меня «Желание быть испанцем». Иронически, конечно. Хотел я быть только американцем, что есть наднациональность. «И ни к чему не обязывает, кроме уплаты налогов», – сказал мне в Париже, рекомендуя свой собственный «выбор», 80-летний американец Леонид Федорович Мясин, танцовщик и хореограф. Но в период, о котором мы говорим, в первую очередь, конечно же, хотел я быть тем, кем и был записан в паспортной графе «национальность». Русским. У Германа в «Хрусталева, машину!» возглас в пивной? «Папа татарин, мама татарка, а я русский. Мне нравится быть русским...» Несмотря на «турмалайскую» фамилию, родители мои все же были записаны как русские. У меня был язык, чувство принадлежности к его культуре и тот пафос оппозиции советскости, который много позже продиктовал одному «национально-мыслящему» поэту строки: «И я по родному краю мечтаю в краю родном».

Э

Сам я так ответил на этот вопрос: *Уже никуда не денешься.*

Но евреем «в меру», не торжественно и не безудержно. Я человек диаспоры, сначала еврейской в России, теперь российской в США. У таких, как я, судьба и родиться, и умереть эмигрантами. Любой национализм, в том числе еврейский, вызывает во мне ощущение спертости. И чем больше этот национализм моей собственной нации, по крови или по языку, еврейский или русский, тем удушливее он для меня. Мне трудно представить себя живущим счастливо и безвылазно «на земле своих предков», будь то еврейское местечко или русский городок.

Но бывали у меня и другие настроения. Как-то на уроке русского языка и литературы (я преподавал на подготовительных курсах МЭИ) в мою сторону запустили бумажного голубя, на котором было написано, конечно, с антисемитским подтекстом: «Привет из Израиля». И мне захотелось в Израиль.

В одну из годовщин смерти отца мы с мамой поехали на кладбище. За нами следом долго плелся еврей с живыми, умными глазами и говорил пошлости о загробном мире («им там уже некуда спешить»). Наконец ему позволили прочитать молитву, и он быстро ушел, унося в кармане просторного резинового плаща бумажный рубль и пригоршню серебра. Кем он мог стать для меня: вторым отцом, наставником житейской мудрости? Мне хотелось завернуться лицом в полу его широкого плаща.

См. БАБИЙ ЯР

Евтушенко

Ю

Не так просто писать о кумире ранней юности. Особенно после того, как он пытался соблазнить твою жену, а тебя самого завербовать.

Своими глазами я увидел его в первый же свой столичный студенческий день, когда пошел не на занятия, а на похороны Эренбурга, описанные впоследствии в Париже (роман «Нарушитель границы»). Он появился из ЦДЛ, где подходила к концу церемония прощания с телом, – с заднего выхода на запруженную улицу Воровского. «Евтушенко, Евтушенко», – прошумело в толпе. «Фигура лыжного инструктора», – говорит о нем Норман Мейлер в романе «Призрак Проститутки». Не так много видел я в этой жизни лыжных инструкторов, поэтому скажу только, что поэт был выше толпы на голову. Выражение небольшого мускулистого лица было уместным, чего не сказать о костюме: светло-сиреневом и с каким-то невиданным мной тогда алюминиевым отливом-переливом.

В Москве он встречался мне чаще, чем кто-нибудь из других, менее подвижных знаменитостей. Вознесенского, скажем, видел только раз, а Евтушенко возникал в поле зрения и в Переделкино, и в «Арагви», и в ЦДЛ, и в редакции «Дружбы народов», напечатавшей его знаменитые антизастойные стихи 1975 года с призывом «Штурмуйте паузу!».

Я отказался от штурма и от паузы, оставшись в Париже. Но и тут Евтушенко. Сначала дал мне тему своим романом под названием «Ягодные места». Мой отклик в подрывной эфир прошел без изъятий и умолчаний, однако постфактум «культурный» редактор мне сделал реприманд: говоря про Евгения Александровича, не следует допускать иронию. Редкий случай ущемления моей творческой свободы на Радио «Свобода». Я досадовал и удивлялся этой заботе о репутации Евтушенко со стороны «американцев». Редактор, впрочем, был не совсем американец, но вполне советский агент. Когда это открылось, я ретроспективно удивился еще раз: так кто же на самом деле защищал репутацию поэта?

При всей иронии, весьма и весьма мягкой, я говорил о романе как провозвестнике благих перемен. И вуаля: к власти пришел Андропов, и Евтушенко появился в Париже. Жена переводила пресс-конференцию, посвященную выходу его «Мест» по-французски. В отличие от меня парижские журналисты настроены были резко. Журналист из «Фигаро» особенно донимал «официального диссидента», который в конце концов взорвался: «Да: говно! Зато родное и теплое! Так ему и переведите!», – добавил он, когда моя жена запнулась.

Ауроре в контексте той пресс-конференции было сделано предложение одного рода, мне – через нее – другого рода. Суди сам, какое из них было гнусней (как говорили в старину в подобных случаях). Слава, любая, пусть сомнительная, пусть скандальная, пусть даже слава Герострата, – одна из абсолютных ценностей «шестидесятников». Вот в расчете на предполагаемое тщеславие писателя-эмигранта, который может забиться в экстазе ликования от «осуждающе-информативной» статьи в «Литературной газете», и было сделано второе из предложений. Со ссылкой на им инспирированную статью «Человек на дне» – про нью-йоркские страдания заблудшего Лимонова. Для меня было обещано сделать еще лучше, чем для его нью-йоркского «протеза». Все же не портняжка в московском прошлом, а член СП СССР. Миллионы узнают из «ЛГ» о вашем муже и его романе. Поругают, конечно, зато какая реклама. Ради этого можно кинуть кость и кесарю. Париж, конечно, не Америка, но тоже чужбина. Можно высказать разочарование... Кончилось тем, что Евтушенко бежал по парижской рю за моей женой с криком: «А телефончик?!»

Аурора рассказывала мне это во время нашей прогулки до Трокадеро и обратно: мы тогда жили в Пасси, на местах, где Бертолуччи снимал «Последнее танго в Париже». Я был вне себя от ревности и ярости. С «Литературной газетой» я вел полемику в эфире «подрывного» радио, где работал обозревателем. И вдруг там разворот с заголовком вроде: «*А волен ли Вольный стрелок? Чем обернулся «выбор свободы творчества»...*»

Многим я обязан «шестидесятникам», но желание славы никак мне от них не передавалось. В Париже меня упрекали в «бегстве от успеха». Не без оснований. Меня тяготила даже та известность, которой я не мог избежать, делая то, что делал. Когда бросаешь вызов коммунизму и его оплоту, волей-неволей стяжаешь внимание мира: немного тогда было таких сорвиголов. А из моих ровесников – и вовсе никого. Поэтому оскорбительно было само предположение, что я могу схватить подобную наживку. Грубость работы «эмиссара». Должен ведь быть у них психологический портрет объекта разработки?

Выходит, что прав Ежи Косински с портретом жуликоватого советского поэта в романе *Blind Dates*, прав Бродский с его «мо» про колхозы, прав «максималист» Максимов, назвавший статью о литературном провокаторстве в эмиграции «Осторожно, Евтушенко!».

С другой стороны, как предъявлять тут счет? «Я разный – я натруженный и праздный, я целе- и нецелесообразный...» С Ауророй, допустим, «нецеле», хотя кто его знает, испанский ведь не поленился выучить... со мной же – вполне целесообразный: в условиях «идеологической войны» мы, как ни крути, а по разные стороны пресловутых, но вполне реальных баррикад.

Я мог поднять антисоветский шум, благо открыта вся пресса Зарубежья. Но был ли смысл ловить за хвост хамелеона размером с динозавра, феноменальное существо, которое отражало все краски этого мира и было внеморально постольку, поскольку было *bigger than life* – больше, чем жизнь? Ту самую, которую любил он в постоянном своем движении с невероятной – лютой, сам сказал он – жадностью.

Я решил промолчать, но был разочарован. Не в Западе, тем паче не в Париже. И был разочарован еще больше после госпремии СССР коротких андроповских времен за поэму «Мама и нейтронная бомба».

Но бомба или нет, жизнь продолжалась, пришла перестройка, и те мои эмоции на Трокадеро не помешали Евтушенко стать автором Радио Свобода, когда он решил предать первоначальной огласке свой новый роман «Не умирай прежде смерти» (о тайных пружинах путча 1991 года) в моей программе «Эклибрис».

Э

Помню как сейчас: мне 13–14 лет, я сижу в маленьком угловом скверике на ул. Герцена (ныне Б. Никитской), читаю сборник «Взмах руки» в сине-белой, «морской» обложке – и все мое будущее легко входит в объем этой маленькой книжки, как ее панорамное продолжение. Меня не интересует первый раздел «Стихи о загранице» («Парижские девочки», «Атлантик-бар», «Стихи о Фиделе», «Королева красоты»), но от второго «Будем великими!» и третьего «Утренние стихи» у меня кружится голова. Мне хочется быть великим в своей собственной стране, мне хочется большой и сложной любви, чтобы умная женщина понимала меня и вместе с тем оставалась загадочной и чуть недоступной. Мне хочется одиночества и славы, тихого разговора и вселенского шума, мне хочется быть Евгением Евтушенко, но как им стать, чтобы его не повторить, я не знаю. Совсем рядом – Московский университет, Манеж, Консерватория, памятники Чайковскому, Гоголю Герцену, все эти места славы, пути к славе. И Евтушенко – мой современник, уже идущий по этому пути, на который когда-нибудь (невозможно! неотвратно!) вступлю и я.

Потом наступило разочарование – а может быть, ревность?

Из дневника

19.3.67 (10-й класс).

«Воскресенье. Случайно прорвался на выступление Евтушенко в университете. Все ниспровергает, яростно опрокидывает, а положительного нет ни в наличии, ни в программе. Изливается в любви к старухам, а простой городской человек для него «подлая харя», потому что живет «в столице надежд». «Хочу писать вот для таких старух, для девочек пускай другие пишут» – трепотня, поскольку все это читается тем же студенткам. Много сработано на скорую руку и держится на одном темпераменте. Запомнились стихи: «Граждане, послушайте меня», про китов, про газетные самокрутки, на которые работает история... Порой трудно определить границу, за которой начинается пародийный перепев себя... Неширокое скуластое лицо, маленькие острые глаза, впалый живот. Вот он, народный поэт, уже вошедший в историю».



С Евгением Евтушенко в Атланте, Март 2005

К концу 1960-х слава оттепельного поэтического поколения уже шла под уклон, всходили другие имена – в теории, прозе, эссеистике: Бахтин, Лотман, Аверинцев, Битов... Но Евг. Евтушенко – наряду с Ж.-П. Сартром и Г. Маркузе – еще долго оставался для меня мериллом взлета, мировой параболы, творческого бродяжничества и космополитизма.

В середине 1970-х я увидел его в Доме литераторов – и не позавидовал его славе. Он проходил мимо братьев по перу – и всеми мускулами лица обособлялся от них, его лицо было напряжено, стиснуто, как сплошная судорога. «Бессмертье – как зверинец среди людей» (А. Вознесенский). Каждый может тебя разглядывать, окликать, тыкать палку между прутьев, строить гримасы – и остается только глубже уходить в непроницаемость своего лица.

Потом, в XXI в., я познакомился с ним уже в Америке, почувствовал его живым, теплым, уязвимым, вызывающим сострадание и удивление, но это уже другая история.

Ж

Жало в плоть

Э

И дано мне жало в плоть, дабы не возгордился.

Ап. Павел

Что касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть.

Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью.

С. Кьеркегор

Что было «жалом» во плоти ап. Павла, остается тайной. У С. Кьеркегора – неспособность выполнять долг супружества.

Моим жалом в плоть был левый глаз. Родовая травма, нанесенная щипцами хирурга. Да, меня пришлось вытягивать щипцами, ибо мама впервые рожала в 36 лет, и роды были с осложнениями, я лежал кособоко, поперек живота. Извлекая, повредили нерв. Левый глаз от рождения не поворачивался налево, и при всяком общении, чтобы видеть собеседника и не выглядеть косоглазым, мне приходилось садиться так, чтобы он находился справа или напротив. Это резко сужало пространство коммуникаций и было особенно мучительно в общении с девочками. Мне пришлось осваивать странное искусство левого отворота, правого оборота, «right – turn – art» – однобокого общения с миром. Название набоковского романа *Bend Sinister*, которое обычно переводится «Под знаком незаконнорожденных», в моем случае имело буквальный смысл – «леванутый», «выгнутый слева» (bend – «гнутый», sinister на латыни – «левый»).

Вместе с тем родовая травма оказалась для меня спасительной, так как избавила на законных основаниях от службы в армии: по записи окулистов, я считался «практически одноглазым». Левым глазом на испытательном стенде я с трудом видел верхнюю строчку из двух навсегда затверженных букв, Е и Р, а вторая строчка уже расплывалась. Таким образом, благодаря родовой травме я родился дважды. Вызволила из утробы и освободила от призыва в армию.

Узнав про страдания одноглазого друга (сам ли ты заметил или я поделился?), ты поспешил с благородным утешением, указав на пример Ж.-П. Сартра с его откровенным пучеглазием и косоглазием, не помешавшим ему стать всемирным властителем дум и любовником умнейших очаровательных женщин, включая Симону де Бовуар. Но как мне было в этом убедиться? Сартр, как баловень европейской буржуазии, не был в почете в пролетарском государстве, и найти его портрет было нелегкой задачей. Я отправился в Библиотеку – второй случай нашего взаимного подстрекательства к словарному поиску (первый был на букву «в», см. ПОЛ). Перерыл кучу книг и журналов. Наконец циклопик уставился во французскую энциклопедию – и, по твоему обещанию, получил заряд метафизической бодрости. Сартр косил сразу во все стороны, левым глазом налево, а правым – направо, что, возможно, символизировало сочетание всех возможных уклонов и экстремизмов в его анархо-марксистско-мелкобуржуазной программе (за левоправое косоглазие его и крыли прямосмотрящие советские марксисты). Путь к влиянию на умы был открыт! Но с девочками все обсто-

яло намного хуже, поскольку случай Сартра им был неведом, а Симона не попадалась на моем пути. Вся юность была прожита с этим жалом в подлобье.

Ю

Мои роковые даты. 5 декабря 1960-го. Когда мусора меня топтали и подбрасывали, давая упасть на вмерзшие в цветочную клумбу кирпичи. До этого я был здоровым, а после... 17 октября 1961-го. Убогая больничка за тракторным заводом, хирурга нет на месте по причине непохмеленности, тогда как я болтаюсь на ниточке. Прободение язвы желудка. Мне удалили здоровый аппендикс, не подозревая, что в тринадцать лет возможна столь «взрослая» болезнь. Под общим наркозом, сменившим местный, я пережил отлет своей души в открытый космос, тщетное цепляние за космические шестеренки, которые вращались, падение и затухающее самоисчезновение.



Мой *le Sursis* – военный билет, легализовавший отсрочку

На призывном пункте врач приняла мой шрам за ножевой, а когда наступила пора предстать перед девушками, разнообразия ради говорил, что в меня стреляли из лука (как в того греческого графа из «Фиесты»).

Это «жалю» спасало много раз, начиная с отсрочки от призыва в армию – главной угрозы юности.

Дневник

Март 1969.

...Внутренности мои оставляют желать еще более лучшего, чем оставляли несколько дней назад. Неуклюжая эта фраза говорит о том, что худо с физической точки зрения. Интересно отметить, что сообразно усугублявшему душевному расстройству предыдущих дней мое здоровье ухудшалось, а вот теперь, когда оно соскочило на предпоследнюю ступеньку, я, кажется, стал поправляться нравственно.

Когда придешь, наверное, снова осведомишься о самочувствии здоровья.

А! Хотел было написать свои упреки, да не буду, раздумал.

Неужели я так и погибну в самом начале своей единственной любви, в начале таланта, в начале жизни. Похоже на то, когда чувствуешь эту подбирающуюся боль. Возможности любви и дара – откуда были они во мне? – уйдут вместе со мной. Что может быть хуже не узнать – на что ты был способен в жизни? Ничего. Знаю, что умру. Но еще не сейчас. Смерть во мне, как и жизнь, и они в неустойчивом равновесии. Кажется, я уже где-то писал так. Еще не сейчас. Год назад, 1 апреля, был близок к Богу... Я сегодня, 30 марта, умираю больше, чем на день: каждая минута этого дня для меня мера не времени, но страдания.

Умру один – а все они, кто жил возле меня, вблизи меня, останутся по-прежнему дышать и доканчивать жизнь в суете, а если я один говорю, что жить надо иначе, почему не живу (страшно сказать – не жил).

Все. Боль идет. Все.

31 марта.

Сегодня лучше, боль затаилась, но помнить, что выздоровление будет продолжительным – и жить тихо и добро, с тихой и доброй внутренней улыбкой...

* * *

И вот, Миша, не столько гео-, сколько медико-политический факт. Язва (средневековое слово, только персты туда вставлять) была неразлучна со мной до пересечения госграницы СССР. То есть «до бугра» еще страдал, а как перевалил, так рукой сняло. Так что через полтора дня в Париж приехал совершенно здоровый человек, который больше не имел рецидивов на свободе.

Желание

Э

В юности я открыл для себя с изумлением то, что стало потом одним из мотивов пост-модерна, – вторичность желаний как предметов желания. Вот запись 18-летнего:

31.3.1969.

«...Сама жажда – не чужим телом вызывается, а собственным представлением о том, что она вызывается чужим телом. Не жажда жаждет, а жажда жажды, жажда жаждать чужое тело... Прямой жажды нет, а попытки умственной жажды воссоздать и взбудоражить телесную – утомляют...» Тут свойственное юности умствование, с накручиванием одних и тех же слов, с неизбежным заикливанием на себя: множественная рефлексия, само-само-самопознание, ряд глядящих в себя зеркал, замороженность этим зеркальным королевством.

Но отсюда выводился и противоположный мотив: всякое умствование – только слабая попытка оправдания жизненных побуждений. В тот же день, на следующей странице:

«Человеку хочется жить, но, чтобы оправдаться в этой своей животности, он говорит о тайнах и красотах жизни. Человек – это животное, пожелавшее себя оправдать и продельывающее это с неисчерпаемым хитроумием и разнообразием».

Вот между этими двумя крайностями – порывами жить в полную силу и осознанием сделанности, нарочитости самих порывов – и протекала моя юность. Все время кажешься себе вторичным, выдуманым существом. Тебя еще нет. Ты сам себя делаешь у себя на глазах. Твое «я» пахнет трудовым потом самотворения.

Или так: разжигаешь костер, а поленья сырые, непропеченные. Вместо веселого, пляшущего огня – густой, едкий чад, щиплющий глаза и ноздри. Хочется плакать от этого праздника жизни. «Прекрасная юность» – это только дымная просушка дров, в ожидании, когда в зрелости они разгорятся с веселым треском и сухим жаром.

Ю

Столь редкое тогда слово, что не без усилия я осознал, что имеет в виду хрипловатый голос с магнитофона Оси Маршака: «Пойдем в кабак, зальем желание», – ах, оно по отношению к Нинке, которая со всей Ордынкой...

Желания были не столько темны, сколько требовательны и взаимопротиворечивы. Сидеть и писать? Но о чем? Отдаться самосозерцанию, опуститься на дно души и пускать хрустальные пузыри? Или идти наружу, во вне, в опасный мир, – за опытом? О, этот Ехрегіенсе с приставкой, выводящей тебя за свои пределы: Ех! Наружу! Чтобы подставить себя под впечатления, позволить им впечататься в ткань души. Конечно, важно «как», а не «что», но все же невозможно пренебречь...



17 лет

В каждый отдельно взятый момент твой соавтор являл собой живое воплощение острого конфликта желаний. А если учесть, что к каждому из них я относился не с робостью, а по французской формуле *vouloir c'est pouvoir*, хотеть значит мочь, можно представить себе, каким безумием могла представляться извне, далеким моим домашним, эта моя безудержная юность.

Дневник

13 февраля 1968.

Надпись на столе. «Даша! Я тебя обожаю. Харитон. Вы мне противны, Харитон. Даша».

Цвет бордо – он так щекочет нервы.

Возбуждение ощущается так: толчки и ощущаемое расширение ниже лобка. Когда ты сидишь вполоборота и смотришь на полные ноги выше колена в темно-красных тугих чулках.

Ах, господи. Когда увидишь, как женщина выгибает спину, выпрямляясь, сидя, и как выглядит при этом ее зад.

Взять ее руку. Кисть тонкая, удлиненная, но пальцы коротковаты и полны. Но когда рука свисает и когда она бела и нежна, и розовое, и голубое, – не видишь этого.

Ставит ногу в красном чулке косо, заводя за деревянную ножку стула.

Мохнатая, очень короткая юбка соответствует тогда высоте обтянутой ноги выше колен, и я благодарен за это стулу.

Ширина и тугая натянутость над соединенными ногами юбки всегда волновали меня.

Он мечтал, подпершись, чтоб он со всеми этими женщинами прямо с лекции попал на необитаемый остров. И чтоб, кроме него, ни одного мужчины не было...

...– думал он.

Она кончиком авторучки отделяла пряди волос из своей короткой прически и перекладывала их.

И все-таки потребность натягивать юбку, хотя она все равно не доходила до колен.

Май 1968

Наверное, всю нашу жизнь можно сравнить с неутоленным половым желанием (томление) и удовлетворением его (пресыщение, отвращение). Этими величинами определяется жизнь большинства людей.

Ленин, тт. 31, 28, 29, 23 (4-е издание «Левизны...», «Очередные задачи Советской власти»).

She sat down near beside me and I felt my nostrils flared.

Запахи – слева и справа.

* * *

Антоним либидо – мортибо.

А синоним – юность. Светоносная постольку, поскольку она либидонозна.

Женщина

Э

Из дневника

15.11.74.

«Женщина должна быть чудом, беззаконием, беспричинностью, евангельским чудом в смысле боговдохновенности. Это есть у Пастернака. «И я пред чудом женских рук...» Я мог бы влюбляться в толстовских и пастернаковских женщин, но не в дostoевских и бунинских. В первых – чудо, во вторых – сила. Первые мерцают, вторые ослепляют».

Мне еще в отрочестве очень нравилась Екатерина Бакунина, в которую был влюблен молодой Пушкин. Ее портрет был в последнем, литературном томе первого издания Детской энциклопедии (желтой). Правда, на этом наши вкусы с Пушкиным разошлись. К Наталье Николаевне я был равнодушен. А вот другая Наталья, Ростова, мне была в возрасте 16–18 очень небезразлична. Вообще интересен этот выбор юношеских литературных влюбленностей. Женщины Достоевского и Бунина меня интриговали, но пугали, и если вызывали волнение («Муза», «Руся», «Антигона»), то очень отчужденное. Может быть, кроме еще одной Натали, из одноименного бунинского рассказа. Вообще, в его женщинах мне не доставало какой-то застенчивой прелести, они были чересчур вызывающими, и, если поглядеть на жгучего красавчика Бунина, можно понять, почему у него сложился такой опыт. Наверно, такая мужская красота пробуждает хищное в женщинах. Тургеневские девушки мне нравились больше, но в них как раз не хватало дерзости, вызова, поэтому больше всего меня, как и следует ожидать, увлекла Зинаида из «Первой любви» (когда я был как раз ровесником ее героя, 16 лет).

21.11.74.

«Женщина должна радоваться всему существу и наполнять его собой; в этом – ее назначение и ее помощь мужчине, который, напротив, должен быть всем недоволен и все переделывать. В этом равновесии между приятием и преобразованием и кроется двуполая тайна мира».

«Как ты относишься к женщинам?» «Каких женщин ты предпочитаешь?» Не люблю таких вопросов. Тот, кто говорит о женщинах во множественном числе, их не достоин.

«В Книге Бытия говорится о том, что «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». (Быт., 6:2). По преданию, речь идет об ангелах, спустившихся с неба, чтобы соединиться с земными женщинами. А мне видится отрывок из еще не написанной Книги, где говорится о женщинах-ангелах, спустившихся с небес к сынам человеческим, чтобы они могли узнать вкус неба».

Ю

Должно быть, лестно им такое отношение, но интеллектуально, пожалуй, они восстанут. Что сказать... в условиях, когда уста запечатаны гендерной корректностью – которая еще хуже, чем полит-?

Наш общий знакомый подтрунивает над моей «раненностью женской долей». Как могло быть иначе в том контексте? Если жалость унижает, то что же делает жестокость? Возносит с серпом на пьедестал? Нет, я всегда был связан если не состраданием, то эмпатией. *Эмпатировал* им. Женщины порой требовали от меня «быть мужчиной»; я же в этом смысле взаимностью не отвечал, а если однажды в городе Солнца Московской области и пообещал одной парижанке «сделать ее женщиной» (в смысле косметики как непременно, казалось мне тогда, атрибута) – то этого мне не забыли никогда. И правильно. Начиная с того, что косметика – вредна.

Нет ничего лучше женщин в этом мире, но там среди них – своя иерархия, свое небо и свой ад. И если среди них (почти) не бывает серийных убийц, то встречаются и салтычихи, и эльзы кох, и разного рода «кастраторши» – которые по причинам, имеющим отношение к их отцам и опыту с мужчинами, просто не могут не бороться с хомо эректус.

Больше всего мне нравились глаза. Неважный был их чтец, свое будущее в них прочесть мне было не под силу. Но один из ангелов этого пола нашел меня, слетев с небес, и да – дал узнать другое небо и свободу.

Э

Еще и такая черта мне знакома с юности: вожделение к женскому уму. Однажды я испытал его к твоей знакомой В.: стал проникаться по мере разговора, притом что к ней самой оставался безразличен. Внешне она была миловидна, но оставалась как бы в тени своего властного ума и очень уверенной, бойкой, выделанной речи, в которой, может быть, отражался опыт ее общения с тобой и с Битовым, ваши речевые манеры. Это был высший класс, я таких женщин еще не встречал. Диана Филибер. Вожделение к ее уму могло бы разлиться и шире, если бы я не понимал его безнадежность, поскольку и Феликсом Крулем (Арманом) я не был.

Ю

Крулем я не был тоже.

Как и Германом из «Пиковой дамы».

Азарта отрицать не стану, но сюжетные коллизии в моем приватном случае выпадали на долю персонажа, который их совершенно не искал.

Э

Запись конца 1974 г., меньше чем за два месяца до встречи с будущей женой: «Я ищу женщину, которая стала бы мне ученицей по уму и наставницей по сердцу».

3

Замыслы

Э

Замыслы – мой излюбленный жанр, и, будь моя воля, я бы ни в каком другом не работал. Очертить возможности книги, статьи, рассказа – это и значит реализовать их самым экономным способом. В годы юности я замышлял в основном рассказы, и накопилось у меня таких сюжетов больше сотни; но в ход пошло несколько десятков, и то лишь до стадии первых набросков; а довел я до конца только «Мертвую Наташу».

Кроме того, был задуман и почти написан цикл из трех больших рассказов.

«Паломник» – о путешествии молодых людей в Ясную Поляну и о том, как одному из них (мне, конечно) было трудно влиться в компанию, как толстовская рефлексия мучила меня и в поезде, и в самой усадьбе и как я, в конце концов, убежал от всех, включая Л. Толстого.

«Кочевник» – о студенте в фольклорной экспедиции, которому нравится сельская девушка; но она мучительно не свободна от какого-то властного мужчины, который приходит познакомиться со студентом – и оказывается пошловатым и даже заискивающим местным учителем.

«Гость» – о том, как молодой человек по приглашению однокурсницы приезжает к ней на дачу и впервые в жизни оказывается в идиллических обстоятельствах, созданных для любви; но никак не может заставить себя полюбить.

Общая тема цикла: отчуждение, попытка быть не собой, сделать из себя другого – и труд души, который тратится на эти напрасные усилия. Конечно, герой всех этих повествований – я сам, поскольку моя юность – это попытка сделать из себя «мужчину как надо», «гражданина как надо», «человека как надо» – и натужный скрип шестеренок, издаваемых этой душевной машиной самопринуждения. «Искусство быть собой» мне давалось с трудом, я боролся со своей мягкой, расплывчатой, инфантильной природой и старался подчинить себя плановому хозяйству: «построить социализм в отдельно взятом индивиду». В течение недели-двух – прочитать пять книг, написать статью, познакомиться с девушкой или даже покорить ее... Конкретные замыслы, точнее, формы самопринуждения, сменялись, как правило, не воплощаясь, но я испытывал странную смесь удовольствия и отвращения, пытаясь навязать себе то, к чему не лежала душа, но что я считал обязательной стадией взросления. Главным замыслом моей жизни был замысел самого себя, от которого опять-таки остаются только черновики.

Научных замыслов в ту пору было гораздо меньше, чем литературных. Меня увлекала грандиозная перспектива «общей эстетики» – как науки о формах завершения всех вещей. Природное, психическое, социальное, экономическое, техническое, историческое – каждое из этих явлений, достигая полного самораскрытия, становится эстетическим: красотой природы, совершенным организмом, гармоническим характером, самодействующим автоматом, государством как произведением искусства... Этого замысла я тоже не осуществил. Зато научился сочинять манифесты, проекты, словари возможных концептов и терминов, виртуальные книги-конспекты, т. е., по сути, посвятил жизнь «замыслам» и обосновал такой способ мышления в «Философии возможного» (2001).

Ю

Все время вспоминается, и я его, пожалуй, выговорю, местомиг предзамысла всех моих последующих замыслов. Только что прочитан первый том Хемингуэя. Черный, он остался дома. Подросток, я взбираюсь по дамбе, падаю в сугроб. Проза так промыла мне глаза, что больно от новой зоркости. Но к чему мне она? Я впечатан в снег, как в окоп, и чувствую себя снайпером без цели. Передо мной настолько все уродливо, что можно сложить перо заранее. Все обрекает здесь на сдачу, полную и безоговорочную. Трубы, дымы и мамонтообразный элеватор – но, скорей, слоновий, поскольку гладки бетонные бока. Справа наш микрорайон, слева промзона; между этими отталкивающими невыразимостями, которые и выразить никто не собирается, тащится трамвай. Слева направо. Дуга искрит и осыпает бессмысленную красоту. Потом другой. Тоже искря и рассыпая, только двигая хрусталики справа налево. Так что же делать? Что мне делать? Вот взять и окопаться в снегу. Никто не поймет причин. Того, что самозаморозился я в знак протеста против того, что предстоит. Или набраться терпения и ждать, когда возникнет цель? Прежде времени не высовываясь, чтобы не пришили, как того финна – отчим. Но каким же снайпером нужно стать, чтоб терпеливо ждать годами?

Еще светло, но раз – и расцветает нежно-неоновая вывеска на доме, где кинотеатр «Смена».

Та, которая постоянно сменяет отработавших свою. И та, которая массово придет на смену, когда исчезнут эти – работой отработанные.

«Трудовая», короче.

Не литературная.

Дневник

16 лет.

1964.

Для того чтобы написать роман в 45 000, надо в день на протяжении 270 писать по ≈ 160 слов.

«1-е наброски к роману» Х. Заболевает. Болезнь. Все было давно, так давно... вспоминает.

План

Глава первая

I

Болезнь

...он думал о смерти. Он переписывался с одной девочкой из Латвии. Она утонула. Он увидел ее впервые, когда ее мать прислала фотографии. Он тогда был в 6-м классе. Умер дедушка, и они с матерью летали на похороны. С неделю он не ходил в школу.

Без любви не бывает.

Какая бывает любовь?

1. Редко удачная. Оригинально, но не жизненно.

2. Неудачная а) ревность б) треугольником.

3. Всякая.

Некто личность. Цель пронизывает его существование. Какая?

Влечение пола.

Если он любит, а его нет, то он слюняй. Читателям он не понравится. Но стержнем должно быть не это.

В одной повести 1) трактор изучали.

В другой 2) Аню искали.

Мотоклуб?

Девочка, увлекающаяся философией?

Парень или Она увлечен(а) театром. Не любил я самодеятельности. Гамлет в их постановке.

* * *

В тот год летом в Ленинграде мне захотелось написать сценарий – именно так – о Петербурге Достоевского. Точнее, Раскольникова. От дедушки осталось старое академическое издание «Преступления и наказания» с комментариями, и с этой тяжелой книгой большого формата я ходил по топонимии романа, смотрел на тополиный пух на поверхности канала Грибоедова, *перешед через мост Кокушкин*, совершал эти знаменитые 740 шагов мимо решеток Юсупового сада до дома старухи-процентщицы, собравшись с духом, дергал за звонок и вообще всячески носился со своей идеей, пока не прочел в «Иностранке», в разделе новостей мировой литературы, что меня опередил уважаемый мной Генрих Бель – по заказу Кельнского телевидения снимающий фильм «Петербург Достоевского» по собственному сценарию.

Дневник

1965, 17 лет.

Роман «16–17»: материалы.

Конечно, молодежный. Целеустремленность, неудовлетворенность, отношение ко взрослым.

Подонки: помню, когда мы сюда переехали, пошел я ковер выбивать. Тогда-то мы и познакомились. Тогда они были только гнусными подонками – в уборных подглядывать.

Многих сейчас пересажали.

Может, стержневой темой сделать *преодоление* (?) чего-либо. Преодоление трусости (скажем). Тема эта трудная. В рассказах налево-и-направо: преодоление пьянства, или еще чего.

Логически обосновать:

Мальчик думает, что он трус. В любви – он трус. Почему:

<...>

Действующие лица:

Андрюша Корнилов (его болезнь, его день рождения, его мир) – не знает, кем хочет стать.

Виктор Лобачев, друг – бассейн. Психиатром.

Славик Нетемин – театрал.

Наташа Лисицына – философ юный.

24 октября 1965

Хорошая тема для рассказа пришла мне в воскресенье в 18.50.

Узкие полоски заката на сапоге, старик, живущий грибками, – бывший НКВДэшник; на даче – его быт сейчас. Новое. А его жизнь была отнюдь не героична. Человек с ружьем он был, в эпоху сталинских извращений тридцатых годов. Зимние сеновалы...

...Или человек – жизнь его в страхе, не перед людьми, перед собой. Он был, скажем, полицаем при немцах.

Завидую людям будущего – сколько они будут знать о нас, чего мы о себе и не подозреваем.

* * *

Замыслы рассказов возникали каждый день, иногда по несколько. Приходило название, оно готово было вытащить за собой рассказ. Таких замыслов-названий в дневниках моих десятки. «Мертвый час, изгой!», «Мечтатели мы были ужасные» (рассказ о юности Достоевского). Питерский рассказ – «Частный человек с улицы Правды»...

Дневник

13 февраля 1968.

Рассказ: Девочка Рубина любит меня несколько лет. Мое отношение к этому, и вдруг как-то, на каникулах, она приходит и говорит, что ее отцу осталось недолго жить.

Вот и все – как в жизни...

* * *

Один из замыслов весны 68-го вдохновлен размышлениями о тебе и твоём образе жизни:

Взять описать университетскую жизнь одного студента, *но который живет дома*. Мне нужно где-нибудь ежедневно уединяться! Общежитие все время невыносимо.

14 марта 1968.

Меня тянет написать воспоминания, чтобы освободиться от детства. Ведь и Толстой писал в юности о детстве.

3 марта 1969.

Неужели меня ждет судьба литератора, который вынашивает годами – не произведения, а раздумья о них?

Сегодня много думалось о Лесном рассказе (не знаю даже, как его обозначить).

Зашифрую на всякий случай все названия...

12 ноября 1969.

...«Жених» – это рассказ о том, как освобождаются от любви, разлюбивают, отвязываются внутренне. Рига. Дом. Утро. Район особняков. Зоопарк зимой. Что-нибудь еще, обед хотя бы. Отъезд. Эпилог.

К «Жениху». После Рижских событий дать в одном периоде историю болезни, очищающей, освобождающей, уже московской, и – как кризис – вдруг моментальное прозрение, подготовленное длительностью страдания: взгляд из окна на вьетнамцев.

Лучше из этого сделать повесть. Названия глав – иронические характеристики. Это не мой роман, потому что в роман я ее не хочу, а избавиться и покончить с ней можно и в повести.

* * *

Как только попал в МГУ, захотелось написать «московский» роман. Морально-этическое название «Иногда хороший человек» превратилось в «Славяно-греко-латинская академия». Потом сменилось много других. Больше всего, в смысле «московского» романа, я продвинулся летом 1971 года. В следующем году у меня начался реальный роман, который надолго отвлек от этого жанра. А когда он вернулся в середине 70-х, я его не узнал. Замысел первого романа, исполнение, публикация (не по-русски, увы) и даже признание его ждало меня там, где я выбрал «свободу творчества», – в Париже.

А вот замысел, который влился в тезаурусную идею этой нашей с тобой «ЭЮ», впервые воспламенил костер, который притянул мой взгляд зимой 1970 года. Находясь в Минске, в том же Заводском районе, в академотпуску, я шел в читальный зал библиотеки детства, думая о том, что сказал мне Битов. Написать автобиографию или мемуары, но только доподлинно *как было*. Ничего от лукавого ни до, ни после точного воспоминания, соответствующего правде жизни. Еще думал об Унамуно, который считал, что достаточно одной-единственной фразы, чтобы раскрыть себя целиком. Как эту фразу написать? Вокруг было бесконечно уныло, за исключением этого костра на снегу. Озарения, подумал я. Сатори не сатори... *Микроисповеди*. Вернулся домой и тут же начал. Жанр нравился, название не очень. «Мгновенные микроисповеди».

Как-то тяжеловато для исповедальных вспышек.

Запад

Э

Из дневника

14.6.74.

«Я не западный, а западник, т. е. стремлюсь к Западу, а не принадлежу ему, и дорожу им не как реальностью, бытом, предметом, но как идеей, идеалом, будущим. Нет ничего более враждебного и даже непримиримого, чем западные и западники. Первые довольны собой (как и славяне и их филы), вторые – недовольны собой. Быть западником – значит быть не на месте, быть не там, где твоя мысль. Это состояние тревоги, неуспокоенности. На Западе не место западникам, потому что там все – западные, т. е. такие же свои для себя, как славяне в славянстве. Западником же можно оставаться только в России (или в какой-нибудь Латинской Америке). Как и настоящим русофилом или синофилом можно быть лишь вне России или Китая».

Ю

Я как *еврорусский* (пользуясь твоим определением) вполне ощущал свою генетическую принадлежность – скандинавские предки по отцу, австрийский дед по маме, Германия как место рождения и, как написал Борис Парамонов в рецензии на «Вольного стрелка», моя «фантазмагорическая родина». Поэтому совершенно бескомплексно – благодаря самиздатской хатха-йоге и общему, хотя в наших местах невыразимому тренду эпохи – сделался еще и «паломником в страны Востока», приступив в старших классах к изучению поэзии древнего Китая и Японии, а затем древнеиндийской и буддистской мысли. Не подозревая, что сам мой интерес предопределен не очень нам пока известным бит-поколением, восходящим поколением «детей цветов» и тогда еще не читанным «дзенбуддистским» Сэлинджером сборника «Девяти рассказов».

Можно ли считать меня на этом основании ориенталом? Скорее, передовые рубежи западничества.

И

Идеология

Э

С какой поры я почувствовал свое отчуждение от идеологии, вернее, тот факт, что это идеология, а не просто нормальное положение вещей, естественный образ мыслей? Первое потрясение случилось, когда мне было лет 6 и я со своей подружкой Юлей играл во дворе (дом на Дубровке, рядом с тем местом, где почти полвека спустя случился Норд-Ост). Наступали ноябрьские праздники. «Что-то не видно портретов Сталина», – заметил я с несвойственной мне наблюдательностью. И тут Юля меня просветила. «Сталин – плохой. Он убивал людей», – заявила она со всем непререкаемым авторитетом первоклассницы. И что-то во мне обрушилось. Сталин? Убивал людей? Так отзвук хрущевской большой политики дошел до нашей песочницы.

Дальше – пробел до примерно 14 лет. В нашей семье не говорилось о политике, религии, эротике. Думаю, табу выстраивались именно в такой последовательности. И если категорически нельзя было «про это», то под «этим» понималась в первую очередь: власть, строй, партия, народ, единственно верное учение. Да и меня это как-то совсем не трогало: уже поверив, что Сталин убивал людей, я все еще верил в то, что Ленин – самый человечный... Первое мое несогласие объявилось в 8-м классе перед классным руководителем Наумом Захаровичем Цлафом, который вел у нас химию. Что-то он внушал нам об освоении космоса, об успехах науки и о том, что религиозные пережитки окончательно разоблачены, поскольку космонавты побывали на небе, а Бога не обнаружили. Меня эта глупость вывела из себя, и я ему на весь класс стал возражать: Бог вовсе не одно из космических тел, у него духовная природа, а поэтому полет космонавтов не может иметь решающего значения для победы атеизма.

Когда мне вожжа попадала под хвост, я делался упрямым и с трудом управлял собой. Наум Захарович сильно со мной спорить и раздувать вопроса не стал. Он был человек суховатый, химический, но далеко не бездушный и понимал, что дело не в нем, а во мне. И потом мама, по его просьбе, поговорила со мной о том, что одно дело – иметь свои взгляды и другое – высказывать их там, где они неинтересны, никому не нужны и попросту опасны. И призвала меня быть умнее. Чему я вроде бы внял – и в школе уже особо не высовывался.

Но я вдруг стал слышать и понимать, о чем говорит Эдик, мой двоюродный брат, на 14 лет старше меня, весельчак, хохотун и мастер политического анекдота. А в пионерлагере, уже в 16 лет, я познакомился с девушкой Любой Борисовой, которая воспламенила меня высокими чувствами – не к себе, а к родине. Не знаю, как это ей удалось, поскольку и сама она в это время пылала другими страстями (не ко мне). Но словно бы понимая свою несозданность друг для друга, мы взаимно устремились навстречу Родине и в служении ей нашли залог своей дружбы (впрочем, недолгой).

В университете меня сильно разозлила профессор В. И. Шишкина с кафедры марксизма-ленинизма, специалистка по кубинской философии, жена заведующего той же кафедрой Н. С. Шишкина и мать студента А. Шишкина, который с нами учился. В Большой Коммунистической аудитории она читала нам лекцию, разоблачающую антисоветские взгляды академика Сахарова. «Академик Сахаров клеветает на наш народ, на достижения советского

стоя. Он утверждает, что 40 % населения у нас живет ниже черты бедности. Посмотрите вокруг себя – она обвела рукой зал. Вы видите этих людей, живущих ниже черты бедности? Разве это не клевета?» – Я посмотрел на нашу аудиторию филфака МГУ, типично представляющую тот народ, который, конечно же, никогда не опускается ниже черты бедности. Я посмотрел на небедного студента Шишкина, чья мать так красноречиво указывала рукой и на него, своего сына. Его лицо ничего не выражало.

Еще мне доводилось беседовать с отчимом Тани Горбачевой, нашей сокурсницы, – этот Горбачев (не М. С. Горбачев) работал в ЦК, в отделе связи с соцстранами, номенклатурные подробности выветрились. Но со слов Тани запомнилось, что если он умрет до выхода на пенсию, то будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с которым в шикарном районе Москвы был расположен их дом. Вот так мерился ранг – на каком кладбище тебя похоронят, и выше Новодевичьего не было ничего (кроме Кремлевской стены, но это уже для Политбюро, и то не для всех).

Понимая редкость такого случая – поговорить с работником ЦК, который уже наверняка все знает и может ответить на любой (несекретный) вопрос, я изо всех сил допытывался, что же нам думать о таких-то и таких-то явлениях: о хозяйственной стагнации, об отсутствии демократии, об отставании от Запада и т. д. Мне представлялось, что у них заготовлена мощная, изошренная машина всеобъясняющих, пусть даже лживых, аргументов. Я ожидал некоего остроумия, изобретательности, идеологического блеска. Нет, ничего. Обыденное ковыряние вилкой в остывших словах. «Да, есть еще недостатки... многие резервы не используются... у нас есть друзья во всем мире... у нас у власти стоят очень умные люди... можете быть спокойны за нас... (а я за «них» и не волновался)... они не позволят сорвать мир в пучину ядерной войны... но не позволят и врагам диктовать нам свои условия... мы нормально живем, работаем, развиваемся... не так быстро, как хотелось бы, но у истории свои законы... правда на нашей стороне...»

И мне тогда впервые подумалось, почти по Т. Элиоту, что советская эпоха закончится не взрывом, а всхлипом.

Ю

Я помню, как в Гродно мама, сбросив туфли, влезала на стул, потом на купленный мне письменный стол, чтобы прикрепить большой бумажный портрет, купленный в лавке писчебумажных и канцелярских товаров. Этот портрет и «Политическая карта мира» над моей кроватью. Пришел час, и я снял большой его портрет, с первого класса украшавший мой «уголок советского школьника». Свернул в трубку и забросил в комнату к родителям на шкаф, где уже пылился один вождь, до сих пор почитаемый в РФ. Взамен повесил себе вырезанного из «Америки» Кеннеди с этими его словами: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Симпатии к образу Ленина внушить я себе не мог, да и не пытался: полное отсутствие харизмы. Не было и особой ненависти. Так, нечто слабо тошнотворное. Страдал от обилия однотипных памятников и топонимов, но, бывало, по собственной инициативе перелистывал «Философские тетради» – кроме удачного названия ничего там, впрочем, для себя не находя (в отличие от минского друга, который именно там нашел оправдание своему «продвинутому» мазохизму).

Идеология и мама утверждали равенство и справедливость, жизнь показывала мне обратное. В 1-м классе я стал стесняться привилегий. Другие дети приходили в школу пешком, почему меня надо на машине? Привозили, правда, еще и ученика Андреева, сына командующего армией. Его на сверкающим хромом «ЗИМе», меня на «газике». Шофер выскаки-

вал, чтоб распахнуть дверь, и мальчик выходил – высокий, красивый, с улыбкой, за которой не было не то чтобы смущения, а вообще ни тени сомнения. Я стал просить приданного нам водителя-солдата останавливаться вне пределов видимости «пеших» детей. Потом отказался от машины вообще. Ходить было далеко. Зато стало легко на душе. Несмотря на то что был взят на заметку. Особист армии сообщил маме, что я отказался сесть в «Победу», на которой возили в школу его сына. «Слишком он у вас гордый...»

Вообще, я был не очень благодарным объектом для индоктринации. Мал, но zelo тверд. Мамина программа воспитания «нового человека» разбивалась об утес верности «моим старикам»...

Рабочий тащит пулемет,
Сейчас он вступит в бой.

Я делал шаг из ряда:

Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»

Но внутренне на этих праздничных «монтажах» не проникался. Знал, что произошло с дедом и бабушкой после 17-го года. Только поженились, только успели провести месяц в деревне, как наступил этот самый «Великий Октябрь».

Брат привез мне в Америку две книжки.

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: 1956 г. *Сергулиньке от мамочки. Дорогой сынок, дарю для аппетита. Гродно.*

«Рассказы о Дзержинском» Юрия Германа: *За отличную учебу и примерное поведение ученику 1а класса Арефьеву Сергею. 25/V-56 г. Круглая печать. Две подписи: Директор... Учитель...*

Мне больше нравился Панург.

Мама не была фанатиком и стала сворачивать воспитательный проект, когда я увлекся собирательством. Только вздыхала: «Пережитки прошлого победили...» – «Это какие?» – «Частнособственнические инстинкты твоих предков...» Триединство: наклейки спичечных коробков, марки и монеты. К началу денежной реформы 1961 года нумизматика вышла на первый план. Она же и привела к первому серьезному конфликту с режимом. Сначала в виде милиции. Нумизматическая лавка в Ленинграде была на улице Герцена в виду той самой арки Генерального штаба, через которую большевики устремились на штурм Зимнего. Милиция устраивала облавы на коллекционеров, толкавшихся у лавки, в подворотне и внутреннем «каменном мешке». Под один налет я попал, но ушел чердаками, как Ленка Пантелеев. «Люди гибнут за металл», – дразнила меня тетя, сестра деда, прошедшая через ссылку и лесоповал жена «врага народа», посмертно реабилитированного. Тетя Маня как в воду глядела. «Дорогой наш Никита Сергеевич» бесстыдно поправ советские законы, чтобы расстрелять троицу Рокотов-Файбышенко-Яковлев. В порядке всесоюзной борьбы с «валютчиками» пошли гонения и на нас, нумизматов. Лавку на Герцена прикрыли. С острым чувством отщепенца я упорно продолжал создавать свою

коллекцию. 13 лет, 14... Подпольно работая сразу в двух городах, Минске и Ленинграде, и благополучно уходя от двух основных угроз нумизматики: выдававших себя за собирателей педофилов и гэбэшников. Поэзия вскоре отодвинула в сторону «частнособственнические инстинкты», но представление о взрослом мире было получено. Его закулисы укрепили меня в недоверии ко всему, что оттуда исходит. От заманиваний к себе домой на

якобы талеры Священной Римской империи до клятвенных заверений, что через двадцать лет все здесь изменится и мы окажемся при коммунизме.

Что сказать про пионерские годы? Все эти приветствия партконференциям, шефства над заводами, городские и республиканские слеты, на которые в Заводском районе меня выдвигали за отсутствием других кандидатов. Бутафория отталкивала, но ради возможности встретить достойных друзей и подруг я готов был терпеть, защищаясь иронией и сарказмом. Как мои питерцы. Покойный мой дедушка. Сестра его тетя Маня. Комсомольская фаза длилась дольше, с 15 до 27 лет, но была уже легче. В центральной школе Минска, куда меня взял ее директор-поэт, я получил признание как «литератор»: поэт, редактор. Литературу мне отдали на откуп, благо никого особенно это занятие, исторически обреченное научно-технической революцией, не интересовало. Доверие директора я оправдывал, представляя школьный журнал на белорусском радио, тиви, на республиканской конференции учителей, где мои стихи про Питер («Старый город дымный надоедает...») вызвали овацию, а затем и в Риге, на слете творческой молодежи четырех западных республик (БССР плюс Лит, Лат и ЭССР). Там, правда, единственным творческим свершением стали стихи, посвященные местной девочке по имени Симона, которую, к ее разочарованию, я так и не поцеловал на Рижском взморье, замершем до самого

горизонта.

Все же комсомол до меня добрался. Не помню, какая там была несправедливость, но я разнообразия ради выбрал не *flight*, а *fight*. Человек из ЦК ВЛКСМ, который присутствовал на этом последнем комсомольском собрании в школе, поставил вопрос ребром: место ли мне вообще в рядах? Коллектив решил, что да. Сам же я, что нет. Не место...

Дневник

Июль 1967. Москва, МГУ.

Период абитуриентства.

– Вот если бы у тебя была возможность увидеть одного человека из коммунистического завтра. Кого бы ты призвал: оптимиста или ироничного, скептического, саркастичного, Печорина, Онегина?...

– Я бы женщину.

Март 1968.

В университетской газете:

«Мы ждем тебя, студент, в четверг в 17 часов в идеологическом отделе. Ты приходи к нам, приходи!»

Чисто филологическое заманивание с «обнажением приема». Расхохотался, переписал в книжечку.

Там у них было чувство юмора, но я уклонялся от всех видов комсомольского коллективизма, как то: собрания, демонстрации, выезды «на картошку», встречи высоких иностранных гостей (с флажками вдоль Ленинского проспекта). Прекрасно существовал вне правящей идеологии, радуясь тому, что нашел-таки себе лазейку Ясперса, откуда взирал на всю эту фанаберию юбилеев, лозунгов, транспарантов, плакатов, портретов и трансляций из Кремлевского дворца съездов. Спихватился только лет через десять, незадолго до убытия из ВЛКСМ по возрасту: для первого выезда за рубеж понадобилась характеристика.

Все это время, разумеется, находился в состоянии перманентной дискуссии с оппонентами, которые менялись к худшему (родного отчима, члена КПСС, сменил мой испанский тесть, руководитель КП Испании). При этом не скажу, что был 100-процентным антисоветчиком и антикоммунистом. Дефицит информации о стране и мире – причина того, что при

всем критицизме я пытался отыскать положительные стороны «социалистического эксперимента» – повторяя за Сартром это «дистанцирующее» выражение. Мне, например, нравилось то, что писатель Виктор Астафьев (но много позже) называл «сбродом», а официоз – «исторической общностью «советский народ». Казалось даже, что мы, Советский Союз, – это Америка, которая пока еще не удалась. «Проект», который можно еще спасти, взяв за основу свободу, и превратиться в достойного антипода и партнера. Но это было так – наплывами фантазий. Начисто исчезнувших, когда в свою первую поездку в Париж я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» и пришел в ужас от вселенской гекатомбы трупов, заложенных под наш «эксперимент».

См. АНТИСОВЕТСКОЕ, ДИССИДЕНТСТВО, ПОЛИТИКА

История

Э

Меня угнетала тоска и безнадежность нашей позднесоветской истории, все более затерянной на задворках мировой. Но временами возникали удивительные предчувствия, которые только теперь, перечитывая дневник, я могу оценить.

Из дневника

15.11.1974.

«Новое начнется в 1990 г., когда к власти придет поколение начала 1930-х гг., воспитанное на ужасах 1937 г. и на надеждах 1956 г. Политика всегда запаздывает, потому что ее творят пожилые люди. Поэтому окончательные выводы из 1937 и 1956 гг. будут сделаны 40 лет спустя.

Но главное, именно сейчас, в эти годы: конец 1960-х – начало 1970-х, когда история, казалось, прекратила течение свое, – возникает, впервые за несколько советских десятилетий, историческое самосознание, способность трезво взглянуть на себя со стороны, уже не воодушевляясь настоящим и ближайшим будущим».

20.11.74.

«Одна из особенностей нашего времени – развитие исторического подхода к прошлому и даже настоящему. До середины 1960-х гг. мы жили как дети, воспринимая настоящее как простое продолжение прошлого. Отношение к прошлому было нравственным; в послехрущевскую эпоху оно становится историческим. Мы меньше действуем и больше мыслим. Ныне, при всем видимом затишье и безвременье, происходит грандиозная смена основ. Отказ от прошлого уже ясен, а выбор будущего – нет...

К 1990-м годам можно ждать рецидивов революционности, обновление старого словесного и мифологического арсенала – от поколения 30-50-х, от ровесников Евтушенко. Но с 2000–2010 гг. неуклонно обозначится поворот к обществу изобилия, потребления и т. д. Смена основ совершается втайне, может быть, даже от самих ее исполнителей и руководителей – это сдвиг в сознании миллионов. 1956 год сражался за обновление революционного мифа, теперь же он безнадежно устарел для большинства и находится при смерти для поколения 1970-х. Революция становится историей, т. е. перестает быть деянием. Отсюда возможен и колоссальный интерес к исторической фигуре Ленина. Перестают почитать, начинают читать».

Превращение текущей жизни в память о себе, в «историю» – этот алхимический процесс происходил на наших глазах именно после 1968 г., когда история, казалось, прекратила течение свое.

Ю

Прогноз насчет 1990 года поразителен еще и тем, что сделан в 74-м – до сгущения апокалипсических настроений к концу той декады. В 79-м в романе «Вольный стрелок» я ошибся, когда предположил, что после Брежнева придут «молодые волки». Явился Горбачев. Зато угадал, что придет к власти ГБ. Она, правда, взошла не с Андроповым, а с новым тысячелетием. Но посмотри на результаты. Задворки позади, Россия на арене. И снова рвется в свой «последний и решительный».

К

Казаков

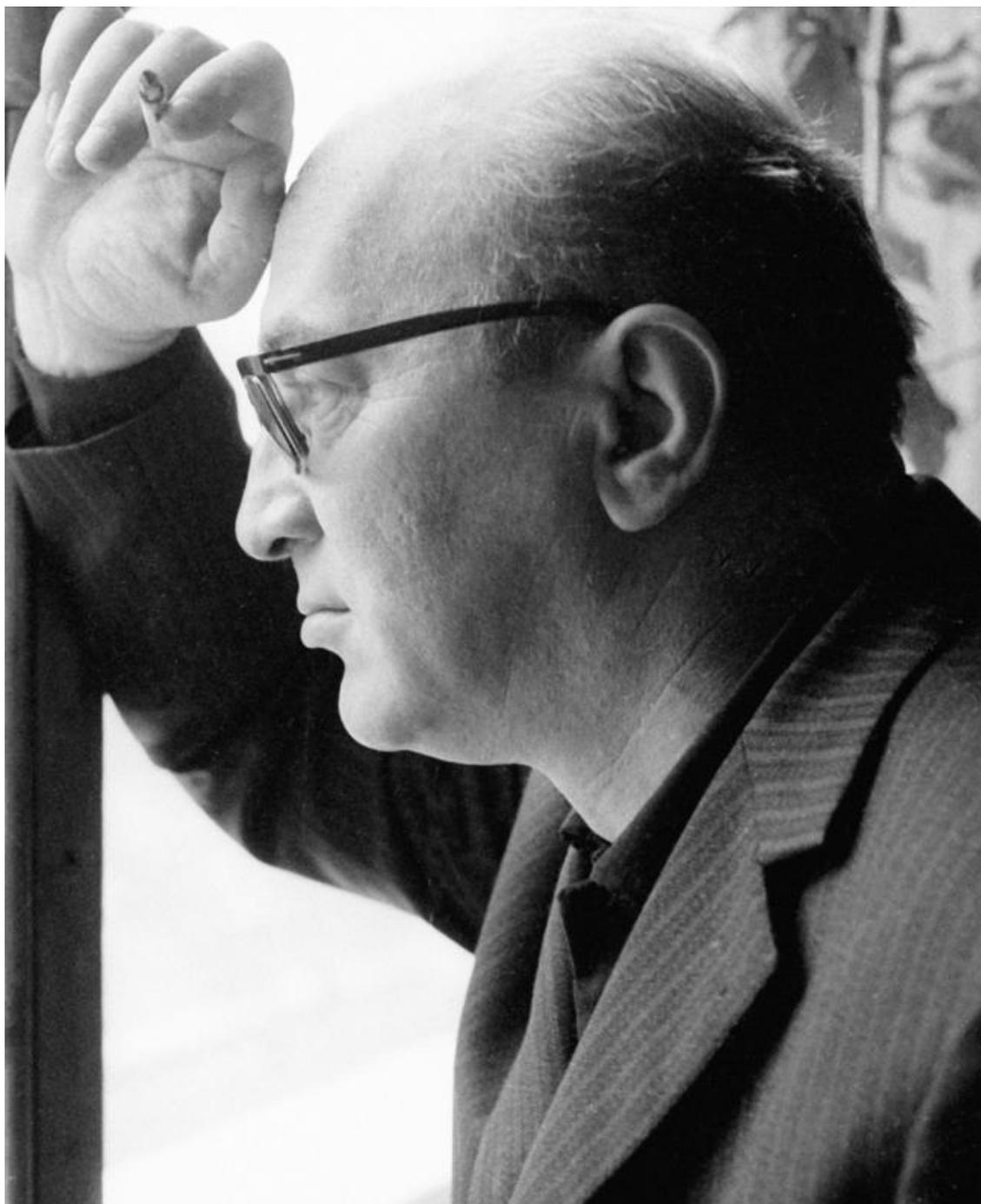
Ю

«– Лиля, – говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку...»

«Голубое и зеленое» я обнаружил у сестры на Невском/угол Восстания. Какой язык. Изящество композиций. Начала, развития, концовки. Входы в тему. Полный восторг.

Не могу сказать, что сразу же померкли мои любимые «исповедальники» из журнала «Юность» и Солженицын. Но тут было дыхание русской классики. Вот подлинный ее право наследник. При этом *живой!*

Не успокоился, пока не отыскал в библиотеках все им изданное и напечатанное – включая самые первые его сборнички второй половины 50-х и публикации в тонких журналах (вроде «Физкультура и спорт», где было о Хемингуэе). Я считал его лучшим стилистом в стране, поссорился с отчимом из-за рассказа «Адам и Ева», который ему подсунул («Что я думаю? Скотство!..»).



Юрий Павлович Казаков (1926–1982)

И так получилось (пример вторжения магии в обыденную жизнь), что именно он, мифический Юрий Казаков, будучи тогда сотрудником отдела прозы кратковременно-либеральной «Молодой Гвардии» (напечатавшей поэму «Оза» Вознесенского!), собственно-ручно выловил из «самотека» мои первые рассказы: городской, курортный, деревенский. «Солнце в нашем окне» был про морозный мартовский день и состояние ошеломленности: мерзлую клюкву нам с мамой завернули на Комаровском рынке в кулек, свернутый не из «Советской Белоруссии», а из нью-йоркского «Нового русского слова» – самой старой газеты русской эмиграции. Так был открыт мной факт существования русского Зазеркалья. Эмиграция без Бунина продолжала жить и здравствовать, несмотря на множество некрологов на доставшихся мне страницах, покрытых пятнами от клюквы. Еще в рассказе была

прерываемая домами траектория солнца, сопровождавшего автобус. Другой был про ночи в Сочи: аромат магнолий и прогулки по пляжу, который в этот час становился запретной пограничной зоной, с лирической героиней (прототипом которой была Ирина З., 16-летняя красавица с курсов «Выстрел» под Солнечногорском, брюнетка донских кровей с обгоревшей меж персями ложбинкой, которую ее мать, видящая меня насквозь, присыпала толченым на вощеной бумажке стрептоцидом). Третий рассказ, моя *Dorfprosa*¹⁷, изображал застолье на хуторе у лесника Петровича в полигонной зоне под Борисовом.

Дневник

1966. Май, 16.

Хорошее, щедрое письмо от Ю. Казакова.

Первое письмо от настоящего писателя.

Сразу признался в тройках.

* * *

Казаков «написал тогда мне в Минск, цитирую по памяти: «У Вас зоркий глаз и точная рука... К счастью, Вам мало лет, и, если не охладеее к литературе, годам к 25 будете писать хорошо: раньше прозаики не возникают...» Предложил присылать ему новые рассказы, тем самым определив взаимоотношения и задав им открытую перспективу. Я послал ему мой первый «большой» рассказ «Свои мертвецы» (покрыл треть Большой комнаты в Ленинграде, когда я разложил исписанные страницы на паркете). В ответ Юрий Павлович поставил мне в упрек «старческую изошренность» – сравнив меня с неизвестными мне тогда Б. Зайцевым и В. Набоковым. Писателей-эмигрантов Казаков открыл во время поездки во Францию и контрабандой привез их «тамиздат» в Москву. (Впоследствии в Париже я нашел в «Дневниках» Габриеля Мацнева, выходца из русской аристократии и православного французского писателя с воинствующим интересом к малолетним обоюбого пола, запись о том пребывании угрюмого Казакова на пару с куда более светским Солоухиным.)

Еще Казаков написал, что мне надо перебираться в Москву, единственное место, где в этой стране писателю можно возникнуть. Но в Литинститут, который сам окончил, поступать не советовал.

* * *

Проект неотправленного письма:

Дорогой Уважаемый Юрий Павлович

Дорогой Юрий Павлович.

Как бывает: Вы ошиблись номером кв-ры – у меня № 2, а не 4 – и если бы соседи сверху не бросили мне в ящик Ваше письмо, то не радоваться мне Вашим щедрым, проникновенным словам. Радоваться? – видите ли, Ваше письмо как-то враз родило беспокойство, разброд, смятение, пожалуй. Бог с ним, думал я, с этим рассказиком, раскрашенной картинкой, как ни назови, – Бог с ним, и разве я это хочу писать? – нет: хочу писать пасмурные, не «интеллектуальные», а от жизни, снизу... длинные рассказы и составлять из них книги,

¹⁷ Деревенская проза (нем.).

а также писать толстые книги. Вот какую сумятицу и одновременно уверенность вызвало Ваше письмо по поводу этой штучки.

Вы знаете, сейчас я бы постеснялся послать ее Вам. Потому что я изучал Вашу прозу. Но тогда у меня не было ничего бойчее и не было времени для равномерного писания, – все забирали... но я чувствовал, что необходимо мне какое-то подкрепление; ну, Вы понимаете, за что я хочу Вас поблагодарить.

Да! Спасибо Вам еще вот за что, – насчет Литинститута. А то я подумывал, и если бы не два года стажа... А так буду поступать на филфак в МГУ.

С уваж С искр До свиданья
Извините за машинку.
С благодарностью
Сергей Юрьенен

* * *

Первая попытка взять МГУ была неудачной: недобрал балла. Когда, вернувшись в Минск, ему об этом написал, он укорил меня за то, что не поставил его в известность, и предложил оказать содействие.

Филфак осаждали толпы абитуриентов; среди них тогда я впервые заметил и тебя. Год назад мне недоставили проходного балла, срезав классическим вопросом на засыпку: «Как звали мужа Татьяны Лариной?» Фамилия «толстого генерала» в «Евгении Онегине», как известно, автором не упомянута: *князь Гремин* возник только в либретто оперы П. И. Чайковского. На этот раз экзаменовали даже в момент подачи документов, которые могли и не принять. «Анну Каренину» читали? А эпиграф там есть? Какой?»

Юрию Павловичу Казакову «аз воздам» только благодарность. За то, как сложилась жизнь.

В записной книжке периода абитуриентства есть его телефон (АВ 72487) и адрес на Бескудниковском бульваре (д. 5, корп. 1, кв. 53). Вселившись в общежитие на Ленгорах, я долго тянул и мучился морально-этической проблемой. Не хотел поступать «по благу». Но все же сломался и позвонил. Промедли тогда еще только несколько часов, и не застал бы его в СССР. Не поступил бы и на этот раз. Не будучи японцем, самоубийством вряд ли бы покончил. Но возвращаться было некуда. Мосты были сожжены. Но, допустим, вернулся бы к ним, сожженным. Что ждало бы меня в Минске, на котором я самонадеянно поставил крест? Минск этот крест поставил бы надо мной. Так или иначе...

Оказалось, что они с женой улетают в Болгарию. Сегодня. Во второй половине дня самолет. Успеете? Появившись в его двухкомнатной «хрущобе», я разочаровал Казакова внешним видом – по фамилии он представлял себе рыжего гиганта нордического вида. Может быть, его «северомания» и была причиной внимания ко мне, «минчанину». Впрочем, из Минска оказалась и его жена, вносящая дополнительную нервозность. Входила с недовольным видом и батоном в руке («Это брат?»), напоминала, что пора вызывать такси, а то опоздаем на рейс. Никогда в жизни я так жгуче не сознавал свою неуместность «здесь и сейчас». Готов был уйти, а еще лучше сквозь землю провалиться. Но этот большой человек снял пиджак, который был на нем в обтяжку, сел за машинку и стал отстукивать рекомендательное письмо своему «единственному другу во власти», как он сказал. Как оказалось, то был ключ не только к «храму науки», а еще и к столичным литкругам, к писательскому будущему и вообще судьбе. «Конверт не запечатываю, – сказал он, складывая и вкладывая, – можете прочесть».

Что я и сделал сразу, как вылетел из подъезда. Письмо кончалось шутливым: «Ну а за сим, как говорят президенты: «Пролетая над вашей страной, позвольте пожелать...» Кроме щедрого представления «подателя сего» и просьбы ему помочь здесь была еще ссылка на Толстого: *«Если сила плохих людей в том, что они вместе, то хорошим людям, чтобы стать силой, надо делать то же самое»*...

К себе я относился весьма критически, считая себя разве что «иногда хорошим человеком». Но аргумент Казакова несколько облегчил мои страдания. Так, став протеже «хороших», на этот раз я поступил и получил временную московскую прописку на срок учебы.

Брал Казаков на себя и попытку пробить меня в печать. Носил меня в «Смену» и еще куда-то. Но тут усилия Юрия Павловича остались безуспешны, о чем он и предупреждал со всей откровенностью в канун того 1967 года: «Но на публикации особо не рассчитывайте: год предстоит юбилейный».

Ну да, я понимал.

50 лет, как жизни нет...

В 1982 году в Париже я написал некролог для Радио Свобода. К 5-й годовщине посвятил своему учителю целый «Экслибрис» в виде собственного эфирного монолога, который к 10-летию кончины появился в газете «Московские новости» под названием *«Свои мертвецы»*. На публикацию Битов отозвался критически: «Не столько о Казакове, сколько о себе...» Поэтому, пожалуй, здесь добавлю, что при всем моем восхищении Казаковым-писателем, этот человек, массивностью напоминающий Набокова, не создан был для устного общения. При личной, оставшейся единственной встрече у него дома в Москве, в районе ВДНХ, нельзя было не почувствовать, что все – и в нем, и вокруг него, в отношениях, – как-то уж слишком напряженно, тяжело и тягостно. Какая-то глубокая неразрешимость была внутри него. Я думаю, что невозможностью в условиях безгласности открыть свою закрытость (под которой, конечно же, невыносимость душевных травм) и объясняется его упрямый эскапизм – увы, не только географический, в сторону «проклятого Севера».

Э

Казакова я не только читал, но и перечитывал, что редко со мной бывает. Это когда реальность, созданная писателем, начинает существовать сама по себе, в нее хочется возвращаться, чтобы переживать опять и опять. Особенно: «Осень в дубовых лесах», «Двое в декабре», «Голубое и зеленое», «Некрасивая». По степени перечитываемости он стоял у меня на почетном третьем месте после Бунина и Битова.

Кайф

Э

Это слово я впервые услышал в университете, и сначала меня привлекла его двойная иностранность (восточное, пришедшее с Запада). Но то, что оно обозначало, мне совсем не понравилось (как до сих пор раздражает и близкое по смыслу английское «fun»). В студенческой среде «кайфовать» означало расслабленно посидеть в компании, попить вино, обмениваться ничем не значащими фразами. Попросту убивать время без малейшего сострадания к жертве. Гедонизм, т. е. сознательный поиск наслаждений, максимально острых ощущений, мне казался гораздо более осмысленным занятием, чем это кайфование на грани полной энтропии. Причем любая попытка направить общение к какому-то смыслу, структуре, цели, дискуссии воспринималась бы как «ломание кайфа», нарушение тусовочного этикета. Когда на улицах южных стран (Грузии, Турции, Израиля) я вижу юношей, часами подпирающих стены домов в расслабленном ожидании неизвестно чего, я вспоминаю слово «кайф», пресное в самой своей пряности.

Ю

Такое впечатление, что слово впервые услышал я от Битова в 1967 году у него на Невском. Так и вижу передо собой лицо пожившего молодого человека, расширяющего глаза, и рот, который в тот момент показался мне *ставрогинским*: «Ка-а-айф...» (Не в связи с алкоголем, кстати.) Адаптировал, привез в Москву. Не сказать что нравилось, но употреблял. Потом встретил у Селина, затем и в Париже, где изредка, но произносили это арабское *kif* или *kif-kif*. Имея в виду конкретное состояние, вызываемое марихуаной, или сам этот продукт.

Советская наша юность от марихуаны была свободна – моя, во всяком случае. И «кайф» я говорил, в виду имея ту степень удовольствия, выше которой нет.

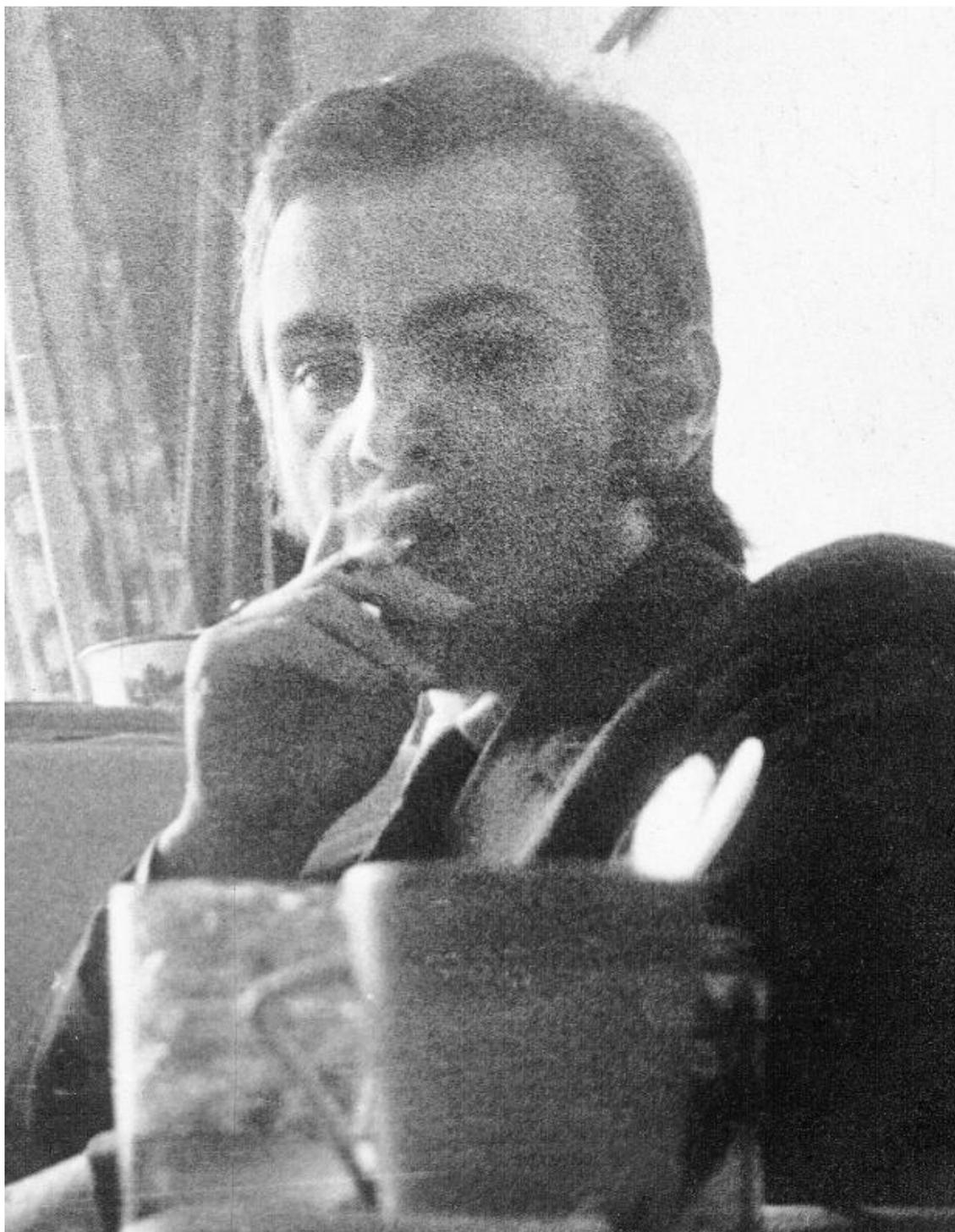
За членский билет Союза писателей СССР я расплатился овнутрив самоцензуру. В Париже, куда себя вывез, сознание оставалось в ее тисках. Первая попытка написать нечто в полной свободе привела к созданию (неоконченного и утраченного при переездах) романа под рабочим названием «Вечный кайф». Оно, мне думалось, должно было выражать стремление к небытию и персонажей, несчастных «ловцов кайфа», и государства. Романтика ускоренного саморазрушения, которую выражал своими песнями Высоцкий: «Пропадаю!..» Такой из Парижа виделась мне моя юность конца 60-х – начала 70-х.

Квартира

Ю

Первое появление у тебя на Донском. Осень 1967-го? Вспомнилось окольным ходом, через деталь – поскольку у тебя в кабинете я сразу увидел один из первых пэйпербэков жизни. Популярная американская книжка по философии. Желто-красная – наглая. Меня тогда удивил уровень английского у тебя, 17-летнего выпускника школы с уклоном в точные науки. Как и само наличие пейпербэка. Подарил тебе американский турист, с которым ты разговорился в центре. Сразу, «не зажимаясь», ты одолжил мне книжку, и в профилактории МГУ, я помню, выписывал в столбик англоязычные философские термины...

В правом углу проходной комнаты был стол, за ним покрытый скатертью «алтарь» с фотографиями и безделушками, окно, в левом углу телевизор. Свет из окна, должно быть, мешал сидящим на бугристом молескиновом диване образца 30-40-х. В простенке слева был застекленный шкаф, тоже с книгами (прочитанными тобой в школе и не актуальными).



В гостях у Миши. 1971 или 1972

Твой кабинет: справа старомодная и очень удобная кровать, на которой мы с Ауророй переночевали весной 72-го. Окно в две незатейливые рамы. Слева стол, застекленный старинный шкаф и еще один, новый, со скользящими стеклами, где, среди прочих книг, одиноко стоял 4-й том Эйнштейна (неизменно веселивший омонимичностью с тобой, – как и добавившийся позже Эйзенштейн).

На предыдущей странице фото, снятое тобой: я у тебя с сигаретой за спитым чаем на кухне – твое любимое место в углу, которое ты мне уступал, садясь лицом к изоконному свету.

В общежитии мне было жутко представлять тебя в твоём доме – за спиной мертвое кладбище (вспомни описание в «Доме на набережной» Трифонова), крематорий... Между Донским монастырем и заводом «Красный Пролетарий». Небытие. Танатос.

Лицом ты, впрочем, обращен был к Эросу – в виде женского общежития текстильного института. Биногля ты не имел: впрочем, силуэты раздевающихся девушек я видел невооруженным глазом, и как волновали взлетающие руки!

Что касается моих московских квартир – помимо 5-го корпуса и ГЗ на Ленгорах... Кусково, флигель... в крещенские морозы заниматься там любовью (если не «делая революцию» тем самым, то бросая вызов Т-системе) можно было только после длительного разогрева и с раскаленными рефлекторами, от красных спиралей которых и прикуривалось... Плетешковский переулочек у метро «Бауманская», там с Леной зимовали мы на кухне, разогреваясь с опасностью для жизни газом. Солнцево, ул. Северная, дом 1. Блочный и уже снесенный. Двухкомнатная квартира, которую ты знаешь, была в форме креста. И снова Москва – Новопесчаная (она же Вальтера Ульбрихта) на «Соколе». («Аристократический район», – сказала Марина Вишневецкая, когда я провожал их с подругой на такси после того, как мы отгуляли нашу с Ауророй свадьбу: оттуда фото «Миша и Сережа».) И молодая писательница была права. Напротив нас жил Юрий Трифонов. И вообще в этом районе жили непростые люди. Перед нашим подъездом я однажды увидел растоптанную пачку сигарет с изображением парусника. *Senior Service*. Не американских даже. Английских. Нигде не достать. Их курит Джеймс Бонд в романе «Шпион, который меня любил». И какой-нибудь советский «Бонд», живущий рядом. Может, через стену...

Квартиру на Новопесчаной нам оставил младший брат генсека КПИ Роберто Карильо, убывая в длительную командировку по линии своей компартии в Румынию. Там, под эгидой Чаушеску, вещала на франкистскую Испанию радиостанция «La Pirenaica». Долорес Ибаррури основала это радио в Москве 22 июля 1941 года. Под эгидой Сталина (который ее любил). На 12 лет раньше, чем нам с тобой известное *Radio Liberty*, но принципы те же: противопоставить франкистскому Национальному Радио Испании альтернативный «Голос». Во время войны радио испанских коммунистов работало в столице Башкирии Уфе, в 45-м вернулось в Москву, а через десять лет, 5 января 1955 года, по причинам, которые остаются невыясненными, переместилось в Бухарест. Интересно, что Франко подавлял передачи «Пиренаики» точно так же, как Советский Союз американскую «Свободу» из Мюнхена и другие неугодные «голоса». Утверждают, что делал он это с помощью американцев, которые, таким образом, с одной стороны, с глушением боролись, с другой – помогали глушить. Международный коммунизм со штаб-квартирой, как мы знаем, на Старой площади помогал испанскому радио в Румынии. Последняя его передача, которая вышла в эфир 14 июля 1977 года, была из Мадрида: трансляция первой сессии кортесов, посвященной разработке новой, демократической конституции Испании (под которой стоит и подпись вице-президента парламента Игнасио Гальего, отца Ауроры). Роберто Карильо до этого дня не дожил. Проработав на «Пиренаике» с 1973 года, он умер в Бухаресте летом 76-го.

Вернувшись тогда из Франции, мы обнаружили, что жить в Москве нам негде. Русская вдова Роберто, доставившая в Москву его тело, взломала замок, поставила новый и никогда не открывала нам дверь, вернув себе свою квартиру на Новопесчаной со всем нашим содержимым (включая старинный письменный стол «как у Битова»).

К счастью, в то время в Москве находились родители Ауроры. Они приютили нас в своем номере в закрытой гостинице «Октябрьская» в Плотниковом переулке. Они вернулись в Париж, а мы остались. Жили с нашей трехлетней Анитой в роскошном номере (который прослушивался, а возможно, и просматривался); питались в ресторане с руководителями всевозможных компартий, включая экзотические; сидели в кинозале на фильме

Панфилова «Прошу слова» в присутствии только еще одного зрителя, кому интересен был Шукшин-актер, и то была Анджела Дэвис; снова и опять встречались с Долорес Ибаррури, давшей разрешение на брачный наш альянс; видели подвыпившего Леонида Ильича... «Советские товарищи», то есть руководство МО, терпело нас месяц, второй. Уверяя, что вот-вот будет готова наша новая квартира. Потом меня попросили сдать зарубежный паспорт, чтобы мы сгоряча не совершили попытку вернуться во Францию. Я увидел в том недобрый знак. Сдача дома с обещанной нам квартирой затягивалась. Наконец «товарищи» решили, что вчерашний подпольный писатель собрал достаточно материала для романа о закулисах международной борьбы за коммунизм. Нас переместили на конспиративную квартиру МО. Перевозил нас самый страшный человек из всех, мной встреченных в советской жизни. Куда страшнее того монстра из организации «СМЕРШ», с которым сражался в кинобондиане Бонд. Но такой же огромный. Исключительной силы, несмотря на пенсионный возраст. Напомнил человека с топором в Плетешковском переулке. Но этот внушил нам ужас и без топора. То есть все прочие включительно были все же по эту сторону бытия. Этот возник с другой. Из-под земли, где подобных держат наготове. Для дел, которые по плечу только недоили сверхчеловекам. Существом по ту сторону Добра и Зла. Внелюдям. Белые фетровые с кожаной отделкой бурки. Еле сходилось, светло-серое, в елочку, демисезонное пальто. На голове был рыжий малахай, болтались «уши» с завязками. Старался быть приятным. Улыбался, не открывая рта. Но это было в пронзительных его глазах: *да, убивал. Не раз, а многожды. И вас готов. С ребенком вместе.* Но распоряжение вышло другим. И этот серийный киллер «по казенной надобности» вносил нам чемоданы. Щелкал включателями. Показывал квартиру. Что здесь и где. Умалчивая, конечно, о том, где встроены микрофоны.

Нижний Кисловский переулок, где находился дом, спрятан за неомавританским — и осужденным за архитектурный идиотизм Толстым в романе «Воскресение» особняком Морозова. Дом дружбы с народами зарубежных стран. Раздвинув шторы и занавеси, я смотрел, как там за окнами движутся гэбэшные силуэты. Квартира была уютная и теплая. В спальне стоял огромный рыжий сейф, в котором я нашел черную пластмассовую расческу с надписью *Made in Nicaragua* и сделал выводы о предыдущих обитателях.

И наконец своя жилплощадь с постоянной московской в ней пропиской. Новая двухкомнатная. С видом на Музей Советской армии. Открыв дверь ванной, тут же ее закрыл: нагадили. Хорошо хоть в ванну, а не под линолеум. Отмывая его, Аурора поранилась осколком. Строители-лимитчики распили и разбили тут бутылку: жильцам на счастье. Палец не заживал, возникла угроза заражения крови. Пошла раскручиваться спираль, известная мне по прочитанному в 15 лет рассказу Сэлинджера «Грустный мотив», где умирает героиня — афро-американская джазовая певица. Райполиклиника лечить иностранку отказались: вдруг умрет? Кто будет отвечать? Аурора слегла со своим почерневшим пальцем, я бегал в поисках неразбитых телефонов-автоматов. Дозванивался до Международного отдела. Пробился: «Вопрос жизни и смерти...» Завсектором Испании помог с Кремлевкой. Палец был под угрозой ампутации, но спасли и жену, и палец. Тут бы Советский Союз благодарить. Но чаша терпения переполнилась. Шесть лет в МГУ, подготовительный факультет включая. Плюс пять лет наших с ней «хождений». Итого: одиннадцать. Впоследствии Аурора добрым словом о них не вспоминала. Проклиная отца, который вместо Сорбонны отправил после французского лица ее в Москву.

Испанский паспорт у нее был (выданный работающим на коммунистов франкистским консулом в одной из скандинавских стран). Оставалась выездная виза. Получала их дочь своего отца, разумеется, не через ОВИР, как простые совсмертные вроде меня. Через Старую площадь, техотдел, которой их и печатал. Такова причина моего появления в здании ЦК КПСС в сентябре 77-го: в 1-м подъезде там работал Брежнев, а в 5-м (предварительно

повидав Андропова Ю. В.) я получил из рук завсектора Испании заветный «вкладыш» для моей жены.

Она в это время отлеживалась в последнем нашем московском доме, так называемом «Белом»: улица Трифоновская, где рядом с нашим «Белым домом» были бензоколонка и часовня Св. Трифона, которую пользовали как склад для мазута и горючего... Аурора с дочерью уехала оттуда в сентябре в аэропорт Шереметьево. Я остался один. Подал документы в ОВИР, стал ждать новый зарубежный паспорт. Делая все то, что можно предположить от человека, принявшего решение о самоизъятии из этой жизни. Прощался с Москвой. С тобой – помнишь, как ты меня устраивал на ночлег в вашей прихожей на Донской? Провел незабываемую ночь, головой упираясь в дверь, за которой происходило безумство новобранцев, а ногами в твою входную-выходную. Что еще? Я знал, от кого зависит жизнь. Мне сказал об этом тесть, который знал их всех, со Сталина начиная. *Bandidos!* С адреналином вместе поднимались Страх и Трепет. Не совсем по Кьеркегору. Скорей, по Библии. *Со страхом и трепетом совершайте свое спасение.* Устраивал на хранение бумаги. Жег их в бочке по ночам. Однажды из дырок почтового ящика глянул бледный колер официальной бумажки. Неужели отказ?

Но мне решили не препятствовать.

После юбилейных ноябрьских праздников 1977 года захлопнул дверь, которую успел утеплить на зиму. Для кого-то, кому достанется бросаемая мной жилплощадь. «Квартирный вопрос» на этом решен. Остались только традиционные «проклятые».

Такси доставило на Белорусский.

А далее – везде...

Э

Детство я провел на Дубровке (до 8 лет), отрочество в Измайлово (до 14), юность и молодость у Донского монастыря (с 14 до 32 лет), первую зрелость на Аргуновской (близ Останкина, 1982–1986) и на Смоленке (1986–1990)... Та квартира, о которой ты говоришь, была самой долгой в моей жизни, 18 лет, ровно совпав с брежневской эпохой (1964–1982). Папа получил ее в награду за многолетнюю беспорочную службу и в обмен на нашу часть деревянного дома в Измайлово. Одно слово: квартира. Две смежные комнаты, кухня, совмещенный санузел, общая площадь 23 кв. м. на троих.

Сразу после переезда меня ритуально избили дворовые мальчишки, просто подошли и ударили, когда я через двор шел в магазин. То ли как чужеродца, то ли как чуждомца – чтоб знал, кто здесь хозяин. А отъезд из нее 18 лет спустя ознаменовался тем, что квартиру посетила знаменитая поэтесса и публицистка «того» лагеря Татьяна Глушкова. Она самого В. В. Кожина обвиняла в уступчивости евреям и либералам. Дело в том, что новую квартиру мне, уже отцу троих детей, выделил Союз писателей. Даже литературных боссов разжалобило мое положение – трое взрослых (мы с женой и мама) и трое маленьких детей в 23 кв. м. Но взамен трехкомнатной квартиры, которую мне согласились дать, они хотели оставить себе, в писательском жилом фонде, нашу двухкомнатную. А мы, естественно, хотели, чтобы двухкомнатная осталась маме, а наша многодетная семья получила отдельную. И вот Союз писателей стал посылать к нам потенциальных жильцов, которым приглянулась бы наша квартира. Первой посетила Татьяна Глушкова. Она пришла в такой ужас от «еврейского духа» квартиры, что не только отказалась в нее переезжать, но, видимо, своим ужасом заразила других писателей – и квартира осталась маме. Впрочем, я не исключая благотворной роли Александра Рейжевского, который был тогда председателем жилищной комиссии и испытывал ко мне простую человеческую симпатию. Возможно, именно он послал Глуш-

кову впереди всех, чтобы отбить желание у других писателей. Такая вот камерная сценка времен Андропова и покорения Афганистана.

КГБ

Ю

Аббревиатуру эту я заключаю в венец лавровый и вешаю на шпиль «моего» МГУ. Я говорил про «qui pro quo» с нашим однокашником, сыном начальника 5-го Управления КГБ¹⁸. Нечто в том же духе произошло у моей жены до встречи со мной. У нее в МГУ была хорошая русская подруга, дочь капитана дальнего плавания и соседка по комнате в общежитии. В Москве она вышла замуж за сына шефа КГБ. Однажды Андропов с супругой навестили молодоженов без предупреждения и обнаружили, во-первых, что дверь квартиры у них не заперта, а во-вторых, что в гостях у них иностранка. За дверь беззаботная молодежь получила нагоняй тут же, а потом с невесткой провели отдельную беседу, итог которой был сообщен Ауроре: «Мне нельзя встречаться с иностранцами».

Аурора всегда была «под колпаком», и когда у нас все началось, попал под него и я. Мгновенно начались опросы в общежитии о характере моих чтений и разговоров. Выяснялись намерения и собирался компромат. Ничего хорошего мне это не сулило. Когда пошли провалы на пересдачах, я понял, что меня готовят к отправке по маршруту, которого больше всего боялся совстудент: Отчисление – Советская армия – Non-Being. Но наша лав стори получила благословение Пассионарии и превратилась в международный брак, который перевел все «дело» в высшие сферы.

Вот почему фактом моего невозвращения занимался лично Андропов, раздувший всю историю до масштабного абсурда – допросы всех, кто меня знал в Союзе, посылка людей в Париж, затем и в Мюнхен, где я едва не оказался в той же ударной ситуации, что Троцкий в Мехико-сити. Не паранойя – факт биографии. Склонен считать, что победа Горбачева и «нового мышления для страны и мира» отвела занесенную «длинную руку».

Э

Да, это было удивительно – на фоне Афганистана и состязания двух мировых систем вдруг вспыхнуло дело С. Ю. После твоего отъезда-невозвращения мне звонили в мое отсутствие, вызывали на встречу. Мама мне передала, и я, развезя все свои и чужие рукописи по нелитературным семейным знакомым, отправился переждать в Ленинград. Больше не звонили, мне повезло так никогда и не встретиться с этим племенем. А у мамы за неделю-две до смерти были видения, полные страха: ей казалось, что за нами пришли, ворвались в квартиру, пытаются ее, допрашивают о тебе и обо мне.

Ю

«Может приехать на свой страх и риск», – слетело с вершин Лубянки в период перестройки. В Прагу из Германии однажды позвонил поэт К***, сосед по последнему дому в Москве. С ним работал полковник с ласковой фамилией Котеночкин. Предлагал командировку в Париж – уговорить меня вернуться. Поэт предупредил против поездок в РФ. «У них на тебя зуб».

¹⁸ Сергей Филиппович Бобков, прототип главного героя рассказа «Москва, ты кто?» (См. Приложение)

Сколько можно его иметь на невозвращенца застойных времен, никаких военно-государственных тайн никому не выдавшего по причине неведения таковых? Я понимаю: «хранить вечно», «контора бессмертна», но все же... Тридцать лет спустя? и при другой, казалось бы, «формации»?

См. АНДРОПОВ, ДИССИДЕНСТВО, ОТЪЕЗД

Китай

Ю

Подростком записался в кружок интернациональной дружбы в Доме пионеров. Вытащил адреса: в Лиенае, Лейпциге и Шанхае. Две девочки и семнадцатилетний Ци-Чи-хай. Нашу дружбу по перу прервала их «культурная революция».

Кто еще? В школьной юности – Ли Бо, древнекитайские поэты. В юности эмгэушной – Лао-цзы. С каким же чувством я вынужден был – вопреки дао надеяния – пойти в Женский день 8 марта 1969 года на «демонстрацию народного гнева» по поводу событий на Амуре, на острове Даманском.

Явка была обязательной. Из деревянных школьных ящичков желающим раздавали чернильницы-непроливашки и баночки с чернилами. Гуманитарии брать воздерживались. Добросить до стен китайского посольства было непросто, но некоторым «естественникам» удавалось.

После этого сталинское здание с флагом КНР долго стояло запятнанным – облицованные плитками стены его крыльев, выходивших на проспект Дружбы, куда в знаменитую «стекляшку» ходили мы утром после ночных азартных игр. Под дефицитное пиво красивые блондинки там приносили блины на индивидуальных сковородочках: такова была особенность этого непростого заведения у бастиона коммунистического недруга.

Книги

Э

Первую настоящую книгу я сам себе купил в 13 лет, в книжном киоске у кинотеатра «Родина» на Семеновской пл. (быв. м. «Сталинская»). Это был «Философский словарь», М., Политиздат, 1963. Он до сих пор у меня стоит. И киоск стоит на том же месте, хотя кинотеатр закрыт (я проезжал там на трамвае в 2003 г.). Ровно сорок лет спустя в изд. Алетейя, СПб., 2003, вышел «Проективный философский словарь. Новые понятия и термины», под моей редакцией и с предисловием. Там 165 статей 11 авторов, в т. ч. около 100 моих. А еще 14 лет спустя, в 2017 г., вышел «Проективный словарь гуманитарных наук» – мой, авторский, с 440 статьями... С чего начал, к тому и вернулся.

Вообще, к книгам я был жаден и приобретал больше, чем успевал прочесть. Многие выходные посвящались походам в книжные и букинистические и топтанию на Кузнецком мосту среди чернорыночников. Хороших книг при тотальной цензуре было так мало, что промелькнувшее надо было немедленно покупать, надеяться на повторную встречу в магазине и тем более на библиотеку не приходилось. Книга была для меня не библиографической ценностью, а неким входом в будущее, пусть и иллюзорным, поскольку я старался впрок запастись знаниями о том, что в дальнейшем сможет меня заинтересовать. Мне, например, грезилось, что когда-нибудь я захочу написать о морфологии облаков, и я закупал книги по метеорологии. Само присутствие книги на полке меня успокаивало и насыщало неким виртуальным знанием, тем более что я отовсюду прочитывал по несколько страниц, а остальное досоздавал в воображении. Особенно любил энциклопедии и словари практически по любой отрасли знания, кроме сугубо технических. В результате к отъезду из России у меня скопилась огромная библиотека, более чем в 10 тыс. томов. Основные разделы: справочный, философия, русская литература, зарубежная, эстетика и литературоведение, лингвистика.

Есть ли книги, мне особенно дорогие? К книжной материи – изданию, переплету – я равнодушен, и все же есть книги, содержание которых навсегда связалось для меня с их видом, фактурой, а может быть, и запахом. Серая «Дхаммапада» в пер. и с коммент. В. Н. Топорова, 1960; черный, толстый, но малоформатный том Ф. Кафки, 1965; розовая П. Гайдено, «Трагедия эстетизма», 1970, открывшая мне С. Кьеркегора; черный Ю. Лотман, «Структура художественного текста», 1970; синий О. Мандельштам в Библиотеке поэта, 1973; малоформатный, в суперобложке «Поль Валери об искусстве», 1976...

Ю

Читаю – «и сам извлекаю умение создавать». Замечательно сказал молодой Достоевский.

На Пяти углах был книжный шкаф, куда я имел неограниченный доступ, потому что «библиотека» собиралась дедом для меня. Две книги из этого шкафа теперь у меня в Америке. Первая – проф. Г. Д. Гримм «Пропорциональность в архитектуре» (Ленинград – Москва, ОНТИ, 1935). В нее вложен документ, дающий мне представление о том, чем занимался мой дед зимой с 1940-го на роковой 1941-й: «Состав проектного задания на реконструкцию дома ул. Халтурина, № 1». Речь о доме принца Ольденбургского на бывшей Миллионной. Вторая книга с ласточками и пауком на обложке; это перевод с французского: Г. Купэн, Искусства и ремесла у животных (С. Петербург, Изд. А. Ф. Девриена). Так рос-

кошно издана, что затрепать ее трех-четырёхлетнему было непросто, но видно, что я над ней трудился.

Я помню все книги и собрания сочинений из этого шкафа, куда погружался на ленинградских каникулах. Одна из книг была (роскошно) издана к 300-летию дома Романовых и статистически определяла место России в мире 1913 года. Сухие цифры, но такой могучий андидот против антицаристской пропаганды и оплевывания всего, что было достигнуто Россией до большевистского переворота. Экспорт зерна поражал – особенно во время хлебных бунтов начала 60-х. Меня не удивляет, что я стал антикоммунистом. Удивительно, что не стал я при этом монархистом. (Особенно с любимой «темой» в нумизматике: русское серебро. Впрочем, не менее увлеченно «собирал» и весь мир.)

Самая памятная книга детства – «Гаргантюа и Пантагрюэль», подаренная мамой «для аппетита». (Не помню, чтобы у меня отсутствовал, но книга разжигала. Гусиных и прочих ножек не было, зато была горчица. Мечтая о дижонской, я уплетал «русскую горькую» с черным хлебом. С тех пор и полюбил, – вместе с французской ментальностью.)

До раблезианского периода самые первые из «толстых»: про кругосветные путешествия адмирала Головина на шлюпах «Диана» и «Камчатка». Я бил себя скалкой по пяткам, чтобы понять, что испытали наши матросы в японском плену.

Про бравого солдата Швейка – смешная, но «вульгарная» и местами непонятная: что такое «проститутка»? Почему их катают так, что к спинам прилипают окурки? «Идиот»: тут далеко я не продвинулся, но название озадачило. Как можно было назвать книгу ругательным словом? И, наконец, самая страшная: «Сказание о казаках». Там много было «зверств». Белые против красных – и наоборот. Девушка-садистка там инспектирует и осмеивает половые члены тех, кого потом заколют штыками. И там есть жуткое убийство конокрада посредством земли. Станичники его подбрасывают в воздух и разбегаются, давая ему упасть. (Не мог даже представить, что через несколько лет этот способ мне продемонстрируют на мне же. И кто? Милиция, которая меня бережет!)

Книги про Гека, Тома и Тиля Уленшпигеля – это после Рабле. В первой от отца убежали, во второй он зиял отсутствием, а в третьей пепел отца стучал в сердце сына (как было не отождествиться?). Потом «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», Шерлок Холмс. Детективный метод меня свел с ума: в Риге, куда мы ездили из Булдури, увидел в витрине книгу под названием «Криминалистика» и страстно стал мечтать как о ней, так и о карьере детектива (что закончилось между стеллажей читального зала, где я тайком перелистал щедро иллюстрированный трупами советских граждан учебник по судебно-медицинской экспертизе).

И, наконец, «Мартин Иден» – это надолго стало руководством к действию на пути самообразования и писательского «роста над собой».

На подступах к университету и там, в МГУ, прочел я, можно сказать, «все», что и тебе известно. Можно добавить менее известные, но одно время любимые. Лоренс Стерн – это рекомендация Битова; «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Или, к примеру, Поль Низан. Я делал выписки из его философической прозы «Аден Араби», вроде:

«К сожалению, люди в 12 лет знают все, что им предстоит в будущем».

Или:

«Мне понятно лишь одно: что страны оказывают не одинаковое сопротивление нашим желаниям и радостям. Для меня приемлема всякая страна, лишь бы я мог в ней».

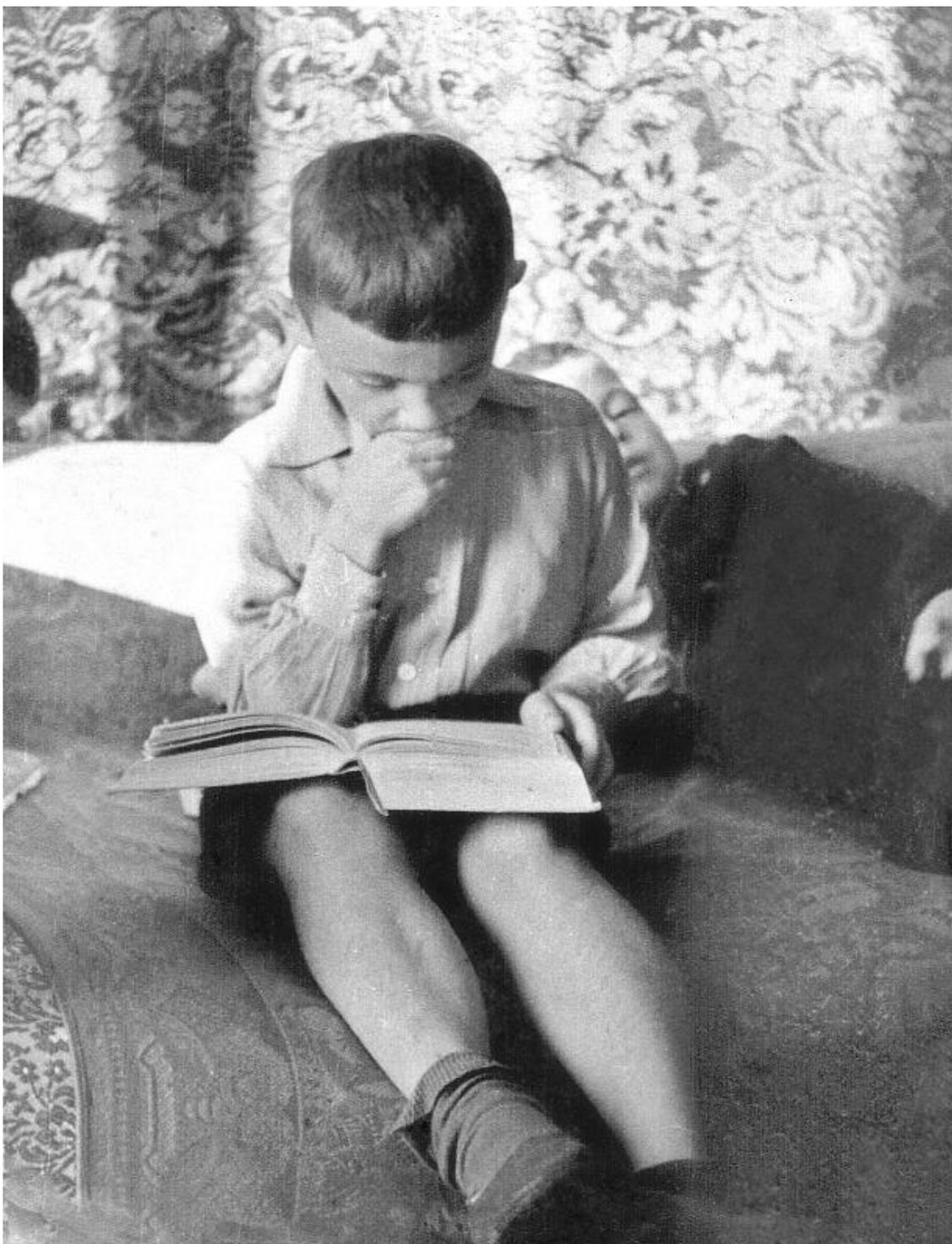
жить по-человечески среди четырех стихий природы; прежде всего дайте мне возможность дышать».

Все, что было можно и нельзя, читалось не только по-русски, но и «на языках» (английском, но также польском, чешском и «югославских»: о книжные магазины стран народной демократии, в Ленинграде на Невском и в Москве на улице Горького!). Либо по-русски, но уже в Сам- и Тамиздате (Солженицын, Набоков). А также в рукописях, доверяемых мне авторами (так, «из первых рук», был прочитан в Ленинграде у Пяти углов первый вариант «Пушкинского дома» и то, что у Битова тогда было еще не напечатано: «Записки из-за угла» и др. Еще роман «Гербарий» и повесть «Эники-беники» его жены, непечатного тогда прозаика Инги Петкевич).

Впрочем, чудеса продолжал творить и Госиздат. Я разделяю твою реакцию на те же самые издания: огромные, в драных черно-зеленых суперах и уцененные до 20 копеек тома Л. Н. Толстого из 90-томника; Кафка; тома из собрания Т. Манна; «Трагедия эстетизма»; «Дхаммапада»...

Был еще «официальный» черный рынок. В двадцать лет купил в толпе «у Первопечатника» книжку в ледериновом переплете на русском языке, но 1934 года издания: «Путешествие на край ночи». Перевод Эльзы Триоле. Вроде бы Сталин оценил Селина по этому изданию (совпав тут с Троцким, который прочел «*Voyage...*» в оригинале). Последняя книга в жизни, которая проняла меня до слез – миру невидимых слез в келье МГУ. С тех пор сопровождает меня по миру, первоначальный эффект, конечно, свой утратив...

Кто размагничивается, книги или мы?



Гродно, ул. Скидельская. 7–8 лет. Кирпич на коленях – Дмитрий Петров-Бирюк, «Сказание о казаках» (1935–1951), трилогия в одном томе.

Может показаться, что это риторический вопрос с единственным мазохическим ответом: «Мы, конечно. Музыка, которая угасает в нас, в книгах будет звучать вечно».

Мне кажется, что процесс взаимный. Не исключаю, что под напором дебилизированных потомков мы уйдем в историю как последнее поколение адекватных читателей книг.

Корни

Ю

Дневник

10 июля 1968.

Ленинград

Был на могилах отца и деда. Мама и бабушка работали в огаде – выдергивали старые цветы, разрыхляли землю в раковинах, подметали, – а я стоял на скамейке, осматривал этот с детства знакомый мир и размышлял. Мне всегда легко, почти весело думается здесь, но в этот раз помимо обычных мыслей о поразительном количестве бессмысленно прожитых жизней подумалось о неоправданности сознания этого мною – человеком, – ввиду тщеты исправления, обреченности попыток внести смысл в свою жизнь. И неизбежность этого сознания, обрекающего «внимать и в шуме и тиши роптанье вечное души», роптанье от видимой души иной, подлинной жизни, выше моих возможностей, вечно совершающейся на всем протяжении ее существования. Но где же совершается эта подлинная жизнь, как не во мне самом. И поэтому всегда будешь пробиваться...

* * *

Корни?

Я знал, что в Америке их ищут, страдая от неукорененности. Может быть, я тоже в СССР страдал. В чем не уверен, будучи «человеком Воздуха», но исключить не могу. Однако где мне было их искать? Если вести от мамы, то из Таганрога корни уходили в Вену, в Тироль, в Австрийские Альпы, где до Первой мировой рос мой дед, следы которого потерялись в 1938 году в пересыльной тюрьме Ростова-на-Дону. Если по отцу, то корни были ближе – в том самом двухэтажном флигеле по адресу: Невский, 110, на который смотрели окна Битова и жены его Петкевич. В квартире у Пяти углов. А еще – но это уже по бабушке Екатерине Александровне Грудинкиной – в Новгородской «губернии». Там, в деревнях, затерявшихся в лесах под городом Крестцы, бабушка с дедушкой проводили после венчания в августе 1917-го свой медовый месяц. А я в 17 лет там потерял невинность: «Валентина, звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи...»

Вот мои корни. Предъявляю их теперь как американец, с гордостью повторяющий древнеримские слова *E Pluribus Unum* – «Из многих – единое». Мне от своих, русских, никуда не деться. Где, как не в России, иссякла и пропала моя Европа, мои Австро-Венгрия и «Скандинавия».

Но в юности от своего «множества» страдал и завидовал твоей «однозначности».

Трудный для воспоминаний вопрос – а потому что не хочется сдавать козыри тем, кому выгодно числить меня в русофобах... и однако скажу, что «там и тогда» я не был энтузиастом твоей ориентации на русскую культуру, на Россию, которую ты с таким восторгом привозил из фольклорных экспедиций. Я находил, что правильней было бы экзистенциально «избрать себя» в соответствии с принадлежностью, благо оба прадеда – равнины. Сам я был и себя чувствовал столь многокоренным, что, хватаясь то за один, то за другой, приходил к мысли, что объединить все это смогу только в Америке.

Казалось, дай мне судьба такие козыри, как тебе, я бы... даже не знаю. Превзошел бы Кафку.

Э

Боже, какие козыри? За спиной – местечко. Бабушка научилась говорить по-русски только к 15–16 годам, правда, вскоре уже сдала экстерном за всю гимназию с золотой медалью. А в 1930-е, переехав из Новгорода-Северского (на Украине) в Москву и ютясь поначалу у родственников или снимая углы, дедушка с бабушкой оказались лишенцами, поскольку у прадедушки до революции в Новгороде-Северском была лавочка, а у его брата мельница¹⁹.

Мое отрочество – деревянный домишко в Измайлове, с уборной-сараем во дворе. В серый блочный дом в Донском проезде (впоследствии ул. Стасовой) переехали только в 1964 г. Дедушка под старость зарабатывал тем, что склеивал коробочки для лекарств. А отец всю жизнь щелкал на счетах. Первые книги – Гоголь, Тургенев, Некрасов – появились в доме только к моему отрочеству, в 1962–1964 гг., чтобы сын-школьник набирался ума, читал классику.

Ю

Посещение твоей «башни из слоновой кости» у входа в жутковатый Донской монастырь. В моем опыте москвичи, включая бывших знакомых по Минску Сперанских, живущих теперь в Сокольниках (отец – военпрокурор, навещавший вроде бы в лагере Синявского), и дальних родственников бабушки из гниловатого рода Мареничевых с Хорошевского шоссе (отец – контр-адмирал), оказались не самыми радушными людьми.

Но у тебя было гостеприимно. Чем богаты, тем и рады. Семейные фото, которые ты мне показывал. На этажерке, покрытой салфеткой, они стояли как-то непрочно. Люди 30-х, похожие на родственников Мандельштама. Ты сказал: «Смотри, какой ужас в глазах...»

Мне это было близко – тоже родом из жертв системы и маргиналов по нацпризнаку. Только от моих «варягов», не говоря уже о «греках», не осталось никого, тогда как за тобой была вся мощь советского еврейства, грибницу которого я ощущал, разветвленность сетей... У тебя была крепкая подпочва.

¹⁹ В 1918–1936 гг. лишенцы не только не могли голосовать, но им также было запрещено работать в государственных органах, получать высшее или техническое образование. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, что зачастую приводило к голодной смерти. Избирательные права лишенцам были официально возвращены конституцией 1936 года. На практике же в советских анкетах, заполняемых при приеме на работу, сохранялся пункт «были ли вы когда-либо лишены избирательных прав?», то есть на деле дискриминация сохранялась.



Отец Мишиного папы Моисей Самойлович Эпштейн (1881–1945)

Э

Может быть, психологическая, но не житейская и не карьерная. Когда меня не взяли даже на ту жалкую должность в НИИ строительства и архитектуры (составлять тезаурус строительных терминов), куда меня распределили с филфака МГУ, мне осталось идти к маме в издательство «Транспорт» помощником корректора и, по иронии судьбы, выдирать листы с нацистским флагом, по ошибке вклеенным в книгу-альбом «Флаги государств мира». Рабочий день заканчивался – и гуляй смело. Диалектика перехода в никуда. Потом, к счастью, был принят на вечерние подготовительные курсы, где преподавал русский язык и литературу

будущим энергетикам. Добрая попалась начальница Вера Никитична, а то евреев никуда не брали, даже на временные и внештатные должности. Но и ей пришлось через три года меня уволить из-за очередной кампании против сионизма. Так я и не имел никакой работы в СССР до самого отъезда в 1990 г. От обвинений в тунеядстве меня спасало лишь членство в Союзе писателей (с 1978 г.).

А почвы хотелось – мировоззренческой! Я одно время пытался найти каких-нибудь масонов (не обязательно «жидо-»). Ну почему меня никто не вербует? – я же подхожу по всем статьям! Как-то встретив в Библиотеке Ленина бывшую сокурсницу Таню Савицкую, которая вроде бы этими масонами занималась в архиве, попросил при случае меня с ними свести. Ждал не по дням, а по часам, чуть ли не на выходе из Библиотеки, верил в их все-присутствие. Так по сей день и не завербовали.

Ю

Моя писательская природа отвергала любую форму «востребованности» в тогдашнем биполярном мире. Что акцентирую, поскольку в советские времена «Литгазета» писала о «коварной улыбке обольстителя с Радио «Свобода», а советский писатель Приставкин шел еще дальше, предостерегая эмигранта Георгия Владимова, мне об этом и рассказавшего, от сближения с ЦРУ в моем лице.

Что я имел – *варягогрек?*

Синтез Северо-Запада и Юга, Санкт-Петербурга и Таганрога, безумную смесь кровей, которая говорила только о том, что я чистый продукт советской империи, всех переболтавшей. Фамилию, которую никто в СССР со мной не разделял (только в Дании я видел вывески с фамилиями владельцев JØRGENEN). К тому же не поддержанную обликом благодаря венскому деду. Инородец в русской культуре. «Нацмен». Только ни к какому меньшинству не принадлежащий.

В силу такого самоощущения я и был на стороне Марии Самуиловны – когда в доверительных разговорах выражалась тревога за твое будущее.

Э

Мама в конечном счете была на моей стороне.

Ю

Что только естественно. На стороне же твоей России, как я понимаю, – были ее волшебные чары...

См. МАМА, ПАПА, РОД И РОДИТЕЛИ

Корректность

Э

Политическая и всякая другая корректность уже навязла в ушах. Помню, как по приезде из СССР, в первые мои американские месяцы, меня поразили письменные инструкции для преподавателей о том, что считать «сексуальным домогательством»: туда включались нежелательные взгляды, даже украдкой (а поди пойми, желательны ли они). Беспощадная самоцензура там, где были бы уместны простая человеческая корректность, порядочность, этикет.

Но, вспоминая, что творилось на бескорректной родине в мои юношеские годы, я все-таки вынужден отдать должное американской системе. В пионерском лагере «Юность Замоскворечья» я подружился с девушкой, которая призналась мне в связи с его начальником, главным пионервожатым, 34-летним отцом семейства. С ее стороны это была первая горячая любовь, тайна, ревность, муки. А что это было с его стороны – к восьмикласснице 15 лет? Мне трудно это понять, хотя, конечно, начитан: Свидригайлов, Комаровский, Гумберт...

В первой фольклорной экспедиции на моих глазах завязался бурный роман между ее руководителем, профессором МГУ, и студенткой. Потом ко мне на квартиру приходила его жена выяснять подробности романа, чтобы уснастить ими свою жалобу в партбюро, но я сказался больным и не открыл дверь. Служебно-этическая проблема, особенно в педагогических учреждениях, остается, и ни юридически-запретительные, американские, ни стихийно-разрешительные, российские методы здесь не работают.

Ю

Корректность в этом смысле, Миша, понятие не из советского содома, который бы рухнул, изыми из него столь сладостную компоненту, как секс с теми, кто от тебя зависит, секс «сверху» – с теми, кто «внизу».

Поэтому просвещенная политика сексуального харассмента обратилась в издевательски осмеянный прах еще на дальних, восточноевропейских подступах к границам территории, где от начальственно-подчиненного экстаза отказываться, похоже, никто не собирается – по крайней мере, в провидимые нами исторические сроки. Не самая экстремальная, но самая органическая форма социального садомазохизма, испытанная и глубоко овнутренная обществом тоталитарная модель поведения – как «сверху», так и «снизу», разумеется.

Э

Даже не знаю, что репрессивнее: начальственный секс по принуждению, по карьерной зависимости подчиненных в России – или страх живых человеческих отношений перед служебным кодексом в Америке. Без репрессий, увы, нигде не обходится.

Культура

Э

Культура как некая сокровищница объективных фактов и ценностей, как «ресурс» или «арсенал» меня не интересовала. Культура притягивала меня эгоцентрически и экспериментально: я узнавал от нее о себе, примеривал на себя чужие судьбы. Я любил музеи – и вживался в быт великих личностей, чтобы лучше понять, из какого сора растут их стихи и открытия. В театры ходил редко, на хорошие спектакли всегда был дефицит билетов, а блата у меня не было. Репертуар кинотеатров тоже был скудным, тяжело-идеологическим или пусто-развлекательным, за редкими исключениями. Мои приятели устроили регулярный просмотр современной западной классики (Антониони, Бергман, Феллини) в каком-то крошечном подпольном зальчике, но через несколько месяцев на них налетели, прикрыли, и тогда единственный раз в жизни я побывал на Петровке, 38. Сам пошел к следователю МВД, ведущему это дело, чтобы засвидетельствовать: деньги за просмотры с нас не брали, – иначе приятели могли загреметь по обвинению в подпольном бизнесе.

Впервые меня привели в кино, когда мне было лет 8, – это была «Капитанская дочка» по Пушкину (1958), с Гриневым – Стриженовым и Швабриным – Шалевичем. Помню, как неуютно мне было в кинозале: люди с экрана врываются в мою жизнь, мчались на меня. Пространство вокруг было взорвано, мне хотелось съежиться и исчезнуть. Кажется, на меня накатывали приступы рвоты, и я попросил меня увести с середины сеанса. Грань между искусством и жизнью оказалась гораздо более проницаемой, чем виделось раньше. Жаль, что с возрастом эта свежесть восприятия тускнеет и искусство воспринимается уже как безопасный, замкнутый в себе мирок.

Эстетика искусства меня интересовала в последнюю очередь. После поступления в университет я придумал для себя «всеобщую эстетику» – мой первый «научный» проект, который так и не осуществился. Я прилагал эстетические категории к жизни, душе, любви, политике, экономике – ко всему, кроме искусства. Эстетика эстетического – это было для меня тупой тавтологией, как масло масляное. Культура влекла экзистенциальным переживанием, тем, насколько это про меня, про близких, про удел человека. Вот пример:

16.12.67. «Земляничная поляна».

«Лучший фильм из виденных мною. Во мне тоже есть это гадкое желание встать над грехами, болями; судить все абстрактно, логично; рисоваться своим бесстрашием; отрешиться от всех связей и зависимостей...

На пути домой в троллейбусе – девушка с замечательным лицом. Такое лицо может быть только у счастья. Теперь все мучаю себя, что не заговорил с ней. Дома по радио – «Иванов» Чехова. Женщина мне нужна – вот что. Наукой я всегда успею заняться. Молодость нужно прожигать. А я читаю «Философию искусства» Шеллинга».

Ю

Эрмитаж. Другие музеи Ленинграда, Гродно, Минска тоже, но «культурно» рос я в пространстве Зимнего дворца. Первым визитам обязан маме, потом сами ноги вели туда все детство, отрочество и до самого прощания со страной. А вот с театрами как-то не сложилось, несмотря на то что родственник руководил Мариинским «им. Кирова». Другое дело –

кино. Самые первые фильмы: «Тарзан» (1953, кинотеатр «Хроника» на Невском), «Человек с ружьем», «Дети партизана» (1953–1954, сельский клуб в Никольском под Гатчиной).

16 лет. Минск. В тетрадях, кроме литературы и разборов Аксенова и Битова, – конспект истории искусства от импрессионизма до абстракционизма.

Тетрадь 1966 года (мне 18, выпускной класс) дает представление об интенсивности потребления за полгода. Здесь оно разделено на сферы. Беллетристика русская (51 книга). Беллетристика нерусская (66 книг). Литературоведение (39 книг). Философия (ни одной). Разные науки, искусства (включая «Гигиена брака», «Алкоголь и половые расстройства»: 15 книг). Фильмы, включая Антониони «Отчаяние» и «Затмение» («мастерский и бескомпромиссный, лирически щемящий, вместе с тем суровый и четкий. Звуковые детали фильма...»), и еще раз «Затмение», теперь с блокнотом; «Расемон» («прием евангелистско-фолкнеровский, конец наигран»; 5 фильмов фестиваля японского кино; «Иваново детство»; «Красная борода» и «Гений дзюдо» Куросавы; «Рукопись, найденная в Сарагосе»; «Я родом из детства»; «Пепел и алмаз» в 3-й раз; «Дорога» Феллини, «Спартак» Кубрика; «Праздники любви» Рене Клера; «Убить пересмешника» («детешки отменно играют, таких бы мне детишек») – всего 45 картин.

В школе культурой я жил более гармонично, чем в МГУ, где на первый план вышли книги и чтение, от которого девушки не сразу стали отвлекать...

В кино ходил не часто, хотя по книгам изучал творчество Феллини и Бергмана. До 1972 года, когда ты нас с Ауророй приобщил к «Забриски Пойнт» и злополучной «Ребекке» (когда мы попали под облаву), из достойных упоминания фильмов разве что «Мужчина и женщина», «Андрей Рублев», «Погоня» с Брандо (который мы смотрели вместе), «Орфей спускается в ад» в «Иллюзионе». В театре, кажется, был только раз. Таганка, – но не лучший спектакль и без Высоцкого.

Зато библиотеки! Незабываемый первый визит в Иностранку, где две старушки у каталожных ящиков сошлись во мнениях, что читать лучше всего по-французски. Выучу, проверю, думал я, ища заветное имя. Увы! «Улисса» не имелось...

Дневник

19 декабря 1967.

...Сегодня я записался во ВГБИЛ; домой взял «Портрет художника в юности», но читать совершенно некогда...

27, 28, 29 февраля, 1 марта 1968.

...Открыл для себя библиотеку на 22-м этаже, такое прекрасное место. Если б можно было жить так высоко, и машинку туда бы. Как приятно смотреть из окна вдаль. Как из самолета. Сегодня очень увлекло изложение метапсихологии Фрейда в книге Уэллса. Читал весь день. Просмотрел 2 работы о Кафке.

За последние дни читал:

Декарт «Правила для образования ума»;

Монтень, 1-я книга «Опытов»;

из книги Рассела «История Западной философии», хороший простой язык;

Толстого, Кафку и книгу Уэллса «Павлов и Фрейд».

Под воздействием последней хочу включить интроспекцию в систему самопознания. Мои симпатии на стороне Фрейда; стройная очень система...

31 марта 1968.

...Вечером был на спектакле «Послушайте!» в театре на Таганке. Большое внимание мое привлекли фотопортреты Маяковского на досках большого формата, которые висели в фойе, и те, которые поднимали на сцене артисты. Толкнуло на размышления о его судьбе. Спектакль мне не понравился.

О Маяковском и себе думал в метро... На остановке «Проспект Мичуринский» вышел, но домой идти совсем не хотелось. Нужно было походить одному. Пошел рядом с решеткой ботанического сада. Мне так хорошо, чисто думалось во время шагания. Литературные размышления. Идея произведения: современная жизнь и вневременной характер человека, сознающего свою вневременность. Московский фон. Буду собирать записи.

Шел обратно по саду. Впереди шли два человека, и, поднимая глаза, я видел – за ними и над собой – редкое, подсвеченное городом по краям и сгущающееся вверх небо с разновеликими, то яркими, толстыми, то тоненькими звездочками, несимметрично стоящими в небе. Два идущих человека и небо, если перевести взгляд выше. Мне показалось, что я понял разницу между материализмом и идеализмом. Земля снова была для меня плоской, и над ней поднимался нежный и хрупкий свод, и я вбирал в ту минуту всю красоту, или иначе – всю жизнь в себе, вокруг. Я перекрестился и почувствовал, как пробежало по спине и жопе, одетой в брюки и прикрытой материей пальто, сладкое и знобящее волнение. Я перекрестился просто от того, что не знал другого способа жестом выразить то, что я чувствую свою связь со всем. Постепенно я спускался с выпуклого места сада, и мне казалось, что я ухожу от неба со звездами и от себя. Я вдруг вспомнил о том, что я такое в повседневной жизни; начался шум проезжающих автобусов, люди спешили, никто не поднимал глаз к прекрасному небу. А прекрасное в душе может осознаться только от созерцания, вбирания в себя прекрасного извне. Ведь душу не надо учить прекрасному, но она должна быть пробуждена, душу надо разбудить. Смотрите в небо ночью! И вы, быть может, познаете высшую мудрость своего существования.

Я решил каждый вечер гулять по Ленинским горам. Мне хочется верить, что здесь, наедине с собой и звездами, я найду, что мне надо.

1970, 25 мая.

Минск.

...Еду сейчас в театральный институт на Беккета силами студентов... Посмотреть мне пьесу не удалось, как и ожидал, посторонним пришлось покинуть зал, спектакль шел для своих.

26 апреля 1968.

Музей.

Отблескивающая, потрескавшаяся поверхность картин в рамках... Никола Пуссен... Томас Лоуренс, его портреты... Франциско-Хосе де Гойя. «Монахиня на смертном одре». Негладкая поверхность.

Эль Греко... «Портрет Родриго Васкес, президента Совета Кастилии». Я отступал и смутно белел, отражаясь, отступал, и на фоне картины появлялось, двигаясь, белое движение от моего лица, а когда я повернул книжку, то свет, падавший на нее из окна слева, отразился, осветив левый нижний край картины... Франсуа Буше... Камиль Коро... Теодор Жерико... Энгр... Клод Моне... Дега... Тулуз-Лотрек... Ван Гог... Сезанн... Каспар Давид Фридрих... «Восход луны»...

8 апреля 1969.

...Если бы у меня был магнитофон, то вот что я занес бы для прослушивания.

Реконструированную греческую музыку, Баха – органные тексты и переложения Вивальди для клавесина (люблю клавесин), Мендельсона тот концерт, 1-я часть, сентиментальный текст Рамо... Не стану перечислять: хотя музыка совсем недавно утвердилась в моей жизни, у меня уже много привязанностей.

Л

Ленин

Э

О Сталине мы почти ничего не знали, он был незримым ночным светилом, зашедшим за горизонт, а над нашей землей во всю ширь небосвода сиял Ленин. Он волновал меня, как источник непонятной силы. Такой простой, азбучный, самоочевидный. «Социализм без почт, телеграфа, машин – пустейшая фраза!» И ведь правда. Можно было бы продолжить: «без фабрик, городов, людей...» – и тоже было бы верно. А если поставить на место «социализма» «капитализм» – разве не то же самое? Меня мучила загадка всемирного влияния таких идей. Ленин был как воздух: все им наполнено, а увидеть или пощупать его – невозможно. Другие великие люди, вроде Пушкина или Толстого, были индивидуальны, а Ленин – все и ничто.

Помню, я ходил по улицам и думал: если бы не было Ленина, насколько изменилась бы жизнь людей? Был бы в этом доме магазин хозтоваров? Влюбился ли бы этот молодой человек в девушку, с которой идет в обнимку? Почему мне лезли в голову такие глупые вопросы? Да потому что Ленин был создателем нового мира; и признание хоть какой-то независимости от него даже частной жизни наносило ущерб его теологическому статусу, который усваивался нами с детства.

Даже тогда, когда я уже понимал природу того общества, в котором мы живем, для меня долго неприкосновенным оставался В. И. Ленин. И бороться я хотел не против него, а как он, вместе с ним, за него. Последний рецидив моего романтического ленинизма, сколько я помню, пришелся на 50-летнюю годовщину Великого Октября. 1967 г. Первый курс. Нас, студентов-филологов, колонной выводят на демонстрацию, откуда-то издалека мы идем к Кремлю, а по дороге, конечно, развлекаемся, согреваемся, травим анекдоты. Аркаша Голденберг из Волгограда, несколькими годами старше меня, с трудной судьбой, исключенный из университета за политику и потом восстановленный, рассказывает анекдот про Ленина. А я напрягаюсь и не смеюсь. И объясняю ему искренне, что да, советская власть и прочее – это дерьмо, но Ленина не надо трогать. Потому что должно же быть что-то святое. Иначе – цинизм и опустошенность. Что-то такое я ему выговариваю, он замолкает, и к этой теме мы больше не возвращаемся. Проходим мимо Мавзолея, что-то такое изображаем, расходимся по домам.

Но, защитив тогда Ленина, я вскоре почувствовал, что надорвался, что нет у меня больше сил его защищать. Но и нападать на него тоже нет охоты. Так и сдавали мы все экзамены по истории КПСС, по марксизму-ленинизму – как бы машинально, «по умолчанию», подразумевая, что слова – это форма молчания.

Итак, даже в диссидентских своих фантазиях школьных и университетских лет я долго не расставался с образом Ленина как вдохновителя на борьбу за преобразование мира. В. Белинский и М. Бакунин при всей своей враждебности к церкви, сросшейся с государством, воодушевлялись образом Христа. В типологически сходной антиинституциональной роли Ленин выступал и для Евтушенко в «Казанском университете», и для Вознесенского в «Лонжюмо», в этих позднесоветских, уже взвинченно-личностных ленинианах. Он оста-

вался для них источником вдохновения, которое для меня вполне раскрыло свой мрачный, сатанинский характер позже, лишь к середине 1970-х гг.

В общем, Ленина я из себя выдавливал по каплям, как Чехов – раба.

Ю

Сталинский район города Минска, где с неприятным изумлением я, бывший ленинградец, обнаружил себя на исходе первого десятилетия жизни, сразу после нашего новоселья переименовали в Заводской, что было только справедливо. Повсюду дым из труб. Такой красивый, что хотелось отображать акварелью. Густые, многооттеночные, зефирно-пастельной нежности столбы, которые подпирали небосвод, стремясь друг к другу, чтобы накрыть нас куполом. Дымам не хватало мощности. Зато она была у смрада, который «отрабатывали» заводы и выбрасывали в виде периодических репетиций ограниченной химической войны, на которую даже немцы не решились после опыта с ипритом на Первой мировой. Если нас накрывало металлической гарью, то это было с тракторного или с автоматических линий. С маргаринового воняло то кисло, то приторно, но всегда тошнотворно. ПротивогАЗа не было, а жаль. Не чтобы остаться в живых – на улицах, во всяком случае, никто не умирал, – а чтобы пережить насилие над обонянием. Меньше других портил воздух гипсовый завод, зато он все покрывал вокруг себя как бы мукой, включая Ленина перед своим административным фасадом, и этот вождь, к «нормам» которого возвращалась страна, культом личности сбита с пути, во-первых, был постоянно белым, что пугало летом, когда он проглядывал из черной листвы, а во-вторых, миниатюрным, как младенец, хотя протягивал вперед к решетке ручку точно так же, как это делали большие – взрослые – памятники. «У, пизденьш», – вполголоса, но с мертвой злобой говорили рабочие, когда трамвай проезжал мимо зарешеченного малыша. Мне было десять лет, и я его жалел, в чем-то, возможно, с ним отождествляясь.

Мой минский друг Н. (стал доктором наук и умер в Канаде от инсульта) на первом курсе пытал себя Лениным. Держал на ладонях тома из фекально-коричневого собрания сочинений, пока разведенные руки не обваливались под тяжестью сами.

Я себя основателем совгосударства особенно не мучил. Мне нравился его метод изучения иностранных языков, но вчуже удивляло, что интеллигент, обладатель высоколобой головы создал такое низколобое общество. Стилистически угнетал иногда до тошноты. А вот нумизматически, скорее, понравился в год денежной реформы (1961). Рельеф лысины хорошо был вписан в новые монеты. Одна окружность подпирала другую, придавая весомость металлическому рублю, который в МГУ так и называли – «Лысым».

Или «Картавым».

С этим Лениным в кармане – достаточно было одного! – я смотрел уверенно в будущее предстоящего дня.

Дневник

14 марта 1968.

Отвечая на семинаре по истории КПСС, Смолянникова называла Ленина по-разному – думалось ей, что это придает изящество и неожиданность речи: Ленин, Владимир Ильич и вождь, и даже – Ильич.

15 апреля 1968. Около часу ночи.

Когда записывал (локоть по клеенке): «...так как жизнь все время разбивает мелкобуржуазные иллюзии» (из статьи Ленина «О двоевластии», 31 т.), на меня по необъяснимой ассоциации повеяло хвойным, лесным запахом, представились картины тех мест, где я был в

походе в пионерлагере, и что-то брусничное примешивалось. Это брусничное прошло легко и смутно, и не выявилось в образе, так только повеяло запахом брусники.

Литература

Э

Из дневника

19.11.74.

«Литература-перестарок (перележавшая в ящиках) так же бесплодна, как литература-недоносок (на потребу дня)».

Ю

Не могу не заметить, что это написано тобой, несмотря на эффект «Мастера и Маргариты», вынутой из ящиков через тридцать лет, и что еще более показательнее – в год высылки из СССР автора «Архипелага ГУЛАГ», книги, созданной по требованию если не Господа Бога, как считал он сам, то самой Большой Истории, пришедшей к выводу, что пора закрывать коммунистический «эксперимент».

Впрочем, на беллетристику ты всегда смотрел – не то чтобы свысока, но снисходительно... Подрывал святое. Рассказ. Повествование. *Story*.

Э

Я всегда имел на тебя метафизические виды, хотел соединить талант с «направлением». Помню, как уже в Праге предлагал тебе писать вставки в «Войну и мир», «Бесы» и прочую классику – эпизоды, от которых авторы воздержались по условиям времени и (само) цензуры. Например, что произошло между Ставрогиным и Лизой в ту единственную ночь, после которой между ними все изменилось бесповоротно. Достоевский явно что-то имеет в виду – и не договаривает. Ставрогин оказался не на высоте? Или что случилось в первую брачную ночь между Рогожиным и Настасьей Филипповной, почему он ее зарезал? Хорошо было бы узнать – хотя бы от тебя. Этот жанр можно назвать «обратной цитатой». Не выписывать из Достоевского, а вписывать в него. Скажем, в Достоевском могут быть обратные цитаты из Юрьенена, в Гегеле – из Эпштейна...

И наоборот, еще в пору моих художественных опытов ты мне говорил: «Быть, быть тебе идеологом».

Ю

И что, оказался не прав? Бунт молодых принимает метафизические и абстрактные формы. Это говорил еще по поводу своего контекста отец позитивизма Огюст Конт, которого поминает Сартр в книжке «Что такое литература?» (Я в МГУ с ней не расставался, выиграв в покер на первом курсе у Карлоса, парижского анархиста и сына главного редактора коммунистической «Мундо обреро»). Твоя метафизика была умозрительной до «Мертвой Наташи», которую я воспринял как манифест нашего поколения, именно потому что и сам

стремился в образах конечных «форм самой жизни» к бесконечному. Мне хотелось, чтобы именно туда устремлялась вся моя тайнопись, все мои суггестии, подтексты и пробелы.

Любовь

Э

Сразу после твоей свадьбы с Ауророй²⁰ я записал:

Из дневника

14.6.74.

«Найти всеотзывчивую, всепонимающую, как музыка... из литературного или музыкального мира... предрасположенную к уединенному общению, сосредоточенную на себе и «друге», чтобы исключалось «обилие», суета...

Эта весна и начало лето – сплошное безумие... Все слипается в один ком и несется с горы в пропасть, чтобы мне разбиться и во что-то превратиться, чем-то наконец стать.

Мы привыкли быть не деятелями, а предметами действия, и потому предпочитаем не любить (действ. залог), а быть любимыми (страдат. залог). Кажется, что любить – легко (как раздавать имущество), а влюбить в себя трудно (как его приобретать)... Когда-то было наоборот. Чтобы полюбить, требовалось вдохновение свыше, в любящего вселялся Бог. Любимым же мог быть каждый, в этом не было особого достоинства, ведь луч солнца может осветить и алмаз, и осколок стекла.

Достоинство нес в себе влюбленный, и его отблеск падал на возлюбленного... Подлинную честь нам, как свободным и творческим существам, делает не любовь к нам, а наша собственная любовь. Она пробуждает в нас воинов...

Написать трактат о любви. Можно ввести множество понятий, до сих пор не известных ни платонической, ни фрейдистской традиции...

Например, о значении доверия в любви. О необходимости хорошего начала в любви, чтобы ничто не было испорчено ни преждевременной просьбой, ни поспешным отказом. Любовь – это желание в его чистейшей сущности, когда оно облагораживает свой предмет, растит, а не потребляет его. Любовь побуждает не к обладанию, но к самоотдаче, когда весь мир предстает в состоянии желанности, и нужно отдать ему себя, чтобы приобрести его...»

Ю

А вот другая реакция на событие, побудившее тебя к этой записи. Моя крестная, приехавшая на свадьбу из Питера со своего рода посланнической миссией от моей бабушки (с тем чтобы удостовериться перед невестой мою не-без-рода-племенность), не выдержала образа того, что ей представилось чистым счастьем и разделенной гармонией. Внезапно хлынувшие слезы, которых было не унять, нервный припадок и поспешный отъезд перед самым появлением гостей.

²⁰ Аурора в день свадьбы и сделала наш с тобой единственный московский фотоснимок, помещенный в начале этой книги.



Москва. 1975

Нас это омрачило по-разному. Аурору – видимой беспричинностью истерического срыва; меня – тем, что жене-иностранке внезапно открылась душа родственного мне советского человека, одержимость бесами, вся психопатология, сокрытая под внешним образом веселой и профессионально успешной советской женщины среднего возраста. Тяжелый этот местомиг был предопределен биографией моей крестной матери²¹, а поскольку ее «био» неотделимо от реальной советской истории, то единственно верной реакцией было еще раз проклясть ненавистное, но, увы, непоправимое прошлое СССР – в унисон автору «Архипелага ГУЛАГ», как раз в тот год высланному из страны, где мы с Ауророй вынужденно бракосочетались (а в Париже вряд ли стали бы формализовать отношения, жили бы «просто так» и «до тех пор, пока»).

²¹ Топорец-Юрьенен Ирина Викторовна (1934-1990-е) в три года стала ЧСВР, членом семьи врага народа. Отец, бухгалтер ЦПКИО им. Кирова, расстрелян «без права переписки», мать сослана в Кировскую область на лесоповал. Ирину воспитывали бабушка и дедушка, пока не вернулась после войны ее мать – сестра моего деда Мария Васильевна, «тетя Маня». Когда меня крестили, Ирина стала моей крестной матерью (сокращенно «крестной», или «Кокой»: тогда в России у всех было много имен). В 11 лет я присутствовал на свадьбе крестной с аспирантом Института физкультуры им. Лесгафта из Мурманска по фамилии Селюнин Виталий. Их сын, Александр Витальевич Селюнин, 27-летний питерский инженер, стал жертвой ритуального (спортивно-нацистского?) убийства в начале перестройки. Гибель сына окончательно сломила мою крестную, которая до самой своей смерти в начале нового тысячелетия не выходила из дому. Виталий же, оказавшись воистину витальным, пережил всех и унаследовал бабушки-дедушкину квартиру у Пяти углов (см. мой евроман «Суоми»).

Э

Из дневника

29.12.1974.

«Я чувствую в себе страшную энергию, которая ни в чем не может найти выхода. То, что я делаю, меня по большому счету не устраивает, но делать лучше я не могу. Больше всего на свете я хочу любить и быть любимым, и меня угнетает невозможность такой большой любви, когда можно было бы без остатка раствориться друг в друге, жить друг другом. Это какая-то болезнь духа, проистекающая от недостатка любви и любимости. Для меня телесная близость сама по себе необязательна, это несовершенное выражение страшной духовной жажды. Если было бы можно, я отбросил бы все свои руки и ноги и остался с одной душой, чтобы отдаться любви без препятствий, без разделений, без знаков собственности и принадлежности. Но куда мне деть свои руки и ноги, как обойтись без них, ведь без них мое существо не цело, и я не могу полностью отдать себя?»

Самое тяжелое, непереносимое для меня – это равнодушие, с которым я отношусь к людям и они ко мне. Мне кажется, я могу сосредоточить на одной личности такую силу любви, что она расплавит весь покров телесности, социальности, этикетности; и с возрастом эта потребность лишь сильнее. Я не хочу больше марать бумагу, я хочу только любить, купаться в любящем взгляде, любящих руках, и сам хочу только обнимать, ласкать, оделять собою. Я не понимаю, как можно заниматься чем-то иным: политикой, литературой, деньгами, бизнесом, педагогикой, когда единственное, что имеет смысл, – это любить и быть рядом с любимым. Я не могу понять, как люди переносят это оскорбительное равнодушие близких, замаскированное вежливостью и невмешательством, занятостью тысячами «важных» вещей. Я знаю, что трудно вынести такое напряжение, которое от меня исходит, легче отстраниться и перевести все в культурный диалог; но меня уже тошнит от культуры, истории, стилей, знаковых систем и т. д. Это все – ветошь и рухлядь, когда наваливается потребность любви, когда разваливается вся система экзистенциальной защиты от «бездн» и «ужасов». Вся эта условная лицезвая мимика, знаки приветливости, вежливости тоже совершенно непереносимы, когда хочется глазами смотреть в глаза. Я вдруг почувствовал свою душу как огромную саднящую боль, как будто с нее сорвали кожу, сросшийся с ней лоскуток тела...



Ларочка, первая любовь. Москва, Дубровка, 1955

И ничто не сможет снять эту боль, потому что она-то и есть душа, и будет всегда со мной, даже в отсутствие тела. Моя беда в том, что меня слишком много, а отдавать себя по-настоящему я не умею, да и никто не берет, нет желающих. Все мои возможные и будущие книги – только замена того, кем я мог бы стать, но так и не стал. Высшее из телесных желаний – целовать ранки, царапинки любимого существа. Двойное действие: целования – исцеления. Откуда эти строчки?

Я из рода нежных азов.
Полюбив, мы умираем.

Или:

Я из рода нежных азов.
Без любви мы умираем.

Я не могу точно вспомнить: «полюбив» или, напротив, «без любви»? Но в сущности, это одно и то же, потому что в обоих случаях любовь равнозначна всему существованию: с ней или без нее – все равно умирают. Любовь сильнее и жизни, и смерти, взятых порознь, потому что она соединяет в себе обе эти силы. Любить – значит жить смертельно, с таким предельным упорством и отвагой, с какой жизнь встречает смерть. Ибо спасает только любовь, хотя и она не может спасти».

Ю

Что я могу сказать на это, Миша? Перед тем как ко мне пришла любовь-спасение, была (и растянулась на два с половиной года) любовь-погибель. А перед ней – любовь, о которой мне неприятно вспоминать. С моей стороны та любовь была не то чтобы «зла», как последующая. Но была совершенно слепая. Конечно, блондинка, и все же ну совсем не той особе достался 8-томник Блока, который я выклянчил у сестры. Мой нарастающий безумный романтизм целый год взвешивался на весах прагматизма этой «папиной дочки». Выдержка изменила ей только раз, что обернулось трагедией аборта для нас обоих – но больше, конечно, для нее. Окончательно меня забраковал ее папаша, но еще раньше эта девушка, олицетворение комплекса Электры, предпочла мне 50-летнего журналиста-москвича (который успеет сыграть роль и в перестройке, а главное, оставит после себя сына, основателя лучших газет и журналов 90-х годов).

Я не сумел удержать во времени главную и спасительную любовь, которая со мной случилась там и тогда. Не смог остановить и «зафиксировать» себя в состоянии любви, которая дает, конечно, все возможное и невозможное счастье в мире, взамен, однако, требуя исключительности и, следовательно, асоциальности. Мир не только не нужен, он несет с собой разрушительную угрозу. Я был счастлив, когда не отрывал глаз от любимой, развешивая уши на ее речи («секс – род диалога», сказал Лоуренс *Ди Эйч*). Но реальность только тем и занимается, что отрывает твои глаза. Надо выживать, надо осуществлять то, что полагаешь призванием, надо обращать глаза к миру, к другим, нелюбимым и «противным» существам, его наполняющим, чужим людям, у которых твоя любовная «надмирность», проплывание в защищенной от всего капсуле вызывает зависть, враждебность и коварство в стремлении спустить на землю, «обмирщить», опустить. Возможно ли это вообще – любить и жить не против общества, а «в обществе»? В советском мне не удалось. Тем более что против принципа уникальности любви, на подрыв ее, работало не только «общество», но и моя собственная маскулинно-писательская мифология, разновидность того же фаллократизма. А в безусловном требовании «опыта» как опоры для письма – увы! – был я чистый хемингоид.

М

Мама

Э

Лифшиц Мария Самуиловна. 8 сентября 1914, Новгород-Северский – 6 мая 1987, Москва. По основной профессии – плановик в издательстве «Транспорт», проработала там больше 30 лет, с 1943-го до 1974-го, до ухода на пенсию.

Мама осталась единственным ребенком в семье, ее младшая сестра Хана (1917 г. р.) умерла в 3 года от скарлатины и дифтерита (ей своевременно не ввели сыворотки), а младший брат Арон (1923 г. р.) – в 2 года от кори, заразившись от старшей сестры. В годы Гражданской войны семья голодала.

Приведу отрывок из маминых воспоминаний: «Самое страшное, что выпало на мою долю в детстве, – пережить погром, учиненный одной из банд, которых в то время было множество (1919–1920 гг.). За один день в Новгороде-Северском было убито 500 человек, преимущественно евреев. Папе со мной и сестричкой удалось перебежать на хутор к своему дяде, далеко от города; с одной стороны горы, с другой – река. Банда в основном свирепствовала в центре города. Мама и бабушка пекли хлеб, в дом забежали соседи с криком «спасайтесь». Пока они погасили печку и пустились бежать... им не удалось найти нас. Они очутились на берегу реки, где неподалеку жили родственники. Когда бандиты ворвались в дом, женщины, в том числе и мамочка моя, окружили себя детьми и просили оставить их в живых. Мужчин всех на глазах их семей расстреляли. То, что пережила в детстве, помнишь до конца жизни».

В 1930 г. мама переехала из Новгорода-Северского в Москву, чтобы продолжать обучение после семилетней школы. Постепенно вся семья там воссоединилась. Дедушка и бабушка жили у двоюродной сестры в углу за шкафом, занимая площадь метра в три. Самой маме за шесть лет жизни в Москве пришлось шесть раз поменять эти съемные углы, пока в 1936 г. семья не приобрела часть деревянного дома в Измайлове (Борисовская ул., д. 4). Там была одна 14-метровая комната, позже пристроили кухню и холодные сени. В Москве мама сначала работала в адском сумопошивочном цехе – заваривала горячий клей и смазывала им края сумок; потом, в виде повышения, ее поставили прибивать к ним кнопки.



Мама со своим отцом, Самуилом Ароновичем Лифшицем (1884–1961)

В 1932 году поступила на Высшие промышленно-экономические курсы и спустя три года получила диплом плановика-экономиста. Работала в издательствах (Кинофотоиздат, «Искусство»), составляла тематические планы выпуска литературы, сметы расходов и т. д. Потом война. От бомбежек прятались в недостроенном метро «Измайловская», лежали прямо на путях. Затем эвакуация в Казахстан, нечеловечески трудная жизнь в селе Кувандык, работы в поле, на току по 12–14 часов в сутки. Затем в селе Куртамыш Челябинской области работала статистиком у уполномоченного Наркомата заготовок. В ноябре 1943 г. семья вернулась в Москву. Замуж вышла только в 1946 г., познакомившись с моим отцом, Наумом Моисеевичем Эпштейном, когда он вернулся с военной службы. Четыре года спустя родился я, единственный сын. Со мной тоже было трудно, я переболел в детстве всем, чем только можно было.

Из дневника

11.2.1974.

«За дни моей болезни – особая духовная близость с мамой, необычайное ощущение родства с ней. Ее рассказы о прошлом, о детстве, о родителях, о «кавалерах», о замужней жизни. В детстве она любила играть в «чижика» («цурки»). Это сразу поставило перед глазами мою маленькую маму: веселая, по-хорошему простенькая, смешливая девочка. Болезнь сближает с телесным началом, рождающим нас; оттого редкая теплота и уют последних дней. А сегодня она сама заболела, заразившись от меня гриппом. У нее уже 1,5 месяца по неизвестной причине нестерпимо болят рука и плечо. Впервые я так ясно и мучительно сострадаю ей, чувствую ее боль как свою. Это отнимает у меня силы жить, думать, работать... Если она уйдет из жизни, что останется мне от нее? Я сам? Но мне нужна она рядом со мной».



Шестилетняя мама

21.11.74.

«Диктовал маме свою статью – настроения не было, фразы выходили тяжелые, сбивчивые («удаленные друг от друга точки пространства и времени» и т. д.). Я надолго замолкал – и в один из этих перерывов мама сочинила стишок:

Ласточка
летела и на кустик села,
села-посидела и вдруг улетела.

Записала на обратной стороне листа из моей рукописи. Чистый Третьяковский. Мне сразу стала ясна жалкость моих попыток. Именно о всплесках свободы и слагаются стихи – мама это почувствовала, дав почти формулу свободного творчества – прихотливого полета – в паузе моей душевной каторги».

Мама была мне ближе, чем папа, да и прожил я с ней почти на 20 лет дольше (папа умер, когда мне было 19). И чем больше я вырос, тем ближе она мне становилась. К счастью, незадолго до смерти мама написала от руки воспоминания.

Ю

МОСКВИЧЕВА (в трех своих замужествах – Типикина, Юрьенен, Арефьева) Любовь Александровна, родилась 22.08.1921 (но подозревала, что на самом деле раньше) в Таганроге.



Мама

Дневник

28 мая 1967.

Минск.

Послышался прерванный тонкий крик, и он погадал, что последует: плач или пение, – пение было дальше, беспричинное пение 46-летней женщины на кухне 2-комнатной квартиры.

2 февраля 1968.

МГУ.

...сейчас перечитал из неумелого письма на машинке: «Сегодня весь день был насыщен заботой о “хлебе насущном”» – и меня кольнуло от любви к матери, и я сел, а то стоял, снимая журналы...

* * *

Маме выпала долгая жизнь – в виде небесной компенсации за сумму злосчастий, которые ей достались: сама оказалась внебрачным ребенком, удочеренным преждевременно умершим отчимом; исчезнувший в ГУЛАГЕ отец-австриец; первый муж, сгоревший на Курской дуге с телефонным проводом в зубах; угон и рабочий лагерь в Германии с нагрудным знаком «ОСТ»; трагическая гибель второго мужа, моего отца...

Уезжая из СССР, мы прощались навсегда, но Большая История распорядилась иначе. Мы увиделись в Мюнхене, потом дважды в Праге, вместе посещали греко-православный кафедральный собор Кирилла и Мефодия на Ресловой (тот самый, героический, в крипте которого нашли себе последнее убежище чешские парашютисты, организовавшие покушение на Гейдриха). Под мамину диктовку и по ее письмам закончили книгу воспоминаний «Германия, рассказанная сыну» (2005), которая в отрывках звучала по Радио Свобода, в сокращенном виде была напечатана в Дании, в журнале «Новый Берег», а в полном виде доступна в моем издательстве *Franc-Tireur USA*.

Сейчас, когда я это пишу, маме 88. Сегодня прислала мне имейлом фото в белых «ливайсах», полученных от меня из Америки.

Но это – забегая далеко вперед. В описываемое время я, окончательно ушедший из дому в 19 лет, оперировал в чужом пространстве и без мамы. Конечно, оставалась моя «внутренняя мама», которая подсознательно многое во мне определяла. Но тогда мне казалось, что все просто: захлопнул дверь за прошлым, а жизнь унес с собой.

P.S. к переизданию. Мама умерла на 91-м году жизни. Попрощалась со мной перед этим по скайпу. Сказала, что улетает на звезду. А на какую... «Ты найдешь».

Дневник

10 августа 1968.

Мама записала эту песню. Она часто поет ее. Она слушала ее вечерами [в арбайт-слагере], напротив ее кровати была радиоточка. Песня передавалась до 42-го года. Потом певица, говорят, оказалась шпионкой русской, и песню перестали передавать.

Komm zurück, ich warte auf Dich

Denn Du bist für mich all mein Glück
«Komm zurück» ruft mein Herz immerzu
Nun erfülle Du mein Geschick

Ist der Weg auch weit
führt er Dich und auch mich
in die Seligkeit
darum bitt' ich Dich heut': Komm zurück²²

См. РОД И РОДИТЕЛИ

²² Вернись, я жду тебя. Ты для меня – все мое счастье. «Вернись», – плачет мое сердце постоянно. Исполни же мою судьбу. Это долгий путь, но он приведет нас с тобой к спасению. Вот почему сегодня я молю тебя: «Вернись». (нем.)

Марксизм

Э

К марксизму, во всяком случае, тому, который нам преподавался в школе и в университете, я не испытывал интереса. Он не имел ничего общего ни с жизнью людей, ни с моими желаниями и целями. Представление о том, что экономический базис определяет сознание людей, мне казалось в лучшем случае бездоказательным, а в худшем – просто идиотским. Я не мог понять, в чем состоит гениальность учения о прибавочной стоимости. Допустим, рабочий производит товаров на 1000 рублей, а получает только 500, остальное достается капиталисту. Но ведь капиталист вкладывает в этот продукт свой невещественный труд: интеллектуальный, организационный. Он создает идею продукта, схему производства, распределения, торговли, рекламы, он вступает в коммуникацию со множеством посредников...

Физический труд рабочего – лишь малая доля того труда, которым создается стоимость товара. Мне было непонятно, почему марксисты, даже западные, продолжают клеймить прибавочную стоимость как средство «эксплуатации», не учитывая столь элементарной вещи, как умственный труд. И никто из учителей не мог мне этого объяснить. Впрочем, я особенно и не домогался ответов, понимая, что мои вопросы могут восприниматься как провокации. Зачем тревожить душевный покой всех этих «образователей», получающих зарплату именно за ту разновидность труда, которую они игнорируют в работе предпринимателей?

Ю

Дневник

12.6.1968.

Для экзамена надо, и я читаю М., Э., Чернышевского «Дневник» (это не надо), – и какие все несимпатичные люди... Гаркнесс, Каутская (звездочки над фамилиями) – посредственнейшие литераторши, и удивляет то, что Зевсы – ценители и знатоки мировых шедевров – уделяли им столько внимания.

Не люблю немцев.

What did the little donkey like to do the most than anything else in the world?

(The inscription on the last page of the collection «Marx and Engels on Art».)

Местомиг

Э

Местомиг – важнейшая для меня единица опыта в слитном переживании времени и пространства. Порою я составлял списки самых счастливых, самых несчастных, самых постыдных, самых вдохновенных местомигов своей жизни: когда, где, с кем. Часто соучастниками были девушки, сердце разрывалось от любви, природа вторила и благословляла. А иногда это были местомиги пронзительного одиночества, неустроенности и жалости к себе. Или какого-то социального действия, где я вел себя неуклюже, не по-мужски и вызывал, мне казалось, всеобщее презрение.

Вот несколько местомигов.

Летом 1966 г. я пешком возвращаюсь из Москвы в Красную Пахру, в пионерский лагерь – 36 км. Ночь провожу в стогу сена, исшмыганном мышами, и радостно встречаю рассвет, свободный человек на свободной земле.

Лето 1967 г., на второй день после *ее* приезда, чувствую гибель всех своих надежд и невозможность достучаться до *нее*.

Август 1973 г., тону в Черном море у Сочи, едва выбираюсь из штормовой волны на берег и потом кучу сам с собой в ресторане, праздную возвращение жизни. Задолжал официанту, он мне поверил, я, конечно, вернул.

Таких местомигов в моей юности накопились десятки, если не сотни, потом я перестал вести им счет. Вероятно, пропала острота концентрации времени, пространства, чувства и смысла в одной точке Сверхсобытия.

Ю

Дневник

30 мая 1964.

Папа постучал в кабину шофера. Автобус остановился, и мы сошли, и пропустили его, прошел он мимо нас, пахнул теплым и бензинным. Сразу стало тихо, светило солнце, освещало лес, шоссе и дорогу в лесу, по которой мы пошли, дорога между молодыми двадцатилетними соснами, дорога, которая вывела нас на огромную солнечную поляну, и мы пошли по мягкой дороге во ржи, мимо картофеля, к сараю, мимо перекладины с сеном и картофельного погреба к домику с голубыми наличниками, а во дворе уже собаки зашлись от лая, открываем щеколду, скрипят ворота, собаки молчат, и мы, узнанные собаками, входим, и старик идет через двор.

18 мая 1966.

...весь день шел дождь, постукивал по карнизу, за окном качались зеленые липы, и все было резко, и четко, и ясно, и было очень холодно. Я заснул под шубой с электрической грелкой в ногах. Думаю о горячей ванне.

Папа: «Ну и замерз же я. Ничего, коньячком погреемся. Да, а как мы в окопах, а сверху падает дождь со снегом, и снаряды падают. Сидишь злой, голодный, надеясь, что горячее к ночи привезут».

Холодно, и руки пахнут картофелем.

Приятно было слышать, как в холодной квартире слышалось шипенье из кухни, голоса брата и мамы. Запах дошел до меня. Неохота учить историю.

1968. 9 мая, днем.

МГУ.

Отворил дверь в умывальник, глубоко задышал прохладным ветром (одна створка окна была распахнута), различая в этом воздухе лес, поле... Летел он на высоте четвертого этажа над этой бедной, далеко просматривавшейся местностью; и сразу душа затосковала по ночному запаху Залесья, заныло, запело все внутри, стало вспоминаться все.

Хочется написать мне об этом небольшую лирическую книгу, чистую, ясную. Для себя написать все. Даже сердце ноет от желания все вспомнить, написать.

8 апреля 1969.

Из автобуса смотрел на солнце. Осторожно вызывал в памяти разных людей. И все равно: ни к кому не было плохого – всех любил и всем желал добра. Вот какое было состояние.

МИСТИЦИЗМ

Э

Предаваться мистике приятно, как сексуальным или гастрономическим эксцессам, но наблюдать в других неприятно, как проявление духовной разнузданности и неопрятности. У А. Блока есть такое различие: «мистика – богема души, религия – стояние на страже» (Дневник, 18.1.1906). По моей нелюбви к богеме я и мистику недолюбливал, хотя сам ее не чуждался. Был краткий период, когда мне вдруг стало казаться, что я обладаю мистическим даром. Я проводил день или два на хлебе и воде, лежал с закрытыми глазами и старался настроить себя на какие-то видения, узрение грядущего Мессии и т. п. Однажды мне как бы открылось нечто «сверхличное»: не Лицо, а Структура. Я удвоил усилия, и навстречу стало выплывать Лицо. С его приближением на меня накатила паника: Лицо с темными запавшими глазницами, потрескавшейся кожей и ярко-алыми губами явно принадлежало другому, анти-

С тех пор я прекратил мистические опыты и старался не переусердствовать в своем постижении Бога, предпочитая смирение апофатики. Читать мистические сочинения, включая Е. Блаватскую и Р. Штейнера, мне, как правило, скучно; единственное исключение – Даниил Андреев, духовидчеству которого придает подлинность Владимирская тюрьма, где явилась ему Роза Мира.

Ю

В 1958 году отчим устроил маме сцену за то, что принесла в новополученную квартиру икону, подобранную во дворе на руинах снесенных изб.

«Ну-ну, не впадай в мистицизм», – неизменно заземлял он маму, когда она, по его мнению, отлетала от реальности: «В Средние века тебя бы сожгли на костре».

В слове «мистицизм» читается английское *mist*. Это то, что я наблюдал над водопадом в Ниагаре. Та самая влажная затуманенность, которая задернула поле зрения, когда на Украине ночью в телеге я слушал хозяйку-спиритку и маму, говоривших о «сокрытом» и «тайнственном» – что как будто бы этимологически и значит это слово. Тот местомиг я развернул в одном из первых «парижских» рассказов: «Сон Ломоносова». От мамы я узнал о телепатии, а на обороте ее машинописного самиздата о йоге помню темно-красный отпечаток помады в форме ее губ. Бабушкин мистицизм был неколебимо и сурово православным, тогда как мою энергетически сверходаренную маму сейчас я вижу как одну из предшественниц эпохи Нью-Эйдж.

Дедушка, прошедший и Галицию, и «Кресты», и раннебольшевистское перевоспитание трудом, и Большой Террор, и блокаду, удержал иронико-светское жизнеотношение рядового человека Серебряного века. Он и перед недалекой смертью неохотно – его утягивала бабушка – становился на колени перед иконостасом. Мой родной отец в письмах с фронта и из Германии называл себя «сталинским соколом», а в институте перед войной прошел, как все, брейнуошинг марксизмом-ленинизмом: истпарт, диамат, истмат, что там еще? Точно так же и отчим. Его забрали в армию из Бауманки, а после войны в Ленинграде он закончил военную академию и с усмешкой назвал себя «твердолобым марксистом». Мол, с позиций нас не собьешь. В нашей семейной ячейке он представлял «научный атеизм», не позволял маме заводить в доме икон и предохранял от всего «ненаучного» и сверхчувственного. Во

время войны он брал не Кенигсберг, другие города Европы, но вполне мог быть тем «культурным» советским офицером, который, согласно Эренбургу, написал среди мистических обломков на постаменте Канта: «Теперь ты убедился, что этот мир материален?»

Естественно, что я – страдающий Гамлет, но еще, конечно, и Эдип – испытывал отвращение если не к самой материи (а она была, конечно же, советской), то к тоталитарности ее претензий. Сам я не стеснялся «отлетов от реальности» – дежавю, предчувствий, озарений, вещих снов и прочих сверхчувственных экстазов. И разве был в этом одинок?

«Дематериализация» (и самоужимание красной кожи идеологии) в умах уже началась. С публикацией «Мастера и Маргариты» на стыке 1966–1967 гг. джинн был выпущен, и впадения в мистицизм обрели массовый характер. Потом явился Габриель Гарсиа Маркес («Сто лет мастурбации», шутили латины в общежитии), и над советской литературой, которая видела выход только в ренессансе критического реализма XIX века, повисла звезда реализма «магического». Как ни странно, я всему этому воспротивился. На вопрос «Булгаков или Платонов?» я Битову ответил, что Платонов, и тут мы с ним взаиморадостно совпали. У них там в Питере вообще был культ Платонова, который с тридцатилетним Битовым разделяли и Бродский, и Марамзин. Москва оказалась более предрасположенной к «дьявольщине». В первый же день на филфаке я на известной тебе «черной лестнице» чуть не подрался с сыном декана Андреевым (тем самым, который пойдет вместо тебя в аспирантуру): спесивый мальчик, держащий в руках тот самый номер журнала «Москва» с «Мастером и Маргаритой», обдал меня презрением, когда я ответил, что предпочитаю Платонова. Так оно и было, но в целом от магии меня предохраняло то самое «низкопоклонство» перед западной литературой эпохи модерна (1910–1960). Тут я шагал не в ногу со временем, которое меня обогнало на пути к Нью-Эйдж.

Когда в апогей застоя я покидал советское общество, там уже официально поддерживалась установка на «духовность»; и даже возник уже насмешливый термин «духовка», воспринимаемый как антисоветский.

Неисповедимы пути, но и отчимом все это овладело. Когда перед Парижем мы приезжали прощаться навсегда, он погружен был в четырехтомник идеалиста Канта, хранимого мной дома в Минске. Глазам своим не верил!

Молчание

Э

Из дневника

25.3.1973.

«Самая сильная моя потребность – в молчании. Молчать всегда и везде и только думать, смотреть – какое счастье! В 99 случаях из 100 я произношу слова только от неловкости, из желания поддержать говорящего, показать ему свое внимание. Будь моя воля, я бы молчал и говорил только с мамой (которой это нужно) и на лекциях в МЭИ (по долгу службы).

...Сколько в мире раздаётся умных речей! А я молчу. Я хочу быть умным слухом. Ведь обычно речи пропадают даром: глупые их слушают, да не разумеют, а умные поняли бы, да не слушают: у них по любому поводу своя речь. Для меня же истинное наслаждение – понимать и короткими репликами поддерживать чужую речь, беседовать встречному».

30.6.73.

«Нет слов. Никогда, ни в чем. Адские муки. Нехватка слов для почти уже готовых понятий и образов. Какова же мука у Бога, которому не хватает человеческой плоти, чтобы воплотиться!»

Ю

Я в отличие от тебя свое молчание воспринимал как вынужденное. Как способ выживания и результат насилия «сверху». Некогда говорливый мальчик, я под ударами внешнего мира все больше уходил в никому не слышимую и потому безопасную внутреннюю речь, в «поток сознания». А что было делать? Когда я говорил, «мир» утрачивал свою любовьность и добродушие, чтобы броситься на меня всей сворой своих чудовищ. Даже когда я «озвучивал» невинные, как мне казалось, вещи. Таким образом, я «намолчал» – словечко Достоевского – свой писательский проект, все мои первые опыты и опусы. Только при условии абсолютного доверия в общении с друзьями-ровесниками возвращалась былая говорливость, и теперь у нее был вполне прононсированный «абличительный» аспект. Но стоило мне адресоваться в социум, к взрослым, как начиналось страдание косноязычия. На приемных экзаменах в МГУ я не мог ответить на заключительный вопрос профессора, уже занесшего руку, чтобы поставить мне «пять»: «А в каком жанре вы бы написали жизнь Сталина? Ну?... Ну?...» Конечно, я знал, что должен ему сказать. То была бы *песнь козла*. Но язык юному козлу скривала правда, которую высказать в том контексте было невозможно: писать об этом отроде человечества не стал бы я ни в каком жанре.

«Трагедия, юноша!»

Еще бы не она. Трагедия как есть.

Дневник

22–23 апреля 1968.

Заметил в себе робость говорить; начать говорить.

* * *

На семинарах я следил не только за собой:

Говорить с цыканьями, риторическими вопросами, причмокиваниями, шлепаньем, – О-а.

С присмеиванием в словах, как бы всхлипываниями смеха со словами в неожиданных местах. Очень нехорошее, фальшивое впечатление от ее речи.

Ты с устным жанром справлялся лучше.

...Стараясь говорить приятно-звучащим голосом... у него даже мычания – очень, правда, короткие – звучали располагающе-приятно.

* * *

Все это было далеко от идеала, и я об этом знал. Молчание не золото, а смерть. The rest is silence, а по эту сторону отпущенной жизни надо звучать. Самовыражаться устно в полной свободе и бескомплексно. Но так в Союзе я разговорился только благодаря моей парижской жене и в нашем с ней тет-а-тет. Она была свобода слова и его гарантия. Запад. А скрывать от Запада мне было нечего.

Тогда же, в МГУ, твои «приятные» интонации, мое страдальческое отмалчивание и упомянутая «робость говорить» – все это было вопросами тактики. Помогало юным слаломистам, вознамерившимся «побить рекорд», лавировать в заданной системе. Заговаривать дракону зубы или держать язык за своими?

Дневник

10 мая 1968.

...Сегодня я дал себе Обет Молчания.

– Сервус, – Золтану.

– Здравствуй, – Виру.

Эти однотипные восклицания не должно считать нарушением...

* * *

Так, от бескомплексности детства, когда «рот не закрывал», жизнь уводила в немоту. Спасительную, кстати, не всегда. Был еще имманентный мне предатель: взгляд.

См. ВЗГЛЯД

Мышление

Э

Из дневника

9.5.1974.

«Наука должна искать самых жестоких истин, чтобы искусство могло приносить самые светлые утешения.

Я хочу совместить оба поиска».

9.6.1974.

«Я из породы людей, много думающих и мало понимающих. Думаю до одурения, до обалдения – и когда додумываю до конца, то уже ничего не понимаю. А ведь есть люди, которые понимают все сразу – без единой мысли».

16.11.74.

«Я ничего не люблю больше логики. Я ничего не люблю больше поражения и унижения логики. Я переходный тип: между схоластом и энтузиастом, между талмудистом и хасидом. Чистый разум во хмелю».

4.1.1975.

«Мыслить я начал оттого, что у меня были нелады с языком. Слово не приходит сразу на ум, и потому ум сам пускается на поиски слова».



Начало рефлексии? Май 1954 (4 года)

Ю

Я был озабочен эстетикой, но мысли вращались в толстовско-морально-этическом кругу.

Дневник

15 мая 1968.

Мысль, что исправить жизнь можно, только мысленно приближая все сроки к сегодняшнему дню. Срок сдачи зачета, срок любви, срок работы, срок смерти – все должно решиться сегодня-завтра. Это в зависимости от близости срока (которую, впрочем, нельзя определить...). Сегодня я попробую мысленно приблизить срок экзамена по языкознанию к завтрашнему дню. Но как удержать мысль в постоянном напряжении? Это есть, по всей вероятности, то *усилие* самосознания, о котором писал Толстой. Мысль можно держать напряженной, новой только усилием самосознания.

* * *

Где-то в середине 70-х ты, рассказывая о встрече с Битовым в Литинституте, закончил: «Мельница мысли». Что показалось мне перпендикулярно-неуместным в тот серый мартовский день в центре Москвы, на улице Воровского; и сначала я вспомнил об антисоветской мельнице из фильма Жалакявичуса «Никто не хотел умирать», а потом решил, что метафора куда приложимей к тебе самому. Именно в расщепительно-раздробительной ее способности. Тогда как Битов больше «схватывает». В смысле здесь-и-сейчас. Как бы не выходя из состояния такого русского сатори и без задержек перевода перцепции в слова. Помнишь, как хвастал Достоевский брату насчет Анализа и Синтеза?

О других атрибутах твоей «мельницы» не говорю.

Человекомозг – по-доброму шутит в твой адрес наш общий знакомый Юз Алешковский.

Н

Народ

Э

В юности я верил в народ, в его нераскрытые силы, и подозревал, что где-то между Ригой и Владивостоком идут таинственные разговоры, созревают замыслы, которые обновят страну. Тогда еще не было Интернета и социальных сетей, которые позволили бы услышать голоса из глубинки. Но при всякой реальной встрече с народом, если исключить несколько добрейших соседей по подъезду, я испытывал разочарование и «томление духа».

А. Блок пишет где-то в дневнике, что ему безумно жалко всех живущих в России. Жаль каждого, независимо от возраста, внешности, образования. И я остро испытывал то же чувство к прохожим: на улице, в магазине, в парке – повсюду. Никогда не переживал ничего подобного на Западе и до сих пор не могу вполне объяснить, что же вызывает жалость. Как будто в воздухе витают тление, тщетность, безнадежность. Как будто сама огромность страны издевается над каждым мелким субъектом, ее населяющим.

Из дневника

27.10.74.

«Я не люблю смотреть на наш народ по выходным: жизнь его (и моя) кажется столь ничтожна, бедна смыслом. По будням и лица попадаются другие, осмысленные: рабочие работают, служащие служат. Когда люди трудятся, есть надежда, что им известна цель этого труда и они достойно используют его плоды, что их отдых столь же красив и увлекателен, как тяжел их труд. Но в выходные дни (магазины закрыты) они гуляют по улицам семьями, сытые, покрасневшие, добротны и грубо одетые, безвкусно наряженные, и, глядя на них, хочется выть от беспросветной тоски. На всех лицах написаны скука и отсутствие сознания. Они знают, что имеют право на отдых, и тупо топают по слякоти, чтобы воспользоваться этим правом. Более искренние просто напиваются. Общество воспитывает трудолюбивых пчел и учит, что человек велик только в труде; но как жалок он становится вне труда! Свободному человеку нужно прежде всего свободное время; только раб ограничивает свое существование работой».

Но я любил тот народ, который встречался мне в деревнях, во время фольклорных экспедиций 1968–1969 гг. (на севере) и затем уже в 1985 и 1987 гг., во время религиозных экспедиций на Украину и в Краснодарский край. Последняя такая экспедиция была диалектологическая, 2006 г., в верховья Волги. Больше всего меня воодушевлял верующий народ: от старообрядцев до пятидесятников, адвентистов, свидетелей Иеговы. Говорить с простым человеком, нашедшим смысл жизни и твердо его исполняющим, – ради этого и стоит ходить в народ.

Ю

В детстве – до встречи с милицией в 12 – я был экстраверт, сидел на плечах у отчима во время демонстрации на Невском, радовался единению с массами, командовал сверстниками в Гродно, проявлял «вождизм». А в отрочестве сослал себя на «Эльбу». После того как милиция наставила меня на путь истинный, «замкнулся в себе». Стал сторонником единичности. Штирнером. Избегал очередей, скоплений, толп и демонстраций. Умозрительное понятие «советский народ» оставляло равнодушным. Особой гордости за принадлежность к абстракции не испытывал. Отчиму, все же интеллигенту, пусть и «военному», видимо, хватило общения с народом на войне. «Народницей» у нас была только мама, лишенная сословных перегородок. Она посылала меня в народ. Привносить в эти темные толщи культуру. От этих «хождений» я страдал. Бессмысленность их была очевидна. В отличие от них я не «вышел из народа» и к «детям семьи трудовой» не относился. Я играл на рояле (большом, концертном, который мне купили, еле втиснув в комнату), рисовал, изучал языки, читал взрослые книжки. Не то чтобы на этом основании презирал тех, кто был «ниже». Нет. Никакой спеси и комплекса превосходства. Просто было чувство, что порядка вещей не изменить. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». В Ленинграде я был своим, а в Белоруссии сам народ относил меня к высшим слоям. Произносились слова «барчук» и «белоручка». Давались клички типа «лорд». Что ж. Значит, так «на роду написано».

В Америке есть тенденция: белые юноши подражают черным, пытаются вести себя и говорить, как «бро». Я в Советском Союзе не пытался «опрощаться». Романтика криминала тоже не влекла. Нет. Следовать своей природе, какой бы абсурдной она мне ни казалась. Быть собой. А там как в песне поется. *Que sera, sera. Whatever will be, will be.*

Насилие

Ю

Об этом приходится рассуждать с точки зрения жертвы, что не удивительно по факту рождения в стране, созданной апологетами «Повивальной Бабки» и практиками насилия, унесшего, как и предсказывал Достоевский, сто миллионов.

Но в детстве о том я не знал же. Насилие ужасало, отвращало и глубоко озадачивало. Поражали легкость и бездумная непринужденность, с которой взрослые переходили к избиваниям и даже истязаниям тех, над которыми имели власть: детей. Однажды в Гродно, в 7 лет, мы с ребятами, перелезшие через забор на лесопилку, улепетывали от сторожа, чей крик преследовал меня и после того, как я благополучно этого избежал: «Поймаю, яйца оторву!» Слова такого я не знал, но догадался, что это имеет отношение к моему трехчлену, и был потрясен ужасом, которого избежал. Сомнений не было: поймал бы – оторвал. Вот тогда я прозрел насчет взрослого мира. Способного и оторвать, и разорвать, и съесть ребенка. Любовные возгласы в мой адрес: «такой аппетитный, так и съел бы» или шуточные угрозы «пустить меня на пирожки», которые я слышал в Ленинграде на Пяти углах, были, значит, основаны на реальном положении вещей. Нас, детей, едят. И могут съесть меня. Должен сказать, что это пугало меня куда меньше, чем угроза оторвать то, что было носимо в штанах, с чем я себя отождествлял как моим представителем в миниатюре и что, как оказалось, было главным объектом насилия взрослых, их целью и мишенью. В дождливое утро первоклассник отправился в далекую школу, но остолбенел, завернув за угол дома. Рядом с водосток, из которого хлестало, на асфальте распластался... презерватив, конечно. Но, будучи незнаком ни с предметом, ни со словом, я решил, что кто-то *не убежал от сторожа*. Взрослый мир с ним расправился и выбросил на дождь оторванный член. Если бы я рассуждал о комплексе кастрации в кабинете психоаналитика, то сказал бы, что овладел он мной именно в тот момент. Мне стали сниться сны об утрате моего маленького «я». Можешь представить себе эти просыпания среди ночи в ужасе, самопроверки и радости обретения. Длилось это довольно долго, потому что, помню, уже выпал снег, когда мальчик с соседнего двора поднял меня на смех и объяснил, что то был резиновый атрибут мира взрослых и общие принципы того, как они его используют.

Самое ужасное в насилии, это, во-первых, его внезапность, а во-вторых, необратимость посттравматического синдрома.

Заводской район, который часто возникает в этой нашей «ЭЮ», встретил меня, 10-летнего, дракой с превосходящими силами дворовых зверенышей, радостно *пустивших юшку* новоселу. Но с этой повседневностью района предстояло жить и как-то справляться еще долго. А вот удар бичом... Рубец поперек лица через некоторое время зажил, но изумление осталось даже до сих пор: почему? За что? И откуда на такой скорости она поняла, что мальчик на обочине именно что *безотцовщина*? Только что записавшись в районную библиотеку имени автора «Как закалялась сталь» и набрав оттуда книг на все каникулы, я задержался на обледенелом углу, чтобы пропустить гужевой транспорт. По совершенно пустынной Долгобродской несся запряженный в телегу конь, которого нахлестывала стоящая на облучке старуха. Я был захвачен зрелищем не без удивления: мало того что этому в городе не место, но бабка летела как на пожар. Поравнявшись со мной, она взмахнула бичом с криком ненависти: «У, байструк!»



Отчим, его сибирская сестра, младший брат, мама и я. Минск. Сентябрь 1960. За два месяца до встречи с милицейским патрулем

Сначала мне показалось, что я потерял глаз. Потом пришлось собирать книжки, разлетевшиеся по льду. Среди них была про венгерскую контрреволюцию. С теми же фотографиями, от которых я леденел в Гродно, вынимая из почтового ящика газеты. Со снимками трупов венгерских гэбэшников, свисающих с фонарей вниз головой и руками.

Я рассказывал про опыт моего первого государственного насилия, когда милицейский патруль Заводского района, хорошо отметив День советской конституции, вышел в метельную тьму на дежурство. Потом, когда мои родители с помощью майора милиции, соседа по подъезду, вырывали меня, полуживого, из их лап, мусора утверждали, что задержали меня за нанесенное им оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Назвал, мол, «полицаями». На самом деле я сравнил их с полисменами, но нюанс мне было трудно объяснить. Никто из взрослых участников события не обладал такими знаниями об Америке, как я. А если обладали, то сочли, что лучше их не обнаруживать. Мусора же – майор не майор – не хотели выпускать задержанного, бубня об «оскорблении при исполнении». Меня же просто игнорировали, когда я гнул свое. Но повторила и мама: «Мальчик не говорил «полицаяи». Он сказал: «Полисмены». Майор перевел взгляд на мусоров. Я почувствовал себя на краю пропасти. Как мусора ни старались, им не удалось сломить мое сопротивление. За это мне было обещано, во-первых, не довести меня до отделения (это я понял: буду добит в «воронке»). А во-вторых – если останусь жив и там – нечеловеческие муки в их фашистских застенках. Про то, что буду накормлен шоколадными вафлями, я не понял, – в отличие от того, что «сраку разорвут». Вот с этой целью, которая совершенно не вмещалась в голову, меня, поджавшего в виде сильного сопротивления ноги, попеременно били коленями об лед и под заломленные руки тащили в общежитие, чтобы вызвать по телефону милицейскую машину. «Воронок» не заставил себя долго ждать. Я видел его за окном со своего места на стуле посреди фойе женского рабочего общежития. Я ждал, что мусора начнут возражать. Что за них и делал мысленно: *А какая разница? Полисмены еще хуже. Негров линчуют, которые*

в Африке сбрасывают цепи. И вообще: цепные псы Его Преподобия Капитала. В год, прошедший под знаком американского самолета-шпиона «У-2» и угрозы Хрущева в ООН показать свободному миру «кузькину мать», мусорам ничего не стоило доказать свою главную – идеологическую – правоту. Но они были искушены в садизме, не в демагогии. К тому же в тепле их развезло, становилось все более очевидным, что они просто пьяны. Сознывая это, под взглядом майора стражи порядка угрюмо потупились...

Беларусь как будто бы не самая агрессивная страна, но столько разнообразного насилия было там испытано – особенно в Минске. Меня совсем не удивил тот факт, что Ли Харви Освальд, официально объявленный автором насильственного акта, потрясшего вместе со всем миром и меня в 15 лет, оказался вдобавок ко всему минчанином.

Но тут мы переходим к субъектам насилия...

Местомиг политического характера.

У тебя дома мы обсуждаем событие: Ильин стрелял в Брежнева. 69-й, кажется. И ты запальчиво говоришь, что у тебя рука б не дрогнула. Глаза горят ненавистью. Вынужден тебе сообщить о наличии этого воспоминания. Полностью отдавая себе отчет, что оно начисто опровергается твоей реакцией на смерть Франко, вообще всей твоей философией, ничего общего с противлением злу насилием как будто не имеющей. Кроме этого, сам не уверен – произошла ли вспышка (которую помню) после покушения Ильина или позже, в 1972-м, во время визита Никсона в Москву. Наверное, все же то была осень 69-го – когда, помнишь, ранили космонавта Николаева?

Но помню и свою реакцию – оторопи. В тот местомиг ты нарушил мое тайное табу, связанное с многолетними размышлениями на тему о «минчанине» Освальде и вмешательстве закулисных сил в исторический процесс, который якобы вершится не личностями. Только отчего тогда эти личности изымаются из оборота?

Э

Ох, грехи наши тяжкие. Помнишь, в «Карамазовых» Иван спрашивает Алешу о генерале? «Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка! – Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата». Сейчас я бы так не ответил, но лицо все еще перекошено. А поскольку настоящего пистолета (вне тира) я в руках никогда не держал, то и вообразить себя Фигнер или Каплан, тем более Ильиным было не трудно, а Алешей – даже и соблазнительно.

Ю

Еще из поразившего. Тоже о насилии, но «центробежном», от мира – на тебя...

– А я бы дал себя убить. Не сопротивлялся бы.

Это ты по поводу вариантов поведения по пути в газовую камеру. Очень возмутило, помнится. Как же так? Не броситься на охранника? Не попытаться убить хотя бы одного из твоих убийц?

(Подобные вопросы оставили меня, пожалуй, только после Музея холокоста в Вашингтоне, ДиСи, где наглядней всего демонстрируется технология уничтожения масс.)

Э

Не помню. Но понимаю себя. Так много нужно успеть сделать в последние минуты, что-то вспомнить, о чем-то попросить-помолиться, к чему-то подготовиться, что устраивать потасовку на пороге в мир иной – уж очень по-детски.

Ю

Может быть, в том разгадка пассивного поведения и «тонкошеих вождей» – жертв Сталина? В снизошедшей на них предрасстрельной мудрости? Ты ведь читал, наверное, как глумился *Паукер* – хтоническое кремлевское членистоногое, впоследствии раздавленное сапогами своего хозяина. Когда пересказывал «в лицах» Сталину, как Зиновьев перед расстрелом призывал Бога Израилева.

Наука

Э

Поступив в 1967 г. на филфак МГУ, я выбрал специализацию по теории литературы, первые два курса провел в семинарах П. А. Николаева и В. Е. Хализева, а на третьем влился в харизматический семинар В. Н. Турбина, проходивший под знаменем бахтианства. Там в 1970 г. я написал большую работу «К теории новеллы» (т. е. теоретизировал тот жанр, который литературно от меня все более ускользал) и был удостоен однократной встречи и краткой беседы с самим М. М. Бахтиным в доме престарелых под Подольском (см. БАХТИН М.М.). Для семинара Турбина, с его ортодоксальной «бахтианской» ментальностью и господством категории «жанра», я оказался чересчур независимым и посторонним и на четвертом и пятом (уже дипломном) курсах вернулся в семинар В. Е. Хализева, который и стал моим Учителем, терпеливым, терпимым, требовательным, слушающим, вникающим, либерально-консервативным – и остался добрым другом и собеседником до самой своей смерти в 2016 г.

Главный и честолюбивейший проект моего университетского периода, которому я посвятил много общих тетрадей, но ни с кем не обсуждал, была «всеобщая эстетика». В этом труде я предполагал установить свою философию завершаемости всех вещей в самоценности и самоцельности их эстетического бытия. Все, что достигает этой высшей точки и бытийной полноты, становится эстетическим феноменом; следовательно, искусство прокладывает путь всем вещам, определяет меру их самоисполнения. Это были вариации на тему кантовской, марксистской и вагнерианской, отчасти феноменологической эстетики, которые, казалось мне, проложат путь к спасению мира красотой. Тем более что из всех философских дисциплин в СССР эстетика была единственной более или менее свободной от ортодоксии, поскольку классики не успели существенно высказаться по поводу столь мало-важных вещей.

Однако для официального завершения своего университетского курса я избрал более скромную тему диплома «Функции литературной развязки» (тоже имевшую отношение к завершенности – сюжетной). Я получил диплом с отличием, кафедра теории литературы во главе с Г. Н. Пospelовым рекомендовала меня в аспирантуру. Но потом произошел скандал, об антисемитской природе которого мне только недавно (2007 г.) рассказал с большой горечью В. Е. Хализев (35 лет держал про себя). Кафедра не сумела меня отстоять от партийного руководства факультета во главе с есениноведом П. Юшиным, который был против еврейских кадров на факультете.

В июне 1972 г., уже после выдачи красного диплома (с отличием), меня вызвали на выпускную комиссию по распределению, которую возглавлял сам декан Алексей Григорьевич Соколов. В качестве места распределения мне «предложили» Центральный научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры (ЦНИИТИА) Госгражданстроя. Оттуда, дескать, есть запрос на филолога: составлять тезаурус терминов по строительству и архитектуре. На меня повеяло страшной тоской присутственного места – и я твердо отказался, сославшись на то, что кафедра теории литературы рекомендовала меня в аспирантуру (я тогда не знал, что эта рекомендация уже отозвана по указанию парткома, – узнал 35 лет спустя). Такой отказ, как я понял уже вечером, был равносителен профессиональному самоубийству: распределение не было добровольным. Мама и все друзья были в ужасе от моего поступка и уговаривали согласиться, что я скрепя сердце и сделал день-два спустя. Это была

одна из самых надрывных, экстремальных ситуаций в моей жизни, мучение от которой растянулось на все лето.

Мне выдали направление в ЦНИИТИА, и первого сентября я явился по месту назначения в полуподвальное здание в самом центре Москвы. Первое, что я сделал, – наведалься в туалет, чтобы разглядеть, где в дальнейшем я смогу украдкой проводить свободное время за чтением, отлучаясь с постылого рабочего места. Но ухищряться не пришлось: в отделе кадров мне заявили, что вакансия то ли уже заполнена, то ли упразднена, и я свободен. Ясно, что они не захотели связываться с моим еврейским происхождением и заполучить потенциального отъезжанта. Так государство сыграло со мной двойную шутку, сначала отлучив от кафедры и насильно трудоустроив, а затем отобрав и эту унылую работенку и выбросив в никуда.

В итоге я устроился на несколько месяцев помощником корректора в мамино издательство «Транспорт», а потом пять лет проработал преподавателем подготовительных курсов Московского энергетического института и затем Заочного Финансово-экономического института. (см. РАБОТА)

Одновременно у меня разворачивалась другая, интеллектуально гораздо более насыщенная жизнь в ИМЛИ (Институте мировой литературы АН СССР). Через В. Сквозникова меня пригласили участвовать в заседаниях Отдела комплексных теоретических проблем, где тогда работали С. Бочаров, Ю. Борев, В. Кожинов, П. Палиевский, Д. Урнов, А. В. Михайлов, С. Небольсин, руководителем был А. С. Мясников, заместителем Н. К. Гей, секретарем И. Ю. Подгаецкая и доброй и участливой секретаршей Галина Левинская. Я фактически проработал в этом секторе до 1978 г., еженедельно приходя на заседания, выступая, обсуждая, сочиняя статьи для коллективных трудов и т. д., не получая при этом ни копейки и не состоя в штате, но питаюсь надеждой на то, что откроется место в имлийской аспирантуре. Когда оно открылось, меня все равно срезали на одном из экзаменов: среди множества правильных ответов я неправильно назвал имя издателя журнала первой половины XIX в. «Русский европеец». И всех моих трудов и статей, опубликованных к тому времени в сборниках ИМЛИ и в лучшем литературоведческом журнале страны «Вопросы литературы», оказалось недостаточно, чтобы перевесить этот огрех в глазах замдиректора В. Р. Щербины и всей высокоученой и высокопартийной комиссии. Конечно, дело было не в «Русском европейце», а в нерусском, еврее. Но я бы работал в этом секторе, даже если бы мне пришлось доплачивать из своего кармана за участие в каждом заседании: все-таки там делалось главное литературоведение «второго мира», выше по профессиональной лестнице в нашей стране забраться было некуда (если, конечно, не считать лотмановской школы в Тарту).

Там же, в 1974 г., я впервые вошел в настоящее общение с Андреем Битовым, который в течение года-двух был приписан к Отделу как соискатель ученой филологической степени и посещал заседания. Кажется, в роли литературоведа я ему импонировал намного больше, чем в роли начинающего писателя. Он даже предложил мне стать его секретарем, но мне это было не с руки, поскольку от прозы я в то время уже ушел в науку.

Из дневника

15.9.74.

«Ближайшие годы я должен посвятить одному: выработке строгого, рациональнейшего научного стиля для решения гуманитарных проблем. Поставить методологию гуманитарных наук на ту высоту, которая отвечала бы высоте предмета, т. е. человека и человеческого. Говорят, что чем сложнее предмет, тем ниже степень развития и возможности науки; отсюда первенство естествознания и точных наук перед гуманитарными. Надо перевернуть эту зако-

номерность, поставить состояние и значение науки в прямую зависимость от значения и сложности ее предмета».

Ю

О науке я, разумеется, не помышлял. Моя университетско-академическая активность была вынужденной производной от задачи стать прозаиком. Этому я учился у моих авторитетов самостоятельно и всецело для себя. Филологией (новеллистика Бунина, Л. Н. Толстой и «текучесть образа», экзистенциальная тайна его «ухода»...) занимался лишь постольку, поскольку необходимо было поддерживать репутацию студента, не безразличного к предмету факультета. Диплома я не защитил и даже не дошел к нему «по семейным обстоятельствам», которые где-то на непредставимых мной тогда верхах под кодовым названием «Старая площадь» сочли несовместимым с моим дальнейшим пребыванием в стенах МГУ.

Тем не менее меня можно считать выпускником – и даже многократным. До того как на меня был наложен остракизм за связь с дочерью большого иностранного «Товарища», мне случилось написать три диплома, благополучно защищенных моими клиентами не только в МГУ, но и в Институте восточных языков. Больше того, я даже собирался с силами на кандидатскую по придуманной мной теме «Насилие и жестокость в испанской литературе». Почему я был дипломантом «под псевдонимом»? Нет. Не ради выживания, квартплаты и поддержки конспиративного образа жизни. Дабы утолить интеллектуальный голод. Конечно, не путем изысканий по таким темам, как индийская литература на урду, творчество Айтматова или Гоголь в западной критике (хотя тут как раз мне повезло прочесть по-французски книжку Набокова с носом на глянцевой обложке). Дело было в том, что даже в самые безденежные времена – других, собственно, и не было – гонорары брал я исключительно западными *покетбуками*, тем самым обслуживая свои писательско-читательские интересы и на свой подпольный манер преодолевая организованный системой «информационный дефицит».

Начальство

Э

С юности я не могу относиться к начальству по-человечески, все время чувствую чин, власть, должность, которые меня отчуждают. Причем это относится к любому начальнику, даже не моего ведомства. Знаю, что это нехорошо. Умом понимаю, что начальники тоже люди, что в них есть своя детскость, непосредственность, увлечения, заботы... Но то, что он власть, что я или другие от него зависят, вытесняет для меня все остальное. С любым начальником я чувствую скованность, натянутость – полнота общения невозможна. Наверно, это возникло в иерархизме советского общества, где мне приходилось чувствовать себя маленьким человеком, каковыми были и мои родители. Любой мог вытереть о нас ноги, и удивительно, что еще не каждый вытирал.

Ю

Но разве единственно возможное отношение к начальству не определяется тем, что «власть развращает»? Вопрос только в мере этой развращенности, в калибре начальников, этих больших и малых акул и калигул.

К счастью, такие мне не попадались. За исключением МГУ, где все начальство было сконцентрировано в образе инспектора курса, который в рабочих паузах читал итальянские книжки, тем самым подтверждая слухи о том, что сюда, на филфак, он брошен всемогущим ведомством после профпровала за рубежом. Эти его черные плоские глаза без блеска, как шторками наглухо задернутые... Контакт с ним я избегал.

А по месту работы в «Дружбе народов» начальником моим был главный редактор и детский писатель Сергей Баруздин. Либеральная линия журнала – всецело его заслуга. «ДН», отвечавший за внутрисоветский интернационализм, в стране был самым космополитичным «органом печати». По своим данным, включая русифицированную, но финскую фамилию, я Баруздину всецело подходил. В отличие от признанных писателей, ценивших свою жизнь, я был готов летать самолетами таджикской авиации, пересекать опасный перевал Чермозак и колесить на «КамАЗах» по кручам Нурекской ГЭС, этой «интернациональной стройки коммунизма». Там, в Таджикистане, было раз плюнуть от меня отделаться – если говорить о том «начальстве», которое держало нити моей судьбы. Но, видимо, такого пожелания высказано не было, и до поры до времени я оправдывал надежды Баруздина. Со своей стороны, он поддерживал и рекламировал меня как журналиста и прозаика. В газете «Комсомольская правда» он назвал меня самым застенчивым из начинающих, которых он видел. Но эта застенчивость не ввела его в заблуждение. Он чувствовал то, о чем однажды, когда я вернулся из первой поездки в страну капитала, сказал во дворике союзписательского комплекса: «За вами, Сергей Сергеевич, стоят Стра-а-шные Силы...»

Так оно и было, Сергей Алексеевич. Но Силы эти не оказывали мне поддержки. Только терпели. Вынужденно. В чем я убедился в номере «закрытой» гостиницы «Октябрьская» на арбатском переулке в тылах высотки МИДа, когда попал в поле зрения трех пар глаз самого высокого моего «начальства» в СССР, будучи ему, опять-таки вынужденно, поскольку там и тогда «случился», представлен моим испанским тестем. То были стратеги мирового коммунизма и фавориты Брежнева. Руководство Международного отдела ЦК КПСС Пономарев, Загладин и кто-то еще оставшийся безымянным – ражий дядька в темно-коричне-

вом костюме сталинского покроя и с весьма разбойной улыбкой. Незабываемый групповой взгляд с подножия кремлевского олимпа.

Этого Загладина (моя испанская теща с ним говорила по-французски и называла ласково «Вадим») я увидел года через три во Франции. Мой статус в мире изменился и удостоверен был Андроповым: антисоветчик. Роман был на выходе, голос звучал. И все произнесенное мной в подрывном эфире ложилось на стол Загладину в 5-м подъезде дома ЦК КПСС на Старой площади. Можно сказать, что был я банкометом в Большой игре против себя. Метал им карту. А Вадим Валентинович решал, как выгодней для дела коммунизма использовать «приход».

Но тот момент был вне игры. Я занимался не политикой, а обеспечивал «маленькую, но семью». По бульвару Поль-Вайан Кутурье пер продукты из супермаркета «Мамонт». Пересечение с рю Эглиз. Старинная улочка мелких лавок. Витрины их «лижут» трое с другой планеты. Тоталитарной. На солнце в застегнутых темных костюмах и при галстуках. Все крупногабаритные. Только двое характерно накачанных и напряженно готовых ко всему, а третий кабинетной бледности. Расслабленный. В глазах, скользящих по витринам, характерная смесь острого интереса, замаскированного спесью. Я сразу узнаю, а он...

Что ж, если и узнал, команду «фас» не отдал. Не вестник смерти. Тем более не «эскадрон». Мы с Ауророй решили, что этот вальяжный призрак коммунизма возник рядом с нашим домом, будучи по рабочим делам в Монрее. Как-никак столица парижского «красного пояса». Может, встречался в мэрии с Марше. Передавая «интернациональную солидарность». Из рук в руки. В долларах США.

Говоря ретроспективно, жаловаться на все это «начальство» не приходится. Тем более на американское, выпавшее мне на Liberty.

Я на стороне «системы противовесов». Того, что, как в Америке, сдерживает, кладет и охраняет пределы, внутри которых начальство допускают развращаться. Власть – это приглашение к активному аморализму. Что же говорить про власть абсолютную...

Тут уж одна надежда. На ее просвещенность.

Но где он, Король-Солнце?

А впрочем, и не нужен. Ты – царь.

Живи один.

Нежить

Э

С юности у меня возникло чувство, что со всех сторон нас окружает нежить. Помню, я ждал маму в коридоре ее издательства «Транспорт» и слышал, как в кабинете с открытой дверью один сотрудник яростным, свистящим шепотом говорил другому, державшему трубку телефона: «Меня нет! Нет меня!» Он был убедителен, ему нельзя было не поверить.

В таком же смысле не было и многого из того, что обладало видимостью. Не было профессоров, без всякой мысли сотрясавших воздух на лекциях и ставивших свои подписи в зачетках. Не было субстанции в курсах по политэкономии социализма и по научному коммунизму. Чем дальше, тем сильнее проступала вокруг гоголевская выморочность мира, как будто он только мерещился. Эти огромные проспекты, вроде Ленинского, бетонные коробки домов, магазины с широченными полупустыми прилавками, какая-то вечная пыль, серость, громоздкость, неустроенность, налет скуки, вторичности, лени, безвкусыя, лежавший на всех вещах, на площадях, на толпах... Казалось, мы родились в какой-то не вполне реальный мир, хотя у нас не было другого мира для сравнения, кроме того иллюзорного, что весело, уютно, живописно мелькало на экране, в западных фильмах.

Тогда же до нас дошло набоковское «Приглашение на казнь», где в развязке мир, казалось бы, незыблемо-беспощадный, вдруг тускнеет, как призрак, и рассыпается вокруг Цинцинната. Позже, на рубеже 1970-1980-х, стала циркулировать в самиздате «Роза Мира» Даниила Андреева. В некоторых мирах нисходящего ряда, вроде Скривнуса, я узнавал прообраз нашего советского, слегка сплюснутого, застроенного бараками, где люди бесконечно латают какую-то никому не нужную ветошь, пачкаются в мазуте, а их сны лишены сновидений, работа – творчества.

Не знаю, как точнее обозначить этот дух небытия, наползавший отовсюду, как едкий дым, все застилающий, наводящий тоску. Условно: нежить. Почему так обострилось это ощущение в поздней юности? Пока еще человек переполнен своим бытием, остающимся от детства, от запущенного на полный ход двигателя жизни, он этого не замечает; но чем больше он нуждается в притоке внешних сил, тем ощутимее и страшнее мертвость реальности. Постепенно я начинал догадываться, что именно этот дух небытия, подозрительный ко всему живому, злобный к любой личности и свободе, и есть основа нашего строя. Как будто перегородка, отделяющая земной мир от inferнального Скривнуса, особенно утончилась и обветшала в том месте, где располагались СССР и лагерь социализма.

Ю

Обозначить советский дух небытия как нежить, с одной стороны, правильно: как то, что не живет и не умирает, а пребывает в промежуточном состоянии. Вот только слово – досоветское. Вызывает представление об уютном и канувшем задолго до нас образе бытия, где водились домовые, лешие и прочая милая нечистая сила, которую вызывал Высоцкий в песнях на сказочно-фольклорные темы, которые мне у него меньше всего нравились.

В юности, бывало, прислонишься к киоску «Союзпечати», к торцу, из-за стекла которого глянут выгоревшие политиздатовские брошюры с речами на съездах или обложки журналов типа «Партийная жизнь», – какая же тоска отхватывала меня от вида этой нераспроданной и непроданной макулатуры, которую бедные киоскеры по невозможности от

этого освободиться откладывали на самые дальние фланги. И вот я, чего-то ждущий – трамвая, автобуса, троллейбуса, электрички, поезда, любимой, – подпирающий киоск сбоку и глядящий внутрь в таком ракурсе, куда никто в киоск не смотрит, подвергал свою душу живую этому омертвляющему виду, постигая в то же самое время смысл сартровского неологизма «неантизация». В самом грубом приближении, но мне достаточно: *сведение к небытию*. Меня. Тебя. Нас всех. Этого четвертьмиллиардного народа с эпитетом «советский». Я помню, как в редакции журнала «Дружба народов» смеялись над иллюстрированным журналом «КНДР», Ким Ир Сенем и идеологией чучхе. Там агрессивности, конечно, было больше. Но и нежить, о которой мы говорим, не сидела сложа руки. В попытке омертвить бросалась не только в глаза, куда ни обрати свой взгляд. Вливала яд свой в уши. Оскорбляла обоняние и осязание. Атаковала по всем азимутам, используя все органы чувств и саму нашу способность к восприятию как слабость своего заклятого врага – человека живого.

Своими глазами я не видел, как сходила нежить со страны в эпоху перестройки. Предполагаю, что процессуально. Не одновременно, как это случилось со мной, когда, оставив за спиной город, где нежить праздновала свой 60-й юбилей, я вышел в тотально живой Париж и для начала чисто визуально был потрясен отсутствием кумача.

Необъяснимое

Ю

Семейно-школьные и бытовые парадоксы, взаимоисключения, антагонизмы. Со всем этим я как-то справился к двадцати годам. Всегда мог воззвать к закону единства противоречий.

Но что знал я о мире, в котором обитал?

Дневник

5 мая 1966.

Минск.

Из записи под названием «Наедине, или Круг пессимизма»:

СЕМЕРО СЛЕПЫХ ощупывали слона. Если перевести на общечеловеческий язык их ощущения, то они могли бы заявить: а) слон – это хобот; б) слон – это хвост... и т. д. Вот, что такое плюрализм.

Так и мы, четверо слепых в семье, шесть тысяч в Союзе писателей, двести двадцать пять миллионов в России. А слон проносится, топчет, оглушает, он не ждет, стоя высоко, пока его оглаживают – разные части, – слон грохочет вкруговую, как по велотреку в Минске в парке имени Горького...

1 июня 1970.

Солнцево.

...Выписка из чтения: «Для человека, живущего в вероятностном мире... почти все ситуации обладают элементом необычного и непредвиденного, т. е. могут быть названы трудными. Как правило, людям приходится действовать в условиях резкого недостатка информации о действительности (основной источник «трудностей»). – П. В. Симонов, Что такое эмоция? М., «Наука», 1966.

* * *

Вид из холла 4-го этажа вызывал сиротское чувство брошенности и забытости.

Но тут я не о Боге.

5-й корпус фасадом выходил на пустырь, который за оврагом расстилался вплоть до насыпи Киевской желдороги на горизонте – путь в Переделкино и Венгрию. Справа неубранные декорации от давно прошедшей по экранам «Анны Карениной» – якобы дебаркадер вокзала в СПб. Натура была выбрана там, потому что пустырь пересекала однопутная, уводящая глаз в занимающую центр пустыря запретную зону за забором и воротами, где виднелись низкие крыши каких-то ли бункеров, то ли цехов. По ночам – и никогда при свете дня – туда приходили дрезины, лязгая на стыках рельсов. Они меня будили. Я лежал, сосредоточенный на этой тайне. Военной? Я подозревал, что там, в непосредственной близости от меня, работает на дело мира засекреченный подземный воензавод, производящий, допустим, бактериологическое оружие... А что, если взрыв? Случайный выброс? Контаминация?...

Что там было, никто из студентов не знал. Более того, интереса к виду за окном не проявлялось. Даже иностранцами. Смотрели и не видели. Если был расчет, то он с успехом оправдался. На виду у всех секретить производство. Чего?

Я так и не узнал. Но оттуда на меня тянуло страхами. И этого по *существу* вопросов, оставшихся безответными, было мне вполне достаточно. Тревога как метод познания.

Страхи преломлялись в сны, иногда они оказывались вещими. Состоятельными *гносеологически*. За два года до подавления Пражской весны снились, к примеру, образы военного вторжения в Чехословакию; должно быть, уже в старших классах волновался за судьбы «социализма с человеческим лицом»...

Дневник

23 марта 1968.

Утром приснился мне сон про Кафку. Ряд отдельных картин, будто бы преломленных радиопередачей. Но Кафка был художник и рисовал в стиле Кента. До этого мне снился класс мой. Учительница новая была зубной врач Булашевич. Словно бы сон про Кафку показывали мне в назидание – так я смотрел его. Это было при фашистах. Я помню его картину, через огромную гладкую белую – то ли скалу, то ли кита – перехлестывают две волны, одна на другой, причем волны походили на крылья – и с белыми перьями, вырастающими из холодно-зеленых, прозрачных, на зрителя. Во сне она произвела на меня большое впечатление. Я думал, однако, что Кафка – художник, а я писатель, у меня все иначе. Мелькнула щепка, изображающая мытарства художника: чтобы он мог дорисовать вышеописанную картину, и мужчина в смокинге, и женщина, мягкая, в чем-то атласном, прятали его за портьеру, вернее, они драпировали его, а он даже в это время не прекращал работу: выписывал правую сторону картины. Вся комната очень богатая, стены затянуты тканью. Мягко все. Из глубины дома виделась мне женщина в обтянутом, подрагивающая, как Эльза Кох, и с властным голосом.

* * *

Благодаря Кафке и Ясперсу я знал, что все вокруг меня есть мир тоталитарный. Максимум, на который можно в нем рассчитывать индивидууму, как я, – это обретение *лазейки*, убежища, коридорчика внутри массовидной плотности и твердой непроницаемости внешних тайн, сокровенный смысл которых, однако, был мне жутко ясен, сводясь к одному и тому же – умерщвлению меня.

Дневник

Из пропавшего в Москве (т. н. «Зеленой тетради», купленной в начале третьего курса в киоске, в фойе зоны «В»).

Четко помню оттуда запись сна, который приснился в сентябре 1969 в Главном здании. Как будто я народный писатель Югославии Иво Андрич – он был еще жив тогда, единственный их лауреат Нобелевской премии, седовласый мудрец, – возможно, в турецкой феске, косоворотке и овчинном жилете, иду своим садом, яблонево-вишневым, цветущим бело-розовым дымом, направляясь на звук жужжания, предположительно пчелино-медового, и вдруг оказываюсь над жуткой гекатомбой – вповалку лежат расстрелянные окровавленные люди, и стар и млад, детей включая. А зудят мухи.

Этот сон, возможно, отразил сверхчувственное восприятие в отношении «геопатогенных зон» Союза ССР, внезапное ощущение и даже убеждение, что точка, на которой ты находишься, есть место некоего преступления. Точка, отмеченная Злом.

С другой стороны, не могу не видеть в этом сновидении предвестие того, что произошло спустя двадцать лет при распаде «почти капиталистической», как уверяли нас, СФРЮ. Все эти христиано-мусульманские злодеяния, массовые расстрелы и прочее, столь потрясшее нас, полагавших, что Югославия – страна «почти демократическая».

Э

Необъяснимое, невысветляемое. Это нас окружало повсюду и придавало жизни в СССР, при всей ее прозаической пошлости и обыденности, какой-то мистический оттенок. Мистика была столь явно изгнана в дверь, что лезла во все окна, приходилось озираться, прислушиваться, всюду были тайные знаки. То ли мировой революции, то ли конца света, то ли очередного этапа классовой борьбы и коммунистического строительства. Все могло в один миг перемениться, ибо решалось не ходом вещей, но внезапной волей свыше. Огромное витало над нами, дух Утопии, который все время искал, во что воплотиться, кого утопить. Отсюда смесь зловещия и сладострастия: где-то убивали, где-то отдавались, все было запрещено, но тем самым и все позволено. Этот режим можно было ощущать кожей, как приближение в темноте чьих-то рук, готовых то ли ударить, то ли погладить, – все равно страшно.

См. БАБИЙ ЯР

Несчастье

Ю

Они обычно были «вероломны». Официально-утвержденный эпитет, характеризовавший модус нападения фашистской Германии на Советский Союз, который, получалось, изначально «верил» Гитлеру. Не то чтобы я верил в непрерывность «счастья», но повседневность нет-нет да и рвалась с эффектом полной внезапности. В результате оборачиваясь не то что счастьем, но чем-то небезынтересным с точки зрения познания реальности.

Одно из моих несчастий – не самое яркое – случилось на исходе первого курса. В столовой студгородка съел тарелку супа, наслаждаясь кусками рыбы из консервов, пришел к себе в корпус и...

Нижеследующее отчасти писано в бреду.

Дневник

26 мая 1968.

[Инфекционная клиническая больница № 2 на Соколиной Горе].

Палата 2, кровать 5.

С диагнозом пищевая интоксикация прибыл на сию койку, горшок № 5, 40 граммов глюкозы ввели в левую руку, медсестра ничего, есть не дают.

27-е.

Люди. Мужик.

– Нет, для больных – нет. Есть только для персонала.

Я это слышал, но он игнорирует и поворачивается ко мне:

– Для больных нет, только для персонов. Персоны какие-то. А что, эти персоны тоже здесь лежат? – спрашивает он у бабки-уборщицы...

Шоферы. Алкоголики. Старик – бухгалтер, видимо, в прошлом... весь в бородавках и волосах густых, со страшно одутловатой мягкостью лица и с пустым взглядом...

Болтуны.

Вчера перед сном разговоры о мусорах, обирающих шоферов, о драках, пакостных случаях, но о них рассказывалось с гордостью. О макаках («макаки-хуяки...»), вообще об обезьянах, о змеях, о раках. Мальчик с тяжелым малоосмысленным взглядом на соседней койке подверг сомнению, что раки едят мертвецов. Мне вспомнилось из Пушкина: *и в распухнувшее тело раки черные впились*. Но я этого не сказал.

Одну фразу повторяет до бессмысленности.

– Что есть, то есть, – например.

Раз пять скажет.

– Что есть, то есть... что есть, то есть...

Дурак старик.

Нельзя позволять себе быть небрежным ни в одной записи.

28, 29, 30, 31.

I am all right... зачем же... why do you... why do you cry... Will you....



Юра Токарев – после исключения и до восстановления на филфаке МГУ – в дивизии Дзержинского. Москва, Лефортово, 1971

Э

Из дневника

6.4.1974.

«Полное несчастье очищает, просветляет, толкает за предел себя – и ставит перед необходимостью новой жизни. Это радость, освобождение. Половинчатое же, раздумчивое несчастье – это груз, который нельзя скинуть с себя, потому что в нем – и половина надежды твоей, половина еще не утраченного довольства и покоя. С ним остаешься и начинаешь медленно загнивать...

Весь день я больной, глаза на мокром месте. Ходил в Донской монастырь. Служил сам патриарх Пимен. Хитроватый старик. Я долго стоял у порога, прижавшись лбом к стеклу, не заходя внутрь церкви. Бродил по прошлогодним листьям. Главная мысль: женская плоть свята, ее нужно любить религиозной любовью. Я преступил это – и был наказан нелюбовью, которая теперь возвращается ко мне томлением по уже навсегда потерянной душе».

Ю

А может быть, несчастье уже в отсутствии счастья, в том, что можно назвать как угодно, повседневностью, обыденностью, но счастьем – невозможно никак?

Помнишь, как поразил нас пронизывающе-точный образ подсоветского существования у Битова в «Саде»: *«бормотанье, прозябанье и нелепая дыра»*?

Главным несчастьем был Советский Союз.

О

Общежитие

Ю

Общежитие МГУ меня шокировало и завораживало. Тебя, «атомизированного» москвича, уединенно живущего согласно прописке, оно законно возбуждало. Помню твои появления – 5-й корпус, Главное здание. Вылазки в реальность. Портфель с шапкой в руке. Резкие движения. Целеустремленная обыченность, почти ленинская (*Телец! Телец!*), в коридорах, которыми мы шагали в поисках приключений.

Не курил, но выпить не отказывался никогда, и меня даже удивляла твоя компанейская готовность к испытанию организма любым покупным пойлом. Впрочем, ниже «Рябиновой горькой» мы, кажется, не опускались. Не до «Солнцедара», это точно.

Э

Впервые я попробовал спиртное только в 10-м классе, так что и на 1-м курсе еще продолжался медовый месяц моей новой алкогольной свободы. Общежитие для меня, домашнего мальчика, и в самом деле было веселым притоном. Я представлял, как там можно нагуляться, но жизни и учения в окружении постоянных соблазнов не представлял, а потому к твоей участи относился со смешанным чувством зависти-жалости. Образ общежития: распахнутые двери, кто-то напевает, кто-то с кем-то переругивается, кто-то сидит за учебником, заткнув уши, кто-то, голый по пояс и размахивая рубашкой, несется по коридору. Немножко похоже на Босха в смысле упорной партикулярности многих людей, собранных в одном месте, но занятых своим. Аутизм в аду.

Ю

Именно так я в 5-м корпусе, выстроив на столе полметра книг, намеченных к овладению, конспектировал Шопенгауэра и Фрейда – осмеиваемый соседями по комнате, парой нигерийцев, повесивших над своими койками свои портретные фототарелки и тыкающих в меня указательными пальцами. Причин улюлюканья решительно не понимая, я с горечью думал, что не далее как в 8-м классе хотел стать советским Швейцером, кончить мединститут и отправиться лечить этих лаокоонов, сбросивших цепи колониализма...

Одежда

Ю

Не помню, чтобы тебя выделяло что-то в этом смысле. Пытаясь вспомнить, вижу тебя в пиджаке, брюках, водолазке, свитерке. Колер темный – темно-серый, иногда бордовый или темно-зеленый. При этом не могу сказать, что ты сливался с массой, поскольку студенческая масса даже и в те типовые времена одевалась неоднобразно. Моя манера одеваться долго зависела от мамы, а мама (Петух по китайскому гороскопу, тем более с западноевропейским, пусть и трагическим, опытом) имела установку если не на «импорт», то на индпошив. Поэтому если даже одет я бывал не вполне суразно, то есть адекватно, то неизменно на свой собственный, неповторимый и невоспроизводимый манер.

В МГУ я поступил, будучи в темно-вишневых узконосых чешских ботинках, сшитых на заказ полосатых брюках, восхитивших (и мне только оставалось надеяться, что искренне) в момент знакомства Битова и Ингу Петкевич (коричнево-синяя чересполосица), и купленной за 4 года до этого в Риге рубашке, серой, в тонкую черную полосу, очень красивой, но синтетического волокна, внутри которого в июльско-августовский московский зной кожа дышала с трудом; но она была любимой, альтернативы я не видел, а если бы и усмотрел, то денег на другую не было. Дорого стоили рубашки – о чем странно вспоминать сегодня, в обществе даже не изобилия, а затоваренности.

Дневник

30 января 1968. 5-й корпус.

... Не могу найти начала. Одет: белые трусы, в красную обтягивающую соколку. Польские серые джинсы, рижская серая в черную частую полосу мягкая рубаха. Серый двубортный жилет стягивает бока. На ногах мягкие теплые носки, теплые тапки. А не пишется.

* * *

Сейчас у меня не менее дюжины джинсов, настоящих американских (что и в Америке сейчас приходится отыскивать), а тогда, как и все, конечно (кроме, наверное, тебя, но ты был уникам и в этом, тебя можно было обвинить, скорее, в низкопоклонстве *перед Россией* (впрочем, за эту форму антикоммунизма тоже давали срок), я о них только мечтал. Я мечтал о них с 12 лет, увидев впервые на прибалтийских юношах в Дзинтари. Но откуда было взяться в СССР «дениму»? Первое подобие джинсов мне сшила бабушка из черной саржи, которую только метафорически можно было назвать «чертовой кожей». Заклепок не было, но прострочила красным. Вторые мама – из брезента. Были подпоясаны армейским ремнем отчима. Мечта исполнилась только через 14 лет, в 1974-м, когда Аурора прислала мне из Парижа светло-голубые *Lee*. Я влез в них, затолкал нераспечатанную пачку «Житана» и отправился в ЦДЛ на встречу с Битовым – он тогда вызвался содействовать в публикации моего рассказа «По пути к дому» в ленинградской «Авроре»²³; единственный раз, когда Андрей Георгиевич попытался помочь своему «как бы» ученику.

²³ И даже прислал в Москву мне телеграмму, поздравляя с днем рождения и публикацией, которая в последний момент в «Авроре» сорвалась. Рассказ был напечатан в Москве, но не в журнале, а в книжке, изданной «Советским писателем» –

Э

Про одежду мне и в самом деле сказать нечего. Помню только, что костюмам всегда предпочитал джемпера и особенно свитера. В сочетании с бородой и длинными волосами, которые я отпустил с 1975 г., это было признаком как бы контркультуры или богемы, к которой я по сути не принадлежал. Так легче следить за собой: когда беспорядок входит в систему правил. Но иногда беспорядок вырывался за рамки системы, например, как-то я вышел на улицу с торчащей из-под свитера вешалкой. Кто-то из прохожих меня остановил и заботливо ее вынул. И еще несколько таких историй.



Миша. На югах. 1971

Одиночество

Э

По моему опыту, юность – это одиночество: более замаскированное, чем в отрочестве, но по сути даже более радикальное и болезненное. Оно только усугубляется кипением возрастной коллективной жизни, сменой компаний, тусовок, «движух» и других форм ложной социальности, которые быстро сходят на нет, поскольку у них еще нет прочной семейной или профессиональной основы. Подростку некуда от себя убежать, он в родительской семье и в самом себе. А в юности таких путей бегства от себя слишком много, но почти все они ведут в никуда, точнее, приводят обратно к себе, к своему неискоренимому одиночеству.

Ю

Дневник

5 июня 1966.

Минск.

«Наедине, или Круг пессимизма»

...Ибо даже высочайшие, хрустальнейшие, гордые выходили из той же парадной, и та же тяжелая дверь летела четырехугольником им вслед, и внутрь ли, или на улицу – в одиночество, в малолюдную ли, шумящую ли демонстрациями. Но и смешливые одиноки, только по-другому. Ведь все одиноки по-разному, масса людей – это масса одиночеств, и она, масса, подавляет тяжелее, чем когда человек наедине, а когда он наедине-то? В ванной, в ватерклозете на четверых плюс гости по праздникам? Он редко когда уединен, так как бежит уединенности, но скрыться от одиночества внутри он не в силах, равно как и полюбить его. Товарищ! Ты хочешь счастья? Бойся молчаливого, неулыбчатого, положительного. Он одинок, – закон одиночества всеобщ. Но он понимает свою отчужденность, и твою, товарищ. Он опасен!

Ведь ямщик на замерзшей Волге – это воплощение национального одиночества. Русские грустили в песнях не от худшей жизни, чем ныне, – от О. И от О. немцы качались спокон веку рядами тулов по скамьям... Посредством революций в частном плане я хочу прорваться в общность душ. Беда только в том, что люди, растягивающие на себе створки своих раковин, осуждаемы за попытку нарушить личную (свою) неприкосновенность, не подвиг ведь вывалить на обозрение блестящую, пышную слизь вместо рванувшего вверх полымем сердца Данко. Сейчас даже ранимые, сердечные сердца горят ровно, как пропан-бутан в венчике горелки, а те, в которых задута пламя, отравляют все вокруг, ибо некому, кроме хулигана, закрыть газ. Да и тому лет 20 светит в нарсуде какого-нибудь Фрунзенского района.

Ведь все на Земле и вне понимать – это не специальность, и в красной крови есть белые шарики, и что Онуфриев – дурак, это Виталий Петрович сказал и что Виталий Петрович – дурак, это я говорю, а что я дурак, это общеизвестно, потому что я выйду на Центральную площадь и скажу это вслух, и назавтра это известие разнесут по миру «нью-йорк таймсы», «правды» и «советские белоруссии», и Махендра будет скрывать это от своего темного, как ни взглянуть, непальского народа.

18 февраля 1969.

МГУ.

Стисни зубы и приучайся не жалеть себя в своем одиночестве. Нужно привыкнуть к тому, что ты всегда один на один с собой. Самое страшное – надоест себе.

Опыт

Э

Одно из главных мучений юности – приобретение наибольшего опыта с наименьшими потерями для души. Опыт ведь можно приобретать в самых грязных местах, посредством самых тоскливых экспериментов. Но при этом теряешь себя ровно в той же степени, в какой приобретаешь этот самый опыт.

Для меня это было большой проблемой: нужно ли заставлять себя делать то, что не хочется, ради приобретения опыта? Нужно ли знакомиться с неизвестными девушками, ходить в чужие компании, наращивать социальные связи, притворяться ловким, свойским, общительным – и при этом чувствовать себя одиноким?

Так я определял свою цель: приобретать опыт, не теряя души! Но постепенно понимал, что это почти так же сложно, как перейти реку, не замочив ног. Оставалось ходить по краю, по бережку, чтобы ноги замочить, но не утонуть. Этой осторожности, половинчатости я в себе не любил, но таким и приходилось мне себя принимать: нелюбимым.

Ю

А мне хотелось другого опыта, чем тот, к умножению которого меня приговорили. В Минске по пути из школы я говорил другу, который это запомнил: «Представим себе наших сверстников в Детройте...»

Дневник

2 мая 1966.

Минск.

...О главном:

1). Не делать того, против чего голосует что-то в тебе. Потому что этот голос, я чувствую, обладает правом вето. Против него нельзя идти, и ломать его нельзя.

2) Отбросить, как отжившие, мысли о том, что нужно знать многообразие жизни. – Нужно знать себя, несущего ее в себе, изучить свою сердцевину, суть и соль, и смысл себя как не собственно себя, а как человека рядового, нагого человека, но прикрытого фиговым листком нашего времени...

3) Ни в коем случае не употреблять шаблон!

...Итак, *первое* правило – «голоса».

Отъезд

Ю

8 ноября 1977. Белорусский вокзал. Вагон «Москва-Париж».

Ты, Толя Курчаткин, П*** и З***. Никого больше в этот черно-мокрый вечер после праздника на перроне не было. О том, что я не вернусь, определенно знал только ты, и с твоей стороны эти проводы потенциального государственного преступника были безумно отважным поступком. Неужели не помнишь? Последнее объятие перед вечностью?

Э

Вспомнил – и как мы возвращались грустные, словно осиротевшие, потому что не только ты на Запад уехал, это Запад от нас уехал вместе с тобой.

Ю

Нашел фрагмент текста, написанного в Париже в конце 70-х в полной уверенности, что разлука – навсегда:

«Я уезжал из СССР сразу после самого большого праздника всего прогрессивного человечества – 60-летия Октября. Был паршивый ноябрьский вечер, тротуары слезились, и по всей Москве, полутемной и сырой, от фонаря к фонарю, от дома к дому, стреляли мокрые флаги, и не красные, а черные – погребальные.

Я уезжал ни с чем, оставляя в Москве недавно полученную двухкомнатную квартиру с видом на Музей Советской армии, то есть в центре, с мебелью и библиотекой, и с открыткой, полученной с утра, которой моя мама поздравляла меня с вышеупомянутым праздником... в общем, я бросал все, все пожитки, эвакуируя самое ценное – жизнь, которая дается только раз. Впрочем, у меня был чемодан, а в нем – нераспечатанная еще пачка экземпляров моей первой и – но об этом знал я один – последней книжки, вышедшей в этой стране. Свидетельство того, что 29 лет здесь я провел не совсем впустую.

На Белорусском вокзале меня провожали пятеро *[на самом деле – четверо]* мужчин. Они были друг с другом не знакомы, эти пятеро моих московских знакомцев, внезапно и с неудовольствием собравшихся вместе. Кто они были? Погибающий алкаш-работяга, преуспевающий подпольный делец, ученый из засекреченного «ящика» *[имелся в виду Р***, которого в реальности на вокзале не было]*, официальный писатель, мой коллега, и теолог, мыслитель, которого я считал гениальным, – подпольный, как и делец...

Они стояли передо мной полуколыцлом, принужденно соприкасаясь плечами друг с другом, потому что любили меня, а я любил их – а фоном для моих сокровенных друзей был огромный портрет Генерального секретаря, глянцевице переливающийся багровыми бликами в свете вокзальных огней.

На этом фоне они и остались в моей памяти.

Экспресс «Ост – Вест» выехал из Москвы точно по расписанию в 20.31 по местному времени».

Э

С Толей Курчаткиным мы сблизились позже, особенно после моих приездов в Москву уже из Америки. Мне с ним легко, как редко бывает. С остальными я не был знаком. Удивительно, что ты меня называешь теологом. Я таковым себя всегда ощущал, но ни в то время, ни потом так себя не идентифицировал, да и прямых текстов на эту тему производил сравнительно мало. Главная мысль – о теологии единичного, о том, что всякая личность и даже вещь абсолютно единичны, а значит, богоподобны. Быть Одним – предикат Бога. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь – один!»

См. РЕЛИГИЯ

П

Паломничество

Ю

Поскольку это форма немой клятвы, подтверждающей верность призванию, необходимо, по-моему, перечислить все «святые места», к которым мы в юности дали себе труд проложить дорогу. В первую очередь это все связанное с двубожием Толстой/Достоевский: Ясная Поляна, куда зимой мы, помнишь, ездили в составе: ты, я, Хачатурен, Таня Г. Дом в Хамовниках... музей-квартира ФМД в Москве на Божедомке, в Питере у Кузнецкого рынка... Старая Русса.



Припадая к священным камням. Мост Кокушкин

Дом Пушкина на Мойке. Музей-квартира Некрасова на Литейном. В ранней, еще поэтической юности – Блок, о котором стихи Евтушенко: «Когда я думаю о Блоке, когда тоскую по нему, то вспоминаю я не строки, а мост, Фонтанку и Неву...»

Два места в Белорусси: Янка Купала, музей-изба на станции Вязынка, и Элиза Ожешко, Гродно: мальчиком чтил ее восточноевропейский писательский облик, чопорно-учительский. Из советских – музей Николая Островского в Сочи, куда привела меня мама еще 8-летним (и я запомнил фотографию «Французские писатели в гостях у Н. Островского», особо выделил для себя, как бы на будущее, яйцевидно-лысое чело Андре Жида). Могила Пастернака в Переделкино. Ну и, конечно, захаживал во дворик Литинститута на Тверском бульваре – чтобы представить, как дворничал Андрей Платонов.

Дневник

7 апреля 1968.

Переделкино.

1) Не забыть написать сегодняшний сон.

2) 10.II.1890

30. V.1960

Хороший вид с могилы Пастернака. Скамья хорошая. Шум по левое ухо.

3) Ручей. Поле. Вид со склона. Я сижу сейчас на склоне. Трава сухая, неживая еще. Нехолодно дует ветер. Смотрю прямо и вижу вид: внизу близко краткий изгиб ручья. Больше нигде его не видно, но его гибкий путь обозначен частыми стволами ольхи. Дальше часть картофельного поля, грязно-зеленое, оно срезает нижнюю часть длинного дома, видны его лишь второй этаж и крыша с глуховатыми окошками; это далеко. Правее ярко-темная зелень сосен, их статика. Почти отвесный, длинный скат буро-красной крыши, стена закрыта нежной, серебристо-сиреневой массой верхушек ольхового высокого кустарника. Вдоль забора за редкой стеной ольхи видны длинные, с извилистыми краями полосы снега.

Э

Я тоже любил и люблю музеи великих личностей, и их посещение, как правило, наполняется для меня паломническим пиететом и экстазом. Стараюсь пережить на эмоциональном пределе все, что знаю о них, именно через контакт с вещами и окружением: «вчувствую» в них прочитанное, вчувствую «Войну и мир» в этот вот дом, шкаф, перо, бумагу. То, что это было *здесь*, меня сверхнапрягает, из этого опыта родились понятия «местомиг» и «местосила». Одно из самых сильных мест – Ясная Поляна, где мы с тобой побывали зимой 1967/68. Особенно выделяются для меня стол, где работал великий, и кровать, где он спал. В созерцании этих мест духовного подъема и телесного опускания я могу замирать надолго.

Папа

Э

Папа остается для меня загадкой. Он умер, когда мне было 19 лет, и я так и не понял вполне, что было центром и нервом его существования. Может быть, это был я.

Может быть, работа, которой он отдавался с преданностью героев Гоголя и Достоевского... Работал он бухгалтером в исполкоме Октябрьского района Москвы, и ничего милее бумаг и счетов для него не было. Он работал по 12–14 часов в день, а уже в возрасте около 60 лет, незадолго до смерти, закончил курсы повышения бухгалтерской квалификации – не для повышения зарплаты, которая оставалась мизерной (800 старыми, 80 новыми после 1961 г.), а ради жгучего интереса и преданности делу. Он оставался на работе допоздна, а на выходные брал ее на дом. Был застенчив и терпеть не мог хлопотать у начальства по личным вопросам, даже таким кровно важным, как получение квартиры от райисполкома (после сорока лет беспорочной службы, включая службу в армии с 1941 по 1948 г.). Внук раввина, он в отрочестве испытывал большой интерес к религии и собирался поступить в ешиву, но в том возрасте, когда я его узнал, от этих устремлений уже ничего не осталось, и все мои попытки разговорить его на какие-либо религиозные или вообще высокие, умные темы заканчивались ничем. Он очень заботился обо мне и о маме, очень любил свою младшую сестру и ее семью и плакал, когда у тети Сони в 50 лет обнаружился рак груди; но все обошлось, и она пережила старшего брата на 35 лет. Слава богу, ему не пришлось пережить смерть любимого племянника Эдика, который скончался от рака всего на несколько месяцев позже, в 36 лет.



Эпштейн Наум Моисеевич. 31.5.1907—26.10.1969. Фото военных лет

Папа был женат на маме вторым браком, но первый, предвоенный, был коротким и неудачным – жена была, по рассказам тети, сварливая, безголовая и ухитрилась простудить на балконе их сына Семена, который умер в младенчестве. Осталась его фотография с высо-

ким лбом и закрытыми глазами, то ли спящего, то ли мертвого. Прожив вместе около года, супруги расстались. С мамой папа познакомился у их общих родственников Хейфецев, они оба были уже не первой молодости: ему 39, ей 32. Я родился через 4 года.

В детстве папа водил меня гулять по Дубровке, на Крестьянскую заставу, где по праздничным дням раскидывались ярмарки и торговали яркими игрушками; рассказывал о своих командировках в Сибирь, где видел бурундуков, и привозил мне в подарок кедровые шишки. Позже я с ним ездил в дома отдыха, где мы гуляли, играли в шахматы, завтракали, обедали и ужинали. В юношеском возрасте, когда я уже учился в университете, его бытие, лишённое романтики и обобщений, вызывало во мне некоторое раздражение, особенно когда я слышал шум его физической жизни: приходя с работы, он звенел на кухне посудой, пил чай, позвякивая ложечкой. Он почти никогда не болел, но непрерывно курил, и в августе 1969 г. почувствовал вдруг впервые в жизни усталость, поехал в дом отдыха, но вернулся еще более усталым и в октябре умер от рака легких. Перед смертью он бредил бухгалтерскими делами, кому-то что-то поручал, о чем-то просил. «Пойдем на работу! Когда же мы пойдем туда? Как мне пройти на работу? Проведите меня. Покажите мне дорогу!» – такими мне запомнились его последние фразы, уже в бреду.



Миша с папой. Дворик на Дубровке, 1953

Мне казалось, что он не слишком хорошо знал, что делать с собой в этом мире, – и только когда садился за работу, успокаивался и жизнь приобретала ясный смысл. Это свойство магнитной стрелки – всегда поворачиваться в сторону работы – он передал и мне. Кроме того, он много ездил по магазинам, стоял в очередях, был, что называется, прекрасный семьянин, преданный отец, муж, брат, дядя, старался быть всегда и во всем нужным. Но в этом была чуточка рассеянности, а полную сосредоточенность он находил в работе. Он не

любил ходить в гости, у него не было друзей (помимо родственников). Когда у него возникало несколько свободных часов, он шел к себе на службу или раскладывал счета и бумаги на кухонном столе. Подозреваю, что он был гениальный бухгалтер. Его высоко ценили в районе, причем, как говорила мама, он не только составлял балансы и отчеты, но и планировал финансовые и деловые операции. При этом он был безукоризненно честен, за всю жизнь не присвоил и не задолжал ни одной копейки. Я унаследовал от отца его склад профессионала: ни в чем, кроме работы, я не могу чувствовать себя так легко и свободно.



Папа в конце 1930-х

Но самое главное, за что можно было его ценить, особенно мне, единственному сыну пожилого отца, – он никогда ничего не навязывал, не подталкивал, не учил жить, не выстраивал для меня правильную линию поведения. Из деликатности он не входил в мои помыслы и намерения. Заботясь и поддерживая во всем, он оставался слегка в стороне, как будто предоставляя мне пространство для свободного маневра. Он выполнял свой отцовский долг и не предъявлял никаких отцовских прав. Надеюсь, что и это я бессознательно усвоил от него: держаться чуть-чуть на расстоянии от близких, на заслонять собой просвета.

Смысл этого существования стал проявляться для меня годы спустя. Вот что я записал в своем дневнике на 7-летие его смерти, 26.X.1976.:

«Я собирался провести этот день в молчании и неделании – так потянуло меня, когда я был на его могиле. Но потом вышли и разговоры, и даже смех. Однако я думаю о нем и чувствую более живым, чем раньше. Там, на Востряковском кладбище, он как бы проник в меня на мгновение, и я понял его жизнь. Ток времени медленно нес его через годы, и он не пытался бороться с ним, остановить его. Он прислушивался к ровному струению этих вод и не хотел кричать, чтобы его голос прорвался сквозь их усыпляющий рокот. Для кого и зачем? Мой отец был слух и согласие – не слишком даже внимательное и настойчивое, но приемлющее все тихим кивком, как бы плавным очертанием очередной волны. Он понимал, не усиливаясь, и не огорчался, не понимая. Я сердился на него за это безмолвствование, удержание себя в потоке, – теперь же все больше люблю именно это непорывание, невыступление. Существование отца ни на миг не расходилось с сущностью жизни – ни в комическую, ни в трагическую сторону, оно было спокойно и достойно; прожить лучше жизнь нельзя – можно только полезнее ее употребить, глубже обдумать. Но это уже не сама жизнь, а подчинение ее требованиям воли и мысли».

Ю

С отцом, погибшим за неделю до моего рождения, отношения, что и понятно, запредельные. Папа, как ты говоришь, – это постоянно присутствующее отсутствие. То, что не дает забыть о реальности иного мира: *о тонком плане*.

Бабушка и дедушка меня принуждали его любить, у них был культ их сына, которому я противился, несмотря на то что иногда влезал в старинный зеркальный шкаф и заворачивался в его простреленную двумя выстрелами в спину шинель, в сукно которой впиталась обесцвеченная кровь.



Сергей Александрович Юрьенен (Петроград, 1919 – Франкфурт-на-Одере, 1948)

Кто был мой папа?

Он был из поколения ифлийцев, Когана, Кульчицкого – сокрушался, что из-за института не смог пойти на финскую «Зимнюю войну». И это будучи финном поболее меня, разбавленного австро-венгерским дедом.

Ленинградский институт водного транспорта он окончил перед самой войной.

СССР
НКО-НКРФ
Управление Водных Путей Сообщения
ЦУпВОСО КА и НКРФ
13 августа 1945
Гор. Берлин

Служебное удостоверение

Предъявитель сего Военный комендант водного района и порта Магдебург мл. лейтенант Юрьенен является полномочным представителем Управления водных путей сообщения ЦУпВОСО и НКРФ.

На основании положения о военном коменданте на водном транспорте и решении ГОКО ему дано право:

- а) Выявлять все средства водного транспорта (флот самоходный и несамоходный), брать на учет и приводить в эксплуатационную готовность;
- б) Выявлять топливные ресурсы и брать их на учет для эксплуатационных нужд водного транспорта;
- в) Выявлять все прочие материальные ценности и находящиеся на территории водного района, в полосе отчуждения в порту Магдебург, брать их на учет и обеспечить сохранность;
- г) Проверять судоходность пути, габаритов, проходов под мостами и прочие гидротехнические сооружения;
- д) Принимать неотложные мероприятия против всякого рода нарушений приказов НКО и командования Красной армии.

Всех командиров соединений, частей и учреждений Красной армии прошу оказывать должное содействие Военному коменданту водного района и порта Магдебург при его обращении за помощью.

Действительно при предъявлении удостоверения личности.

Начальник Управления Водных Путей сообщений ЦУпВОСО и НКР *Лукьянов*

* * *

Из Магдебурга на Эльбе перебросили во Франкфурт-на-Одере. Занимался тем же самым.

Избранный делегатом от Франкфуртского военного округа, он на ночь глядя поехал в Берлин на партконференцию СВАГ. На выезде из Франкфурта-на-Одере контрольно-пропускной пункт – видимо, без шлагбаума. Машина с отцом проехала мимо КПП, не остановившись. Часовой открыл стрельбу вдогонку. Не из автомата. Из винтовки. Две пули попали в отца, который находился на заднем сиденье. Говорят, что должен был сидеть рядом с шофером, но, по-моему, вполне простительно после рабочего дня.

Войсковая часть

Полевая почта 28965
16 января 1948
№ 161/3

Справка

Техник-лейтенант Юрьенен Сергей Александрович 1919 года рождения поступил в в/ч 28965 на излечение 10 января 1948 года из войсковой части полевая почта № 30584 по поводу ранения.

Умер в части 14 января 1948 года.

ДИАГНОЗ: слепое пулевое ранение проникающее в брюшную полость с повреждением печени, 12-ти перстной кишки и поджелудочной железы и слепое осколочное ранение мягких тканей в области локтевого сустава.

Зам командира в/ч *Подполковник Божко*

На полях:

т. Аскинази

Сообщить родителям – родным Юрьенена.

21.1.48

Приказ

Уполномоченного Транспортного Управления СВАГ

при Берлинской дирекции ВПС

16 января 1948 г.

г. БЕРЛИН

Уполномоченного Водного района Франкфурт/О техника-лейтенанта Юрьенена Сергея Александровича считать погибшим при исполнении служебных обязанностей и исключить из списков Советской Военной администрации в Германии.

Уполномоченный транспортного управления СВАГ

при Берлинской дирекции ВПС

гвардии полковник Дубровский

Письмо, полученное в Ленинграде дедушкой:

4 февраля 1948 г.

Уважаемый тов. Юрьенен А. В.

Ваш сын Юрьенен Сергей Александрович умер в госпитале от ранения 14.1.1948 года. 10.1.1948 г. Сергей Александрович был доставлен в госпиталь на излечение, где ему была произведена операция.

После операции Сергей Александрович чувствовал себя хорошо, но неожиданно самочувствие его ухудшилось, и на 4-й день он скончался.

Смерть Сергея Александровича – тяжелая утрата для командования и всего личного состава.

Скромным в быту, честным и добросовестным в работе, таким знал весь личный состав незабвенного товарища и друга тов. Юрьенена.

В лице Сергея Александровича мы потеряли лучшего специалиста и работника.

Командование и личный состав части вместе с Вами скорбит о тяжелой утрате Вашего сына, нашего товарища и друга.

Воспоминания о нем всегда оставляют самые лучшие впечатления у каждого из нас.

Командование части взяло на себя устройство похорон, а также заботу о благополучии его семьи.

17.1.48 гроб с телом был доставлен в часть, и после отдачи последнего долга своему товарищу и другу- в крематорий.

Урна с прахом Сергея Александровича доставлена его жене, где и хранится.

Командование части приложит все усилия, чтобы должным образом позаботиться о судьбе его жены и сына.

С глубоким уважением
командир войсковой части полевая почта...
гвардии полковник *Дубровский*

* * *

Этот бедный Дубровский всегда меня сбивал на Пушкина, в честь которого отец планировал мое несостоявшееся имя...

* * *

Шофер остался жив. Вину возложил на покойного лейтенанта, который якобы велел ему игнорировать приказ остановиться. Но не предупредительный же выстрел? А он был дан, согласно показаниям часового, который решил предотвратить очередной побег совофцера к бывшим союзникам. Почему иначе не остановился? Во всяком случае, действовал часовой согласно инструктажу. Это его мой дедушка и перед смертью готов был резать на китайский манер. Может быть, отец спал, а шофер сам решил проскочить и разогнался так, что после выстрела в воздух не успел остановить? Так или иначе, но разбирательство никого не обвинило, включая отца, которого сочли трагически погибшим не по собственной его вине, а «при исполнении».

Вот фотография, которая от меня скрывалась в детстве.



Берлин. Январь 1948

А ниже формы посмертного существования моего папы, как это виделось мне в 18 лет (первый набросок утраченного, к сожалению, хайлайта юности – рассказа «Свои мертвецы»):

«Сегодня на лестнице, и это было ему неприятно... Мама с Натальей прошли мимо, разговаривая о чем-то косметическом, а бабушка задержалась с какой-то старухой. «А это мой Алеша», – посреди разговора сказала вдруг бабушка, и старуха посмотрела снизу вверх. Ее голова доброжелательно тряслась. Алеша нахмурился. «Да, – сказала старуха, – а я ведь помню, как он позвонит в нашу дверь, а сам затаится этажом выше. Только это когда было... еще войны не было. А это, что пошла, супруга, значит, будет?» – «Да нет, – усмехнулась бабушка. – Это внук мой, сын моего Алеша». – «Да, – кивала старушонка, – да. Вот ведь, – соображала она, – и не отличить. Так это внучек ваш. Надо же, как две капли. Ну надо же...» и т. д. Это он слышал с самого детства, надоело, приходили гости, ставили его...

Гости, знавшие его отца.

Фотографии.

Вещи: шинель, фуражка. Подчеркивали, что погиб при исполнении служебных обязанностей.

Как все это воздействовало на Алешу, как он стал применяться к поведению старух и к какой фальши это приводило.

Где была правда?

Раз он спросил у деда, а если бы тебе попался тот солдат, который выстрелил в отца, что бы ты с ним сделал, – и испугался, что спросил. Потому что дед забился, завизжал и страшно говорил, что изрезал бы его на куски, ножницами, и заплакал, заплакал, встал из-за стола, лег лицом в подушку. Алеша подскочил к нему. Его потрясла эта ненависть. «Мы еще поживем, говорил он, – трясся дед, вспоминая, – уезжал в Германию, говорил: мы еще поживем...» И плакал, плакал.

А потом дед умер. Глазами мальчика описать.
Пересказ матери – представил...
И его вдруг потрясла идея *исчезновения человека*».

* * *

Поскольку человек исчез, ставили на ноги и вели меня по жизни другие отцовские фигуры. В первую очередь – третий муж мамы, отчим-сибиряк, ветеран войны, участник обороны Москвы и Сталинграда, добравшийся с одной лишь осколочной царапиной не то чтобы до Вены, но и до самого Мюнхена (откуда мне предстояло подрывать все то, что он защищал), преподаватель Белорусского политехнического института, полковник инженерных войск Арефьев Алексей Павлович. До поры до времени называл его папой.

Дневник

1964.

Когда отец выпивал, он замечал детали: культуризм, Маяковский, вымя, дверь, кошка, бычий хвост...

«Да-а. Как вспомнишь войну, – не дай бог... Так это: в ноябре подохла, а в апреле мы ее из-под снега достали. Передняя часть разложилась, а задняя ничего. Нарубили по фунту на брата, а мясо красное такое. И в котел. Только пену щепкой снимаешь. А ты как думал?...»

[Когда мама оставляла нас наедине, возникала гармония.]

– Слышь, что Петина бабушка говорит, папа. Слышь, папа? Вообще-то, конечно, ерунда... Папа, дай время.

– 9.

– Время дано... Папа? Включи радио.

– Ай. Буду я ходить босиком туда.

– Концерт передают какой-нибудь. По заявкам.

– А!

– Собственно говоря, для меня ничего интересного передать не могут. И нового. «Тишина» уже стала избитой вещью. Скажи?

– Завтра поеду куплю продуктов... Я хочу почитать немного Хема.

Адье, Сергей Юрьенен.

1965. 5 декабря.

День Конституции СССР

[5 лет назад в этот день чудом остался живым, почему и совершил нижеследующую запись].

...Утром за напряженным, как всегда, обеденным столом отец:

– Потому что говно молодежь пошла.

Я спокойно намазывал хлеб на масло (так в оригинале. – Ю.), и рука не дрожала.

– Все мечутся, а ничего сделать не могут.

– Тебе поллитра покажут, так ты и выскочишь, – мать из постели.

Отец (воплощение сурового мужества). – Только и остается – напиваться. – Идет по коридору.

Мать:

– А патриотизм? – С насмешкой, потому что он говорил о молодежи.

Отец:

- Мы сделали, что от нас требовалось.
- А семья? А жена?
- Я не один в семье живу.

1966, 10 июня.

10.19

Вечером за чаем рассказы отца о попе:

1905 год, речь в церкви, Синод. Царь Ирод; село Мерешинка, кумачовая рубаха, землепашец, драка с кузнецом (бадя, ведро воды в него), лошадь кулаком убил; выпивал крепко. Сын один комиссар, другой казачий есаул; дома в избе он, сын-есаул, полковник; обвинения в том, что Россию продали Антихристу, сами же в Китай; убил полковника ударом в переносье; адъютант застрелил при сыне; белые ушли; старший сын хоронил его (комиссар), он простил отца...

О хозяине и работнике:

Мост строил, хозяин поспорил, что работник не пронесет 100 шагов бабу; на хутор, в волости закрепили; пронес, бросил слева от церкви метров триста: отдал хозяин ему хутор.

О кузнеце:

Кузнец обиделся и сломал подкову ледащего мужика и не подковал его лошадь.

* * *

Отчим любил и силу, и насилие, но на моей памяти к нему никогда не переходил. Только рассказывал о том, как «трансгрессировал» в прошлом – на войне или в послевоенном бандитском Ленинграде, где одним ударом выбросил хулигана с трамвайной площадки под аплодисменты интеллигентных старушек.

Однажды рассказал о том, как в 41-м под Москвой немцы взяли их врасплох. Как Чапаев, в одной нательной рубахе, отчим строчил из «Максима», потом ему бросили полушубок, и он залег с винтовкой и «перележал» их снайпера. Он все время говорил, что не стоило подходить к убитому. «Красивый парень!..» Снял с него трофей, эсэсовский кинжал с девизом «Звать меня Честь». Немцы оказались финнами, хотя и эсэсовцами. «Ваффен СС» – но финны. Я, конечно, не возражал, на войне как на войне, но все же предпочел бы, чтобы убитый им эсэсовец оказался немцем...



Алексей Павлович Арефьев, 1921–1994

Если говорить об отце не биологическом и не компенсаторном, то Папа мой был обретен моими собственными усилиями к 11–12 годам. Это – «Эрнест Хемингуэй. Избранное». В 2-х томах.

Отчим любил «Хема» тоже. Но не настолько, чтобы умереть с ним на груди, как в Париже Виктор Платонович Некрасов (еще один «фронтовик», которого я знал). Джек Лондон – вот этого калифорнийца он постоянно перечитывал, Аляской утоляя ностальгию по «белому безмолвию» Сибири.

Переделкино

Ю

Паломничество к могиле Пастернака. Конец первого курса. Снова увидел Евтушенко (первый раз на похоронах Эренбурга) – у белой «Волги» с двумя тридцатилетними дамами из «высшего общества».

Во второй раз – в конце второго курса – отправился в Переделкино с целью убийства. Преднамеренного. Это все неожиданно произошло, после сессии лежал, читал *Lady Chatterley's Lover*. Посмеивался над озабоченной суетой соседа-рижанина, который перед своими безрезультатными прогулками на Ленгоры заранее накачивал презерватив, а по моему совету, стал по два.

Вдруг плач в коридоре.

Полячка Эльжбета слыла роковой. На ее счету уже был один свихнувшийся юноша, увезенный на самолете родителями в родной Ереван. Так вот, у нее украли портмоне. Не на что возвращаться в Варшаву на каникулы. Пошел, снял все, что накопил за первый и самый успешный год (экономия, азартные игры). Упрашивал взять. Отказывалась. В результате объятия, поцелуи. Она устроилась без моих денег, благодаря связям отца – как оказалось, видного польского гэбэшника... Как? Безумная любовь тут же обратилась в безумие ненависти. На столе валялся нож, которым резали хлеб. Я взял его и вышел в ночь. Доехал до Киевского, сел в электричку...

Соперник – ректор Литинститута, специалист по польско-советским связям. Лет 50. (Эти девушки с патерналистским комплексом, либидоносность которого я тогда отказывался понимать, сводили меня в юности с ума!)

Не убил. Никто из дачи той не вышел. Ограничился мелким хулиганством. Разбил окна на террасе, исписал дорожку красным кирпичом, метровым криком на мертвом языке: «*Te amo!*»

И наутро, проснувшись от жаркого луча в Пятом корпусе, изумился себе – настолько был уже свободен от этой совершенно случайной «любви».

Вот мой, если угодно, «Солнечный удар». Чистое безумие.

Писательство

Ю

Дневник

16 лет

10 мая 1964.

Минск.

Или: о чем никто не писал, или о чем писали, но надо во всем видеть то, что ты в этом видишь. Например, луна. Луна показалась. Скрылась. Как рыбка, блеснула и ушла в глубину.

12 мая 1964.

Он был ничего, только слегка задумчив. Он часто задумывался.

Когда ты уже прожил немного и твоя речь засорена, и уже она не твоя, ты стал, как другие. Если бы мне кучу новых слов, новых, как деревья после дождя!

Микромир. Когда смотришь в траву; и так только один раз. Не повторяется такое. Муравей поволок травинку. Как бревно на 1-м Коммунистическом субботнике. Интересно, у муравьев какое классовое сознание...

Как можно добиться, чтобы рассказ зазвучал. Такого ни у кого не было.

а) Звукопись, фонетическая... Не «звук льющейся воды», а «слышно было, как льется вода на кафель». Не «звук», а «слышно». Аналогичные рассуждения я записывал в Саки [осенью 1963-го]: насчет лесопилки и поездов. Но: пила уже есть в «Идиллии» [рассказ «Альпийская идиллия»] Хемингуэя...

1) Передача вещи через другую, посредством другой, а иногда и совокупностью других. Через речь, например...

2) Взрывы ярких красок, созвучий, ассоциаций в тихом, намеренно замедленном повествовании. Хоть и несвязных.

3) Отбор наиболее точной детали: не в портрете, а различных ситуациях «на природе», в диалоге.

4) *Глаголы* придают движение фразе. Записываем неизбитые глаголы или знакомые глаголы в необычных поворотах.

5 мая 1966.

Минск.

Состояние раздражения. Бросил книгу на пол, испугался, когда упала. Где-то внутри любовался и наслаждался бешенством. Однако – задело. Невозможно жить с близкими вследствие их пристрастности. Слишком долго я обманывался, считал, что любовь к иным людям равнозначна всепрощению, подчиненности или опеке. Все тебе судьи, но ты – один в мире, и никто не может приблизиться к тебе, ибо природа такова, что чем больше сближаем – тем сильнее чувство отталкивания. Да и кому, честно говоря, важен ты, твое я? Лишь бы жилось хорошо твоему телу, лишь бы тело было обеспечено и имело специальность. Какого же смысла слушаться? Если это послушание – подавление телом «Я», глубочайшего и сокровеннейшего! Надо самому, исключая любые советы опытных, то есть подавленных жизнью,

обтершихся, отвергая их, надо начать идти только своей тропой, сколько б ни отличалась она от навязанного и принятого. Только своей тропой идти.

Почему? Как? Зачем?

Почему? Писательство. Писать зачем? Чтобы учить людей, воздействовать на умы посредством художественного произведения. Тогда это – один лишь из способов пропаганды. Или – приносить наслаждение людям? Слияние этого? Хемингуэй писал, что его задача – писать как можно лучше. Зачем? Очевидно, прочнее (да он так и говорил, помню) закрепляются в сознании людей вещи, о которых он говорит. Прочнее закреплять...

Все – мура. Зачем определять задачи, когда никто не может ответить, зачем мы рождены, зачем мир. Да, собственно, зачем он существует. Так уж повелось, и это в порядке вещей...

Творчество связывают с любовью; может, любовь тоже творчество того, кто любит, а отношение к ней (созданной любви) такое же, как прототипа к созданному полнокровному образу. Объект любви, он вне любви. Убить любовь невозможно, если это любимо. Обманываться же можно сначала по убеждению, потом в силу привычки.

Раскритиковать моральный кодекс, озарить его, критикуя. Подвергая испытанию, критикуя предмет, мы больше привязываемся к нему.

22 апреля 1968.

МГУ.

... Меня страшно раздражают слова: видно, что вы ищете свою манеру письма. Ни фигура не ишу. Я хочу просто создать то, что я чувствую в себе, – как можно лучшим, совершенным способом.

9 мая 1968.

Читал Паустовского, и все у него меня раздражало. Кто же так думает: «Где же город? – подумал Кузьмин. – Тьма, дождь, – черт знает что!» Никто так не думает никогда. Его читатель – девушки под тридцать лет и выше, добрые женщины в годах. Писать нужно – правду, действительность, – какой бы она ни была. Ты, писатель, в этом не виноват. В том, что жизнь – бедная, убогая, скучная, – в этом никто и не виноват, но воспевать эту жизнь не нужно. *Ничего не нужно воспевать.*

Э

О писательстве, причем не только художественном, но и вторичном, критическом, я мечтал с детства, насколько позволяет судить дневник. Вот запись 13 янв. 1962 г., мне 11 лет: «Я – критик. Мечты. Критика. Литературные взгляды.



Первый класс. 1957

Все говорят, что я много читаю. Ерунда. Я совершенно не знаю иностранной литературы и советской, да и русскую не всю. Так что я немного читал. А что читал, буду критиковать. Но сначала помечтаю. Мне хочется быть литератором. Очень хочется. Хорошо бы поступить в институт. Я еще не пробовал себя в прозе. Но если уж быть литератором, то чтобы меня везде знали, читали, уважали, любили. Чтобы издавали мое Полное Собрание Сочинений М. Н. Эпштейна в 14 томах.

Вот как. Не как, например, издают одну книжонку. Нет. Как Гоголь, Тургенев, Пушкин, Лермонтов... Чтобы меня не забывали. Вот».

Лет с 9-10 я строчил стихи, в которых не проявил ни искорки дарования, а с 13 лет и до окончания университета (22) – прозу, в которой преуспел немногим больше (мой первый рассказ назывался «Тринадцатилетняя любовь», а последним я написал цикл «Паломник», «Кочевник» и «Гость»). Сюжеты у меня выходили небезынтересные, психологически и метафизически нагруженные, но я был начисто лишен повествовательного дара: выстраивать события во времени, в последовательности действий было для меня обузой, наценкой на философский замысел. Образы у меня подчинялись понятиям, я исходил из идей и конструкций. Тем не менее некоторые мои друзья, в том числе ты, прирожденный прозаик, и любимая девушка поощряли мои художественные занятия, чем продлили агонию моей прозы. Некоторые рассказы я даже посылал в журналы – и получал сочувственные отказы; а «Мертвая Наташа», отклоненная «Новым миром» в 1971 г., была в нем же напечатана 45 лет спустя, в 2016-м. Но литературоведение, с философским и эстетическим уклоном, постепенно брало верх.

Ю

Моя питерская сестра вспомнила по скайпу:

«После класса 7-го ты держался на нервах не один год – чуть ли не спал у почтового ящика, ждал отзывов из редакций, от писателей и т. д.».

Что ж, к десятому классу я дождался.

В первом письме Казакова потрясло допущение, что к литературе можно «охладеть». К этому времени лихорадка, охватившая меня в 12 лет, превратилась в горячечный бред. Я много писал, еще больше читал, будучи записан в пять-шесть библиотек, в читальных залах которых стал, наверное, самым юным в СССР, а может быть, и в мире, специалистом по Хемингуэю, который и привел меня к своим мэтрам. Не только к Джойсу, из которого он «вышел», – к русской классике тоже, но в первую очередь, конечно, к Джойсу. В то время я начал всерьез читать Достоевского, но при этом знал, что «Улисс» – моя где-то спрятанная библия, искал ее повсюду и, наконец, нашел, пусть и частично, – в Белорусской республиканской библиотеке им. Ленина. Эзотерический журнал «Интернациональная литература», закрытый, а частично и расстрелянный еще до войны. Невозможно описать, как я пылал, когда получил свой заказ – ветхую стопку с переведенными на русский главами «Улисса». На дом, конечно, не выдавали – да и «на руки» с подозрением и крайне неохотно.



Первая машинка «Ideal»

Я ездил к Джойсу на «сдьмом» трамвае, но возвращался пешком, чтобы остыть в пути. И вот со мной произошло тогда нечто большее, чем его эпифании. Я шел мимо парка Горького, улица Красноармейская поднималась все круче, и где-то на высшей точке, перед переходом в плато, я оглянулся и увидел сквозь мерцающую изморось ноябрьского вечера

огромно-слепащие буквы «VV». Нет, не дабл-ю, а двойной знак *Victory*. Я не задавал себе вопроса, почему белорусская, минская, ночь обратилась ко мне по-английски, я знал, что цепочки фонарей над уходившими вниз трамвайными колеями сложились так потому, что этого захотел дух Джойса, обратившегося именно ко мне, избравшего именно меня, потому что только я знал, что означает этот месседж. Достоевский и *Джойс*. Два «Д». Два «V». Подтверждение гарантированной победы.

Через год, когда я перешел в одиннадцатый выпускной, Казаков, журия и воспитуя, сравнил меня с эмигрантскими авторами, включая скандального Набокова (о котором я узнал из обзоров «Иностранки»). Поддержка была исключительно важна, но главным событием для хрупкого эго было то послание, тот знак и ориентир. Сим победиши в стилевой борьбе с миром...

Не могу сказать, что я помнил об этом непрерывно, но, наверное, неслучайно, по поводу моего первого романа в Париже Жорж Бельмон, романист, один из лучших во Франции переводчиков с английского и мой редактор, сказал: «Сплав Достоевского и Джойса, никогда не думал, что возможен такой синтез». Бельмон, кстати, бредивший Ирландией, в юности знаком был с Джойсом – так закольцевался этот мой сюжет.

Э

В юности я казался себе ужасно косноязычным и, перечитывая свои дневники до 19–20 лет, вижу, что так оно и было. Слова давались мне с трудом, я долго думал над каждым, и они не складывались в ясный жест или картину, а торчали в разные стороны, тупенькие, короткие, вялые. Я ходил по листу бумаги на ватных ногах, покачиваясь, с дрожью в коленках от сверхнапряжения каждого шага. С годами поступь твердеет, слова начинают выговариваться сами собой, очерчивая пластически внятный жест мысли. Очень трудно давалась мне эта наука: снять перегородку между мыслями и словами, писать так, чтобы это само собой, легко и вприпрыжку сбегало с пера.

В 1970-е годы почти на каждую статью, на сбор материалов, продумывание, расчленение, композицию, а главное, стиль у меня уходило по году, а потом почти с такой же скоростью стали получаться целые книги. Постепенно каналы перехода мысли в слово расчищаются, но для этого нужно много раз проталкивать через них жалкие, скомканые слова, слова-тряпки.

Писательство, безотносительно к тому, художественное оно, или эссеистическое, или научно-гуманитарное, – это умение писать так, чтобы само писалось: свободно пропускать через себя, не заслонять собой Нечто, ищущее выражения. Юность, наверно, и есть та пора, когда происходит – или не происходит – это волшебное превращение трудового в даровое. Конечно, есть и такая степень дара, которая опережает труд и ведет его за собой, но я был в юности вьючным животным, которое изо всех силенок тащило за собой маленькую поклажу дара.

Знакомая девушка как-то упрекнула меня в эгоизме: дескать, я занят только своими бумажками. Мой ответ: «Ты права, говоря об эгоизме пишущего человека, но (позволю себе такое сравнение) это тот же эгоизм, что погружает в себя женщину, ждущую ребенка, и делает ее безучастной и даже раздраженной против всех окружающих».

И после, когда она кормит грудью, нянчит, ей нет дела до того, что происходит вокруг, и кажется, даже ураган или революция не могли бы отвлечь ее от удовлетворения материнского инстинкта».

Ю

Дневник

14 марта 1968.

В столовой думал, что же такое талант. Свойство честно видеть мир и себя, вот что такое талант, а не способность к аллитерациям, музыкальности, живописности. Очень просто – видеть и писать правду, стремиться всей жизнью к правде. И мне открылось писательство в своем новом качестве, когда я поднимался по провонявшей кухней лестнице на 4-й этаж.

Битов талантлив. Шолохов куда меньше.

Чтобы вывод был правилен, нужны истинные предпосылки. Цель и объект моего познания – человек. Я должен знать правду; никто не может мне открыть. Но у меня есть своя жизнь, и я могу рассказать себе о себе честно, значит – истинно, потому что одарен способностью, которую я назвал выше. Несколько минут назад, когда думал это, у меня вспотели ладони при мысли, каким я могу стать, в полном сознании своей лжи и стремлении к истине. Толстой писал в «Войне и мире», что это исключительно русским свойственное стремление. И вот первая правда обо мне: понимая умом мудрость сократовского – Я из вселенной, – я сердцем ощущаю себя русским, и это меня очень возбуждает и радует; знаю, что нехорошо, и знаю, что вместе с тем хорошо.

См. БИТОВ, ЗАМЫСЛЫ, КАЗАКОВ, НАУКА

Пишущая машинка

Ю

Как же страдал я в «допечатный» свой период. В кабинете машинописи их было тридцать штук, но максимум, что я там мог, – это перепечатать стишок-другой. Для рассказов (а как иначе посылать?) нужно было изыскивать другие возможности. Мамина знакомая в ЖЭКе однажды допустила меня к портативке, и я стучал так быстро, как мог, чтобы скорей закончить этот тихий ужас: недоуменно-подозрительные взгляды служащих конторы (пацан, а стрекочет, как профессионал... вдруг затевается нечто запретное); мамино оправдывающееся смущение за непомерные претензии сына, который не хочет «быть как все»; мой собственный стыд за это и упрямость его превозможения...

Дневник

16 мая 1966.

В субботу... не был в школе. Перепечатал в домоуправлении рассказ «На заливе в июле».

Из парижских манускриптов

С пишущими машинками в СССР становилось год от году труднее, и снова вспоминалась мама с ее пророчествами, доводящими до абсурда любое настораживающее явление жизни.

Относительно пишущих машинок она прозревала в будущем поголовную регистрацию владельцев, номеров машинок и снятие проб шрифта, вот как отпечатки пальцев в ФБР, – и его оправданное стремление обзавестись наконец своей собственной вызывало в маме тревогу за судьбу сына. Не то чтобы активно противилась, но напрасно он старался рассеять общее настроение пессимизма, в которое она впадала от сознания неизбежности приобретения.

Напрасно, – а мама заставляла изощряться в аргументациях, – говорил, что «в Штатах» каждый школьник имеет, и сочинения, представь себе, только и пишут на машинках (что поразило в повести Сэлинджера в начале 60-х, а ведь написана в 1951-м!). И не говоря уже о сверхзадаче жизни, исходя из которой он понимает ее, машинку, как главное орудие, инструмент и станок, он, в конце концов, напрасно, что ли, три года обучался машинописи в школе, на уроках производственного обучения, и вместо того, чтобы с мужской половиной класса бить баклуши на станкостроительном заводе им. Кирова (они там главным образом выпивали с работягами), прилежно овладевал слепым методом в классе машинописи – единственный там «мальчик».

Но время – а тем временем школа была кончена и со второго захода он поступил в МГУ – доказывало правоту маминого иррационализма.

В первый московский год машинки еще были, но в этот 68-й исчезли, и, вдумываясь в проблему внезапности дефицита, он связывал ее с тем, что творится в Чехословакии, а также с распространением машинописных текстов – самиздата. О чем на фэке ходит масса анекдотов, вроде того, что декан после работы садится за машинку и глава за главой перестукивает

(без полей и через строчку) «Анну Каренину». А на вопрос зашедшего по соседству замдекана по учебной части, зачем он это делает, отвечает: «А чтобы сын наконец-то прочитал...»

Так и я на своей машинке «Ideal», подаренной мамой и отчимом, параллельно со своими текстами перепечатывал в Москве «для себя» Бердяева и Бродского.

Э

Машинка у меня появилась на втором курсе, в январе 1969 г., последний и главный подарок отца, который в октябре того же года умер. Гэдээровская «Эрика», и с тех пор до отъезда в 1990 г. я с нее не слезал, лишь последние годы порой изменяя ей с более subtilной югославской «Олимпией». На Пушкинской ул. (ныне Б. Дмитровка) был единственный в Москве магазин пишущих машинок, я любил в нем ошиваться даже без дела, как потом полюбил компьютерные магазины, почти наравне с книжными. С нужным орудием можно достигать любых результатов, о чем и грезилось мне в том магазине.



Миша. Пишмашинка открыта и дымится. 1969

Ю

Ты никогда – очень редко чистил свою машинку. Никакой эстетизации, крышка постоянно снята, механизм обнажен. Буквы забиты отходами лент.

Но твои «грязные», чумазо-цеховые машинописные тексты дышали метафизикой.

Э

Да, помню эту налипшую чернь, которая мне по-своему нравилась, как трудовые мозоли на механических пальцах. Да и вообще, беспорядок на письменном столе меня всегда подталкивает к работе.

Поколение

Э

Наша юность пришлась на время резкого постарения режима, его ценностей и носителей, и в этом благое, отрезвляющее воздействие эпохи на наше поколение. Конечно, одряхление режима разлагало общество, но одновременно лишало иллюзий. Если бы мы росли в 1920-1930-е или 1950-1960-е гг., когда коммунизм воспринимался как молодость мира, тогда и у нас, молодых, был бы соблазн влиться в его ряды. Так было у шестидесятников: целина, великие стройки Сибири, очищение партии, Ленин опять молодой, революция продолжается, через двадцать лет новое поколение советских людей будет жить при коммунизме... Мы, конца 1940-х – начала 1950-х гг. рождения, были, вероятно, первым поколением, которое совсем не очаровалось коммунизмом – и по той же самой причине не разочаровалось в нем, не пошло в диссиденты: послесолженицынское и послеевтушенковское поколение (хотя мой *политикоз* в 1966–1967 гг. еще был остаточным симптомом той генерации, но август 1968 г. разделался со всеми иллюзиями). Конечно, это разложение «идеалов» создало благоприятную среду для цинизма, как официозного, так и неофициального, упадочно-богемного; последний, конечно, был более симпатичен.

Но возник и третий путь, между идеалами и цинизмом: путь самоцельной, самодостаточной, профессионально-качественной, морально-ответственной работы в своей области знания и мастерства. Быть *большим* в *малых* делах. Важно то и другое. Наше эмгэушное, филфаковское поколение конца 1960-х – начала 1970-х все-таки не успело сузиться так, как последующие, оно захватило в себя ту широту и «духовность», которую я ощущаю в оставшихся на виду: в тебе, в Оле Седаковой, в Денисе Драгунском, в Вите Ерофееве (хотя цинизм его не обошел), да и в себе. Но для нас ценностью была литература сама по себе, философия сама по себе, язык сам по себе, мораль сама по себе, а не просто как подручные средства для переделки мира, для пришествия царства изобилия и торжества осознанной необходимости. Так что через наше поколение время сдвинулось от коммунизма, модернизма, утопизма – ко всему тому, что стало «пост-»: посткоммунизму, постмодернизму, постутопизму и т. д. Но еще не дошло до точки релятивизма и деконструкции, когда все значения превратились в игру означающих, реальность – в симулякр, культура – в многокультурье и т. д. В этом я вижу место нашего поколения как связного между миром больших, тоталитарно извращенных идей – и миром мелкой, кропотливой деконструкции, фрагментарности, мультикультурности, демагогии малых культур и аналитических процедур без попыток синтеза. Сохранить великое, высокое и духовное – но освободить его от тотальности, от насильственности утопического размаха; а значит, передать последующему поколению, идущему после постмодерна, вкус к целостности, к большим несущим конструкциям, к синтетической работе воображения.

Ю

Схема сурово-элегантная. Не слишком ли лестная по отношению к нам, поколению метафизиков как абстрактных, так и конкретных. Так и вижу разрозненных пантагрюэлей, гаргантюа и гулливеров, бредущих среди «тех, кто пришли и говорят», – и отвергают, судя по всему, наши дары «сверху»...

Сменятся и они, конечно.

Уже меняются, о чем, возможно, пока не ведают – в отличие от нашего (не всецело) потерянного поколения, своевременно узнававшего об Экклезиасте хотя бы по просветительским эпиграфам Хемингуэя:

*One generation passeth away,
and another generation cometh,
but the earth abideth forever...*

Пол

Э

К тайнам пола я приобщался с чудовищным опозданием. Кажется, в последний раз я спрашивал маму, как рождаются дети, когда мне было уже лет 14, если не 15. Можешь себе представить? Здоровенный балбес, а все еще смутно представляет, откуда он сам появился на свет, и спрашивает о том родительницу. Ну и в самом деле, откуда мне было знать, если вся, даже просветительская, информация на эту тему была удалена из книг, учебников, кино? Государство ревниво относилось ко всем тратам половой энергии, если они не служили напрямую целям умножения его граждан, трудовых ресурсов. Мои сверстники, вероятно, узнавали эти сведения в подворотнях, но я там не терся. Правда, приходил ко мне несколько раз в гости жалкий одноклассник, двоечник Слава Парушкин (это был 5-й класс), и при мне занимался онанизмом, но я слабо понимал, что он делает, и старался поскорее его выпроводить. Спрашивал «про это» только у мамы. А она мне всякий раз отвечала уклончиво и обещала просветить потом, когда я еще на несколько лет подрасту. И только уже лет в 16 я понял, что спрашивать больше не стоит.

Нельзя сказать, что я очень жаждал этих сведений, меня больше увлекала романтика косичек и фартуков, пальчиков в чернилах, белых шеек, задумчивых взглядов, легкого дыхания, любовных томлений. Так и получилось, что слово «вульва» я впервые услышал только от тебя, уже на первом курсе. Мы с тобой рыскали по центру Москвы, по всем книжным магазинам в поисках тома Медицинской энциклопедии на букву «В», где можно было узнать все о тайнах зачатия. И, увы, не нашли. Я тогда втихую удивлялся, зачем сухая теория тебе, уже постигшему эти тайны вживую, побывавшему там, куда мое воображение даже не достигало. Но, видимо, теория не дает покоя и практикам, и всегда хочется знать, как называется то, что ты уже испытал.

Ю

Не забывай, что к моменту нашего знакомства я был на два года и трех-четырёх девушек старше. Терминологией же владел, потому что лет с 12, когда мамы дома не было, читал ее толстенный «Справочник фельдшера». Даже про «колпачок Кафки». Не каждый сегодня скажет, что такое «колпачок Кафки». А я про Кафку гинекологического, запатентовавшего свое средство в 1908 году, узнал задолго до того, как открыл его пражского однофамильца Франца.

До этого «Справочника» находился в том же мраке воинствующего обскурантизма. От вопросов пола меня «оберегали» так, что мне и в восемь лет было неизвестно, откуда берутся дети и взялся тот же я. Будучи взят в гости к Копыским, обнаружил у этого историка и выпросил «почитать» взрослое издание любимой книги. Оттуда узнал, что Гаргантюа вовсе не сморкался в гусят: он ими *подтирался*.

Вот на что идет взрослый мир, чтобы скрыть от нас, детей, правду жизни. Коверкать самого Рабле! Правда, сморкаться в гусят мне, честно говоря, казалось смешней. Но самым главным во взрослом издании оказалось вот что:

«Уже в зрелом возрасте он женился на Гаргамелле, дочери короля мотылькотов, девице из себя видной и пригожей, и частенько составляли они вместе животное о двух

спинах и весело терлись друг о друга своими телесами, вследствие чего Гаргамелла зачала хорошего сына...»

И далее:

«...отовсюду набежали повитухи, стали ее щупать внизу и наткнулись на какие-то обрывки кожи, весьма дурно пахнувшие; они было подумали, что это и есть младенец, но это оказалась прямая кишка: она выпала у роженицы вследствие ослабление сфинктера, или, по-вашему, заднего прохода, оттого что роженица, как было сказано выше, объелась требухой».

Луч света скорее озадачил, чем рассеял тьму. Я сделал вывод, что дети появляются не из бедра Юпитера, как Вахх, не из пятки своей матери, не из туфли кормилицы, не через ухо того же Юпитера, не из коры миррового дерева, не из яйца, высиженного и снесенного Ледой, и, конечно, не из пресловутой капусты, а, мягко говоря, – *per rectum*. Вот она, постыдная и печальная тайна человечества!

В том же 3-м классе мальчик по имени Казимир с улыбочкой, которую должно назвать «грязненькой», сказал, что дети рождаются оттого, что взрослые *тыкаются*. Вот так, стал показывать он мне; я его оттолкнул, а насчет тыканья задумался. Точно помню, что когда мы переехали в Заводской район, то есть в канун 11-летия, я думал, что деторождению через букву «жэ» предшествует нечто вроде того, что в современном мире называют фистинг. И на поросшую черным волосом руку «папы», по просьбе дедушки отнявшего у меня свою хорошую русскую фамилию, смотрел с отвращением и ужасом, и – сострадавая маме.

Во втором полугодии 4-го класса девочки новой школы, изумленные, что новичок еще «не знает», долго надо мной издевались, но потом сжалились и нарисовали все, как есть: чернилами на лиловой промокашке.

Оглянувшись назад, я схватился за голову. Какой же я был дурак!..

С другой стороны, откуда мог я знать. Эрмитаж, моя гносеологическая штаб-квартира, демонстрировал множество голых статуй, женских в том числе, но никаких входных отверстий: гладкий мрамор между бедер.

Главная тайна детства-отрочества была на букву «О». Онанизм, рукоблудие. Жгуче-постыдные слова. Все «занимались», никто не признавался. Кроме Андрюши Б., – в том же 5-м классе, так же, как твой двоичник, он производил манипуляции, прикрывшись полкой пальто и бросая на меня проверочные взгляды уголком глаза. Это было в кинотеатре «Смена» на дневном сеансе, а фильм был документальный про извержение вулканов. Аутоэротизм практиковал он серьезно и по-деловому. Он жил в центре, за академией ГБ. Когда мы встречались, что было редко, хмуро информировал: «Вчера надročил кирпич». У меня в голове возникал Пантагрюэль, эякулирующий кирпичами. «Как это?» – «Ну, если перевести в кирпич объем». Тут нас обгоняют лейтенанты в шинелях и фуражках с голубыми околышами, оба веселые, доносится обрывок фразы: «Надročил полы и...» Андрюша комментирует: «Пошли ебаться». – «Откуда ты знаешь? Может быть, в музей?» – «Нет, не в музей. «Полы» – значит половые органы». – «А не сказал он «пóлы»? С ударением на «о». Имея в виду полы своей шинели, которую надраивал перед увольнительной». – «Нет, он сказал «пóлы». – «Шваброй которые, в казарме?» – «Нет, – гнул он свое. – Чтобы ебаться, половые органы, сокращенно *полы*, предварительно нужно надročить. А ты как думал? Должны стоять как штык».

Тогда бы лейтенанты ковыляли, думал я, а не летели бы, как на пожар. Но полной уверенности не было. Возможно, что Андрюша прав в своем толковании кусочка взрослой жизни, который довелось подслушать. В конце концов, до девяти лет жил в ГДР, будучи сыном просвещенного человека, бывшего разведчика и личного друга Хонеккера.

Такова была *правда жизни* «среднего школьного возраста». Самая главная хотя бы потому, что замалчивали больше других. Книжки, которые ее обходили, вызывали отвращение и ненависть не только у меня. Увы, такими были почти все. Кроме «Крейцеровой сонаты». Может, и не был прав Лев Толстой, но писать старался правду.

Тем временем одноклассники ни с того ни с сего развязали войну против девочек. Нападали ватагой на особо развитых и забитых. «Аля, зажмем Саклю!» Вдавливали в угол. Что там делали руки первой ударной шеренги, можно было только гадать. Очевидец этого «зажимбола», я испытывал бурю сложных чувств. Дома мне прививали «рыцарское» отношение к девочкам. Слабый, мол, пол. И я заступался. Отшвыривал задних гаденышей, подпиравших передних. На глазах всего класса дрался с главным инициатором этих «зажимболов» во время перемен. Лебедев была его фамилия. Крепкая была кость у этого бандита с широко расставленными наглыми глазами. Пропустишь удар – заляешься кровью. Я и проливал у классной доски. Только ради чего? Та же «Сакля» не особо отбивалась. Принимала внимание как должное. У меня было подозрение, что ей даже нравится этот ритуал. Утверждать, впрочем, бы не стал. Девочки – стихия такая, что определенность просто невозможна. Но были такие, что нарочно разжигали страсти.

Светка, например. Со двора напротив. Со своей малолетней подружкой дразнили нас и убегали, спровоцировав преследование. Поймал в чужом подъезде и к стене притиснул. Те, кто «зажимал» ее раньше, говорили, что уже есть «волосня». Может быть, ввали, раздувая подвиги. Мягко, тепло и как-то сыровато. «Ну и?...»

Руку я убрал.

«Ты написала на двери мне?»

«Что?»

«Сама знаешь».

«А если я? Что дальше?»

Я отступился. Оттолкнул себя от Светки и стены. Разом с обеих сторон, где были приплюснуты ладони. Загрохотал вниз.

Решил постигать тайну тайн не любовными атаками с непредвиденным исходом, а тихой сапой – ходами возбужденного книжного червя. Чтение мое контролировалось. По мере лет, минувших со дня, когда мама вырвала страницу из Куна «Мифы и легенды Древней Греции», – все меньше и меньше. Но прятались (и находились мной) «Японские средневековые повести» (где гейшу возбуждал звук самурайского мочеиспускания, сдвигавшего с места камни). Или «Воспоминания» Шалапина (совсем уже антипедагогически признавшегося, что потерял невинность в 12 лет).

Зато на каникулах в Ленинграде в полном моем распоряжении был книжный шкаф, мое наследство, а в нем – если ограничиться наиболее духоподъемным чтением – Куприн Александр Иванович с безошибочно найденными в бирюзовом его собрании произведениями. То были «Суламифь» и «Яма» – в этой последней, правда, многого не понимал (а именно намеков на оральный секс, которые сближают этот роман с «Чапаевым» и «Приглашением на казнь»).

Э

Помню, что тогда же или в другой раз мы с тобой обшаривали букинистические в поисках 24-го тома Полного собрания сочинений Л. Толстого (в 90 тт.), с переводом и толкованием Четвероевангелия. Это была единственная за все советские годы публикация евангельского текста – только потому, что его перевел Толстой. Вот так все точно сходилось в нашем опыте погони за книгами: эротика и религия – две самые запретные, невыговариваемые темы, два сильнейших вызова диктату политического. Эротика и религия уводили из

общества в беспредельность, сверхвремя, в те два лона, земного и небесного, куда нам не положено было уходить. Советский опыт подтверждал от противного мысль Жоржа Батайя о глубинном родстве эротического и религиозного.

Что касается половых ощущений, я долго не понимал их природы. Первую девочку, с которой меня посадили за парту в первом классе, звали Графчик (запомнил только фамилию). У нее были удивительно нежные, гладкие щеки розового цвета – кажется, такой гладкости щек (по силе впечатления) я больше не встречал. Она была мне очень мила и приятна. И то, что она имела отношение к графии, к письменности, тоже подсознательно действовало на меня. Может быть, с той поры я и стал граффилом? (Кстати, слово, совершенно не использованное в языке, в отличие от «графомании». Почему письмо, письменность вообще не может быть предметом тонких, нежных, любовных чувств, не обязательно маний?)



Для фотосессий тетя любила наряжать меня девочкой. 1953 или 1954

Во втором и третьем классах я сидел за одной партой со знаменитой Тамарой Сосновой – чемпионкой страны по плаванию в своем девчоночьем разряде (а впоследствии – и во взрослом). Мы с ней постоянно играли в пережималки, только не руками, а ногами, под партой: кто кого. Я зажимал ее ногу между своими и наклонял, поворачивал к себе, а она старалась этому противиться. Помнится, я всегда побеждал. И это доставляло мне большое

спортивное удовольствие. А она, хоть и привыкла к победам на водных дорожках, не возражала против своих поражений. Было нам лет 8–9.

Я вдруг сообразил, что из этих двух крохотных детских сюжетов выстраиваются два рассказика: «Щечка» и «Ножка». Невинная детская эротика. Есть ли такой жанр в детской литературе? Чтобы не похабно, по-свидригайловски сглатывая слюну, и не научно, по-фрейдовски потирая руки, а вот именно так – светло, невинно, но очень приятно и увлекательно, как это и воспринимается в детстве...

Политика

Э

Мне только что исполнилось 17 лет.

Из дневника

25.4.1967.

«В воскресенье был Эдик (двоюродный брат, 31 год). Говорили о политике. Особенно его возмущает, что люди выдвигаются не по деловым качествам, а по случайным обстоятельствам, и от этого у нас хозяйственный развал. Но он убежден, что стену лбом не прошибешь. Когда я заговорил об активном сопротивлении – «ты что, с ума сошел? Эх, жизнь тебя еще не научила, не навешала оплеух!»



Миша со старшим двоюродным братом Эдиком Глазманом (1936–1970)

Идея политической организации меня поглощает. Об этом черновик письма Любе (знакомой). Но какой еще вялый, невежественный у нас народ (сегодняшние разговоры в трамвае). Если же действовать – то во имя его. Пусть он даже не сознает своего блага. В народе воспитывают гражданственность, кричат о ней из газет, радио, с трибун. А между тем я не

встречал людей, которые глубоко и искренне думали бы о родине, болели за нее и хотя бы несколько напоминали людей прошлого века, для которых «отечество» – священное слово. Людей мучают квартирные и гардеробные проблемы, иных – наука, но высшее им недоступно.

Переход в моем духовном развитии уже отчетливо совершился. Теперь меня волнуют не призрачно-отвлеченное углубление в себя, но вещи действительные, простые и важные для всех: мужество, справедливость, самопожертвование, мужская дружба. Не заваливать мир испражнениями своей души, а проветривать душу чистым ветром всемирного».

Ю

Моей первой манифестацией, расцененной как политическая провокация с негативно-оперативными последствиями, было выступление в ресторане «Минск» на Ленинском проспекте осенью 1966 года. Все уже «поступили», кроме меня, вернувшегося из Москвы, всем уже исполнилось 18, и мы отмечали 18-летие нашего задержавшегося товарища (гея, в отличие от нас). Заказали слишком много водки и коньяка. Я стал возникать против соцреализма. Предлагал пить за «реализм без берегов». За Роже Гароди. За Ж.-П. Сартра. За Джойса, Кафку, Пруста (и боюсь, что по отдельности за каждого). Пригласил танцевать американку, которая была выше меня и оказалась специалисткой по советской литературе (а впоследствии и персонажем известного памфлета «Чего же ты хочешь?») главного редактора «Октября» сталиниста Всеволода Кочетова). Двое друзей, включая гея, предусмотрительно слиняли. Я же был настолько вне себя, что увидел в гардеробщике графа Льва Николаевича Толстого и попытался поцеловать его «мужицкую руку». К счастью, третий и настоящий друг, предотвращая все эксцессы, доставил меня домой. Через весь город пешком и окольными путями, которые милиция меньше патрулирует, а когда ноги мне отказывали, волок на себе, вынося, как с поля боя. Никакого похмелья на следующей день (что значит юность), но жуткое политическое отрезвление.

Оказалось, что в ресторане (топографически находящемся в непосредственной близости с КГБ) было полно клиентов «в штатском», наблюдавших за американцами. Что я чуть ли не сорвал им «операцию». Что не был задержан только потому, что находился в компании с сыновьями влиятельных людей. Что столики были радиофицированы, и «предкам» предоставили возможность прослушать запись всего, что я там нес. В общем, моим собутыльникам приказано было со мной раздружиться (и карантин на дружбу длился до Нового года – 68-го-«рокового»...)

Э

21 августа 1968.

Наши танки в Праге. Я с утра ходил по Покровскому бульвару, ждал свою девушку. Вижу газетный стенд. Прочитал. Ударил кулаком что было силы по прозрачному пластику. Но он даже не треснул. Запись в дневнике лаконична:

22 авг. 1968, вторник.

«В мире творится величайшая подлость – в Чехословакию введены советские войска. Но народ уничтожить нельзя».

Это все-таки ИХ язык. Антисоветское содержание давалось гораздо легче, чем освобождение от советского языка.

Ю

Я был на каникулах в Минске. Мы сидели у приятеля, руководящий отец которого получил новую квартиру, откуда виден был Ленинский проспект, находящийся, как и вся магистраль Минск – Москва, на оси Восток – Запад. Выпить было в наших намерениях, однако в тот момент, когда стал слышен странный гул, мы были трезвыми. Потом стала ощущаться вибрация, и я узнал этот гул брони, сотрясший мое детство в 1956 году, когда через Гродно наши танки шли на восставший Будапешт. Но куда сейчас? Коммунистов нигде не убивали, гэбэшников нигде не линчевали. Мы увидели, как на пустое пространство проспекта между сталинским зданием Института физкультуры и новым корпусом завода телевизоров уверенно выполз первый танк. За ним, с небольшим промежутком, другой, и вскоре вся эта рокошущая цепь бронированным гуськом заполнила проспект. С тротуаров смотрели прохожие, застыв, как в игре «замри». Вторжение такого количества целеустремленных танков в жизнь, которую мы привыкли полагать мирной, было ошеломительно странным: как увидеть вдруг дефилирование динозавров. Мы настолько ничего не знали о предстоящем подавлении невинной «Пражской весны», что даже самый осведомленный из нас «партийный» сын вполголоса предположил:

«Война?...»

Через неделю я вернулся в МГУ. Чешская студентка, с которой в начале лета завязывался многообещающий роман, ответила отказом в форме, оскорбительной для русского юноши.

Э

Время от времени отец Ауроры появлялся в Москве, и однажды ты показал ему мои записи под общим названием «Осеннее отступление» (сент. – окт. 1971). По крайней мере, одну из них (№ 22): «Чья это кровь в красном цвете полотнища? Тех, кто несли его, или тех, чью кровь проливали? – Две крови. Две слившиеся, спекшиеся в одном цвете крови. Символ слияния всех кровей, на которых замешана история. Капля алчет другой капли, и кумач – это только эстафета крови, короткий зов крови пролитой – к той, что еще обращается в сердце».

Помню дословно мнение вождя испанской компартии, переданное тобою: «Субъективно это честно, но объективно – реакционно».

Ю

С первого дня нашего знакомства в Солнцево в сентябре 1972 года мой будущий тесть был со мной непривычно откровенен политически. Событие, о котором ты вспомнил, имело место несколько позже, на Соколе, на Новопесчаной, где мы с Ауророй жили в квартире убившего в многолетнюю секретную командировку Роберто, брата генсека Сантьяго Карильо.



Игнасио Гальего с русско-испанской внучкой Анной. Форос. 1975

В квартире большая многоязычная библиотека по политологии, гражданской войне в Испании, истории КПИ. Этот любопытный материал я так или иначе овнутрил. И твоя запись, видимо, была моим аргументом в нашей «семейной» дискуссии по поводу «миллиона убитых»: им, как ты знаешь, и франкистам, и республиканцам, поставлен был сразу после смерти Франко огромный общий крест под Мадридом. В перспективе этого деяния, совокупно почтившего павших в их гражданскую войну, формировалось соответствующее умонастроение, так что наш обмен мнениями был своего рода пробой пролегоменов на подступах к «размыванию» марксистко-ленинских постулатов. Конечно, с большей гордостью я бы аргументировал собственным текстом, но у меня их, увы, не было, поэтому с несколько меньшей, но тоже гордостью я продемонстрировал интеллектуализм своего друга.

Э

Задним числом: не было ли риска в таком показе? Конечно, секретарю компартии Испании не пристало связываться с мальчишкой, другом зятя, но ведь идея-знамя – превыше всего.

Ю

На своей иерархической высоте мой тесть располагал свободой, допускающей элементарную порядочность. Если его можно считать агентом СССР, то, разумеется, то был Суперагент. С другой стороны – ты прав. Ты рисковал уже тем, что после начала моих опасных отношений с Ауророй не порвал со мной (как это сделал Боря Т***), а остался в списке моих «контактов», по причине чего, надо полагать, и находился в поле «компетентного» внимания – хотя, возможно, и не в центре.

Актуальных поколений ради следует внести ясность в структуру. Во главе испанской компартии находились: *primo* – почетный президент Долорес Ибаррури (в Москве), *secondo* – генеральный секретарь КПИ Сантьяго Карильо (движитель еврокоммунизма и страстный советофоб). Мой тесть Игнасио Гальего теоретически был номер Три, практически – номер Два как член Исполкома КПИ и критик еврокоммунизма. По связям же с КПСС, которую Карильо терпеть не мог, Гальего в КПИ был первый человек. Что неудивительно. Команданте (то есть майор республиканской армии) Игнасио был последним из защитников Мадрида, бежавшим из осажденной испанской столицы в 1939-м, – самолетом во французский Алжир. Там он был интернирован и выкуплен из тюрем и лагерей Советским Союзом («За тракторы», – смеялся он). В Москве он не успел освоить рабочую профессию на заводе Лихачева: пошел наверх в руководящие структуры Коминтерна. Теперь круг его общения – Димитров, Мануильский, Куусинен, Пальмиро Тольятти, с которым он вместе воевал в Испании. Во время войны с немцами учился и одновременно преподавал в легендарной школе Коминтерна в Башкирии, на реке Белой. В Париже я прочитал тутиздатскую книгу выпускника этой школы Вольфганга Леонгарда «Революция пожирает своих детей» (1955) – и узнал своего тестя в одном из самых дисциплинированных персонажей, призывавших к порядку сородичей-разъебаев. Сам Игнасио – *Падре*, как я его называл (себя при этом отнюдь не видя в роли *Овода*) мне рассказывал, что на вопрос энкавэдэшника: «Кто готов к десанту за Пиренеи?» – шагнул из строя первым. В 1944 году лично Сталин выбрал его, крестьянского сына, в пару Долорес Ибаррури: оба были отправлены в Париж для возрождения компартии как в эмиграции, так и в метрополии. В 1950 году он был выслан из Франции правительством социалистов и перешел в Париже на нелегальное положение, оставаясь подпольщиком до смерти Франко. При этом франкистскую Испанию посещал он тоже нелегально до самого 1976 года – каждый раз рискуя головой. Хулиан Гримао, казненный Франко, несмотря на протесты мировой общественности во главе с Советским Союзом (я тоже сдавал пятнадцать копеек, которые мне выдавали на школьный завтрак, в пользу семьи испанского коммуниста), в момент ареста в мадридском трамвае, ехал как раз на подпольную встречу с моим тестем.

«Архивы Митрохина», секретные документы КГБ, тайно собранные архивным офицером «конторы» и опубликованные по-английски на Западе²⁴, открыли нам с Ауророй его кодовое имя: «Кобо».

Вот выдержки из строго документальной книги «Щит и меч. Архив Митрохина и тайная история КГБ»:

«...Как и в Италии, главная контактная группа КГБ по связи с КПИ действовала через человека, верного Советам. Поэтому основным источником мадридской резидентуры в КПИ был самый просоветский член Исполнительного Комитета Игнасио Гальего под кодовым именем КОБО. До марта 1976 года советские субсидии КПИ направлялись через француз-

²⁴ Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin, *The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB*, Basic Books, New York, 1999. P. 301–302.

скую коммунистическую партию (ФКП). Однако по решению политбюро № 16/116 от 16 марта 1976 года КГБ было поручено производить выплаты непосредственно Гальего. По крайней мере, часть этих средств предназначалась для самого Гальего, а не для руководства КПИ в целом, чтобы он мог «работать над своими контактами». 6 декабря 1976 года Политбюро одобрило выплату Гальего 20 000 долларов (решение № Р37/39-ОР) на покупку квартиры в Мадриде. Хотя его публичная критика Каррильо свелась на нет, мадридская резидентура сообщила, что в частном общении Гальего был резко критичен, осуждая его как «опасность для компартии Испании и международного коммунистического движения». В начале 1977 года через свою жену «ЛОРУ» Гальего передал мадридской резидентуре черновой проект написанного Каррильо совместного заявления, которое будет опубликовано на встрече на высшем уровне руководителей коммунистических партий Италии, Франции, Испании, а также верстку книги Каррильо «Еврокоммунизм и государство». Центр был возмущен критикой Советского Союза в этих документах, хотя генеральные секретари ИКП и ФКП Берлингуэр и Жорж Марше отвергли самые резкие отрывки из проекта коммюнике. Гальего сообщил КГБ, что левая газета «Пуэбло» намерена направить корреспондента в Москву для интервью с советскими диссидентами. Предупрежденное таким образом посольство СССР в Мадриде отказало корреспонденту в получении визы.

«...» На парламентских выборах в июне 1977 года, первых свободных выборах в Испании за последние сорок один год, электорат отверг экстремизм, как левый, так и правый. КПИ получила только 9 процентов голосов, по сравнению с 34 процентами Союза Демократического Центра Суареса и 28 процентами социалистов. Среди новых депутатов-коммунистов был Гальего, который стал заместителем председателя парламентской группы КПИ. Считая позицию Каррильо намного слабее, чем позицию Берлингуэра, Кремль попытался сплотить оппозицию ему в КПИ. «...» В течение 1978 года общественные споры между КПИ и КПСС угасли. Однако в частной сфере Каррильо был более критичен, чем когда-либо. Согласно донесению Гальего, направленному мадридской резидентуре, во время вспышек ярости он осуждал Советский Союз как «полуфеодальное государство, в котором доминирует привилегированная бюрократия, отрезанная от народа; как государство с образом жизни куда менее демократическим, чем Соединенные Штаты».

«...» Тем временем Гальего продолжал получать от КГБ около 30 000 долларов в год. Глава мадридской резидентуры Виктор Михайлович Филиппов сообщил, что, хотя Гальего проводит, насколько это возможно, политическую линию, рекомендованную резидентурой, он мало что может сделать, чтобы оживить открытую оппозицию, не изолировав себя при этом от исполнительной власти...»

Что сказать по поводу тайного, ставшего явным? Компромат Митрохина подтверждает такую партийную добродетель Гальего, как скромность. По сравнению с миллионными субсидиями той же ФКП, ручеек «золота КПСС», который проливался на депутата кортесов, не особенно впечатляет. Еще меньше – то, как Кобо и Лара эти доллары «отрабатывают». О «советофобии» генсека Каррильо Советы знают и без донесений Гальего. Вполне возможно, что корректура еврокоммунистического «манифеста» передана Советам по просьбе автора. Недопущение корреспондента не самой известной газеты к советским диссидентам явно не оправдывает расходов Политбюро на камарада Гальего. С другой стороны, и в недобросовестности по отношению к Москве упрекнуть его нельзя: все-таки в 1983 он ушел в отставку, бросив вызов «проамериканскому» еврокоммунизму, учредил свою собственную просоветскую Коммунистическую партию народов Испании и в качестве ее генсека успел пожать в Кремле руку Михаилу Сергеевичу Горбачеву на торжественной инаугурации этого разрушителя всего, ради чего была отдана жизнь «исторического» испанского коммуниста.

Допускаю, что британская разведка могла придержать более компрометирующие факты, чем те, что вошли в книгу Василия Митрохина и Кристофера Эндрю. Но, скорее всего, их просто не было. По возвращении КПИ из эмиграции в метрополию не только «правые» силы Испании, но и независимые историки гражданской войны многим вменили пролитую кровь – начиная с «антисоветского» генсека Каррильо. А вот просоветскому Гальего предъявить ничего не смогли. Такой вот парадокс. С одной стороны, потомственный интеллигент, но, правда, предавший ради коммунизма своего отца, видного испанского социалиста. С другой – сын крестьянина, убитого ножом во время карточной игры, начинавшего жизнь свинопасом. Однако на расстрелы заключенных мадридских тюрем тысячами не отправлял. Не приказывал ликвидировать камарадов за уклонение от партийной линии. (Один из основателей КПИ Габриэль Леон Трилля, Trilla, 6 сентября 1945 года в Испании был убит так: двое партийцев держали, третий орудовал навахой.) Крестьянская мудрость, к которой Игнасио Гальего призывал нас с Ауророй («мудрыми должны быть молодые, а не старики»), заключалась в том, что надо держаться в рамках человечности и выбирать «золотую середину». Сам он больше всего боялся «крови» – осуждая «мясников» вроде «трижды генерала» Листера или Меркадера.



Игнасио Гальего и Эсперанца Родригес Лара среди избирателей в провинции Кордоба, Испания. 1977

Тесть веселил меня байками о некоем «Потапове», советском советнике, который в свое время жил в Париже на кухне у испанского камарада, мыл ему посуду и только что не замещал в постели. Что за ведомство представлял этот Потапов, конкретный образ или собирательный, значения не имело, потому что романтические времена «пролетарской солидарности» прошли. «Товарищи», к которым он прилетал из Парижа, это были люди из МО под руководством «Бориса» (то есть секретаря ЦК КПСС и кандидата в члены Политбюро Пономарева Б. Н.). В целом хорошие ребята, хотя не без хитринки. Чуть что, пеняли на Лубянку, как в эпизоде, который вошел в семейное предание. В 1968 году КПИ выразила

несогласие по поводу Чехословакии. Тут же КГБ устроил провокацию против старшего сына падре, который тоже, как и Аурора, был отправлен за высшим образованием в Москву. Сыну Гальего стали шить антисоветчину. Идеологически разлагал, мол, советских студентов («а вот и показания...»). «Падре» прилетел из Парижа, устроил скандал. Он нелегально ездит в Испанию, рискуя головой, а в Москве, оплоте мировой борьбы за все хорошее, сына подводят под статью. Старая площадь тогда прекратила дело. Много раз я слышал от тестя, что «у них одна рука не знает, что делает другая». На самом деле, движения конечностей, «вооруженной руки партии» и безоружной, были согласованы, просто диалектический подход требовал, чтобы одна была хорошей, а другая наоборот. Лубянка в этом раскладе была нехорошей рукой. А в периоды межпартийных разногласий и разборок – даже однозначно плохой. Мы с Ауророй встретились и начали строить что-то свое на политическом фоне обострения теоретической борьбы КПСС с «еврокоммунизмом». КГБ переводил теорию в практику. За неимением под рукой «еврокоммунистов» строил козни нам, московским родственникам суперагента Кремля. Расставлял ловушки. Осложнял разнообразными провокациями и без того нелегкое дело выживания в Москве молодой пары с ребенком. Аурора жаловалась «падре», тот их ругал, просил на них управу у ребят со Старой площади. И вот теперь получается, что одновременно он сотрудничал?

Так и слышу ответ из-за гроба: «А все из-за вас. Чтобы вас не убили. Это же *bandidos*...»

Он не был шепетильным в смысле кульпабилитации детей. Не столько младшую их пару, Лолиту и Жоржа, которым была уготована цивилизованная французская жизнь с сорбоннами и протекциями, а старшую пару, Аурору и Рубена, – отправленных в Москву в виде символического жертвоприношения, которое было освящено традицией. Долорес Ибаррури принесла своего Рубена в жертву Сталину, благословив сына-пулеметчика на гибель не где-нибудь, а в Сталинграде. Естественно, что первый сын Игнасио Гальего получил сакральное имя²⁵ и точно так же был отправлен в СССР, правда, не на войну, а на учебу. Этот Рубен влачил хорошо описанный Сартром в «Словах» горб комплекса вины и верности, в свою очередь пытаюсь кульпабилизировать нас с Ауророй за то, что создаем неприятности великому отцу (это от него я услышал *l'anticommunisme primaire*²⁶).

Шантаж имел, конечно, место. Объективно мы были заложниками Кремля: и мы втроем (я, Аурора, Анита), и сын Ауроры от первого брака с венесуэльским «городским партизаном», родной его внук Рубен Гальего, родившийся с диагнозом ДЦП, объявленный в Кремлевской больнице умершим и отправленный «по трубам» в ужас советских детдомов (о котором он, сумев там выжить, рассказал в книге «Белым по черному», переведенной языков на тридцать). Но было бы неверно думать, что Кремль ломал моего тестя «об колено». Игнасио Гальего делал то, что делал, в полном соответствии со своими убеждениями, сформировавшимися в период сталинизма. Было впечатление, что он частично задержался в той эпохе. Когда мы говорили о литературе, я просто о*уевал, слыша в середине 70-х годов комплименты Леонову за «Русский лес» и Эренбургу за «Падение Парижа».

Испаноязычная Википедия приводит слова Ауроры из интервью газете «Эль Мундо»: «Мои родители не считали себя ответственными за нас задолго до рождения моего сына Рубена. Они были фанатиками. В тоталитарных системах о детях заботится государство или партия. А русских детей учат тому, что Сталин – отец, а Ленин – дедушка».

Это так и не так.

Определенный минимум заботы о своих детях «Кобо» с «Ларой» проявляли. Особенно во время вакаций в Советском Союзе. Аурора отказалась улетать в Париж и просрочила визу на пребывание в стране. Надо было, подобно ее отцу, переходить на нелегальное положение.

²⁵ По одной версии, от древнееврейского «смотрите, сын».

²⁶ Примитивный антикоммунизм (фр.).

Мы сбежали из душливой Москвы (горели торфяники) в Ленинград к моим родственникам. Так вот: по требованию «Кобо» ГБ там нашла нас в тот момент, когда мы, наслаждаясь свободой, безмятежно катались на лодке в ЦПКиО имени Кирова. Вдруг включился дремлющий репродуктор, и на весь парк громогласно адресовался к «гражданке Ауроре Гальего» с просьбой срочно позвонить в Москву отцу. Только представь, что за этим стояло: руководство МО на Старой площади, Андропов на Лубянке, ленинградский Большой Дом, лихорадка сыска...

Мы вернулись «Красной стрелой» в Москву, моя иностранка вышла из такси в тихом арбатском переулке – больше ее не видел целый месяц. Тем временем в Крыму, в том самом Форосе, где вся ее семья была на отдыхе, мой будущий тесть изучал мое «дело», доставленное туда ему курьером. В «деле», составленном, как я понимаю, по материалам Первого отдела МГУ, было, видимо, немало негативной информации от стукачей и тех, кого я считал друзьями. (Настоящие друзья в этот момент посещали меня в городе Солнцево, разглашая показания, которые они давали внезапно возникшим «людям в черном».) В Крыму решалась моя судьба, а я, перекуривши болгарского табака «Амфора», лежал в одиночестве с температурой в сорок, наблюдая, как садится пыль на линолеум. Форос? Это звучало для меня как Фобос, и вчуже я сознавал, что, будучи вчера никем, вдруг сделался проблемой в сферах, которые вполне могут решить ее по-сталински – вместе со мной...



Анна Юрьенен-Гальего на коленях Долорес Ибаррури. Под любовным взглядом деда Игнасио. Москва, Плотников переулоч, гостиница «Октябрьская». 1975. © by Serge Iourienen

Кстати: о кодовом имени тестя. Столь же сильное, как испанское *cabra* (козел), оно перекликается и, скорей всего, вдохновлено известной кличкой «Коба» (как звали любимого персонажа Сталина, героя приключенческой повести грузинского писателя второй половины XIX века Александра Казбеги «Отцеубийца»).

Из нашего «Кобо» Аурора выбила согласие – не на брак, а на «испытательный срок». С первой же встречи я подпал под обаяние этой фигуры, в чем ничего удивительного – сумел же он обаять и Пассионарию, и самого Сталина. Его харизма двигала в Европе мас-

сами испанских эмигрантов. Трудно было сдерживать чувства, когда меня в лицо называли «сыном». Аурора, которую это очень сердило, напоминала, что за моей спиной «падре» предлагает ей бросить меня, вернуться с нашей дочкой в Париж, а там куда захочется – хоть в Америку.

В 1976 году Аурора перевела ему вслух мой рассказ «Шар», появившийся в «Литературной России». В ответ услышала: «Враг социализма! Место ему за колючей проволокой. Эти дураки сажают диссидентов, не видя настоящих врагов».

Эти отношения лучше всего описал Мейлер в романе «Американская мечта», где есть выразительная сцена: зять-герой стоит на узком выступе небоскреба по ту сторону ограды террасы, а его могущественный тесть, оградой защищенный, – прямо за ним. Одним даже не толчком – щелчком он может разрушить досадный мезальянс. Столкнет, не столкнет?...

Теща однажды: «Советские товарищи сказали, что не возражали бы против вашего отъезда в Париж»... Помню, как остановилось сердце... неужели? «Товарищи» решили избавиться от проблемы гуманным способом? Это было все там же, в закрытом отеле, за завтраком, в сентябре 1976 года после первого посещения Франции. В свое время убежавшая из родного Бильбао на фронт и в свои 15 лет носившая тяжелый парабеллум, моя стальная теща завершила:

«Но мы знаем, как американский империализм использует русских писателей на Западе. И новых солженицыных создавать не хотим».



Новым Солженицыным я и не стал, но разве бель-мэр была не права? «Кобо» и «Лара» просто обомлели, увидев меня вне СССР. Картина Репина «Не ждали». Произошло это в 1976-м, когда вместе с их «парижскими» детьми-студентами Сорбонны (приславшими мне в Москву заветное приглашение) я встретил тестя и тещу в аэропорту Шарль де Голль/Руасси. Они вернулись из Рима «от Берлингуэра», чтобы завтра же лететь в Мадрид, где легализовали компартию. 37-летняя эмиграция для них на этом кончилась, моя — пока еще не началась. Я в Париж тогда приехал не свободно выбирать. Намерен

был вернуться. В Москве выходила первая книжка, предстояло вступление в Союз писателей, обретение статуса, начало официальной карьеры. Все, за что мы с Ауророй боролись с тех пор, как она подвигла меня выйти из подполья...

Кроме того, необходимо было доставить тебе благовест (переданный вслух под шум поездов на станции метро «Кропоткинская») о том, что «да! Цивилизация, Миша... *существует*».

См. ДИССИДЕНТСТВО, ФРАНКО

Поэзия

Э

Поэзия – это, наверно, самый глубинный уровень моего «я», глубже философии, а может быть, даже и религии. Точнее, мне трудно отделить поэзию от религии, философии и даже науки. В отрочестве, лет до 15–16, я писал стихи – очень плохие, подражательные, умозрительные, лишённые творческого огня, потом этот возрастной зуд прекратился. Но мне иногда говорят, что моя филология, культурология, лингвистика – это особая форма поэзии, что там есть лирика, ритм, что многое строится на созвучиях и переключках.

Помню, когда я приехал в Пушкино на методологическую игру Г. П. Щедровицкого и через 2 дня, решив сбежать, высказал ему свое отношение к «научности» этой методологии в исполнении его учеников, он мне сказал: «Да вы поэт!» «Поэтичность» может рассматриваться как большой недостаток ученого, и раньше я воспринимал такие оценки как упрек, огорчался, теперь же, когда все «объективное» проходит и остается голая суть: «что же ты сказал?», «как выразилась твоя душа?» – для меня «поэтичность» звучит как комплимент.

Как читатель, я начинал с Лермонтова, и до университета он оставался моим любимейшим поэтом. В 11 лет я за один день написал поэму «Черкесы» онегинской строфой, сознательно обезьянничая под Лермонтова, чья биография (Н.Л. Бродского) была единственной литературоведческой книгой (полуразорванной) в нашем доме до моего поступления на филфак МГУ. Начиналось так:

Погасло солнце за горами,
Последний луч его златой
За розовыми облаками
Померк, сражаясь с темнотой.
И сине небо потемнело,
и проступает месяц белый.
Стоит вечерня тишина —
лишь в чаще иволга слышна,
да каркнул ворон черный, дикий.
Вот под напором ветерка
поплыли в небе облака,
и вздрогнул бор зеленый тихо...

Конечно, все это была чистая книжность, никаких черкесов я в жизни своей не встречал. Лермонтов – великий поэт отроческого состояния души, пронзительного одиночества, отчуждения от мира и бегства в Иное. В 15–16 лет я стал зачитываться А. Фетом, и его зеленый томик (малая серия «Библиотеки поэта») лежал у меня под подушкой. Это были юношеские мечты о любви, шепоте, прикосновении, слиянии душ.

17.12.67.

«За последние дни моим любимым поэтом стал Рильке. Слишком философичен? Но его философия и есть величайшая поэзия.

Под впечатлением от Рильке сложилось:

Над городом встает огромный снег,

Колышется, как купол парашюта.
Спадают стропы белые, внизу
Окутывая головы и плечи.

Взмывает необъятный парашют.
Куда несет нас – не дано нам ведать.
Дыханьем теплым я на рукаве
Прекрасную снежинку растопляю».

Тогда же я открыл для себя А. Вознесенского и А. Кушнера и на протяжении 1960-х – начала 70-х был прилежным читателем их новых сборников. Вознесенский мне близок по интонации, и часто его стихи сами всплывали во мне, нашептывали себя – такие, как «Осень в Сигулде», или «Чего тебе надо еще от меня», или «Плач по двум нерожденным поэмам».

Огромным потрясением стал Мандельштам, когда я открыл его для себя уже в середине 1970-х. Тонкий синенький томик «Библиотеки поэта» (1973) я таскал с собой, как верующий – Библию. Там я нашел строки-скрижали, вокруг которых можно строить целый талмуд толкований. Уже после Мандельштама мне стал открываться Пастернак, который по индексу внутренней цитируемости стоит у меня на одном из первых мест (особенно стихи из «Доктора Живаго»).

Ю

В пятнадцать лет подросток
Не по годам речист.
Потом начнутся звезды,
Спиртное и Шекспир, —

зачитывал вслух в редакции журнала «Неман» заведующий отделом критики и поэзии Григорий (Гирш) Соломонович Березкин (1918–1981), легендарный минский критик и литературовед, писавший на идише и белорусском. Арестованный перед войной НКВД, он 26 июня 1941 года сумел бежать в момент массового расстрела заключенных. Записался в армию, провоевал всю войну до освобождения Праги, а в 1949-м снова был арестован и брошен в лагерь Казахстана и Сибири до 1955 года с последующей «реабилитацией». Вернулся я домой очень обозленным на этого Березкина; он, между тем, наглумившись вдоволь над моим сокровенным, одно из стихотворений выбрал для номера, посвященного молодым.

Дневник

26 октября 1965.

...«Его можно напечатать. Но надо доработать». – Сноб.

После публикации появилась перспектива издания поэтического сборника, а вместе с ней возможность погубить себя, став редкой, ибо русскоязычной, певчей птицей в столице белорусской художественной словесности.

Чтобы не было даже тени искушения, уехал в Ждановичи, там на рассвете развел на берегу Минского «морья» костер и предал свою поэзию огню.

Тогда я еще не знал, что моим любимым поэтом станет Осип Эмильевич Мандельштам, чье творчество, по-моему, абсолютная вершина мировой поэзии.

Правила жизни

Ю

Дневник

1968.

МГУ.

Живи один.

Настоящий момент – критический.

Nulla dies sine linea. Memento mori.

Утром каждого воскресенья – писание писем.

5 января 1968.

Живи один. Работать в любых условиях. Живи настоящим.

Для здоровья: сок, питание, упражнения с резиной.

Для духа: преодоление телесного – постоянная борьба.

Для разума: постоянная работа над определенным кругом: язык, философия, литература, история искусства.

Работа: писать.

Э

У каждого есть свои правила жизни, осознанные или неосознанные. У меня с юности, возможно, под воздействием Лао-цзы, но главным образом как вывод из собственных болезненных взаимодействий с миром, выработалось правило: «Ничему не противостоять, ни с чем не отождествляться». Как только я чувствую, что слишком глубоко влипаю в некое движение, тенденцию, группу, я начинаю отлипать, шевелиться, вылеплять себя из массы. Как только я чувствую, что начинаю намертво, в упор кому-то или чему-то противостоять, я чуть-чуть сдвигаюсь, переносу точку упора, чтобы была возможность маневра, обхода, свободы движения. Моя стихия – текучая середина, чтобы всегда оставалось чуть-чуть места и справа, и слева, чтобы не быть припертым к стене или загнанным в угол. Я стараюсь смотреть на мир двумя глазами, слушать двумя ушами, мыслить обоими полушариями мозга, проговаривать мысль на двух языках (русском и английском).

Еще одно правило мне преподала мама, и я с возрастом все больше ценю ее совет: не перегружать других людей информацией о себе. Не то чтобы никому нельзя доверять, но надо исходить из энтропийности нашей вселенной, где всегда происходят какие-то утечки и расползания. Меняются отношения между людьми, близкие отдаляются, доверенные лица сами доверчивы и делятся с другими... Нет более надежного хранилища сведений о себе, чем твой собственный мозг. Впрочем, несмотря на мое старание следовать этому правилу, я на шкале открытости-закрытости стою гораздо ближе к первой (примерно 7 из 10), и шпион-разведчик из меня получился бы никакой.

Третье правило – неопределения, овозможения.

Из дневника

3.10.1970.

«Нужно довольствоваться той степенью определенности, которая есть в мире. Наши провалы, мучения, конфликты с людьми – от попытки определить больше, точнее то, что остается только возможным. Вот человек: думает так-то, смотрит так-то. Но мы не удовлетворены, пока не определим для себя: умен он или глуп, любит меня или не любит. Не превышай меру определенности, заданную самим предметом, предоставь ему возможность роста и самоопределения, смотри на него сквозь расширяющуюся щель в своей системе категорий. Во всем, что есть и происходит, гораздо больше возможного, чем уже определившегося».

Еще одно правило можно назвать «усилие без насилия». Я считаю, что правильные вещи должны делаться относительно легко. Конечно, к ним нужно прилагать усилия. Но если вещи все-таки не делаются, лучше оставить их в покое или, по крайней мере, подождать, не изменятся ли обстоятельства. Чрезмерные усилия могут привести к результатам, обратным ожидаемым. Если ключ не вставляется в замок, не стоит его туда изо всех сил запикивать: может быть, это ключ от другого замка или замок для другого ключа?

Иными словами, нужно следить, чтобы усилие не перешло в насилие над ходом вещей. Если я звоню кому-то, но после двух-трех попыток не могу дозвониться, я оставляю попытки, переношу на следующий день. Может быть, этот человек сегодня не в настроении, устал, занят, измучен жизнью и ангел охраняет его от моих вторжений.

У обстоятельств есть своя логика, поэзия, грация, им нужно доверять, чтобы не превратить их в грозную судьбу, вырастающую против тебя. Не будь мелочен и дотошлив в своих претензиях к бытию, сохраняй за ним право на крупные жесты щедрости и удачи.

И еще одно важнейшее правило: приобретать опыт, не теряя души (см. ОПЫТ)

Ю

В мой первый студенческий день, сидя на постаменте под памятником М. В. Ломоносову (том, что лицом к Манежу), я составил в записной книжке свод правил на предстоящую пятилетку. К диплому должен был выйти, написав роман и накопив для поддержки предположительно трудной писательской жизни 1000 рублей «на книжке» (каковую немедленно завел в сберкассе на Мичуринском).

Выдержал только первый год, сокрушенный силами либидоносными и, по определению, иррациональными. Помню, однако, что вчуже восхищался, когда ты рассказал про свои правила в отношении обязательных «единиц работы».

Не могу сказать, что правилу, которое, согласно Гуглу, восходит к Дизраели, следую неукоснительно, будучи все же трансгрессор и «нарушитель границ». Но вспоминаю чаще других...

Never explain, never complain.

Э

«Единицы работы». Хорошо, что ты напомнил мне об этом казусе юности. Закончив университет и опасаясь размагнититься от вынужденного безделья, я с августа 1972 г. решил как следует за себя взяться. Писал обязательства и расписки самому себе. Придумал некую меру свершения: «единицу работы» – и задавал себе на каждую неделю число единиц, а

потом подсчитывал по месяцам и годам (года на два хватило этой системы). Чему же равнялась единица, какие действие приравнивались к ней?

1 страница на машинке (оригинального текста или перевода).

1 стр. в тетради «Эстетика», 1,5 стр. в тетради «Мысли», 1 письмо.

15 стр. чтения на английском.

40 стр. чтения на русском (только научная литература).

И, как подтверждение эквивалентности всего на свете, знакомство с девушкой (телефон или адрес).

Это тоже была работа! (для меня). Что страница текста, что телефон девушки.

И вот радостные итоги:

За год, 28 авг. 1972 – 28 авг. 1973 г.: 1670 единиц работы. В среднем – 4,5 единицы каждый день, без выходных. Подумать только, что это могло быть 1670 телефонов девушек. Целая телефонная книга! И ни одной написанной страницы. А могло быть три полновесных тома, по 500–600 страниц каждый! И ни одного знакомства с девушками... В реальности все было гармоничнее.

См. РАБОТА

Праздник

Э

Праздник – это вход в рай. Праздник – начало любви, первая догадка, узнавание, проблеск взаимности. В самом раю уже трудно обитать по-райски.

Из дневника

14.10.73.

«Холодно и одиноко. Совершенно без никого. «Живу без новостей», – говорю я теперь по телефону. Израильская война усиливает тоску и тягу к близким, родным по крови. Хочется жениться и никуда из своей крови и рода ее не отпускать, пусть вяжет и нянчит, носит длинные юбки и теплые шерстяные носки. Умственная работа (Маклюэн, лекция Мамардашвили, французский язык, ежедневная Библиотека иностранной литературы) уже не успокаивает и не умиротворяет, а загоняет глубже эту тоску о родине, о веселых лицах, о празднике, о вечере в тесном кругу родных и гостей, о долгом сне вдвоем. Не уверен, нужен ли мне сейчас всеобщий праздник, братание на улицах, открытые двери домов и огромные огненные буквы в небе. Мне бы хватило и...»

Ю

Я не знал, что такое праздник, пока не попал в Париж и не увидел за спиной бедно-бледные наши застолья и торжества, где был переизбыток алкоголя, но дефицит сердечности. Всегда вылезал к тому же какой-нибудь «скверный анекдот». Я здесь, конечно, не оригинален, но, испытав и пережив этот «мой» Париж, очеловеченный и согретый испанскими эмигрантами и офранцузившимися их детьми, не могу не поддержать Хемингуэя: первые годы в Париже были, несмотря на нищету и переезды из одного аррондисмана в другой, с квартиры на квартиру, моим перманентным праздником: воистину *moveable feast*.

Профессия

Ю

Несмотря на стихи и рассказы, в 15 лет я решил «делать жизнь» – с Альберта Швейцера. Стать врачом, и лучше всего в Африке. Вот как это мотивировал в школьном сочинении, февраль 1963:

«О любимой профессии.

У меня растут года,
Будет мне семнадцать.
Кем работать мне тогда,
Чем заниматься?

Эти строчки знакомы мне с раннего детства. Тогда мне хотелось стать пожарником. Я надевал на голову дуршлаг, брал в руки резиновый шланг и, надев старый, закапанный стеарином ватник, бегал по большой ленинградской квартире, направляя шланг туда, где мое детское воображение рисовало клубы дыма и пламени. Я представлял себя Кузьмой-пожарником из стихотворения Маршака. Но уже через несколько дней, придя из театра, я, махая волшебной фатой, пел «Летят перелетные птицы» и с чувством произносил: «Спасибо Ленину, спасибо Сталину за счастливое детство наше!..»

Детство прошло. Сейчас передо мной серьезно встал вопрос: «Кем быть?»

Мне хочется приносить людям здоровье и счастье, поэтому мне нравится профессия врача. Холера, чума, оспа и другие страшные болезни, которые в нашей стране почти не известны, уносят множество людей в странах Азии и Африки. Там очень мало врачей из местного населения. Колонизаторы учили (очень редко) черных считать их доходы, а не лечить соотечественников. Поэтому мы помогаем странам, освободившимся от колониального гнета. Почти всей Африке известна советская больница в Эфиопии, где наши врачи оказывают бескорыстную помощь населению. А наши врачи в Гане, Гвинее, Конго? У нас тоже не все болезни уничтожены. Свести на минимум болезни, принести человеку здоровье и долголетие – вот вопросы, стоящие перед современной медициной. Что может быть благороднее профессии врача?

С развитием общества будет развиваться медицина, и в коммунистическом обществе профессия врача будет самой почетной и необходимой».

Под сочинением красными чернилами поставлена оценка «5» и высказано мнение:

«А я бы тебе посоветовала, да и хотела бы видеть хорошим журналистом, для этого у тебя есть все данные. Врач! Чудесная профессия, но ты в душе лирик, да и юмора у тебя достаточно, чтобы стать журналистом-писателем».

Дома отчим махнул рукой:

– Мало ли что учительница... Это не профессия!

Э

У меня всегда возникают трудности с кратким определением своей профессии (точнее, специальности). Начинается перечисление: филолог, философ, культуролог, эссеист... А если еще разложить филологию на литературоведение и лингвистику, то создается впечатление разбросанности и неменяемости или «полимании» (назовем так одержимость профессиональным разнообразием, отталкиваясь от английского «polymath», «тот, кто сведущ в разных областях знания»). На самом деле, если разложить этот спектр хронологически, то легко увидеть, что в каждый период преобладали один или два основных цвета. С 11 лет я осознал свое будущее как писательское и до 19–20 лет, до 2-3-го курсов университета, еще пытался разыграть карту прозаика, рассказчика. Но все яснее понимал, что моя «проза» – это, как война, лишь продолжение внутренней политики, а политика моя – не образотворческая и не повествовательная, а скорее, мыслетворческая и рассуждательная.

Секция по работе с творческой молодежью
ордена Дружбы народов Центрального Дома
работников искусств СССР

ВЕЧЕР МОЛОДОГО КРИТИКА



МАЛЫЙ
ЗАЛ

ЦДРИ СССР,
Пушечная ул., 9

Михаил ЭПШТЕЙН

14 мая 1980 года в 20 часов

Авторский вечер в ЦДРИ, 1980

В университете я образовывался как филолог, но основной мой интерес был не к языку, а к литературе, причем именно к литературной теории, так что номинально по специальному образованию и по первым публикациям я литературовед. Но тогда же, в начале 1970-

х, я начал писать нехудожественную, рассуждательную прозу, для которой в начале 1980-х нашел, связав ее с Монтенем, правильный термин «эссеистика» – и даже «эссеизм» как особое направление в культуре, соединение образа, понятия и личного опыта²⁷.

В 1980-е эссеистика/эссеизм выходит на первый план, отгесняя даже литературоведение. Но одновременно зарождается еще один жанр или метод – проективного письма, создания идей, движений, понятий, условных фигур мыслителей, воображаемых энциклопедий и т. д. Среди моих проектов того времени были «Коллективная импровизация», «Лирический музей», «Метареализм и концептуализм», «Постатеизм и новые секты», «Книга книг (учения алфавистов)...».

Как назвать эту специальность, я не знаю: «прожектор» – ругательно, «проектант» – технично; может быть, «проективист»? Тогда же обозначился растущий интерес к лингвистике («Идеоязык» – исследование и словарь, 1982) и культурологии, опять-таки проективной («Транскультура», 1984).

В 1990 г., когда я переехал в США и, освободившись от советской профессиональной номенклатуры, сам стал определять круг своих занятий и интересов, на первое место вышла философия, что обозначилось в книгах «Философия возможного» и «Проективный философский словарь». Тогда же возникла самоидентификация как культуролога: во-первых, потому что такая профессия в 1990-е обосновалась в России; во-вторых, поскольку в США философия понимается гораздо более узко, чем на континенте, то и мой профиль скорее попадал в область «культурных исследований» и «критической теории» (такова, собственно, первая половина моего официального звания: «профессор теории культуры и русской литературы»). Кроме того, в 1990 г. моей специальностью стал «постмодерн», не только как литература, но и как целая культурная формация, что опять-таки усилило культурологический момент в моей специализации. В 2000 г. начинает преобладать лингвистика, опять же проективная («Дар слова. Проективный словарь русского языка» и множество связанных с ним работ). Одновременно вырисовывается обширное поле, в объем которого попадают все вышеуказанные специализации – «гуманитарные науки». В некотором смысле я действительно могу сказать о себе «гуманитарий», без дальнейших определений. По охвату предметов, по совокупности интересов – гуманитарий, а по методу и подходу – проективист, кредо которого – не описательно-исследовательская, но преобразовательно-конструктивная цель гуманитарных наук. Трансформативная лингвистика, поэтика, лингвистика, философия... – трансгуманистика, транслингвистика, транспоэтика и т. д. И одновременно – создание ряда дисциплин и подходов, которые не вписываются в ранее очерченные дисциплинарные рамки (культуроника, эротология, технософия, тегименология, семиургия, микроника, тривиалогия, скрипторика и т. д.). Все это сошлось сначала в книге «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004), а еще нагляднее – в моей последней книге «Проективный словарь гуманитарных наук» (2017). Таким образом, моя область устанавливается как «гуманитарные науки и технологии» или «гуманитарные науки и практики».

Но если возвращаться к традиционным обозначениям профессий, я с наибольшим правом и удовольствием вернулся бы на филфак и определил себя как филолога, т. е. литературоведа и языковеда по совместительству. И тогда, и впоследствии я жалел, что не прошел через философский факультет, но по тогдашним условиям это было невозможно – факультет был идеологический, туда принимали только по партийной или комсомольской разнарядке (а евреям вообще был ход закрыт). Но и теперь, дай мне возможность пройти все сначала, я бы, наверно, пошел в филологию, а не в философию. Мне представляется, что филология ближе стоит к центру всего круга гуманитарных наук, к гуманистике в целом, чем филосо-

²⁷ Впрочем, первые эссе – с 14 лет. Из дневника. 16.12.1964. «В конце ноября написал несколько философских этюдов или заметок, не знаю, как это называется».

фия, особенно в ее преобладающем ныне аналитическом изводе. Даже если бы я закончил философский факультет МГУ или, допустим, Сорбонны, все равно в США я считался бы не философом, а специалистом по исследованиям культуры, сравнительной литературы и т. д., т. е. стоял бы ближе к филологии. И дело не только в неоправданном сужении призвания и назначения философии (в англо-американском университетском варианте), но и в том, что филология оказалась шире и щедрее в своих интересах к многообразной, исторически богатой и «неточной» жизни слова и мысли, чем систематическая философия, одержимая еще со времен Декарта, Спинозы и Гегеля методом и анализом логических установок. Филология по какой-то странной прихоти своих исторических судеб оказалась едва ли не более филологичной, чем аналитическая философия, а аналитическая философия – более филологичной, чем филология, более заикливающейся на технической и логической стороне языка. Мне ближе филология В. Гумбольдта, Ф. Ницше, В. Иванова, М. Бахтина и С. Аверинцева, чем философия позднего Л. Витгенштейна и У. Куайна. Поэтому с радостью присоединяюсь к выпускникам филфака и повторяю за Ницше – «мы, филологи». Может быть, из всех наследий моей юности это филфаковское – самое непреходящее.

Ю

Самоназвания «писатель» я избегаю с юности. Когда в 20 лет, испытав сатори при созерцании костра на снегу, я начал книгу «Мгновенные микроисповеди», в голове у меня был образ белокочанной капусты, отслаивающей смыслом-листы. Но поскольку я не выдержал роль исповедального правдолюбца с пером, то предпочитаю назваться прозаиком – от латинского *prosus*, движение вперед. Вот моя основная профессия – гнать вперед прозаическую строку.

Между тем, по ходу экзистанса, отчасти вынужденно, отчасти по склонности души, освоены и другие, имеющие отношения к искусству слова: помимо прозаической активности, я еще и (дипломированный) машинист-стенографист (что имеет отношение к кинетике слова, не правда ли? Предусмотрительно освоил эту профессию в средней школе). А помимо этого переводчик художественной прозы. С английского, французского и – в очень ограниченном объеме – с испанского. Моими первыми переводами были рассказы Хемингуэя (еще в средней школе пытался превзойти его советских переводчиков) и Нормана Мейлера (рассказы и миниатюры из книги «*The Cannibals and the Christians*»). Вместе с А. мы перевели в Москве рассказы Сартра из сборника *Le Mur*, и один, самый, как мы считали, проходной, «Герострат», пытались напечатать в «Иностранной литературе», напугав всю тогдашнюю редакцию этого либерально-прогрессивного журнала. В Париже мы перевели программный рассказ франко-английской писательницы-феминистки Николь Вард Жув «Выдвижной ящик» из сборника «Оттенки серого» (отклоненный эмигрантскими журналами, но впоследствии переданный мной по «Свободе»). Самыми первыми на русском языке были мои переводы «из» (как говорили в старину) Чарльза Буковски, а самым крупным достижением в этой области я считаю перевод дебютного романа Эманнюэля Бова «Мои друзья», начатый нами вместе с Ауророй и законченный мной в одиночестве после нашего развода в Праге.

Журналист?



Нурекская ГЭС, Таджикистан. 1973

Эту побочную стезю я начал рецензиями в «Нашем современнике», затем триумфальной (отчасти даже и скандальной, вызвавшей нарекания со стороны парторганов) публикацией в «Дружбе народов» очерка «Главные люди» и рядом менее триумфальных литзаписей и корреспонденций «с мест». Все это представляло для меня интерес как материал для романа о Нуреке, который я не успел написать перед финальным убытием за пределы СССР, где мое журналистское перо прописалось в основных эмигрантских изданиях той эпохи штурма и натиска «третьей волны»: «Русская мысль», «Новое русское слово», «Континент», «Эхо», «Третья волна», «Посев», «Стрелец»...

Радиожурналист. У меня был миниатюрный опыт в Белоруссии, когда на минском радио и телевидении я выступал с чтением своих стихов, но когда после моего интервью «Фигаро» меня в Париже пригласило Радио Свобода, от одного вида микрофона с надписью «*Radio Liberty*» я лишился голоса. Услышит ведь вся страна? Но страх был преодо-

лен, и я проработал на «Свободу» сначала в Париже внештатным обозревателем, затем «пижистом» (то есть фрилансом, но с оплаченным отпуском), корреспондентом, затем, уже в Мюнхене, штатным аналитиком в области, которую я себе избрал «Политика сквозь литературу». Был редактором отдела культуры, основателем множества программ и циклов, включая «Поверх барьеров» и «Экслибрис», ответственным редактором, затем, в Праге, заместителем директора по той же «культуре». Издатель, наконец, – но это уже Америка, и не кажется ли тебе, что мы давно уже за рамками «юности»?

Э

Хотя свою профессию мне трудно определить в терминах узкой специальности, но профессиональный подход к вещам мне, пожалуй, ближе, чем всякий другой. Я почитаю профессионалов – желателен широчайшего профиля, но тем не менее верных критериям точности, знания, ответственности за свой участок бытия. Этот подход обозначился у меня рано, хотя тогда же представилась и его обратная сторона – педантизм.

Из дневника

21.4.74.

«Сегодня мне исполняется 24 года. Во время праздничного ужина поймал себя на том, что могу относиться ко всему лишь как профессионал относится к своей профессии. В сфере житейской или праздничной у меня опускаются руки и пропадают слова. Чувствую себя естественно, лишь когда вступаю в профессиональный разговор... Не могу успокоиться, пока не доведу тему до такой глубины, которая была бы заманчива для специалиста... Если мистика есть религиозное отношение к нерелигиозным предметам, то педантизм есть профессиональное отношение к непрофессиональным предметам. Отсутствие инстинкта жизни столь радикальное, что приходится заново изобретать в поту и пытках самоанализа самые элементарные устройства жизни. Боря Сорокин – мистик, я – педант, мы оба одинаково утомительны».

В дальнейшем я как раз пытался соединить, насколько это возможно, максимум профессионализма с минимумом педантизма.

См. ЗАМЫСЛЫ, НАУКА, ПИСАТЕЛЬСТВО, РАБОТА

Профессора

Э

Воспоминания о профессуре филфака – смутные, впечатления – неяркие. Сказались десятилетия отрицательного отбора, особенно взыскательного в идеологической преподавательской среде. Гениев, выдающихся лекторов, благодетелей человечества, кумиров, властителей дум – не было, а если из властителей и был один, то звали его Владимир Николаевич Турбин, и о нем – в статье «Учителя».

Все профессора филфака делились на приличных и неприличных, достойных и недостойных, исходя из их научной и политической репутации, причем первых было меньше. Из тех, кто заслуживал уважения, запомнились: Юрий Сергеевич Степанов (1930–2012), читавший нам общее языкознание, – высокий, подтянутый, европейски образованный (говорили, что он работал референтом у Хрущева), похожий одновременно на Андрея Болконского и Пьера Безухова; Альберт Викторович Карельский (1936–1993), красноречивый и порою пламенный, читавший немецкий романтизм, который впоследствии стал для меня одним из главных истоков интеллектуального вдохновения; Анатолий Алексеевич Федоров, вдумчиво, рассудительно читавший зарубежную литературу XX века – в центре курса стоял его (а впоследствии и мой) герой Томас Манн. Не помню, кто читал курсы по античной и классической европейской литературе (возможно, среди лекторов была и А. А. Тахо-Годи) – эти предметы были важны и увлекательны.

Среди неуважаемых были: В. И. Кулешов, завкафедрой русской литературы, краснобай, но все больше по административным вопросам, без единой свежей мысли в голове; бесцветнейший П. Г. Пустовойт, читавший середину XIX в., Тургенева и Щедрина и прозванный «пустоплясом»; декан А. Г. Соколов, ухитрившийся так прочесть нам историю русской литературы конца XIX – нач. XX вв., что ровно ничего не запомнилось, кроме горделивого придыхания, с каким он, имитируя немецкое произношение, произносил имя «Гейне» («Хайне», очевидно, в связи с Блоком). Был профессор И. М. Нахов, читавший античность, что-то про циников, которых он хвалил за прогрессивность; после урока покручивал на пальце ключи от машины и предлагал проходящим мимо студенткам довести до дома. Вообще отношения такого рода не считались предосудительными, над Наховым посмеивались, но не осуждали и, кажется, не доносили (см. КОРРЕКТНОСТЬ). Был еще П. Ф. Юшин, специалист по С. А. Есенину и секретарь факультетского парткома. Не помню, что он нам читал и читал ли вообще, но студентом я пришел (чуть ли не по обязательному созыву) на защиту его докторской диссертации по С. Есенину – и помню, как сердито насканивали на него сестры Есенина, резвые старушки, утверждая, что своей диссертацией он выхолостил их брата, да, выхолостил, как здорового, цветущего жеребца (очень сочно и по-деревенски это у них прозвучало).

Я не буду упоминать других профессоров, проходивших перед нами словно в паноптикуме, среди них – смешных и трогательных преподавателей литератур народов СССР, каких-то почтенных армян, азербайджанцев, таджиков. А современную советскую литературу (Шукшина, Белова, Носова, Лихоносова) нам читал В. В. Петелин, который дальше каких-то предварительных подходов – историй, биографий и анекдотов – никак не мог сдвинуться с места. Зато был с нами на редкость откровенен: то на всю Большую Коммунистическую аудиторию объявлял, что помолвлен, и в доказательство показывал кольцо на безымянном пальце; то признавался, что сегодня он просто не в ударе читать лекцию, и тут же удалялся. Мне казалось, что он приходил к нам в подпитии, может быть, для храбрости,

потому что язык у него ворочался вяло, а порой и вовсе заплетался, но это никого не возмущало.

Были и такие профессора, которые, вне деления на уважаемость/неуважаемость, казались нерелевантными, реликтовыми, хотя по-своему колоритными – воплощениями причудливой архаики. Геннадий Николаевич Поспелов (1899–1992) в возрасте 70 лет заведовал кафедрой теории литературы и, в смысле политического поведения, заслуживал уважения – единственный беспартийный завкафедрой на факультете, бывший меньшевик, недобиток «вульгарных социологов», сподвижник В. Ф. Переверзева, во многом оставшийся верным своим убеждениям 1920-х. Он был искренним, убежденным теоретиком, мыслил системно, педантично, «по-немецки», говорил то, что думал, – но что он думал? Он различал с тонкостью до волоса категории «идеологического мировоззрения» и «идеологического мирозерцания», он ссылался как на высший авторитет на умершего в 25 лет разночинца-демократа Н. А. Добролюбова. Все бесконечно издававшиеся труды и учебные пособия Г. Н. Поспелова были не просто скучны и сухи, они были антилитературны. Их не спасало даже то, что догматика, которую он преподавал, была не спущенной сверху, а его собственной, выношенной и даже выстраданной.

Вторым по старшинству на кафедре теории литературы был Петр Алексеевич Николаев (1924–2007), в семинаре которого я провел первый курс, написав работу об отношениях эстетики и литературоведения. Слышу его густой, артистичный, левитановский баритон, которым он изрекает, глядя мне в глаза: «Уровень вашего эстетического мышления внушает мне доверие». Таких любезных фраз я, вообще-то, немного слышал на своем веку, а уж 17-летнему студенту она и вовсе была в новинку. Уровень самого П. А. Николаева, напротив, вызывал у меня недоверие, поскольку он занимался исключительно эстетикой Г. В. Плеханова, который по степени ортодоксальности и безнадежной скукоты уступал только Ленину. Но теперь, окидывая прошлое идеологически зорким взглядом, я думаю: уж не свили ли они там, у себя на кафедре, меньшевистское гнездышко? Не поспеловский ли был выкормыш этот обходительный Николаев, со своей подозрительной тягой к Плеханову, вождю меньшевизма и идейному источнику «вульгарного социологизма», разгромленного в 1920-е годы? Значит, и там, и тогда была своя жизнь, свои высокие идейные страсти, ускользнувшие от меня по недомыслию. Может быть, кто-то там втайне, но с риском для карьеры, сражался против ортодоксального ленинизма одним только фактом своей научной преданности Г. В. Плеханову? И не кажутся ли наши нынешние научные страсти, все эти тонкие расхождения между оттенками постмодерна и постструктурализма, столь же нелепыми и тоскливыми первокурснику, который записывается ко мне в семинар?

Еще старше Поспелова, лет восьмидесяти, был Сергей Михайлович Бонди (1891–1983), известнейший пушкинист, знаток и лучший чтец пушкинских рукописей. Этот, в противоположность строгому и педантичному Поспелову, был «божий одуванчик»: на лекциях говорил неизвестно о чем, даже непонятно было, какой курс он читает, просто душевно общался со студентами, а на зачетах гладил их по головке и автоматом выставлял зачет (кажется, проводить экзамены ему начальство не доверяло, а то бы у всех были пятерки).

О двух профессорах скажу подробнее. Николай Иванович Либан (1910–2007) пользовался на факультете прекрасной репутацией, которую заслужил своими обширными познаниями и педагогической щедростью, хотя и был «непишущим» профессором, т. е. за всю свою жизнь не издал ни одной книги и, кажется, даже статьи (в американском университете такое трудно представить). Меня направил к нему В. Н. Турбин после того, как я нагрузил его своей объемистой курсовой – «Теорией новеллы», с которой он, видимо, не знал, что делать, – и решил доверить шлифовку моего незрелого «перла» терпеливейшему Либану. Либан, вместо того чтобы просто прочитать курсовую, предложил мне раз в неделю приходить к нему на кафедру и читать ему вслух страницу за страницей (возможно, он был

к тому времени уже не только не пишущим, но и нечитающим). Я удивился, но повиновался. Приходил и читал, без особых замечаний и комментариев с его стороны. Неделя, две, три... Наконец дошло до чеховского рассказа «Смерть чиновника». По моей теории, в жанре новеллы господствует случай, судьба, то, над чем человек не властен, – таков спусковой механизм новеллистического действия, в данном случае чихания чиновника Червякова, невзначай обрызгавшего лысину вельможи. Вот на этом месте Либан меня наконец перебил и объяснил, что на самом деле чихание предотвратить можно, если знать секрет: нужно пальцами пощекотать переносицу – и тогда позыв пройдет. В этом он поручился мне своим медицинским образованием, которое получил еще до филологического. Получалось, что моим выводам по теории новеллы не хватает эмпирической опоры: предотвратить чихание, оказывается, было можно, так что «случай» и «невзначай» здесь ни при чем. Я так и не понял, было ли это насмешкой, – мне кажется, нет, он был искренно участлив ко мне, но больше я к нему не приходил, решив не тратить ни его, ни свое время (впрочем, медицинский урок запомнил, и теперь при подступании чиха щекочу переносицу).

Перейти к Либану от Турбина, с которым у меня назревал нежный, вежливый разрыв, не получилось – тогда я попробовал пойти другим путем, не историко-литературным, а структурно-семиотическим. Проблемную группу по семиотике на филфаке возглавлял профессор Александр Григорьевич Волков (род. 1920), о котором говорили как о честном и знающем специалисте, хотя человеке замкнутом и резковатом. (Какое привычное, почти генетически предсказуемое сочетание честности и резкости в людях советской эпохи! – в Штатах такого не встречал.) Поскольку лотмановское направление меня уже интересовало, хотя и вчуже, а ближайшей к нему на филфаке (и единственной по семиотике) была эта «проблемная» группа, весной 1970 г. (4 марта) я поехал к Волкову, в Переделкинский санаторий, где он, как ветеран войны, отдыхал или лечился. Он принял меня крайне сухо и недоверчиво, задал пару каких-то контрольных вопросов по истории моих семиотических интересов и исследований (которых я к тому времени, на 3-м курсе, еще не успел провести) – а потом чуть ли не выгнал меня, потряхивая своим инвалидным костылем и крича вслед, что со стукачами и гебней он водиться не намерен. Хорошо помню свое потрясение, когда я шел солнечной талой дорогой от санатория и весна мне казалась черной; и когда стоял на платформе, ждал электричку и глотал слезы. Потом я слышал, что старик страдал манией преследования, что у него были какие-то нелады с органами.

Это была моя последняя попытка уйти от судьбы, от кафедры теории литературы, возглавляемой Пospelовым. Я попал в развилку между Либаном и Волковым, между бессмысленной доброжелательностью одного и еще более причудливой враждебностью другого. Хо́да назад, в турбинский семинар, мне не было: туда попадали многие, но оставались только «свои», которые определялись непонятно чем, – по каким-то неуловимым, почти биологическим или мистическим приметам.

Например, «своими» оказались бородатый компанейский гитарист Володя Сидоров и его подруга, неприметно-опрятная, тихая Таня Дерюгина. И не то чтобы Турбин меня изгнал – ради моего же блага он предоставил мне свободу ухода, зная, что мое место – не с ним, не у него. И сам я понимал, что мне не место в семинаре, где «по-бахтински» жанром называется все и где в связи с Раскольниковым обсуждают «жанр топора» в русской литературе, а в связи с бричкой Чичикова – «жанр колеса» (теперь это столь же универсально назвали бы «концептом»). И тогда я вернулся на кафедру теории литературы, к доброму, открытому, внимательному, ответственному Валентину Евгеньевичу Хализеву, учителю по призванию (см. УЧИТЕЛЯ). И хотя ему, вместе с Пospelовым, не удалось выиграть битву у парторга Юшина и оставить меня аспирантом при кафедре, я благодарен судьбе за этот выбор.

Ю

Благодаря «пятерке», поставленной этим самым Юшиным (к которому, дабы поддержать «хорошего человека Юрьенена», добрались от Юрия Павловича Казакова), я и набрал свои 19 баллов на вступительных. Но больше со специалистами по совлитературе не пересекался – как, впрочем, и с другими профессорами. Разве что на зачетах и экзаменах.

Могу вспомнить только «славяноведа» Никиту Ильича Толстого – единственный из профессоров, у которого я был дома в старой Москве, где-то в районе Софийской набережной, где такие улицы, как Балчуг, как Ордынка; правнуку графа было 50, и, по рекомендации врача, он как раз тогда бросил курить. Благодаря этому мы увиделись еще раз через четверть века – 22–24 августа 1994 года в ФРГ, в баварском Регенсбурге, на VIII конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ... что можно сказать о языковой чувствительности русистов, собирающихся под эгидой подобной аббревиатуры).

Я посещал семинар «толстоведа» Михаила Никитича Зозули, он был замдекана по учебной работе. Поговаривали о его связях с площадью Дзержинского. После войны он был комендантом одного из немецких городов (согласно информации под портретом на факультетской Доске ветеранов). Он исключительно благоволил к Сереже Бобкову и вполне возможно, что был «нашим человеком в МГУ». Меня он слушал сквозь сонливую пелену доброжелательного равнодушия, но хвалил за привлечение иностранных источников и ставил «отлы».

Вообще же, *ex cathedra* крайне редко слетали живые, не скажу тут анти – даже просто внесоветские слова. Ну да, «античка» Тахо-Годи. Еще один профессор, забыл фамилию – Федоров? – специалист по зарубежной литературе, который по возвращении из ФРГ своей безбоязненной лекцией восстановил для нас реальный облик западногерманской литературы. И, конечно, несчастный пушкинист Бонди Сергей Михайлович, который перед тем, как поставить мне зачет, горько жаловался, даже местами плача, что его, 80-летнего, не выпускают к родным во Францию. (Скажи, садизм? А ведь он был «обыкновенным», этот госсадизм. Как норма жизни...) Ты вспоминаешь кинизм латиниста Нахова, крутившего ключи на пальце, а я их видел «на моем конце», в общежитии, не Нахова – других ловеласов служебного положения, еще более пожилых и даже лысых профессоров общих наук вроде марксизма-ленинизма, прокладывающих путь в девичьи дортуары.

Нет сомнения, что были в МГУ фигуры, достойные всяческого уважения, но о них я знал лишь понаслышке. Не мой опыт. И не мое видение этой массы неважно выглядевших и одетых тетя и дядя, чьи неподдельные инстинкты и подлинные интересы наглядно расходились с наукой филологией; а впрочем, как и мои...

См. ВЛИЯНИЯ; УЧИТЕЛЯ

Публикации

Э

Первое мое опубликованное сочинение – кроссворд, вышедший в журнале «Путь и путевое хозяйство» (1963, 4), когда автору только исполнилось 13 лет. Почему в столь ведомственном журнале? Мама моя работала в издательстве «Транспорт» и показала знакомому редактору. Я в то время увлекался кроссвордами, не столько разгадкой, сколько составлением, но после этой первой публикации увлечение прошло. Потому ли, что не люблю повторяться? Или, возможно, на мою авторскую совесть легла первая травма: в названии иракской (и райской) реки «Евфрат» я допустил ошибку, пропустив букву «в»: «Ефрат». Это не преминул заметить мамин сослуживец, споткнувшись при разгадке о недостающую букву. Мне было очень стыдно, и царапинка эта саднит до сих пор (совесть и память – сестры). А может быть, это была ошибка по Фрейдю, учитывая несносное буквосочетание «ев» с нарастающим вслед рвотным, душевыворачивающим «р» (см. ЕВРЕЙ) – и, пропустив «в», я сделал себе маленькую поблажку?

Моей второй публикацией, уже в 16 лет, была статья в газете «Московский комсомолец» под бичующим названием «Карьерист в ажиотаже». В то время газета, помня о своем названии, иногда предоставляла слово старшеклассникам. Я только закончил 9-й класс и был в раздумьях о выборе профессии, грезил о бригантинах с алыми парусами, готов был на худой конец даже сделаться шофером, чтобы прикатить из Аныдыря в Ташкент, в гости к девочке, которая мне тогда нравилась, и покорить ее своей кочевой сибирской удалью. Страшнее всего мне представлялся оседлый образ жизни, который вело большинство нормальных людей, включая моих родителей. Вот об этом и статья, которую я посвятил критике мещанства, а чтобы заострить ее социально-критическое жало, редакторы переименовали «мещанина» в «карьериста».

С 1973 г. я стал публиковаться в «Вопросах литературы», в отделе теории, которым заведовал Серго Виссарионович Ломинадзе – я многим обязан ему, как своему первому (да, по сути, и последнему) системному редактору. Сотрудничество с ВопЛями продолжалось до конца 1980-х гг., и, как ни суди, в эти два десятилетия, 1970-е – 1980-е, он был лучшим советским гуманитарным журналом, более широким, толерантным, читаемым и почитаемым, чем «Вопросы философии». В нем печатали С. Аверинцева и П. Гайденко, которым в идеологически более ошестивенных философских изданиях места не было – а по линии литературы/литературоведения это проходило. Моя первая крупноформатная статья «Критика в конфликте с творчеством» (1975), как и вторая «Сексуальная революция в литературе Запада» (1976), вызвали резонанс в профессиональной среде, и, по тем геронтократическим временам, 24–25 лет считалось очень ранним дебютом (во что сейчас трудно поверить).

Одновременно с 1972 г., с последнего курса филфака, стали выходить мои статьи в Большой Советской и Краткой Литературной энциклопедиях и других энциклопедических изданиях, где я сотрудничал с Николаем Пантелеймоновичем Розиным: «Конфликт», «Новелла», «Психоанализ в литературоведении» и т. д. Это было первым опытом «энциклопедизма», который впоследствии перерос в неортодоксальные труды в этом жанре: «Новое сектанство» (1984–1988), «Книга книг. Словарь-антология альтернативных идей» (1984–1988), «Философский проективный словарь» (2003), «Дар слова. Проективный лексикон русского языка» (2000–2017) – и, наконец, вот в эту «Энциклопедию юности» (2004, 2009, 2017).



Начинающий литературовед. Период первых больших статей в «Вопросах литературы»

С 1975 г. началось сотрудничество с «Новым миром», где меня приветил ехидно-добрый и инакомыслящий Виктор Исаакович Камянов (а завотделом критики В. М. Литвинов ему не препятствовал).

«Вопросы литературы», «Новый мир», «Советская энциклопедия»... Таких либеральных мест в журнально-издательской системе было немного, но они были хорошо очерчены,

относительно устойчивы, и в них можно было, под несколькими защитными словами, проводить свою теоретическую линию. В первой половине 1970-х это удобнее всего было делать в форме изложения и критики западных идей – в этом формате тогда работали любимые мною Сергей Аверинцев и Пиама Гайдено, и я тоже в него вписался. В эти же годы я опубликовал единственную в своей жизни рецензию – ее заказал параллельно мне и моей сокурснице Ольге Седаковой для «Детской литературы» Валентин Масловский (в библиографии О. Седаковой эта рецензия на книгу Г. Галаховой, видимо, тоже идет одной из первых). Рецензий я не пишу в принципе, как и вообще не люблю «критического дискурса», когда критик судит и оценивает продукт, выданный писателем. По какому праву? – разве он, критик, талантливее и мог бы написать роман или стихи лучше?

Мой переход в «актуальную» литературу был закреплен участием в Совещании молодых писателей (Софрино, 1975 г.). Это было официальное и вместе с тем вдохновенное и праздничное событие. Среди руководителей семинаров были Василий Аксенов, Юрий Трифонов, Булат Окуджава, Борис Слуцкий. Я попал в группу критиков и литературоведов, вместе с Виктором Ерофеевым, Святославом Бэлзой, Владимиром Вигилянским, Леонидом Бахновым, Олегом Салынским, а руководителем был Евгений Сидоров. По итогам обсуждения, Ерофеева, Бэлзу и меня рекомендовали в Союз писателей, куда я и был благополучно принят в декабре 1978 г. Рекомендации написали А. Битов, С. Бочаров и В. Гусев. С тех пор я стал числиться «молодым критиком и литературоведом» (такова была номенклатура писательских жанров), хотя к первому разряду я никогда не принадлежал.

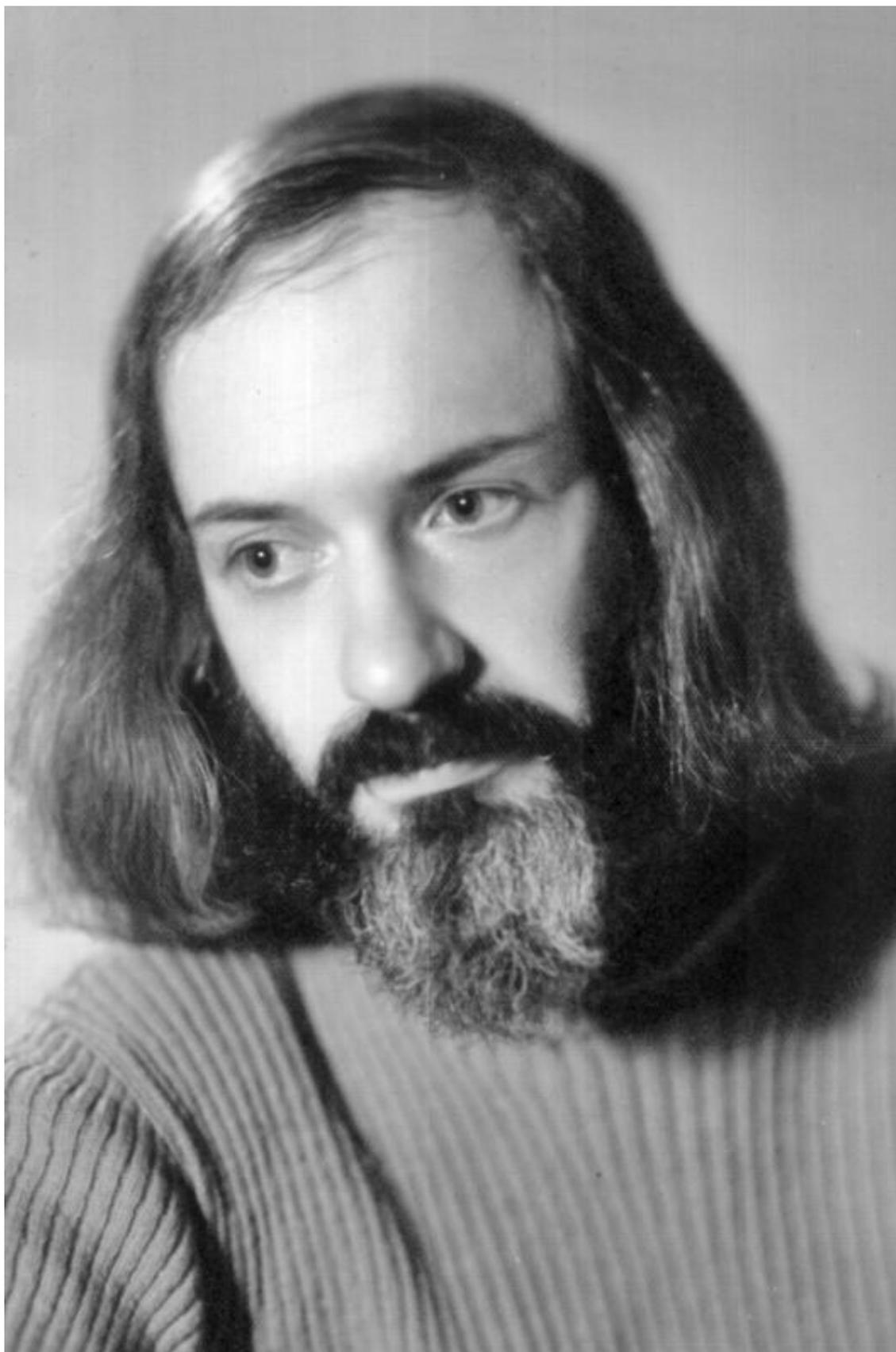


Фото автора из первой книги «Парадоксы новизны» (1988)

Мой жанр, сложившийся к середине 1970-х, – это проблемная статья, которая не судит и не оценивает, но пытается понять, а по возможности, и предложить или предсказать лите-

ратурный прием или направление. Я не считаю себя ни критиком, ни историком литературы, но теоретиком, а еще – прожектором (может быть, и профессия мамы, работавшей в *плановом* отделе издательства «Транспорт», оказалась пророческой?). Если история – о прошлом, критика – о настоящем, теория – о вечном, то какой же раздел литературоведения обращается к будущему литературы? Вот здесь и возникает перспектива четвертого раздела литературоведения, к которому я себя отношу, – прогностика, креаторика, эвристика, конструктивная и проективная поэтика литературы.

Ю

Первой публикацией стало стихотворение «Сентябрь на станции Вязинка» – в «Немане» (8, 1966), единственном русскоязычном «толстом» журнале республики моей эмиграции.

Этому дебюту предшествовали пять лет одобрительных отказов из московских газет и журналов и безуспешных попыток Казакова напечатать хоть что-то из рассказов. И еще 11 месяцев выходил «молодежный» номер «Немана».



Публикация состоялась уже во «взрослой жизни», когда, «не добрав балла» в МГУ, с позором вернулся в Минск и стал заочником журфака БГУ. А ведь появился в редакции еще школьником, с толстой папкой поэзии (все написанное с 12 лет), прочитанной предварительно отцом приятеля, белорусским писателем Рыгором Нехаем (это в его кабинете я узнал о существовании 90-томника Толстого, а главное, входящего туда Дневника, в котором некоторые места – как слово «*малафья*» – были подчеркнуты карандашиком). Чужой отец читал при мне мою поэзию вслух, бил себя по колену: «Во дает!» – а после перенаправил к «сидевшим» в «Немане» поэту Брониславу Спринчану и критику Георгию Березкину. Спринчан еще в 1965 году обратил внимание на мои стихи, с которыми я выступал по республиканскому радио и «тэлебаченню», о чем и сказал, подойдя ко мне, десятикласснику, в фойе Дворца профсоюзов, где в мае того года проходил V съезд писателей Белоруссии (памятный выступлением Василя Быкова против цензуры, мной лихорадочно застеночно графированным и затем распространяемым среди узкого круга молодежи, которой это было небезразлично). На съезд меня, школьного поэта, отправил директор нашей 2-й школы, официально удостоверенный поэт Уладзимир Ляпешкин, вручив свой пригласительный билет. Иными словами, входил я в редакцию «Немана» не совсем новичком и встречен был более чем радушно – не только свежесваренным чаем, но и водкой. Я отказался, разумеется, и никто не настаивал, потому что мое появление было для них поводом выпить. Выходил из редакции весь взмокший под свитером – после коллективного чтения моих стихов, головокружительных разговоров о том, что можно готовить сборничек, и вызова редакционного фотографа, который от водки не отказался, но снимал меня по-настоящему, на фоне развернутого белого экрана.

Переходя на прозу, я сжег все стихи, так что от всего периода в пять пламенных лет осталась только пейзажная лирика, выбранная по причине «проходимости»: начинающий русский отдал дань Янке Купале.

Это был, разумеется, фальстарт. Как и все последующие советские публикации. За настоящим дебютом – тут Аксенов В. П. был прав – автор вынужден был отправиться в Париж.

Но, так или иначе, следующей советской публикации пришлось ждать мне долго, до 1974 года, и была она, увы, в рецензионном жанре. Тут своя история. Осенью 1972 года, когда Аурора забеременела, я испытал большой креативный подъем, и в декабре того же года принес в журнал «Наш современник» (почитаемый мной тогда за «Люблю тебя светло»), повесть, которую Виктор Лихоносос посвятил двум асоциальным Юриям – Казакову и Домбровскому) результат – рассказ «По пути к дому». В отделе прозы меня встретил не по-московски доброжелательный сотрудник Анатолий Курчаткин. Прочитав, обнадежил, причем столь уверенно, что я тогда же написал бабушке в Питер – через несколько месяцев, мол, твоего внука «узнает вся мыслящая Россия».

Но Россия мыслила по-разному, и после долгих проволочек начальник отдела прозы писатель Борис Екимов, смущаясь, заявил, что рассказ прочитан «в верхах» и отклонен по причине «стилистического несоответствия с направлением журнала». Зато обнадежил в смысле повести «Пятый угол» и предложил написать рецензию на новинку издательства «Современник» – «Зерна», дебютную книгу прозы Владимира Крупина. Рецензию взяли, и другую тоже. А потом речь зашла о штатной работе. Я был приглашен на рандеву с главным редактором. Поэт Сергей Викулов, при котором от либерализма в журнале не осталось ни следа, слыл человеком, способным «не дрогнуть под наганом». Ему, видимо, нужно было визуально подтвердить свое мнение о «стилистическом» несоответствии журналу молодого литератора с фамилией на – *нен*. Лучше мне попытаться счастья в «Дружбе народов», сказал Викулов. Возвращена была Екимовым и повесть: «Глумление над образом отца...» От

ворот поворот. Впрочем, и Анатолия Курчаткина оттуда «ушли». «Наш современник» собирал своих, готовясь к боям за «русскую идею».



Сергей Юрьенен, Анатолий Курчаткин. V Всесоюзное совещание молодых писателей. Москва, гостиница «Юность», 1975

Но Викулов оказался прав. Мои первые публикации действительно состоялись в либеральной «Дружбе народов», хотя прозу отвергли и там: «Много пьют... солженицынские интонации...»

Впервые опубликовал меня писатель Анатолий Курчаткин, когда возглавил отдел прозы журнала «Студенческий меридиан», – и повесть «Пятый угол» (под псевдонимом «Память сердца»), и рассказ «Кормилец», за который я получил первую премию Всесоюзного конкурса на лучший рассказ о советском студенчестве. Все это вместе с прочей литературно-общественной активностью (или злоумышленной симуляцией оной) проложило путь к первой книге.



С Е Р Г Е Й Ю Р Ь Е Н Е Н

ПО

ПУТИ

К

ДОМУ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

М О С К В А
С О В Е Т С К И Й
П И С А Т Е Л Ъ
1 9 7 7

«Спроворился издать», – выразился про эту книжечку Аксенов, превознося в эмиграции мой роман «Вольный стрелок». Но задевшее меня словечко где-то соответствовало истине, поскольку элемент авантюризма в рывке к свободе, конечно же, присутствовал. А как было иначе? В ситуации обложенности стукачами?

Редактором книги был писатель Владимир Семенович Маканин, благодаря которому мой сборник «По пути к дому» вышел (всего лишь с двумя-тремя купюрами, сделанными мной по требованию Главлита) в издательстве «Советский писатель» в марте 1977-го – за полгода до убытия во Францию. Я вез авторские экземпляры на заднем сиденье такси, две тяжелые пачки, при этом со всей остротой испытывая взаимоисключающие чувства – удовлетворение от конкретного результата своей юности и сознание того, что ее мне погубили, непростительно задержав «дебют».

Э

Я всегда верил в тебя, в твое большое писательское будущее – и вот нашел подтверждение в записи о первой твоей публикации: «24.1.75. Читал очерк Сережи Ю. в «Дружбе народов» (№ 1). Очень хорошее начало у С. Чистый, пластичный, гибкий язык, читается легко и увлекательно, несмотря на документальность материала. Может быть, его жанр – как раз документальная проза, где ничего не надо выдумывать, а просто работать памятью и языком; и то и другое у него – великолепны. Из него выйдет большой писатель. Чувствую, что он не остановится, он не из тех, кто остается автором одной книги, надолго замолкает, переживает кризис (как Грибоедов, Олеша). Он мастер, и будет писать последовательно и лучше от книги к книге».

См. ПИСАТЕЛЬСТВО, ПРОФЕССИЯ, ФИЛФАК

Путешествия

Э

Поражает бедность моих путешествий. Мои дети успели к молодости объездить чуть ли не полмира: почти всю Европу, пол-Азии, часть Латинской Америки, не говоря уж о Северной Америке и России. А я... Мое первое путешествие состоялось, навстречу Радищеву, из Москвы в Ленинград, только когда мне исполнилось 13 лет. Второе – из Москвы на Украину в 17 лет (подарок мамы к окончанию школы и поступлению в МГУ).

Только в университете, благодаря фольклорным экспедициям, я открыл для себя российскую глубинку. Лето 1967 г.: север Карелии, возле Полярного круга – селения Чупа, Лоухи; а также Петрозаводск, Кемь, Соловки. Летом 1968-го, когда я уже стал руководителем подотряда и разъезжал самостоятельно или в сопровождении двух девочек, – Архангельская область, деревни вокруг Вельска и Каргополя. Эти поездки, особенно первая, навсегда остались во мне смесью света, воды и земли, призрачную ясность и таинственность которых невозможно передать. А фольклорной моей специализацией во второй экспедиции, между прочим, были не какие-то там почтенные былины или сказки, а частушки, в основном матерные, которые хриплыми голосами напевали мне матерые бабы, с недоумением глядевшие на нетронутого еврейчика, аккуратно записывавшего их похабщину. Я выбрал этот жанр за возможность приобщения, хотя бы филологического, к настоящей, взрослой жизни.



С Наташей и тетей Фирой, родственниками из Ташкента, в городе Глухове (Украина).
1967

Позже, с последнего университетского лета (1971), я стал осваивать курорты: Прибалтику (особенно Юрмалу), Крым, Кавказ, но нельзя сказать, что сблизился с их природой, которая осталась для меня декорацией. Скорее, это были вылазки в летнюю молодежную жизнь, с поиском приключений, редкими удачами, томлением, одиночеством, неуверенностью в себе. И только в 1976–1979 гг. мне удалось проехаться по всей российской шири,

точно по Пушкину, «от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды». А именно: от Урала до Карпат; от Вологды и Ферапонтова до Дагестана, Грузии и Армении; от Свердловска до Ужгорода; от Уфы до Одессы и Кишинева.



Кавказ. 1976

Тогда я освоил великое искусство автостопа и общения с незнакомыми людьми, которые приглашали на ночлег. И впервые понял, что народное радушие и гостеприимство, несмотря на жуткие уроки классовой борьбы и массовых репрессий, подозрительность, вьевшуюся в плоть и кровь, – это все-таки не фантом романтического народолюбия. Впрочем, собственно России в этих путешествиях почти не оказалось, мы, словно Веничка Ерофеев, так и не попавший в Кремль, в середку столицы, – никак не попадали в середку страны, а невольно, словно зачарованные, объезжали ее по краям. Север, Урал, Кавказ, Закарпатье... Ни разу не бывали на Рязанщине, Тульщине, Курщине, Орловщине, да и никто из знакомых

там никогда не бывал, видимо, сторонясь заведомой убитости и разоренности этих мест. Разве только проехали по Волге, которая своей тоскливой степью прояснила, отчего все народные мятежи и революционные вожди (разинщина, пугачевщина, саратовский Чернышевский, симбирский Ленин) накатывались оттуда, движимые духом пустоты.

Ю

Маршрут самого первого моего путешествия повторил инерцию генетически заданного предками *Drang nach Osten*, только разница была в том, что я совершил его вынужденно, в форме полуторамесячного спеленутого свертка: Франкфурт-на-Одере – Москва – Ленинград. Вполне судьбоносное путешествие: родившемуся в Германии осознавать этот факт предстояло уже в России. Несколько последующих лет были ограничены Ленинградской областью (Бернгардовка, Репино, Лисий Нос, Гатчина, Никольское), но как только мне исполнилось 7 лет, грянуло очередное судьбоносное, превратившее меня в русского эмигранта внутри БССР: Ленинград – Гродно. Из Западной Белоруссии рокадной дорогой меня возили в южную Литву – впрочем, не далее Друскининкая (Друскеник, говорили тогда).

В 1957-м отчим перевез нас в Минск, и летом того года я увидел Черное море, Кавказ, Сочи, Пицунду – Абхазию, Аджарию, что повторилось и на следующее лето, 1958-го, включившее также Украину – Киев, Харьков, Коростень и деревню Клочи. В 1959 году – Латвия, Рига и Рижское взморье, затем Литва и Вильнюс. Мое русское самосознание поддерживали постоянные, по два раза в год, поездки в Ленинград, куда я подумывал вернуться в качестве студента.



Русские и местные. Литва. 1955

Зимой 1964 года, однако, я увидел и Подмосковье, Солнечногорск, и Москву, а в ней МГУ на Ленинских горах – «Вернусь в Россию именно сюда!». Затем, в 16 и 17 лет, два лета я провел в Новгородской области, в местах, откуда бабушкин род Грудинкиных, – Залесье, река Яймла, деревня Ручьи (где на погосте старинной, XVIII века, церкви Георгия Победоносца могила Велимира Хлебникова); Крестцы, городок, который, по легенде, заколдовал от вражеских нашествий мой предок по бабушке Сергей и где учительствовал Сологуб; Старая Русса, где писались «Братья Карамазовы»...



Рига – Минск. 1965

В 1967 году я, наконец, осуществил свое возвращение «в Россию» – в Москву.

Дневник

1968, 8 марта.

Станция Малая Вишера. 10-й час уже, как я сел на поезд в Москве. Я пишу за столиком в вагоне 3-го класса. С другой стороны, положив голову на руки и навалившись на стол, тонко храпит молодой мужик. За окном вьется снежок. Черные палки деревьев, черные вышки, черные пути. За косой линией серого снега бурые частые кусты, дома двухэтажные нижней половиной просвечивают через кусты, верхней – поднимаются над ними рядами окон, белыми скатами крыш, трубами. Вблизи от окна у вагона снег сухой, шершавый, местами в провалах следов. В соседнем отсеке собираются пить принесенное вино – поезд стоит долго, и они успели сбегать в вокзальный ресторан.

– Пятерки как не было, – говорит голос молодого парня.

...

– Я тебе говорю: допей, – и слышно: тот допивает.

Жующие звуки. Поезд трогается.

– Следующее Чудово будет. Чудово, – кричит, проходя, проводница.

В прямоугольник зеркала мне виден затылок молодого и лоб с частью загибающихся вниз волос, когда он откидывается. Когда они наклоняются, то в зеркало видно белое несущее пространство, пересеченное проводами, и дымные, расплывающиеся фигуры елей. Рядом пустая бутылка темно-зеленого стекла с этикеткой в три цвета: белый, розовый, темно-розовый – вермут розовый, крепкий.

Я еду в Ленинград. С собой везу Евангелие от Толстого [в подарок Битову. – Ю.]. Достаяю и ем простоквашу из баночки. В детстве в Ленинграде любимая еда была, когда мать вносила в столовую, – простокваша в баночках и рисовая каша с маслом.

Самое главное в поезде – то, чего большинство уже не замечает. Это ощущение движения, тряски, судороги под вагоном; и что бы ты ни делал, всегда в поле зрения отмелькивание ближних к путям столбов и отодвигание больших пространств земли под снегами.

У меня чувство довольства за свое несуетное, неспешное поведение вчера, когда пришлось уехать не сразу, когда хотелось, а позже, ночью. Я не потерял времени, не хотел, чтобы оно уходило скорее, а занимался тем, чем и обычно занимался б, хорошо, что я предпочел и Ленинград; а не Наташин маршрут.

Правило: никогда не давать слова и не говорить людям окончательно...

Волхово. 12.45

Какой-нибудь отдельный деревенский дом, где-нибудь на отшибе между Москвой и Ленинградом. На станции Волхово, 127 км от Ленинграда, в 600 км от столицы. Поселиться бы тут.

Вид движущихся полей под снегом усыпляет. Хочется закрыть глаза.

Чудово.

Чернеют трубы, разной длины и толщины – судя по отдаленности. Длинная, длинная полоса забора; он спускается к реке, и там уже его не видно, а виден подъем на мост.

Когда старик ступал деревянной ногой, что-то слышалось, позвякивало. Он простучал – через шаг – к уборной.

По радио началась радиокomпозиция, посвященная советской женщине. «Весна...», – как раз говорил диктор. Он говорил уже минуты 2, и это было лирической интродукцией. Музыка то наливалась, то умолкала. «Рабыня стала хозяйкой державы», – говорил диктор.

Тебя люблю, так берегись любви моей... поют.

И в Любани дуло снегом. Любань, – ничего не изменилось с тех пор, когда в детстве, поездом из Гродно, я приближался к Ленинграду ночью и смотрел в окно – зима, *Любань* – имя освещалось фонарем.

За окном затуманилось; не разделить поля от неба.

Голоса ленинградских дикторов я могу отличить безошибочно. А говорят, конечно, хуйню.

Ленинградцы, верил он, это – особая часть страны.

8 марта.

Приезд. Слякотная погода. Звонок к Б., – отвечала жена. На 5 углах. У сестры вечером. Звонок от сестры. Расстрогало письмо и приглашение. До 5 утра в подавлении волнения и чтении «Трех мушкетеров».

9 марта.

С 11 до 2.30 у Б. Книги. О собственном творчестве. Подарки и отдарки. Дом.

Вечером дома. Чтение: «Образ», «Инфантьев», «Бездельник», «Записки из-за угла». Любовь к нему.

10 марта.

С 12 до 1.29 Б. Вокзал, у сестры. Дома. Отъезд.



Ленинград. Московский вокзал. 1972

В поезде сделал наблюдение, которого нигде не встречал.

Иногда я думаю неосознанно-словесно; иногда же словесность мысли понимается – тогда мысль как бы записывается с ощущением усилия ведения ее.

Все судьи и все подсудимые; все правы. Как благодарен был мне Вадим, когда я выказал ему сочувствие и понимание.

Написать бабушке письмо о своих взглядах. «Читай одна».

11.30.

Написать ей все предельно откровенно.

1) То, что 1917 (нрзб. – Ю.) не может за 50 лет...

* * *

Долго был я вписан в этот треугольник своей жизни: Москва – Ленинград – Минск.

Молодые писатели столицы летом ездили в Коктебель, но меня после 16 лет на юг не тянуло. Из своего «бермудского треугольника» вырвался ради «Боруссии». К самым границам СССР. Хотелось увидеть, что стало с Пруссией, и своими руками осязать изнанку тоталитаризма. Записаться на сейнер, выйти в море, а там... кто знает?

Дневник

12 июля 1969.

Выехал из Минска.

13 июля.

Калининград, Зеленоградск, Рыбачий.

14 июля.

Рыбачий, Нида проездом, Пекуле... сейчас я свободен от воздействий каких бы то ни было, и то, что обнаружится и произойдет, – это произойдет изнутри, от внутренних импульсов, свойственных мне.

* * *

Опасная была поездка, но я вернулся живым и невредимым. И снова треугольник Москва – Ленинград – Минск...

Разорвал я его полетами «по казенной надобности» в Таджикистан (1974–1975), что помогло мне попасть в Венгрию (1975), первую и последнюю соцстрану «народной демократии». Первый раз в «капстране», которой для меня оказалась Франция, провел 60 суток жаркого лета 1976 года, а из второго раза туда же путешественник не вернулся.

Пушкин

Э

Незадолго до своего 30-летия, уже прощаясь с молодостью, я обратился к Пушкину, как своему ровеснику, и заново перечел «Маленькие трагедии», написанные тоже на рубеже тридцатилетия, болдинской осенью 1830 г. Приведу это толкование, перекинутое аркой через полтора столетия (от 1830-го к 1980-му), поскольку оно прямо относится к юности и старости:

«Четыре «Маленьких трагедии» Пушкина составляют, по сути, одну большую, где в сквозном конфликте сталкиваются огонь и холод жизни: страсть и рассудок, юность и старость, беспечность и скупость, гений и знание, – и где под разными масками действуют два героя, вечных противника. Один: Дон Гуан-Моцарт-Альбер-Вальсингам – щедрый, вдохновенный, мятежный, пылающий; другой: Командор-Сальери-Барон-Священник – охлажденный, разумный, предусмотрительный, трудолюбивый, бережливый, карающий. Тут, на рубеже 1820-1830-х годов, в болдинскую осень, на рубеже лета и зимы, столкнулись два Пушкина: один из юного, кипящего прошлого, другой – из старческого, охлаждающего будущего. Столкнулись в самых острых и животрепещущих темах: творчество – или мастерство; любовь легкая, переменчивая – или законная, супружеская; расточительство – или сбережение; кощунство и богохульство перед лицом смерти – или благочестие и смирение. И хотя всем сердцем Пушкин за молодость и удалство – но разумом предвидит тяжкую расплату и признает справедливость и старческих резонов. Маленькие трагедии – это сердцевина всего творчества Пушкина, это художественное выражение величайшей трагедии его и всякой человеческой жизни: переход от юности к старости и столкновение двух норм поведения, двух идеалов: вольной жизни и стеснительного рассудка.

Пушкин поторопился умереть до старости, потому что испугался вдруг превратиться в Статую, грозного Командора, карающего легкомысленного Дантеса – Дон Гуана, в котором Пушкин узнавал себя – молодого».

Ю

А мы вот, похоже, не боимся. Во всяком случае, ведем с нашей юностью диалог не посредством пресловутых стволов Лепажка. В горящие ее глаза вглядываемся с должным уважением.

Э

Вот еще одна запись 15 февраля 1980 г. (незадолго до моего 30-летия).

Последнее стихотворение Пушкина тоже о прощании с юностью. *«От меня вечер Лейла Равнодушно уходила. Я сказал: «Постой, куда?» А она мне возразила: «Голова твоя седа». Я насмешнице нескромной Отвечал: «Всему пора! То, что было мускус темный, Стало нынче камфора». Но Лейла неудачным Посмеялася речам И сказала: «Знаешь сам: Сладок мускус новобрачным, Камфора годна гробам».*

Это стихотворение не пользуется особым вниманием и известностью. Помещайся оно в середине тома, так и мы бы прошли мимо него: мало ли у Пушкина всяких мелочей, набросков, переложений, антологических подражаний. Но тут пройти мимо никак нельзя, потому

что идти некуда: дальше ничего нет, обрыв, белая страница, конец. И даже если это пустяк, то здесь, на границе книги, на границе жизни, он вырастает в значении: тут можно прочитать последнюю волю Пушкина. Или даже предзнаменование его скорой гибели.

Согласно историко-литературному комментарию, это стихотворение было написано Пушкиным в подражание некой арабской песне, найденной им в прозаическом французском переводе некоего Ж. Агуба. Эта множественность инстанций, которые пришлось миновать вдохновению поэта, дабы достичь своих целей («подражание переложению»), казалось бы, отрицательно свидетельствует о результате: вылилось-то стихотворение не из души, а из каких-то сомнительных по своей чистоте источников. Но, с другой стороны, если уж Пушкин извлек тему стихотворения из столь инородных культурных пластов, значит, насущна была для него эта тема. Ведь какая нужна жажда, чтобы потянуться к столь дальнему источнику, пренебрегая близкими, многократно питавшими! То, что Пушкин вдохновился арабской песней во французском переложении, не снижает, а увеличивает для нас духовную значимость такого целенаправленного выбора – не про осень написал и не послание к Чаадаеву, а про что-то внешне очень неблизкое, и значит, внутренне особенно притягательное.

И если с этой точки зрения взглянуть на «Леилу», то в ней мы найдем весь скорбный итог пушкинской жизни, формулу его трагедии. Писал бы Пушкин прямо о себе, о Гончаровой, о Дантесе, общий смысл трагедии мог бы затемниться обилием житейских мелочей, личных переживаний; а тут, через обращение к арабской песне, смысл очищается и обретает всечеловечную остроту. Сама отвлеченность этого стихотворения, столь напоминающая легкомысленную лицейскую лирику («Леила» – столь же условное имя, как юношеские «Хлоя», «Лиля», «Лилета» и пр.), на сей раз обусловлена не отсутствием личного переживания, но такой его остротой и ранимостью, которая, чтобы проясниться и поэтически возвыситься, требует обобщенного своего выражения. Речь идет о самом главном и больном для Пушкина в этот период: о любви и старости. Леила уходит «равнодушной» от своего возлюбленного, потому что «голова его седа». Он пытается удержать ее, ссылаясь на вечные законы жизни, – но именно по этому-то закону превращения мускуса в камфору она и не хочет больше ему принадлежать. Тут сталкиваются два момента в воззрениях Пушкина. Первый – что ход жизни необратим и благословен, что следует примириться с неизбежностью старения и гибели всего живого. В стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных» Пушкин смиренно принимает круговорот времен, как и в написанном незадолго до гибели «Вновь я возвратился...». «Здравствуй, племя, младое, знакомое, не я...» Таково отношение Пушкина к смерти: непротивление, приятие молодого, идущего на смену.

Но силы собственной юности, не остывшие в нем, бунтовали против этого кроткого воззрения на ход жизни. Как поэт-классик Пушкин смиряется с неизбежностью смерти, но как поэт-романтик он восстает против замкнутого, цикличного хода времен в надежде на вечную молодость. Отсюда и этот неожиданный срыв в «Евгении Онегине»: начав перевозносить духовное соответствие человека своему возрасту: «Блажен, кто смолodu был молод, / Блажен, кто вовремя созрел», Пушкин заканчивает саркастическим выпадом против такого «блаженства», возрастного циклизма как удела пошлых натур, приспособленцев к ходу времени: не только историческому, но и биологическому. И дальше идет элегия совсем уже в романтическом роде: «Но грустно думать, что напрасно / Была нам молодость дана, / Что изменяли ей всечасно, / Что обманула нас она». Умиротворенное приятие хода жизни – и вместе с тем восстание против него.

Вот это сочетание и выразилось в «Леиле». Влюбленный, пытающийся ее удержать, говорит в свое оправдание примерно то же самое, что «Блажен, кто смолodu был молод»: «Всему пора! То, что было мускус темный, стало нынче камфора». Но эта всевозрастная мудрость оказывается глупой в глазах молодой и вечно наступающей жизни. Ведь если мускус превращается в камфору, то, значит, нужно и держать себя с достоинством возраста

и готовиться к смерти. «Камфора годна гробам». Трагизм заключается именно в том, что единственный человек есть лишь черточка, отрезок в вечном круговороте жизни, и чем более он приемлет его в целом, тем более стирается им, как отдельность. И, философски принимая неизбежность старости, Пушкин не может отказываться и от любовной горячки; он хотел бы совместить добродетель умудренной старости и прелесть влюбчивой юности, но это никому не дано. Отсюда разрыв между классически ясным и светло-мудрым миропониманием Пушкина – и болью отдельной личности, всегда правой и неправой в своей защите «вечной весны».

Ю

Мы с тобой, во всяком случае, не апологию нашей юности создаем. Пытаемся представить *as was*.

Отец мой, по имени Сергей, предполагал, и даже завещал на смертном одре назвать меня «Александр» – чтобы впоследствии, с патронимом, звучал я как Пушкин – в честь Пушкина (еще более лучшего и талантливейшего поэта сталинизма – на пару с Маяковским, который был пожизненным любовником сразу двух двоюродных прабабушек моей любимой американской жены).

Но меня назвали именем отца.

С моей юностью Пушкин никак не рифмовался. Это все было детство-отрочество. Просьбы к маме пожарить картошку кубиками: «Как Пушкин любил!» Радость от ритмов и рифм:

«Румяной зарею покрылся восток...» Я не вполне понимаю энтузиазма, с которым занимается пушкинианой наш общий знакомый, разменявший восьмой десяток. В этих музыкально-декламационных отпеваниях по мотивам черновиков слышится что-то неправильное и даже зловещее: то ли плач, то ли заклинание безвозвратного огня, сожравшего жизнь.

Тем не менее одну пушкинскую фразу в юности повторял и я. Нет, не про «теплую шапку с ушами»²⁸ (несмотря на фрейдистскую точность пушкинского замечания). А о том, что «юность не нуждается в *at home*». Этим я как-то укреплялся в мире своей юности: ведь она, советская, была именно бездомной. Постоянную прописку и квартиру на Трифононской мы с Ауророй получили за полгода до отъезда в Париж. А до того, ушедши из родительского дома, знал я только «койко-места», углы и съемные квартиры.

²⁸ Пушкин – Вяземскому. Из Михайловского в Москву. Вторая половина (не позднее 24) мая 1826 г. «...Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная... – род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. Прощай и пиши».

Р

Работа

Э

По обязательному для тех времен распределению, закончив филфак МГУ, я должен был пойти в московский НИИ строительства и архитектуры, составлять тезаурус строительных терминов (что меня тогда не прельщало, хотя – вот парадокс! – жанр тезауруса в конечном счете вытеснил в моем мышлении жанр новеллы). На процедуре распределения я выразил несогласие, указав, что рекомендован кафедрой в аспирантуру, – но такое своеволие было столь неслыханно, что укрепило «антиэпштейновские» позиции парторга П. Юшина.

Когда я пришел в НИИ, меня туда не взяли, поскольку в выпускном 1972 году национальный вопрос опять накалялся в связи с началом еврейской эмиграции. Делать было нечего. Мама устроила меня на жалчайшую должность помощника корректора в свое издательство «Транспорт», где работа моя состояла в том, чтобы выдергивать листы с фашистским флагом и свастикой из книги «Флаги государств мира». Включение этого флага в книгу было признано идеологической ошибкой, но уничтожить тираж всего дорогостоящего художественного издания было накладно, поэтому ограничилось выдергом одного листа и вклейкой другого (не помню какого, то ли Папуа, то ли Гренландии). Каждый день я приходил в служебную каморку со стопками этих альбомов, пока за 3–4 месяца (с ноября 1972-го по февраль 1973-го) не оприходовал весь тираж, 20 тыс. экземпляров. После этого меня уволили.

Я без блата, но по большому везению устроился внештатным преподавателем на подготовительные курсы Московского энергетического института, где проработал с 1973-го по 1976-й, в компании веселых и умных филологов, которые стали моей дружеской средой: Саша Бокучава, Саша Николаев, Аня Рудник, Нина Константинова, Лена Полтавец. Все эти годы я днями сидел в библиотеках (Ленинской и Иностранной), читал, писал, а вечером ездил на подготовительные курсы и вел занятия по русской литературе и языку со старшеклассниками, будущими абитуриентами. Средством же проживания у меня, как и у большинства моих коллег, было репетиторство, которым я занимался по выходным дням вплоть до отъезда из СССР в 1990 г., поскольку другого заработка моя профессия не могла мне обеспечить (подготовительные курсы были только малым приработком и средством легализации против обвинений в тунеядстве).

Ю

В 18 лет с меня и моей, прошу прощения, утренней эрекции сорвали одеяло и отправили в трудовую жизнь – «кто не работает, тот не ест», тем более что студент-заочник.

В конторе новосозданного в Минске Института нефти я готовился к экспедиции, изучал дальномеры, что-то чертил, переводил американские нефтяные журналы, а заодно сочинял «Записки из полуподвала». Битову понравилось название, он написал, что у него есть текст «Записки из-за угла» (что было, конечно, поострей).

Потом я был взят в областной архив на должность архивариуса. Не так далеко ходить и ближе, чем вопросы глубокого бурения. Но чтобы стать «архивным юношей», пришлось

по объединенному требованию директора и парторга сбрить свою первую бороду (выращенную в знак отождествления с поколением моих американских сверстников-бунтарей). В ответ на запросы трудящихся я должен был составлять справки о трудовом стаже. Взамен получил доступ к сокрытой от глаз реальности – к эмигрантской довоенной прессе, к коллаборационистской, периода немецкой оккупации, к книгам МТС послевоенного периода. Я исписывал записные книжки сюжетами, которые, возможно, вдохновили бы Василя Быкова; но материал, разумеется, был не мой, и ничего из этого не получилось.

В 1969–1971 годах, студентом, когда я привез в Москву Лену, выкрав в целях спасения «из минского болота», мне снова пришлось зарабатывать. Я работал на отдел писем журнала «Крестьянка», который находился в «правдинском» комплексе у Савеловского вокзала; получая деньги, мы с Леной согревались кофе с молоком в кафетерии напротив. Ответ на письмо – рубль. Скоро мне стало казаться, что живу в стране, поголовно охваченной патологической графоманией, что подтверждало и антисоветское суждение: «Больное общество», услышанное накануне [*а произнесенное вслух писателем Анатолием Рыбковым. – Ю.*] в ЦДЛ, на чествовании Трифонова по поводу публикации в «Новом мире» повести «Предварительные итоги», первой в его московском триптихе.

В качестве ночного сторожа я сначала подменял знакомых студентов, подрабатывающих на стройках и в конторах, затем получил работу сам – и в месте невероятном, в «Комитете по делам религий при Совете министров СССР» на Зубовском бульваре. Воистину инфернальное место – с ключами от ада.

Первая литературная работа – корреспондентская, очерково-журналистская – нашла меня сама, когда в 1973 году из либерального журнала «Дружба народов» позвонил подрабатывавший там преподаватель нашей Литстудии, прозаик из Сибири Юрий Скоп: «Не хочешь ли слетать в Таджикистан, на Нурекскую ГЭС? Булат Окуджава должен был, но оказалось, что Булат не летает. Да, вот так... Не летает Булат!»

Я рискнул вместо Булата, не разбился, и летал еще несколько раз в «гнилое подбрюшье», ездил в Белоруссию, работая корреспондентом, редактором, затем заместителем начальника отдела очерка «ДН». Ушел с этой замечательно-познавательной работы еще до того, как был принят в Союз писателей, – после первой поездки во Францию.

Там я работал тоже. Жарким летом 1976-го и в поте лица своего. Сначала в Версале, прямо напротив Королевского дворца. Потом в Париже, точнее в Курбевау, – по ту сторону Сены, близ Дефанс. Строительно-ремонтные работы и отмывание от грязи небольших, но все равно высоких местных небоскребов.

Именно там, во время этой парижской трудотерапии, устроенной мне тестем, чтобы показать прелести капитализма, я принял решение. Если удастся приехать еще раз, в Москву не вернусь. Поэтому, когда вернулся, подал заявление об уходе из «ДН», не желая «подставлять» редакционный коллектив. (И что? Сразу туда явились по остывшим моим следам²⁹. Прошу прощения. Что мог я сделать для вас еще, мои коллеги...)

²⁹ См. Бронислав Холопов. «Личная жизнь в тени ГБ». Москва, «Дружба народов», № 10, 1994.

Религия

Ю

Дневник

17 марта 1968.

В 11.45.

Для меня ясно одно – что взрослой жизни, о которой я думал в отрочестве, такой, какой я себе представлял, – ее нет, и для меня ее не будет. В 16 лет я думал о том, как изменится мое самосознание в 20 лет, но оно неизменное, и я сейчас в 20 лет сознаю себя так же, как и в 13 – возраст иллюзий о будущей жизни; иллюзий, которые вдруг ушли. Но жить подобно тому, как живут окружающие меня люди, я не могу, не хочу и не буду. И один Бог знает, куда я приду в своих поисках истинной жизни. Если же я лишусь желания и стремления к ним, к поискам, то единственный выход отсюда будет самоубийство. Господи Боже, не оставь меня в стремлении к Тебе и в поисках Тебя. Помоги мне, Господи.

Не могу уснуть и пишу лежа в темноте. – Молиться надо не вечером, когда уходит дневная ясность и строгость ума, – утром надо молиться, после сна...

Э

Мое невежество в области религии в те годы можно было сравнить только с неосведомленностью в вопросах пола (см. ПОЛ). Две самые заповедные области бытия, третье и четвертое измерения советской Флатландии.

Кажется, в первый раз я оказался в церкви, когда после окончания школы, летом 1967 г., ездил с мамой на ее родину, Украину, и в воскресный день оказался на центральной площади городка Глухова. Ворота церкви были распахнуты, народ толпился и шел к причастию, и я пошел со всеми, желая отведать вкус Неизвестного. Слава богу, старушки, заметив незнакомого молодца, меня оттерли и не допустили совершить полусознательного кощунства. А между тем я считал себя верующим и еще года за два-три до того спорил на уроках с учителем, доказывая, что Бог – не часть природы, а потому и полеты в космос не могут опровергнуть его бытия (см. ИДЕОЛОГИЯ). Но вся эта отвлеченная теология и мысль о духовном верховном существе совершенно не соприкасались ни с каким конкретным религиозным опытом и вероисповеданием.

Священного Писания я не читал, достать его, и то лишь по блату и втайне, можно было только постоянным прихожанам церковей (прежде всего – баптистам). Мы с тобой охотились за Четвероевангелием в переводе Л. Толстого, в 24-м томе его полного 90-томного собрания, – это была единственная официально разрешенная публикация за все советские годы, но этот дефицитнейший том (1957 г., 5 тыс. экз.) так и не разыскался³⁰.

Библия очутилась у меня в руках впервые только после фольклорной экспедиции на север Карелии (лето 1968) – я нашел ее на чердаке деревенского дома среди старых рассыпанных книг и выпросил у бабки. Она была растрепана и сохранила примерно треть стра-

³⁰ Разве я тебе не говорил, что нашел его, и даже дважды? См. статью «Путешествие», где я везу один экземпляр из Москвы в Ленин-град. (*Примечание С.Ю.*)

ниц, но это уже было нечто. В следующей экспедиции, в Архангельскую область, я достал уже хорошо сохранившуюся Библию на русском и еще одну на старославянском. А ту, растрепанную, обменял у Юры Токарева на три тома Собрания сочинений Хемингуэя. Странные тогда были представления об эквивалентах.

Ю

На первом курсе я отдал 4-томник словаря Ожегова за пингвиновский покетбук «Любовника леди...».

На третьем – подарил Четьи-минеи, огромную книгу начала XVIII века в кожаном переплете, с накладным замком, найденную у дяди Васи в Ижорах... За две привезенные мне из Парижа книжки Мейлера: «Самореклама» и «Белый негр».

Э

Вообще, вопросы религии обошли стороной мою юность, да и значительную часть молодости. Среди моих знакомых не было верующих по обряду, за исключением Геннадия Наумовича Виленского, моего двоюродного дяди (по отцу), который был главой московских евреев-хасидов, ХАБАДников, имевших свою малую синагогу при большой на ул. Архипова.

Среди сверстников, кажется, единственной верующей была Оля Седакова, но и в ней я не угадывал (быть может, по своей нечуткости) личного обрядового православия – скорее, оно выражалось эстетически, в образах, лейтмотивах.

Сам я был «бедным верующим», т. е. имел веру без вероисповедания, без конкретной истории и догматики. Я полагал, что эта «сверхвера» восходит к корню всех авраамовых вер – монотеизму, который я в эсхатологической перспективе определял и как теомонизм, богоединство.

Если есть единый Бог, в которого верят иудеи, христиане и мусульмане, то чем ближе они к Богу, тем более сближаются между собой.

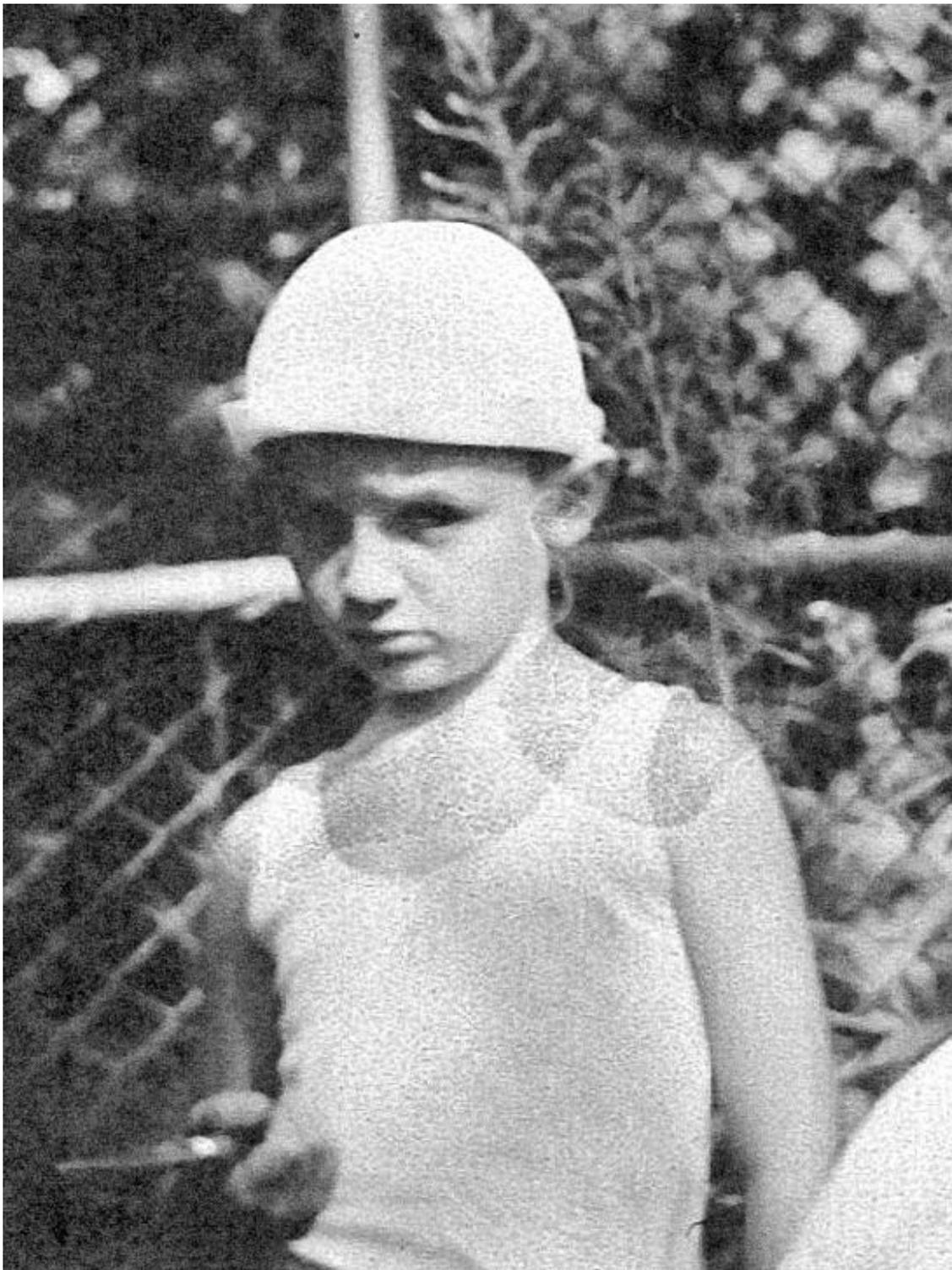
История монотеизма завершится теомонизмом – единством всех вер в едином Боге, которого все они исповедуют. Такова была моя «сверхвера», которая вышла из ситуации советского атеизма, одинаково отрицавшего все религии, а тем самым подготовившего постатеизм, «бедную веру» как всеобщность их равного приятия.

Ю

Господу – *или Кому?* – стало неудобно то, что я написал о своей связи (*religare*) с вечностью, которая привела меня к той же форме открытости к единобожию. Вырубил начисто и без возврата из компьютерной памяти вдохновенно написанные страницы, которые все же рисковно изложить снова, но в конспективном виде и надежде, что сохранит...

* * *

Я был крещен по воле бабушки и дедушки в беспамятном младенчестве и полулегально – во Владимирском соборе Ленинграда в 1948 году.



У могилы отца. Больше-Охтинское кладбище, Ленинград

Первые церковные впечатления имели место внутри стен Больше-Охтинского кладбища в храме Николы Чудотворца, поскольку оттуда начинался ритуал посещения родных могил. Это обстоятельство вполне органично связало в моем опыте религию со смертью, с размышления, о чем начинается все великое. Но об этом я тогда не знал, и к смерти относился с отвращением, часть которого переносилась и на «религию» – за то, что принуждала к лицедейству не только меня, но и «больших». Я никак не мог поверить, что они искренне любят смерть и все, к ней имеющее отношение. Наиболее сомнительным казался обряд при-

чащения. Внутри очереди взрослых я, маленький и бесконечно одинокий в тот принудительный момент, двигался в нарастающей панике, не желая становиться людоедом – а мне предстояло съесть плоть и выпить кровь самого Иисуса Христа, под взглядом которого с иконы я, можно сказать, и осознал себя и свое «я» в квартире у Пяти углов.

Дневник

18 лет.

Май, 2, 1966.

<...>

Любовь – я теряюсь перед этим. Можно провести параллель с религией и отрицать ее. Должно ее отрицать, это – опиум...

3 августа 1966.

Планы

<...>

Изучить Библию. (Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь).

<...>

Где Библию достать?

* * *

Евангелие (свое, еще девичье) мне, в конце концов, подарила бабушка. Свою веру она никому не навязывала и к моему интересу относилась сдержанно.

Дневник

10 июня 1967.

21.10.

Три раза загадывал на Евангелии.

Вышло:

1...и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего... просветить сидящих во тьме и тени смертных, направить ноги наши на путь мира.

Младенец же выросстал и укреплялся духом.

2...и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостию, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесождений и жертв.

3. Иисус ей в ответ: «Мария! Мария! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно...»

* * *

В МГУ томился «богооставленностью» в перерывах между влюбленностями. Всего острее в 20 лет – год 1968-й. Писал об этом Битову: его «Записки из-за угла», перекликавшиеся с «арзамасским ужасом» Толстого стали для меня первым современным текстом о страдании, поиске и нахождении Бога (как помнится, в ленинградском метро им. В. И. Ленина).

Проблемой с Библией мучился еще года три-четыре, пока жизнь не привела на один из краев советской ночи, где была их целая свалка – Священных Писаний, изъятых таможей.

К завершению юности я так или иначе приобщился к religare в указанном смысле – пройдя бабушкино-дедушкино православное смирение и детское богоборчество; через католицизм, который произвел на меня сильное впечатление в Принеманье, белорусском и литовском, иезуитским Фарным костелом в Гродно и другими, красотой религиозного искусства и духом непримиримости; через толстовство; через религиозные формы экзистенциализма (Шестов и Габриэль Марсель); через индуизм и дзен-буддизм, через Вильгельма Райха, голубой оргон и сакрализацию секса...

На этом интересном месте прерву дискретную линию своей religare, которая исходила из наличных глубин «я», склонного прозревать Вселенную в прогалинах низкого родного неба. Не просто «красивые слова». За ними местомиг первого религиозного переживания.

Село Никольское под Гатчиной. Мне пять. Мы идем по проселку: взрослые сзади, мы с мальчиком постарше впереди. Головы наши повернуты в сторону заката. То, что мы видим, лет через сорок-пятьдесят сможет создать компьютер, но в 1953 году было под силу только небу. Точнее – небесам, которые оно произвело из самого себя. Первый план, второй, третий... и вход в эти высшие сферы, круглый такой портал с лучами, уводящий в огромный тоннель с облачными стенами, пролетая сквозь который, через все эти слои и напластования небес, глаза касались гаснущего, уже только красного светила. Представляешь? Мы оба были заморожены, я и мальчик. В отличие от меня он знал, как это выразить. Он произнес в эту даль и ширь сомасштабное взрослое слово: «Пространство...»

И я сразу подумал о Творце.

Кто мог еще сотворить для нас картину подобного величия и красоты?

См. СТОРОЖ (Ночной)

Род и родители

Э

Я единственный и поздний ребенок: маме было 36, папе 43, когда я родился, и вся их любовь и смысл жизни были обращены на меня. Жили очень скудно. Помню, что зарплата их до реформы 1961 г. составляла примерно 800 рублей у каждого. Все-таки нанимали мне нянь (возможно, только за питание и проживание), из которых последней, самой долгой и любимой, с 2 до 8 лет, была няня Шура, простая деревенская девушка, с веселым братом Васей из моряков (его приезд бывал праздником для меня). Собственно, Шура меня и воспитывала, поскольку родители целые дни были на работе.



С няней Шурой и тетей Соней

Мама, Мария Самуиловна Лифшиц (8.9.1914-6.5.1987), работала инженером-плановиком в издательстве «Транспорт». Отец, Эпштейн Наум Моисеевич (31.5.1907-26.10.1969), – бухгалтером в Октябрьском райисполкоме г. Москвы.

«Отчет», «баланс», «план» были самые ходовые слова в семье, а счеты с деревянными кругляшками на блестящих стальных прутьях – самым ходовым прибором. Ребенком я любил в них кататься, разгоняясь костяшками по полу.

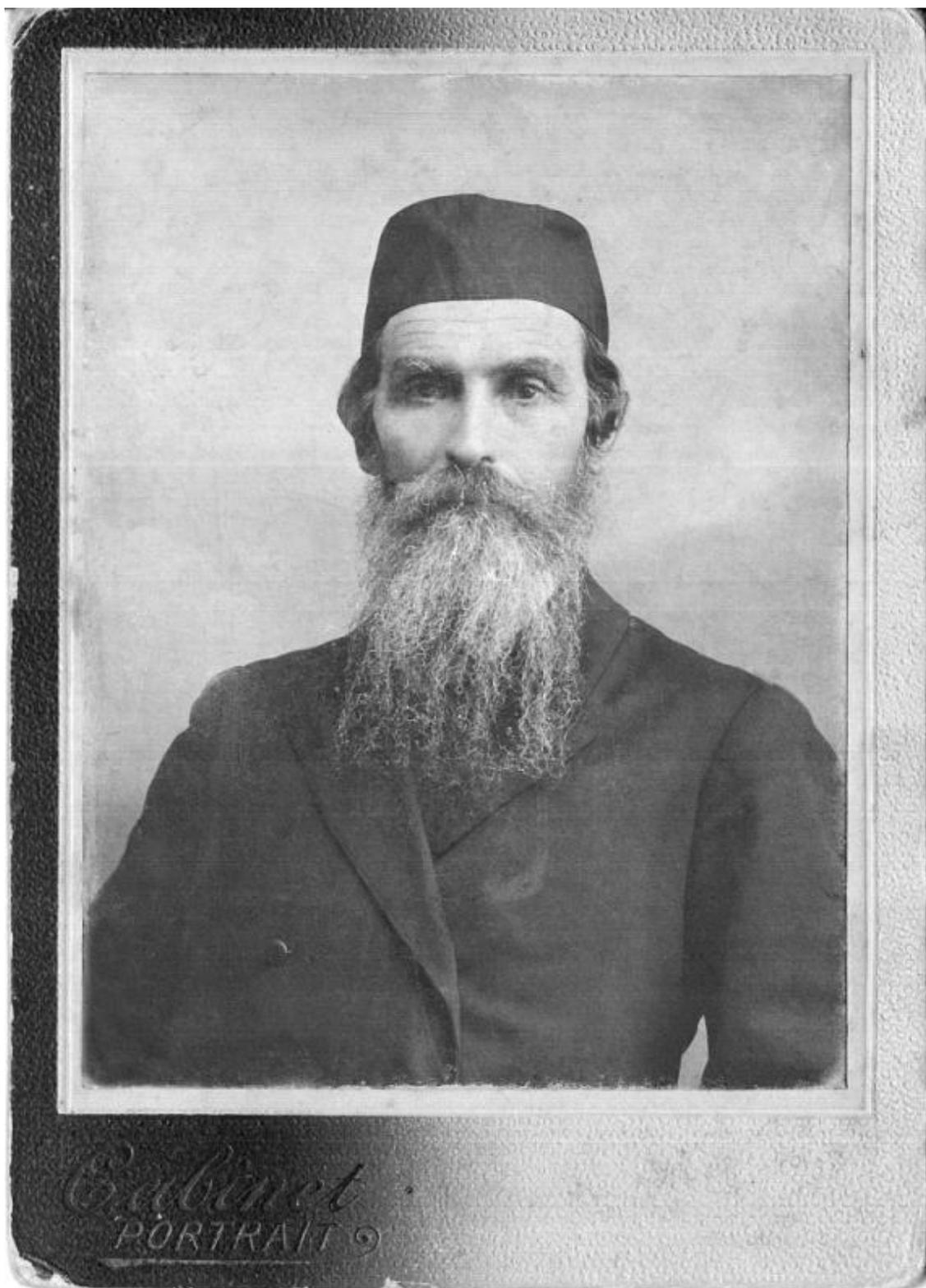
Никакой наследственной «культуры» и тем более религии в семье не было. Двое моих прадедушек, по маминной (бабушкиной) и по папиной (дедушкиной) линии, были раввины и даже писали труды-комментарии к Торе, но это все ушло и забылось в родительском поколении.

Никакие высокие, интеллектуальные вопросы, насколько я помню, в семье не обсуждались, а когда я, уже взрослая, пытался их задавать, особенно о религии, то встречал опасливое молчание и уклончивость. Родители между собой иногда говорили на идише. Эта смутная память непонятных по смыслу, но интонационно привычных слов – «азохен вей», «мишугине» – единственное, что досталось мне от еврейства (да еще несколько ветхих книг на иврите). Отец был родом из Почепа и Погара, маленьких городков на юге Брянской области, мать – из Новгорода-Северского на Украине (откуда и князь Игорь из «Слова о полку...»). В Москве они оказались с переселением евреев из черты оседлости: папина семья в середине, а мамина в конце 1920-х гг.

Мой прадедушка по отцовской линии, Самуил Эпштейн, был раввином в городке Погаре на юге Брянской губернии. Позднее семья переехала в чуть больший соседний городок Почеп, где жила на улице Никольской. Родители папы – Моисей Самойлович Эпштейн (1881-11.11.1945) и Евгения Наумовна Якубсон (1881–1951). Дедушка был мелкий служащий, тоже вроде бухгалтера, а бабушка, кажется, домашняя хозяйка. Они умерли рано, я дедушку не застал, а бабушку не помню. (Эти сведения у меня от тети, папиной сестры Софьи Михайловны Эпштейн, скончавшейся в возрасте 92 лет: 19.3.1912-4.9.2004.)

Мой прадедушка по материнской линии, Израиль Лифшиц, был раввином в маленьком белорусском городе Игумене (Червене) Минской обл. Писал на иврите научно-философские труды, от которых ничего не осталось. У него было 11 детей, в том числе моя бабушка Евгения Израилевна (1888-20.6.1960).

Она обладала блестящими способностями. До 14 лет вообще не знала русского языка, но за короткий срок выучила, поступила в гимназию в Новомосковске и через два года закончила ее с золотой медалью. Впоследствии работала учительницей в школах рабочей молодежи, была универсалом, преподавала многие предметы, от математики и химии до литературы.



Прадедушка по материнской линии, раввин Израиль Лифшиц

Дедушка, Самуил Аронович (Арьевич) Лифшиц (1884-13.3.1961), был из небогатой семьи. У его родителей в Новгороде-Северском были дом с садом и продуктовая лавочка, а его дядя владел мельницей («крупорушкой»). Дедушка закончил в Полтаве музыкальное училище, играл на скрипке. В его жизни случилась большая трагедия. В первый раз женился рано, в 21 год, на 19-летней Марии, дочери адвокатов. Сохранились ее фото – очень изыс-

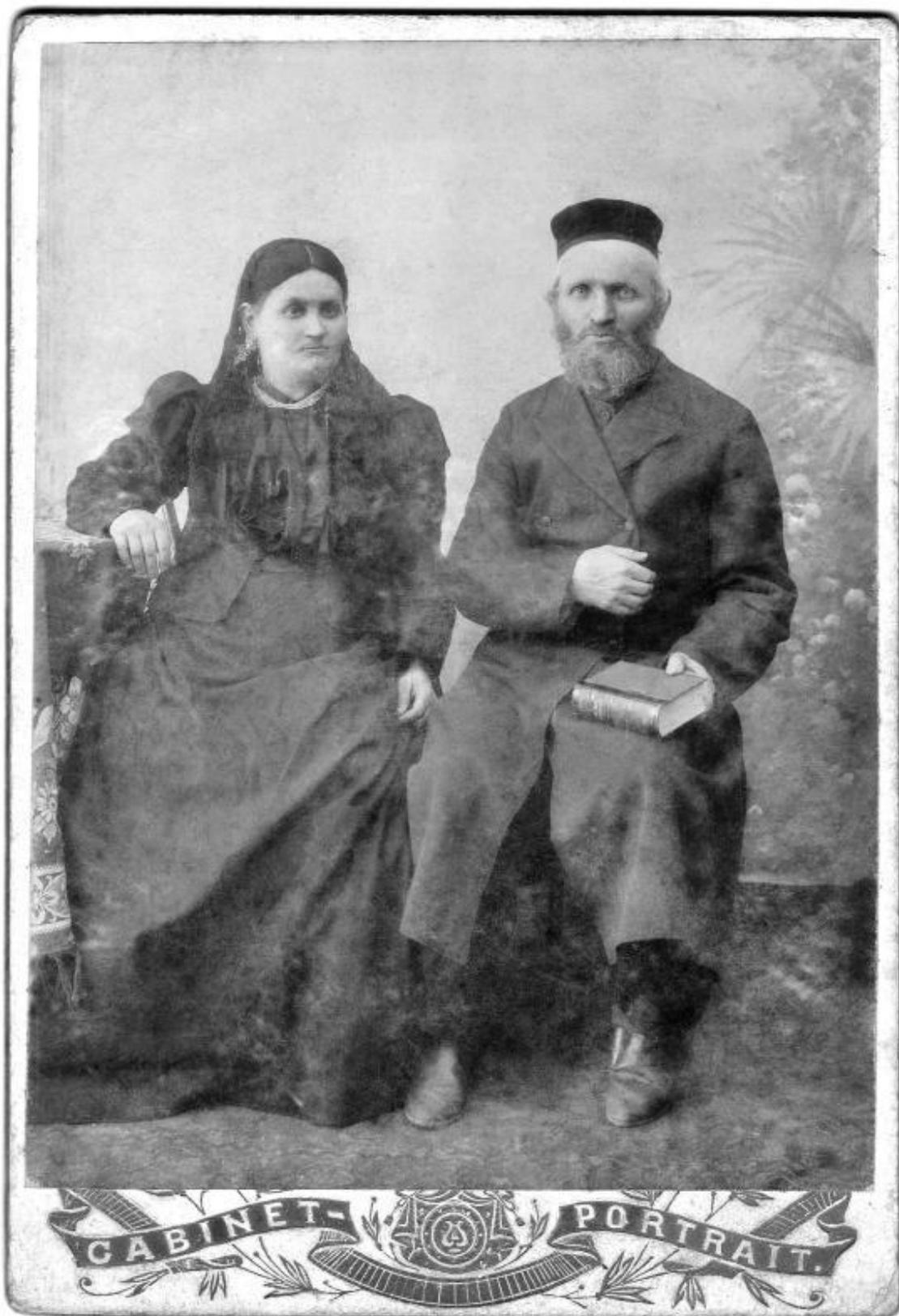
канная, аристократическая красота. Да дедушка и сам по внешности и манерам был аристократом – они вместе смотрятся как прекрасная, благородная чета.



Бабушка Евгения Израилевна Лифшиц (1888— 20.6.1960)

Через год после женитьбы родилась девочка. В ночь после родов, когда дедушка был в отъезде, на дом напали погромщики – у Марии от испуга началась родильная горячка, и она умерла, а через три недели умерла и девочка. Это было время, кровью умытое, революция 1905–1907 гг. В маленьких провинциальных городках свирепствовали банды. Неподалеку в гор. Прилуки была убита двоюродная сестра мамы Фаня; падая, она прикрыла своим трупом детей, Лизу и Борю, и они чудом остались живы³¹.

³¹ Все эти сведения – из рукописных воспоминаний моей мамы, которые она успела написать в последние годы жизни.



Родители дедушки – Арон (Арий) Лифшиц с супругой

Дедушка вступил во второй брак только несколько лет спустя, в 1910 г.; примечательно, что девичья фамилия бабушки тоже была Лифшиц, хотя они не были ни в каком родстве. При советской власти дедушка работал в кооперативах, занимался мелкой торговлей, а на старости лет склеивал коробочки для лекарств по договору с аптекой, в чем я ему охотно помогал.

Интересы у дедушки и бабушки были разные: у него более практические, у нее – интеллектуальные, помню, что он ее называл в шутку «химик». Веселый, простой, общительный... я любил его больше всей родни. До старости лет он играл на скрипке душераздирающую мелодию, которая называлась «Плач Израиля». Скрипка хранилась у нас в «стеклянном столике», который и в самом деле был стеклянным, только ножки из красного дерева. Еще один предмет «роскоши», доставшийся мне в наследство, – картина неизвестного русского художника второй половины XIX в., на которой женщина и гондольер плывут в ночи, освещаемой вспышками молний. Скрипка рассохлась в 1980-х гг., ее разобранные части долго лежали в стеклянном столике, пока и сам столик не распался и не затерялся при отъезде, а картина все еще висит у московских друзей.



Дедушка Самуил с первой женой Марией, погибшей в результате погрома. Орел, 1906

До 8 лет я жил с родителями в коммунальной квартире на Дубровке, в соседней комнате жила тетя Соня с дядей Мишей и Эдиком. Это дом на 1-й Дубровской ул. – рядом с тем местом, где впоследствии случился «Норд-Ост»; а тогда там был шарикоподшипниковый

завод, в округе которого я подбирал блестящие колесики и любил их вращать. Со второго до седьмого класса, до 14 лет, я жил в Измайлове, в части деревянного дома с отдельным двориком, где дедушка посадил в год моего рождения семь вишен в рядок, быстро меня переросших.



Мой любимый дедушка Самуил Аронович Лифшиц



С дедушкой Самуилом в измайловском дворике



С папой и мамой. 1963

После смерти дедушки и бабушки, в 1964 г., мы переехали в Донской проезд, поближе к месту папиной работы, и впервые поселились в отдельной двухкомнатной квартире (23 кв. м.) у входа в Донской монастырь.

Ю

Ну видишь, какой хрустальный свод. Судьба тебе обеспечила целостность семейного кокона. Мой же был разнесен меткими советскими пулями, выпущенными по советскому же офицеру.

Я должен был уже родиться, но еще «небытийствовал», так что, в принципе, мог бы встретиться с отцом в завершение его 29-летней жизни на этом свете. Но мы разминулись. Пренатальная травма мамы была такова, что сумел родиться я только с недельным запозданием. Король умер, да здравствует король (как любил я это место из «Принца и нищего»!).

Во второй раз овдовевшей королеве было 27, и за хрупкой ее спиной было нагромождение драм и трагедий. Мама родилась в Таганроге, но до сих пор не уверена, в каком именно году – то ли в 1921-м, как официально считается, то ли в 1919-м.



Мой дед по маме Петер Теодор. Австро-Венгрия, Первая мировая

Биологическим отцом мамы был австро-венгерский военнопленный по имени Петер Теодор, но удочерил ее официальный муж матери – вернувшийся с гражданской войны большевик Москвичев, вскоре умерший. Мама говорит, что ощущение сиротства – главный мотив ее ранних лет. Петер Теодор учился сельскохозяйственному делу в Англии, когда началась Первая мировая. Всеобщая воинская повинность заставила вернуться в Вену. В армию «императора и короля» записался волонтером, в форме которого и снялся на фото с модной сигаретой. Оказался в российском плену. Ходил с красным бантом в знак принятия демократической революции. С социалистической тоже не конфликтовал. В Приазовье увидел возможность создать свою «Австралию». Разводил овец. Преуспевал в немецких колониях как овчарных дел мастер, производитель сыра. Был женолюбом. Пока Москвичев сражался с немцами и белыми, имел роман с женой большевика. Она забеременела. Моя мама – «дитя любви» – в честь этого и была названа Любовью. Когда большевик вернулся, «австрияк» сделал шаг назад, нашел другую. Когда Москвичев умер, его хоронили с почестями под «Интернационал», поставили памятник. Петер Теодор, который в русскоязычной среде был известен как Петр Федорович, взял свою внебрачную дочь под опеку. Мама с детства была двуязычна: немецкий и русский. Отец одевал ее во все австрийское, присылаемое ему братом, обещал забрать маму с собой в Вену. Но 22 августа 1937 года вышел приказ НКВД «Об иностранцах». Вид на жительство отныне не продляли. А в марте 1938-го «аншлюс». Австрия стала частью Третьего рейха. Брат написал, что возвращение в новой ситуации чревато арестом. В этой коллизии двух тоталитаризмов Петер Теодор был принужден отказаться от австрийского гражданства и – как Петр Федорович – взять паспорт гражданина СССР. Сразу после он был арестован в Таганроге. С извинениями – в городе он был человек известный и уважаемый. Его даже отпустили попрощаться с дочерью и внучкой (мою сестру Зимфиру мама родила в 16 лет). Без конвоя. Под честное слово. Он его сдержал. Пытаясь узнать, что с ним, мама обивала пороги НКВД, пока сотрудник не дал совет: «Забудь и живи дальше. Не то сама у нас окажешься». Последнее известное местопребывание – пересыльная тюрьма в Ростове-на-Дону. Мой австрийский дед канул в ГУЛАГе без следа и отзвука. Всего вероятней, стал одним из четверти миллионов иностранцев, расстрелянных в СССР «по линии национальных репрессий» 1937–1938 гг.



Лейтенант Юрьенен

Жаль, но со стороны просвещенной Вены никаких литературных импульсов. А вот со стороны Москвичевых есть. Старший из двух единоутробных братьев мамы входил в Таганроге в литературное объединение, писал стихи, принимал заезжих поэтов. Мама видела у себя дома Есенина, Маяковского. Пили водку и чай, читали стихи. Судьбы их определили

мамино отношение к русской поэзии. Она предпочитала западную литературу. Девочкой в трамвае читала Дюма, Золя и Ги де Мопассана.

Мама хотела быть актрисой театра и кино. Но ей пришлось долго ухаживать за больной матерью, а после ее смерти – работать с 14 лет. Воспитательница в детдомах, чертежница, счетовод, медсестра – вплоть до войны, оккупации, Германии. «Не так я мечтала увидеть Европу...» В качестве «остовки» работала на заводах Вестфалии. Там закалился ее советский патриотизм. Ее освободили американцы – впервые в жизни мир открылся. Союзники в маму влюблялись. Америка, Англия, Франция... Здесь, в Штатах, я встретил более чем «среднего» американца, чья русская мать в такой же ситуации выбрала штат Нью-Джерси. Моя мама вернулась, и в советской зоне вышла второй раз замуж за культурного офицера-ленинградца.

*Germania, anno zero*³².

Фильм Росселлини вышел в год моего рождения и считается наиболее беспросветной картиной эпохи неореализма. Там, на фоне берлинских руин, 12-летний мальчик Эдмунд, чтобы освободить семью от обузы, убивает фатера, после чего кончает самоубийством.

Мой сюжет не менее крут. Я толкался в животе у мамы и был на выходе, когда отец погиб. Роды задержались на неделю. Маму убеждали рожать, она сопротивлялась. Мое появление на свет только осложнило трагедию.

Кому я теперь был нужен?

Урну с прахом и упакованного в немецкие кружева младенца мама доставила в СССР. В город погибшего мужа. Ленинград, Пять углов. Адрес – ул. Рубинштейна, дом 29, кв. 69.

³² «Германия, год нулевой» (итал.).



Современный вид дома. Справа (со стороны улицы Ломоносова) на карниз пятого этажа выходят венецианские окна «родовой» квартиры

Квартира в этом историческом доме была куплена отцом бабушки в 1913 году, в августе 1917-го подарена молодым на бракосочетание. Пятый этаж, но ноги тогда пружинили. Два входа, парадный и черный для прислуги. Четыре комнаты. Советы их «уплотнили», оставив им две, Большую и Маленькую. В Большой был перманентный ремонт. Крыша протекала. Потолок подпирали балки. Под иконы, на высокую самшитовую этажерку с бронзовыми лавровыми веночками, поставили урну с прахом. Маленькую комнату, где жила тетя Маня и Ира, освободили от них для нас с мамой. Сюда же маме доставили из Таганрога ее «довоенную» дочь, 11-летнюю Зимфиру. Сюда же в 1950 году вселился третий муж мамы, гвардии майор и слушатель военной академии Алексей Павлович Арефьев. Пятым жильцом Маленькой комнаты год спустя стал мой единокровный брат Павел.

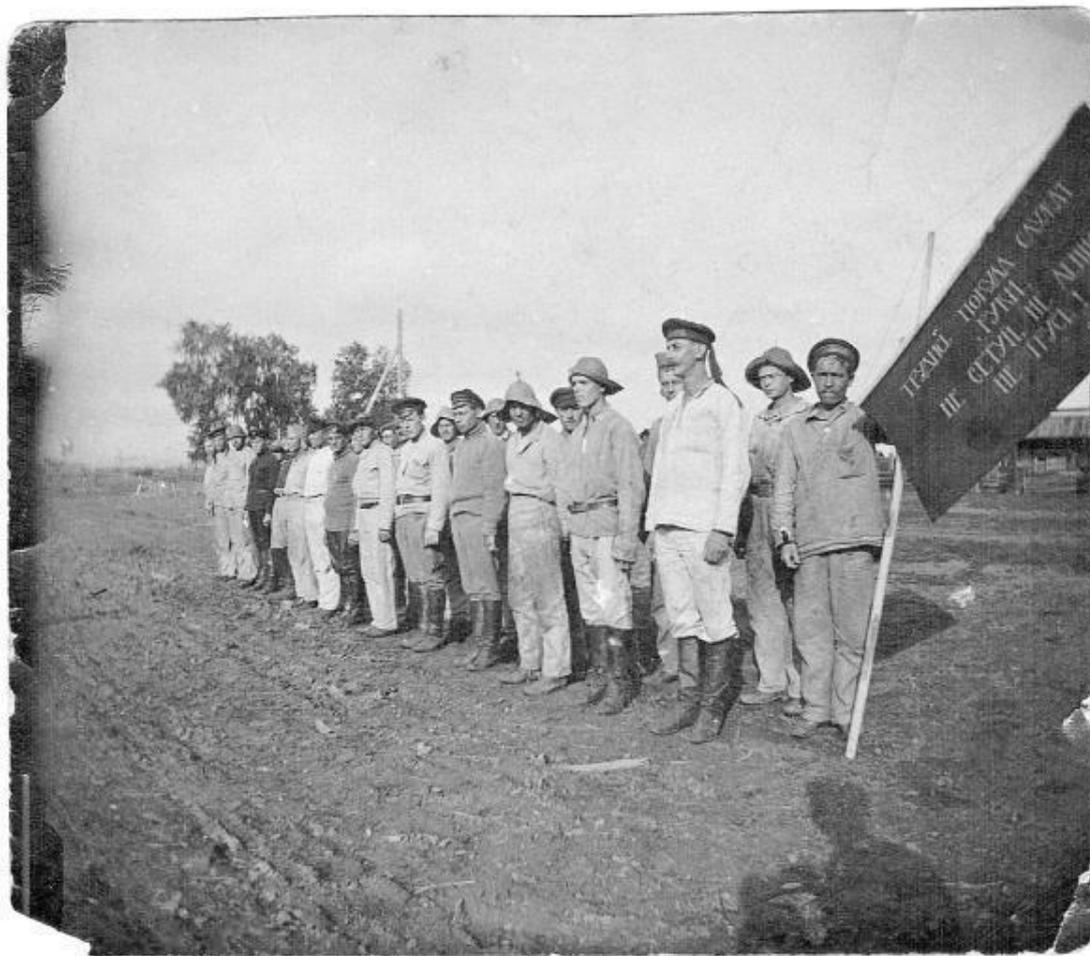


Александр Васильевич Юрьенен, мой дед, в канун большевистского переворота

Коммуналка, возникшая на месте небогатой квартиры новобрачных 17-го года, при мне являла собой микрокосм сталинизма. В комнатке прислуги обитала одинокая и политически индифферентная девушка Валя. В дальней, «Захваченной» комнате жила с дочерью Милой Матюшина, проводница ОкЖД и сексотка органов. В Маленькой – трое детей мал мала меньше под началом мамы и ее третьего мужа, офицера и сталиниста. В Большой – как-то выжившие жертвы режима.

Новые люди и «бывшие». Лишенцы – термин ты хорошо объяснил. Те, кто прошел тюрьмы, аресты, пытки и казни родственников, ссылки и лесоповалы.

«Бывшие» были в этом раскладе самыми образованными и гуманными. Православные христиане, веровали они каждый по-разному, но даже моя русская бабушка была далека от фанатизма. Делились памятью о «прежнем мире». Чтение уважалось. К четырем годам я тоже научился. А затем и писать («Все вы звери, фашисты»).



Дед в строю перевоспитуемых. На транспаранте можно разобрать слова стихотворного призыва к заключенным: «НЕ СЕТУЙ, НЕ ЛЕНИСЬ, НЕ ГРУСТИ»

Прощаясь со мной в январе 1955-го на Витебском вокзале, дед подарил мне на предстоящее 7-летие, а заодно и в путь-дорогу «Приключения Геккельбери Финна». Я был разочарован, надеялся, что он принесет мне в поезд «Три мушкетера». Но дед сказал, что это будет подарок следующего года. Так что мои предпочтения начались с книги, из которой, согласно «Папе», вышла вся американская литература. Мне «Том Сойер» понравился больше.



С дедушкой и сибирским котом Кузьмой II (Кузьму I в блокаду похитила и съела соседка по лестничной площадке с «говорящей» фамилией Мантейфель). Пять углов, первая половина 1950-х

Дед и бабушка умоляли меня оставить в Пяти углах. Но они были «бывшими» людьми, а из меня хотели сделать человека советского будущего.

Произрастая в «БВО», Белорусском военном округе, связей с «Северной Пальмирой» я не оставлял. Только физически стали они пунктирными – с длинными пробелами разлуки между черточками встреч.

1955–1966. Одиннадцать лет в БССР. Первой попытке вернуться в «Россию» предшествовало обоснование разрыва.

Дневник

Сентябрь 1966.

Все мои беды происходят единственно от того, что я не предоставлен самому себе. И ведь что получается: все, что я говорю и делаю, я как бы рассматриваю, оценивая, в двух инстанциях, и мое первичное (не по значению, а по порядку) суждение о том или ином поступке своем, о времяпрепровождении, о моей жизни (даже о моих мыслях) всегда выходит неясное, нечеткое, смазанное (быть может, вследствие умственной лени – додумать, домыслить, а лень возникает из сознания, которое может быть устранимо только единственным напрашивающимся отсюда путем) – из глубоко и прочно угнездившегося сознания того, что твой вывод, твое суждение обязательно прокорректируется – в условиях совместной жизни – тем, кто считает себя обязанным в «моих же интересах» направлять, «укорачивать» меня.

И вот это-то вторичное суждение (надеясь на которое, я паразитирую) и сбивает, и расхолаживает меня. В этом-то и таятся корни несамостоятельности во всем прочем. Исходя из вышесказанного и на основе этого можно утверждать, что чувство зависимости неизбежно порождает духовное рантьество, которое и обуславливает, в свою очередь, и последующие «подводные» мои пороки: лень – вторичная, физическая, – лень тела...

* * *

С первого раза в МГУ не поступил и прожил под родительской крышей в Минске еще один год. Один из самых мучительных в жизни – перед тем как окончательно расстался с родителями, увозя их в моем внутреннем пространстве – вместе со всем моим разнородным родом. Печально сознавая себя не продолжателем его, а финальным результатом. Итогом. Абсурдным венцом его творения.

Родина

Э

Что такое родина? Родина – это **ВООБЩЕ**. Это родовое определение всех вещей. Все остальное относится к нему как мельчающие виды и разновидности.

Для меня Москва – вообще город. Русский – вообще язык. 1-я Дубровская – вообще улица. Измайловский – вообще парк. МГУ – вообще университет. Филфак – вообще филология...

А все остальное состоит уже из частных. Лондон, или Париж, или Нью-Йорк; Бродвей, или Пикадилли, или Елисейские Поля; французский, итальянский или датский языки... Там можно бывать или не бывать, их можно учить или не учить, любить или не любить. Это все множимые подробности, разновидности по отношению к роду.



В фольклорной экспедиции. Архангельская область. 1969

Ю

Дневник

*МГУ.
29 октября 1967.
9.37.*

Я живу в прекраснейшей стране: мне бесконечно и до слез дорога ее – а значит и моя – жизнь, я ощущаю себя в этом всесоветском потоке; никогда не уеду отсюда, никуда.

* * *

Доподлинная запись, которая ставит сейчас меня в тупик. Впрочем, тут о стране, не о «родине»...

Слово не из лексикона моей юности. Может быть, впервые я задумался об этом, отвечая на твои вопросы в нашей Анкете 1972 года. Ты тогда сказал пророчески: «Родина – это то, что впереди».

В юности (и раньше, начиная с детства, я был романтический космополит, маленький капитан Немо, и шел своим подводным курсом) мне было отвратительно все, что имело корень «род». Просто взвивался, когда слышал абсурдное, а слышал это нередко от домашних: «Где родился, там и содился». И от кого? От таких же «номад»! От отчима, заброшенного в Минск и ностальгирующего по своей Сибири, а еще больше по проданной Аляске! В этом была какая-то обреченность, поддержанная не только фольклором, но и сонмом теней предков, забытых, может быть, именно в силу того, что им не достало дерзости оторваться от того, что полагали они родиной. «Возможно, – отвечал я, когда «доставали», – но я – я! – родился в Германии! Что же, мне там нужно *годиться*? И вообще – в том смысле, что тесно не только внутри «священных» якобы границ «Одной шестой»: – Остановите землю – я сойду!..»

Цитировал Будду: «Путь человека из родины – в безродность».

Так и получилось. Однако на основании реализованного отдельно взятым «гражданином мира» космополитизма не надо представлять его русофобом. Оглядываясь из Америки назад, в гирлянде своих бывших «родин», я с нежностью – отнюдь не старческой – различаю не только Европу, Францию, Германию и прочее, но и покинутую вместе с юностью атлантиду «Одной шестой».

Э

Мои юношеские дневники переполнены записями про Россию, ее судьбу, ее предназначение – и пересечение с судьбами еврейства и Израиля. Однажды мне пришла мысль столь волнующая, что я даже придал ей пророческое значение, – мысль о том, что бескрайняя, суровая Россия и есть земное воплощение Иеговы. Честно говоря, это одна из самых странных и несообразных мыслей, когда-либо мне встречавшихся, и теперь я могу только удивляться, что именно мне она пришла в голову и несколько месяцев духовно питала меня.



Среди отдыхающего народа, мне 10 лет (1960), только что отпели «Подмосковные вечера». В том же втором ряду крайний справа – мой дядя Миша

С

Сексуальность

Э

Первые мои эротические переживания были чисто платоническими и относились к одноклассникам. По мере созревания я стал больше обращать внимание на учительниц, и мои фантазии становились все более дерзкими. Лет в 12 или 13 мне приснился сон, в котором прекрасные обнаженные женщины выходили из озера, и они же были белогрудыми лебедями. Я проснулся от горячей струйки, меня оросившей, и не понял, что случилось и почему столь сладостное чувство оказалось мокрым на ощупь. Так началось *это*, попытки совместить два «ф» (фантазию с физиологией).

Этот процесс совмещения продолжался долго: домашний мальчик, интроверт, я засиделся в юношах и собственно к мужским радостям приобщился только в 20 лет, почти в день рождения. Главная проблема юности – полюбить, т. е. преодолеть химеричность грез и найти им выход в реальности отношений. Мне по-настоящему нравились только целомудренные девушки, даже если они были значительно старше меня. То, что мы были первыми друг у друга, не способствовало приобретению опыта. К тому же, зная себя изнутри, я не верил, что меня можно полюбить. Знал в себе это душевное варево, месиво, которому в лучшем случае можно лишь сострадать.

Но все-таки какой-то сексуальный опыт постепенно выстраивался, даже опережая реальность. В день рождения, 19 лет, я записывал: «Огромное счастье, когда любимая вдруг смотрит мимо тебя бессмысленными, отсутствующими, животными глазами. Она – как успокоившийся после криков и волнения ребенок. Поэтому можно отдаться наконец самому мирному и безобидному – бессознательному созерцанию. Это – высшее, что можно дать любимой. Лучше ничего нет ни для нее, ни для тебя».

Ю

В Париже, в конце 70-х, купил книжку «The American Male» («Американский самец»), из которой узнал, что в 15–16 лет по ту сторону океана думают о сексе постоянно – раз в три минуты, что ли, статистически. Ретроспективно успокоился на свой счет. В стране, где «секса не было», я в том возрасте тоже думал «про это» постоянно. Характер моих раздумий был сформирован двумя факторами – литературным и внелитературным. Роман западногерманского писателя Манфреда Грегора «Мост» повествовал о том, как в мае 1945 года немецкие школьники защищали от американских танков мост своего городка. Все они погибли, так и не познав «таинство жизни». В октябре 1962-го, когда разразился Карибский кризис, мне было 14. Мир по вине Хрущева висел на волоске, моя жизнь тоже, и я решил во что бы то ни стало познать упомянутое «таинство», а там пусть все горит огнем – меня включая.

Немедленно перешел к действию. Стал заговаривать в трамваях со взрослыми девушками производственного вида. Тех, кто шел на контакт с подростком, пытался убедить. Но тщетно. Девушки в угрозу третьей мировой не верили. Кризис рассосался, но осталось чувство того, что промедление смерти подобно, как сказал Ленин по другому поводу. Не тут-то было. Реальность оказала такое сопротивление, что проект познания таинства жизни рас-

тянулся на три года. Целый роман – «*Bildungsroman*», роман воспитания. Представлю тебе только одну из глав: конспективно.

Поэты *падают*... констатировал Андрей Вознесенский (не имея в виду, конечно, Мандельштама или, скажем, Горация). Но было время, когда в моих глазах поэты «стояли высоко», а к их Трубачу, борцу с «наследниками Сталина», относился вообще с восторгом. Вот сейчас, в Америке, передо мной блеклая «общая тетрадь» ценой в 22 коп., с провинциально-приблизительным изображением скульптуры мускулистого советского человека, перековывающего меч на орало. Конечно, я высоко ценил стихи Евтушенко про совращение малолетнего, мечтая о том, что и я встречу взрослую женщину, которой будет занятно баловаться с нецелованным мальчишкой, но судя по тому, что в эту тетрадь от руки переписано («Мед» и «Мне говорят, вы смелый человек...»), меня в 14–15 лет не меньше волновали гражданственные стихи поэта.

Мой знакомый Сергей Имшенецкий предпочитал его сексуально-туристическую лирику.

Мы познакомились с Сергеем на республиканском пионерском слете. На вопрос «как дела» он отвечал: «Как в Польше». Что имелось в виду, никто не понимал, пока он не снизошел объяснить нашей «палате», что в Польше «тот пан, у кого больше». Потом мой тезка какое-то время жил и вырослел за границей, но за связь с местной девушкой был отправлен родителем обратно в СССР и оказался в Минске, в школе-интернате для детей, чьи отцы несли ответственную службу за пределами священных границ. Он ходил в берете и именно таком плаще, о котором я мечтал с чешского фильма «Покушение». Всегда готов был говорить о девушках: лицо пунцовело, большой скошенный лоб, весь в просяных прыщиках, начинал розоветь и поблескивать. Таинство жизни он, по его утверждению, познал неоднократно, и ко мне, «девственнику», относился снисходительно (а я к нему, соответственно, с завистью, как к донжуану с международным опытом). У него были советские книжки из-за границы, которых здесь не достать. Среди них «Нежность» – васильковый квадрат, там было фото автора со склоненной головой. Сергей мне ее вроде подарил, но осенью пришел и забрал. Срочно ему понадобился Евтушенко. Но зачем, не сказал (любя напускать таинственность). «Приходи к нам на вечер в интернат, увидишь».

В начале того учебного года (новая, «центральная» школа, 9-й класс) ко всем моим переживаниям добавилось загадочно-романтическое. В почтовом ящике нашел анонимное объяснение в любви; затем приглашение на «стрелку» в парке Горького – почему-то на детской площадке. Первое любовное свидание; я пошел, сказав дома, что иду в библиотеку. Ровесница-брюнетка оказалась очень ничего – только с огромной грудью, которую к тому же обтягивал зеленый джемпер импортного вида. Моим тогдашним идеалом была не Беата Тышкевич, а стройная Пола Ракса, так что грудь меня волновала больше в смысле социальном. Все, кто попадался нам навстречу в этот воскресный сентябрьский день, сначала бросали взгляд на эту грудь, потом на меня: как будто им со мной все ясно. *Вот почему он с ней гуляет*... Мне было неловко идти с ней рядом. Под руку, разумеется, не брал, а о поцелуях и объятьях речи быть не могло после того, как мы вышли из парка на людный Ленинский проспект. Испытание продолжалось до моей трамвайной остановки. Я испытал облегчение, когда мы расстались. Больше она мне не писала. Возможно, разочаровал.

На ноябрьские праздники я отправился в интернат. Это было недалеко от меня. Старинный парк окружал новое здание, перед которым стоял автобус белорусского телевидения. Меня встретил и провел неулыбчивый мальчик в кожаной куртке; он был годом младше и состоял при Имшенецком в роли пажа. В актовом зале я обратил внимание на то, как хорошо одеты интернатовцы: не в обычный магазинный «импорт», а в индивидуальный: в то, что присылали из-за границы их родители. Сам я был в белом свитере, который связала мне питерская сестра на шестнадцатилетие. Место досталось с правой стороны и с краю;

саясь, я вдруг увидел с левой стороны зала брюнетку, избегающую по возвышению прохода у стены. Она была в школьной форме, где широкие проймы фартука задуманы для сокрытия груди любого размера, но я ее узнал. И сразу понял. Имшенецкий разыграл меня – как девственника. Возмущен я был, как принц датский: *You cannot play upon me!* При этом я еще не знал масштабов розыгрыша, в котором участвовали эта брюнетка, Имшенецкий и этот его паж. Пока она меня пыталась охмурить своими буферами, эти двое из укрытий (начиная с дощатых избушек, где они прятались на детской площадке, потом из-за стволов деревьев) щелкали фотоаппаратом, идя все время по пятам. После праздников Сергей принесет мне домой альбомчик с моим художественно оформленным «делом» – с отчетом брюнетки о моих высказываниях, со снимками, к счастью, без особого компромата. Приятельство, которое разрешилось пришитым мне пусть даже в шутку «делом», показало свою вопиющую неподлинность, и я его прекратил. Последний раз, когда случайно столкнулся с Имшенецким, он заговорил о моей публикации в «Немане», чем очень удивил: два года прошло, а он продолжал за мной следить. Compliments были типично его: наполненные шпильками. Больше в этой жизни я его не видел, но в тот праздничный вечер он обидел не только меня, но еще интернатовское начальство. Вмешал им на праздник ложку дегтя. Концерт был скучный, Имшенецкого на сцену не выпустили, и я его увидел только, когда вышел – у ТВ-автобуса, в центре толпы, под ярким светом софитов. Журналистка брала у него интервью. Я стоял так, что мне виден был и черно-белый экран телекамеры, и сам он в реале – в черном плаще с двумя рядами коричневых пуговиц, плотный, лобастый, весь блистающий от пота и дождя... «Сережа, мы знаем, что вы пишете стихи. На кого вы равняетесь? Кто ваш любимый поэт?» – «Мой маяк – Маяковский!» – «А вы могли прочесть наизусть ваше любимое стихотворение Владимира Владимировича Маяковского?»

Он сделался таким отчаянно-веселым, что я подумал: сейчас слетит с катушек. Вместо стихов о советском паспорте выдаст им «Нате!». Но я ошибся. Он встал в позу и взмахнул кулаком:

Какие девочки в Париже,
 черт возьми!
И черт —
 он с удовольствием их взял бы!
Они так ослепительны,
 как залпы
среди фейерверка уличной войны.

Он дочитал все стихотворение до конца. «Парижские девочки» – все его знают, все помнят там ту первоhipпи: «ту – ту с голубыми волосами, в ковбойских брючках там, на мостовой...». Написанное Евтушенко в 1960 году стихотворение задавало тон всей предстоящей нам мятежной декаде, лучше которой у меня ничего в жизни не было, разве что перестройка и Америка.

Чего Имшенецкий добивался, то и получил. Телетрансляция была прямой, скандал получился грандиозный. Но из интерната для «детей шпионов» его не исключили. Отец, видимо, был на очень ответственном посту.

Дневник

14 ноября 1964.
Минск.

Сон. Вестибюль нашей школы. У окна слева я, одеваюсь. Какая-то женщина что-то делает. Хмуро за окном. Вестибюль пуст и темен. Она говорит, что ей скучно. (Вечером я читал Бабеля.) А не позабавиться ли нам, *ta belle?* – говорю я. Приезжай завтра туда-то (куда-то на электричке за город) к такому-то времени, говорит она. Я иду к выходу. Синяя дверь кабинета машинописи. Полумрак вестибюля. Какой-то мужчина разговаривает с ней. Она ему тоже обещает.

Я уже за городом. Плоско, зелено, пасмурно, равнинно. Иду. Прохожу мимо моста. Ручей широкий, мелкий, быстрый. В ручье лежит женщина в красном платье. Черные волосы уносятся течением ручья. Мужчина лежит в воде подальше. Женщина в красном поворачивается, лежа в воде, к нему, протягивает к нему ногу, обтянутую красным. Мужчина вдруг быстро так боком подплывает, они хватают друг друга в объятия, но внезапно отталкиваются друг от друга. Быстро-быстро, как инфузории какие-нибудь. На ручей падает тень от моста, видно песчаное дно и камешки, сверкает вода, мужчина и женщина под водой, плоские совсем, и ее черные волосы шевелятся, как водоросли, как щупальцы.

Иду дальше. Какие-то овцы. Она под деревом, та самая женщина, на зеленой траве. Вот только не помню, было у нас что-нибудь или нет, нет, по-моему.

22 ноября 1964.

Минск.

...

Марика Рокк – у нее зад квадратный, вообще ничего, но этот зад произвел на меня удручающее впечатление.

7 февраля 1968, МГУ.

...Лег 2.30: разговаривал с Иштваном *about and around sex.*

30 января 1968.

Вчера писал перед сном – нонсенс. Сегодня под утро поллюция. Порывы желания днем...

10 марта 1968.

Муравьино-красный цвет волос на лобке.

Муравьино-рыжий.

...

– *Я пошел.* Спасибо, – говорит она.

1 апреля 1968.

Сознаю себя. Зацепился за угол стола – брюки расстегнулись. Сажусь на лекции и думаю: надо застегнуть. А то запамятую. Выйдет пассаж.

Автопримечание 8.8.68: *Да-да-да, и верно: забыл – и так вошел в столовую, помню.*

2 апреля 1968.

На лекции в Коммунистической аудитории.

Задумывать и писать *книги.* Отрывки можно печатать в «Московском комсомольце»...

А вот никто не знает, что у меня э.

Сновидения

Дневник

16 лет.

20 сентября 1964.

Мы с Грибком у длинного здания. День на улице. Здания похожи на лагерные наши строения в *(нрзб.)* Куда-то идем с Галей. Я люблю ее, эту Галю. У меня военный плащ под мышкой. Мы идем по лесу. Я обнимаю ее, трогаю за грудь. Она тихо смеется. «Не тут», – говорит она. Почему не тут? Я вижу людей. Они ищут грибы. В лесу темно. Мы спускаемся с холма, поросшего лесом. Похоже на тиссо-самшитовую рощу. Зелено, темно. Люди наклоняются между деревьев. Яма, в отдалении от нас. Грибок идет позади. Серое цементное здание внизу. Мы идем туда с Галей, обнявшись. Женщина и мужчина сидят на пиджаке под деревьями. Мы проходим мимо. В доме куда-то спускаемся по пожарной лестнице. Полумрак, где-то горит лампочка. Тусклый свет входит в помещение, освещен только пол. Потолка не видно? Потом у меня создалось впечатление белого, фаянсового. Не в уборных каких-нибудь мы? Или в ваннах? Высохший ручей пересекает освещенное пространство. Да, это ванная. Вот она, сверкает. Я открываю горячую воду. Она вырывается с паром. Становится тепло. Я развертываю плащ, смотрю, какой стороной расстелить. Прорезиненная сторона – что-то сырое. Я расстилаю плащ и смотрю на Галю. Тот же тусклый свет освещает ее. Она подходит. Мы ложимся. Нам тепло. Она не хочет. (Но это одеяло.) «Не тут», – вспоминаю я. Грибок стоит сверху, смеется. Такой мне приснился сон сегодня.

21 сентября 1964.

...У Ивашина на рукаве была повязка: свастика на белом фоне, а повязка была голубая. Я все допытывался, почему голубая, а не (как должно) красная...

1966. Июнь, 11.

С 7 до 9.40 снился за столько уж времени эросон.

...Граница с Чехословакией, экскаватор на берегу, полоса жидкой грязи вдоль берега реки, по которой я не пошел с ней, а свернул. Пограничники, бабка в зелени за березняком на той стороне, дома красивые, окна в них, наш солдат (забыл фамилию), прыгнул в реку (а она как болото), схватил там кого-то, боролся в болоте; потом ночью садились на поезд женщины, провожали мужчин, в тамбуре перецеловал всех: две ничего, две не очень...

Мы, гуляя, зашли за стену дома. Направо был канал Грибоедова. Я обнимал ее левой рукой.

– Так мы с тобой встретимся?

– Обязательно. – Мне послышалась насмешка.

– Дай твой адрес.

– Улица Ференца *Липка*... – сказала она, и я засмеялся, удивившись.

Потом мы поднимались по лестнице. На площадке стояло много мусорных ведер. На одном лежал цветок... Она взяла, посмотрела, повернула обратно...

22/23 апреля 1968.

Сон. Н[ехай]. Баловался с трансформаторным щитом, и его убило. Врач. Руки у врача были мертвенно-ярко-зеленые, как лицо у шагаловского раввина.

3 августа 1971.

Этой ночью видел во сне медведя и не мог его убить, а убил он меня, но я выжил все же, о чем узнал из своего письма. Мать с медведем.

5 августа 1971.

(рукой Лены под мою диктовку):

Во сне поиски фамильного дома Набокова в Москве... Запрос в госархив о лидере либеральной партии Владимире Набокове. Утром продолжу роман.

Собеседники

Ю

Последующее искажает предыдущее, хотя в этой книге я прилагаю усилия по сведению искажений до минимума. Всего, по разным причинам, не расскажешь, но мы ведь согласны с той неоспоримостью, что существование предшествует сущности.

Я остаюсь благодарным Битову, собеседнику юности «намбер Уан». Он был откровенен, очень мне интересен, однако же монологичен (хотя какой же диалог мог быть между членом Союза писателей и представителем «внесоюзной» словесности, к тому при разнице в одиннадцать лет). Рожденный в 1937-м, как моя сестра, он был старше меня на целое поколение – разумеется, антисталинское и антисоветское. Но с самого начала наших устно-письменных отношений меня смущали нотки пренебрежения, так сказать, к «холмам, яснеющим в Тоскане». После того как я привел к нему в гости парижанку, ставшую моей женой, Европа стала дежурной темой сначала шуток, а потом насмешек. Помню, как он вернулся из первой союзписательской поездки в страны капитала, которыми оказался Бенилюкс: то был рассказ русского Гулливера, который я слушал отчужденно и с нарастающим сочувствием к европейским лилипутам. Даже конверт, в котором возвращался ему долг, вызывал у него комментарий: «Смотри-ка: Европа...» Не узнавал я потомственного питерского «жантийома», которым он мне казался в юности. Неудивительно, что в Москве, «рынок услуг» которой он критиковал, но и осваивал, где-то к середине 70-х прозвучало: «Вы меня уценили».

Главными собеседниками моей московской юности были ровесники: Аурора и ты. Аурора обращалась ко мне от имени многих культур, французской, испанской, польской, – реальный опыт космополитизма. Воплощение, возможность и обещание другой жизни. Общение не только мироотношенческое, но и перевоссоздающее тебя, меняющее твою структуру, сам состав советских твоих молекул. За Ауророй был экзотизм, распахнутость мира. А ты превращал в нечто экзотическое мир, замкнутый и скучный, что было своего рода чародейством «из себя».

Э

Невозможно заранее предсказать, с кем завяжется общение, разговорная связь – вязь взаимно переплетающихся слов-отношений. Бывает, что людям, близким по жизни или по мировоззрению, трудно друг с другом разговаривать, как-то не цепляются слова. С самым умным, уважаемым, ценимым... И наоборот, с чужим и чуждым вдруг бывает мгновенная склейка. Ни общая профессия и интересы, ни продолжительность знакомства не определяют этой со-речности как самостоятельной данности: или она есть, или ее нет. Я так это для себя и определяю: соречие – связчивость двух речевых манер, то, насколько они заводят и подталкивают друг друга.

Мне всегда было раскованно, душевно и слегка таинственно говорить с тобой. У нас в студенческие годы даже выработался какой-то свой язык, с особым нажимом смыслов и выбором слов, отчасти настоенный на прозе Битова. А вот с Ауророй у меня почему-то не сложилось соречия, мы больше общались через тебя.

Среди самых великолепных *беседников* своей жизни назову Андрея Битова и Илью Кабакова. Нарочно отнимаю приставку «со-», потому что в значительной части это были монологи, поддерживаемые моими вопросами и репликами. Моя голосовая активность

повышается перед аудиторией, падает в компаниях, а в частных разговорах очень зависит от характера (со) собеседника.

В университете, кроме тебя, у меня было не так много *взаимного* общения. Всегда интересные, но несколько напряжены и односторонни были разговоры с Ольгой Седаковой: она выражала себя в них гораздо лучше, чем я (кроме тех случаев, когда мы говорили по телефону, который как-то перераспределяет соотношение голосов). Очень хорошее, насыщенное общение сложилось с Валентином Евгеньевичем Хализевым, моим научным руководителем на филфаке, вдумчивым и вслушчивым собеседником. Блестяще-вдохновенными и глубоко экзистенциальными бывали беседы с Александром Бокучавай, аспирантом, а впоследствии преподавателем филфака; но это случилось позже, в 1973–1975 гг., когда мы оба преподавали на подготовительных курсах МЭИ (куда я его и зазвал). Ровные и равные разговорные отношения сложились у меня с однокурсницами Тamarой Приходько и Таней Горбачевой – и с Валентином Масловским и Валерием Тюпой, тогда аспирантами филфака. И в университете, и после доводилось общаться с Ниной Брагинской, античницей, но в складе наших умов была какая-то несовместимость, мои теоретические парения изрядно раздражали ее, строгого филолога. Недолго, но вполне достаточно, чтобы оценить ее острый и саркастичский ум, продолжалось общение с Татьяной Савицкой. В течение двух семестров совместного обучения у Турбина (1969–1970) мы много общались с Ольгой Терновской, будущей слависткой. Было бурное, но краткое, примерно одномесячное общение с Денисом Драгунским.

Ты мне подарил дружбу со Славой Хлесткиным, начинающим прозаиком, который почему-то ее оборвал в 1975 г.; и, не столь тесную, с поэтом Вадимом Ковдой. Вне университета я дружил с Валей Викторовым, сыном сослуживицы моей мамы; он начинал как одаренный писатель-историк, но в начале 1980-х мы раздружились, и я не знаю, где он и что с ним стало. Вокруг него тоже были начинающие писатели, в том числе небезаламанный Миша Дорошенко, работавший во ВГИКе. В 1975–1976 гг. было частое, хотя и недолгое общение с Александром Осповатом и с Лерой Нарбиковой, которую я встретил на Совещании молодых писателей в Софрино (ей тогда было 17). Через Валю Масловского я познакомился с писателем Эдуардом Шульманом, с которым мы много говорили о литературе, мастерстве и превратностях творческих судеб; какое-то время я ходил в его домашний кружок с литературными чтениями и обсуждениями, но это уже история второй половины 1970-х гг. Интересная черта тех лет – возрастной демократизм общения, взаимооткрытость разных поколений. На какое-то время, в 1974–1975 гг., одним из моих душевнейших собеседников стала старшеклассница Оля Левинская, которая брала у меня уроки как у репетитора перед поступлением в вуз; впоследствии она стала профессором античности в РГГУ.

В 1973–1974 гг. прекрасный разговорный кружок образовался у нас среди преподавателей вечерних подготовительных курсов МЭИ: Саша Бокучава, Саша Николаев, его жена Аня Рудник (ныне директор Литературного музея), Нина Константинова, Лена Полтавец. Мы заговаривались до поздней ночи, неторопливо возвращаясь с курсов домой. Саша Николаев, тогда начинающий тютчевед, был одним из самых остроумных собеседников, мне встречавшихся: смешил до колик. Через него я познакомился со Светой Долгополовой и воспринимал место их обитания, тютчевскую музей-усадьбу Мураново, как родное себе место. Через Свету, которая открыла мне прелесть душевной христианской беседы, я, в свою очередь, познакомился и даже сдружился с Натальей Леонидовной Трауберг и однажды посетил, в исканиях духовного пути, о. Александра Меня, но около него не задержался. Впоследствии, уже в конце 1980-х, я через Н. Л. Трауберг познакомился с Владимиром Никифоровым, католическим священником, который сыграл большую роль в моей духовной жизни. Интересно взглянуть на эту цепочку общений, которая привела меня от Саши Николаева к Володе Никифорову, между которыми вряд ли могло быть что-то общее.

Ю

А помнишь ли Далина? Странный персонаж 70-х. Заговорил со мной на 9-м этаже Гуманитарного здания. Стоял там на площадке-курилке, оживленно оглядываясь. Хорошо за тридцать, крупный, темный костюм с перхотью, белая рубашка с галстуком. В руках раздутый портфель. Разве мог я предположить, что там? Я думал, по научным делам человек, а он на нашем фাকে высматривал девушек. Я привел его к себе в общежитие, познакомил с тобой. Между вами был и отдельный контакт. Он стремился к нам, юным. Автор рукописи «Мир как система».

Э

Прекрасно помню. Валерий Далин – наверно, по модели Ленина-Сталина, вычурный псевдоним какого-нибудь Нечипоренко. Учитель жизни – в прямом смысле. Биолог, критик академика Опарина, чья теория происхождения жизни (из океана и коацерватов) считалась по-советски классической, как павловская теория условных рефлексов. Создатель своей собственной теории, определявшей жизнь как «целенаправленную самостоятельность». Ходил по институтским семинарам, утверждаясь в науке и вокруг. Меня в нем поражала смесь романтизма и цинизма, идеалистического отношения к науке и гедонистического к женщине. Доказывал свою теорию на практике всем приятным дамам, которые, находя ее убедительной, тут же отправлялись с ним в постель. Раз или два пользовался моей квартирой для конспиративных явок. От своей любощедости пытался и меня приобщить, но это всегда был не мой тип, или я не их тип. Он меня вчуже восхищал смелым, неукротимым круговоротом теории жизни и ее же практики. Жизневед, жизнелюб, жизневод, все в одном лице.

Ю

Вот именно – разъездной московский философ и донжуан, специалист по лимитчикам. В портфеле – помнишь, демонстрировал? – спринцовка, марганцовка. Омниа меа мекум порто. В Солнцево ко мне на вечеринку приехал с женой, которую называл «моя Мартышка» на основании губ, вывернутых от природы не менее, чем сегодня это делают хирурги-косметологи. Подарил мне самодельный порноальбомчик, сделанный из записной книжки, куда была вклеена разная муть, переснятая из западных журналов.

Э

Что наша жизнь? – игра. А в советские годы, когда игралось плохо, чем была наша жизнь? Беседой. Не было более достойных занятий. Любовь и беседа.

Особые, подчас очень глубокие со-речия складывались с девушками. Вообще, собеседники и друзья – разные категории. Не всякий хороший собеседник бывает другом, и, что удивительнее, не всякий друг бывает хорошим собеседником. Но мне трудно представить себе, чтобы возлюбленная не была еще и собеседницей. Без речевой взаимности чувства быстро испаряются. Поэтому мне всегда было трудно постижим любовный союз с иностранкой, хотя, конечно, твой опыт это опровергает. Вы с Ауророй настолько лингвистически одарены, что общались без помех на двух языках, и русском, и французском.

Ю

Свою одаренность в этом смысле я энергично отрицаю, но общались – да, на обоих. К сожалению, я не настолько или вообще не знал тогда других языков, которыми уже тогда владела моя непостижимая жена.

Сописание

Ю

Мы в гостях у Валентины В***. Нам с ней вполне интересно, но обоих вдруг начинает одновременно терзать-изводить мочево́й пузырь, с которым мы, потребления пива не прекращая, начинаем бороться. Но становится так невыносимо, что мы вскакиваем и прощаемся с непонятной резкостью, оставляя девушку в недоумении. Предусмотрительно не застегивая пальто, мы с грохотом сбегает по лестнице и вниз, в свете дома, блаженно мочеиспускаем в сугроб палисадника. Две струи буравят освещенный снег. Какое чувство облегчения! При этом ты задаешь вопрос:

«Как бы ты описал весь этот акт?» И предлагаешь свой вариант с «заострением». Мгновенно и точно даешь анализ этой до невозможности отложенной потребности, которая из тупого давления вдруг заостряется перед стыдноватым (поскольку «низ материально-телесный») блаженством истаивания.

А ведь действительно! думаю я, уже переживая свое предельно заострившееся как энергичное истаивание.

Это один из моментов нашей дружбы, когда ты вызываешь у меня чистое восхищение. Внезапной точностью слова. Все предыдущее было малоинтересно – и сокровенный быт ЦК ВЛКСМ, где получила работу Валентина, и ее туманности, недоговоренности и умолчания. Интересен ты. Ты выводишь меня за пределы суеты, обернувшейся разочарованием: ехать в такую даль за обещанным блоком западногерманских «Ernte 23» из комсомольского буфета и получить только пачку-две (внутри еще большего разочарования в эмгэушной подруге и героине своей трагедии, которой я годами сострадал, вдруг ставшей идеологической чиновницей и уходящей из моей жизни навсегда); ты возвращаешь мне радостную конкретность экзистанса, переадресовывая внимание на то единственное, что представляет ценность в этой унылой жизни – точность слова. Более того, прочитавши где-то у Симоны де Бовуар, каким восторженным вернулся Сартр из Германии от Гуссерля («Представляешь? теперь можно говорить об этом вот коктейле так, что это будет философия!»), я вижу в роли Гуссерля тебя. Ты мой феноменолог! Возможно, не в ортодоксальном смысле гуссерлианства, но, как иногда замечал Толстой по поводу собственных записей в дневник, *je m'entend*: я себя понимаю. Понимаю себя и я. Понимаю, за какие скобки ты вывел меня своим вопросом. И это непонятное понимание обнимает момент беспримесно-чистой радости бытия.

А казалось бы, просто справили «на брудершафт» – за что в стране нашей цветущей зрелости Америке арестовали бы и привлекли к суду. В общежитии МГУ тогда популярной была «отмазка»: «Мы что, с тобой из одного *** ссым?»

А именно так и показалось, что из одного.

Э

Помню, вне всякой связи с девушками, и двор, и снег, в который мы с задержанным наслаждением вонзаемся, чертим.

Общая вязь, «я на твоём пишу черновике» – слегка жутковатая близость, как кровосмешение, хотя субстанция иная. Для мужской дружбы, да еще замешанной на слове, это священный момент – сопи́сание (ударение – вольное). Мужское мочесмешение. Соударение струй.

См. ДРУЖБА; ТЫ, МИША, ТЫ, СЕРЕЖА

Сторож (ночной)

Ю

В перистальтику нашего тоталитаризма мы проникали с черного хода – благодаря работе ночными сторожами, которая была доступна пенсионерам и студентам. Государство оказалось слишком доверчивым, впуская, например, меня в здание Комитета по делам религий – главная в стране инстанция по борьбе с Богом. Я пошел на эту работу, чтобы заставить себя больше писать по ночам, но было страшно сосредоточиться за машинкой, которую я приносил с собой. Я представлял себя записчиком у престола Сатаны, и меня охватывал графоспазм. Вооружась ключами, я ходил ночью по кабинетам, выдвигал ящики, пытался представить всю эту сатанинскую машинерию. В черную «готическую» библиотеку нужен был специальный допуск – на уровне кандидата наук, если не доктора. Там был и «Молот ведьм», и всевозможный оккультизм. Томов Британской энциклопедии было столько, что никто не замечал пропажу отдельных томов, которые предыдущие ночные сторожа продавали из-под полы на черном рынке. Оттуда же на рынке появлялись и конфискованные на таможне библии *printed in U.S.A.* Чердак Комитета был забит этими библиями так, что темно-зеленые томики вываливались через дверь на ступеньки лестницы – тем самым ставя предел моим ночным познаниям.

Э

Таких экзотических или, наоборот, демократических профессий, как сторож, дворник, лифтер, истопник и пр., в моей жизни никогда не было. Единственное, что к ним приближалось, – это помощник корректора на выдерге страниц с нацистским флагом, по ошибке вклеенным в книгу издательства «Транспорт» (1972, см. КОРНИ). И у тебя, и у меня, как ни побочны были эти занятия, а все-таки никуда не денешься – книги!

Страх

Ю

Тема возникала периодически. И непосредственно, и как замысел.

Дневник

13 февраля 1968.

... У него было коричневое мертвое лицо, и живым казалась только розовая точка сигареты.

9 августа 1971. Солнцево.

Перед сном говорили [с Леной] о страхе. Сюжеты:

(1) Библиотека для одного – старый, и который невозможно теперь осуществить из-за комнаты Мелькиадеса.

(2) Персонаж из пометок на полях – тоже старый.

(3) Мусорный ящик (with head).

(4) Роман о настоящем страхе: Страх страха – Госстрах.

Общественная эволюция страха – от пещерного, как источника религии, – до моего века. М.б., один из самых религиозных периодов в истории. Страх человеческого (Die Mutter) и не-человеческого (Der Sohn).

Страх, приходящий извне и внутренний, когда человек, сознательно и изоощряясь, надевает действительность элементами страшного. Неистинно страшное. Страх особенности, лица. Боишься самого себя, потому что *несовпадаешь*.

Самосуд – логическое завершение.

Что страшного может случиться с человеком? Страшно ли – тюрьма, лишение прав, лишение собственности, пытки, болезни, потери, – если все это еще не *смерть*, а если не страшна она? Корни страха в тебе самом. Пределы его тобой обусловлены.

Смех – смерть – страх – смерть.

Смех – преодоление страха. Смех – это свобода. Страх – это рабство.

Манеры страха. Образ страха. Степени страха.

Мания освобождения, свободы.

Говорить во сне, проговариваться во сне.

У тебя до рассвета горит окно, и это страшно, потому что все люди ночью выключают свой свет.

Т

Творчество

Э

Для меня *творчество* было в странном отношении с *любовью*: антонимы – и синонимы.

Из дневника

15.3.74.

«Что лучше, достойнее человека: творить или любить? Запереться в келье и творить или валяться на траве и любить? Бог есть любовь. Но ведь Он же и сотворил мир!»

17.4.74.

«Только в творчестве одному лучше, чем двоим. Только в любви двоим лучше, чем одному. Только в Деле многим лучше, чем одному или двоим. Что же делать?»

Ю

Но мы и любили, и творили, пытаюсь совместить одно с другим самым оптимальным способом из возможных. Вот до Дела, сотворчества многих, в пределах Союза у меня не дошло – в отличие от тебя, оказавшегося куда менее асоциальным.

Э

Для меня вопросом вопросов было не только «творчество и любовь», но и «творчество и структура». Творчество волновало меня не только экзистенциально, как путь жизни, но и как интеллектуальная проблема, особенно после знакомства с «перепахавшей» меня книгой Н. Бердяева «Смысл творчества» (1916). Мне хотелось соединить философию творчества, фантастического и даже утопического преобразования мира с господствовавшим тогда в гуманитарных науках строгим структурализмом.

Вот как это схематически рисовалось

Из дневника

30.3.1974.

«Моя позиция: не структурализм и не утопизм, а *утопический структурализм*. Переключка с Тейяром де Шарденом. Творчество как обретение (а не разрушение) структуры. Если структура есть космос, гармония, то почему мы должны противопоставлять ее творчеству? Напротив, структура есть результат творчества как внесения различности и соразмерности в хаос. Миру еще только предстоит воплотиться в структуру совокупными твор-

ческими усилиями всех людей. Нет никакой необходимости противопоставлять Бергсона и Соссюра, или Бердяева и Лотмана: их общая перспектива и есть *утопический структурализм*».

Топор

Ю

Одна из психотравм раннего детства – писателя-коммуниста Ярослава Галана зарубили топором бандеровцы. *Писателя!* Для меня, как и для всех вокруг, «писатель» было нечто высшее, спускающее свыше, как на гравюре Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», книги нам, задранным головы читателям, а я как раз из всех сил стремился им стать, складывая буквы в слова. Странно, а может быть, и нет, что аналогичный гуцульский топорик на длинной ручке, которым Галану нанесли одиннадцать ударов, у меня есть где-то в гараже. Куплен на *estate sale* в штате Нью-Джерси. Сувенирный. Принадлежавший, возможно, покойному ветерану ОУН. Я что хочу сказать: одно дело, ужасаться вчуже, другое – самому оказаться в ударной позиции. Потому что тот самый общеизвестный, благодаря журналу «Крокодил» и художнику-долгожителю Борису Ефимову, топор, с натруженных зазубрин которого капала кровь, орудие крайнего, расчленяющего насилия, который приписывали Иосифу Брос Тито и другим врагам момента, был не чем иным, как Топор-Трансфер, Топор-Перенос.

На самом деле, он был – наш.

И не только «в русской литературе», где его исследовал в МГУ, как вспоминаешь ты, турбинский семинар...

Когда надо мной взлетел колун – в точности так, как об этом еще не скоро предстоит прочесть в классическом русском романе – мне было восемь. Я смотрел на него снизу вверх, зная, что моя солдатская ушанка не спасет от только слегка зазубренного лезвия. Но боялся не столько того, что мозг мой разлетится, как грецкий орех, сколько того, что руки не удержат топорщица, а разболтанное топорщице не удержит подскочившей и накренившейся тяжести топора, который может просто соскочить мне на голову, и погибну не от чужого аффекта, а в результате несчастного случая. Потому что не может быть, чтобы взрослый человек меня зарубил за такую ерунду. Нет, он обязательно должен одуматься. И что, если одумается он с запозданием, для меня трагическим?

Иногда «мир топора» являл себя в аспекте чисто визуальном. Шел из библиотеки с итальянской книжкой (Эдмондо Д'Амичис, 1886) «Сердце» про больного мальчика: во дворе, на глазах толпы, рубились топорами мужики в нижних бело-полотняных рубахах, залитых кровью. Не в деревне, заметим: в Заводском районе Минска, на фоне послесталинских, но еще не хрущевских пятиэтажных домов...

Но вот я уже ужаснулся топору Раскольниковова. Сопоставил вращающийся вокруг Земли топор из «Братьев Карамазовых» с нашими космическими достижениями, направленными к той же «топорной» цели: упасть, чтобы убить. Но в массовом масштабе. Вселенские завоевания топора еще скромны, но безграничность претензий очевидна, а главное, нельзя уже потребовать: «Остановите Землю, я сойду!» Куда? Башку снесет советским орбитальным топором. И не одним, там множество «топорных» спутников, которые обречены вращаться тысячи лет...

Нет, в семинар я ходил не к Турбину. К добрейшему (пусть избирательно) толстоведу Зозуле Михаилу Никитичу, который только что оценил на «отлично» мою курсовую «Уход Толстого в свете экзистенциальной мысли». Или даже радикальней называлась: «В свете Бытия-к-Смерти»...

Москва, 1971-й, ранняя весна. Квартира на Плетешковском переулке (близ Елоховской церкви, где крещен был Пушкин). Съемная – не мной, а сокурсником, «поехавшим» на Паскале. Он со своей будущей супругой отправился кататься на лыжах по последнему снегу,

а мы с Леной переместились из кухни на их раскладной диван. Утром врывается хозяин. Огромный черный мужик, подозреваю, что пенсионер известного ведомства, расшатавшего ему психику. «Вон отсюда на хер!» Я вступил в пререкания. И снова надо мной взлетел колун. В самом центре столицы страны, которую я полагал тогда своей.

Я не оправдываю своих «измен», но одна из них была если не вызвана, то стимулирована состраданием. Возможно, именно в расчете на это мне и рассказали, что бабушку и дедушку во время войны разрубили на куски.

В общем, узнав однажды из партийно-советской печати, что в Америке поднимают на щит очередное антисоветское сочинение «Икона и топор», я поразился точности названия, которое профессор Биллингтон дал своей книге об истории России.

Ледоруб смело можно приравнять к топору. И вот один из редких случаев, когда я оказался всецело солидарен с моим испанским тестем. Он устроил скандал «товарищам» из Международного отдела ЦК КПСС, когда в ресторане «закрытой» гостиницы «Октябрьская», где он нас с Ауророй потчевал за счет совгосударства, появился Рамон Меркадер. Правда, без топора. Но с золотой звездой Героя Советского Союза на старомодном пиджаке.

Э

Топор я держал в руках, лишь когда колол дрова для печки в измайловском доме, откуда съехал с родителями в 14 лет. Помогал дедушке и отцу со рвением. Но больше, чем рубить дрова, мне нравилось их складывать под навесом сарая, пополнять запас тепла на зиму, ширить и высить склад этих чурок и плотно пригонять их одну к другой. Я по природе был собирателем, а не борцом. Никогда топор не нависал надо мной, и к его остроте я не испытывал никаких чувств, ни ужаса, ни восторга.

Ты, Миша

Ю

Думая о впечатлении, которое ты на меня производил, не могу не отметить пренебрежение эстетикой, всем, что «красиво»: даже пишущую машинку, в которой была красота, ты обнажил ее механическим нутром. Даже фотографию Набокова – с почтовую марку – небрежно вырезал (откуда?) и неровно приклеил. С одной стороны, твой поразительный отлет от реальности, с другой – вполне прагматическая укорененность в эмгэушном быту.

Э

Да, с вещами у меня отношения не близкие. Но зато нет и насилия ни с одной из сторон. Я живу своей жизнью, они своей. Делают что хотят, лежат где попало, особенно книги. Когда нужно найти, я как-то мистически, по зову сердца, угадываю их местонахождение.

Ю

Но главное, что впечатляло, твоя способность сгущать реальность. Сезанновская просто. Твоего присутствия было достаточно. Крепчал даже чай, который был всегда спитой (как в кружке на сделанном тобой фото). Вокруг тебя была другая гравитация, ты ее и задавал, и все становилось не только осмысленным, но и рельефнотяжелым, смысл обретал скульптуру. От тебя я выходил в Москву, как в разреженный воздух.

Прикрытое посылочной фанеркой помойное ведро на общей площадке, куда выходили другие, совершенно бессмысленные двери, еще имело некий смысл, будучи, возможно, на самой границе смысла, который я оставлял за собой. Или пятнистые стены над маршами бедных ступенек, внизу которых, у батареи, обжимались парочки. Кубы туи за дверью подъезда. Жерло входа в некрополь Донского монастыря. Но чем дальше от твоей башни «стражи», тем все легчало и легчало до полной невесомости.

Ни с кем, кроме тебя, не было экстремальных опытов мысли. С тобой немедленно начиналось приключение, в котором я испытывал потребность притормозить, схватить тебя за локоть, парадоксов друг... В школьные годы я любил Толстого больше всего за то, что с тобой оказалось образом дружбы: остранение. Ты вносил это в контакт автоматически. Как ты писал недавно – Эрос остранения. Мысль становилась более подвижной, кровенаполнялась, эротизировалась. Поэтому наши тет-а-теты для меня были вполне конкурентноспособны randevу с девушками, а возможно, и превосходили.

См. ДРУЖБА, СОПИСАНИЕ, ТЫ, СЕРЕЖА

Ты, Сережа

Э

Ты был не то чтобы «учитель жизни», но ее прямой участник и жизневод, который время от времени брал меня за руку, чтобы и я, квадратно-головной, в этот круг вписался. Но в кружении этого хоровода я постепенно терялся и отодвигался – или меня относило – на край, где такие же, как я, подхлопывали и созерцали.

При этом твоя «живая жизнь» была чревата словесностью, и даже твои самые ра/искованные чувственные опыты носили оттиск какого-то стиля, как тема или аллюзия будущего рассказа. Можно представить себе Пишущее Тело, все части которого – резцы или перья. Плоть-самописка. В твоей прозе тревожила эта близость дымящейся плоти, с которой еще не сошла любовная испарина. Как будто именно она служила тебе невидимыми чернилами. Как будто той же рукой, которая только что гладила, ласкала, мучила, увлажнялась, ты брался за перо и прикасался к бумаге.

Но чувственность этой словесности – еще не вся правда. В тебе было и молчание. Для жизневода и чувстоиспытателя, участника бурных застолий и, что ж скрывать, застелий, ты был странно молчалив. Ты звучал редко, и я думаю, это завораживало не только тех, кого ты хотел приворожить. Я чувствовал, как напрягало женщин твое молчание. Знакомые однокурсницы, филологини, интеллектуалки, – вдруг становились женщинами. В их присутствии я разговаривал, а ты молчал, вставляя слова изредка, но точно, как бы выказывая глазомер, искусство метания и привычку попадания в цель. Это была деятельность молчаливого прицела. Ты говорил на *Silentese*. В тебе чувствовалось бессловесное бытие, на которое можно было ответить только телом. Прижатием, ощупью, как впотьмах. Полузвук, полутьма, уже почти все позволено... – это ты.

С другой стороны, и это молчание было литературным – искуснейшим, искусительнейшим родом литературы. То, что не говорилось, как бы откладывалось на потом, на бумагу. Этот медленный опыт неговорения был отстойник письма, дифферанс до Деррида, искусство (само) томления и отсрочки, грамматология комнаты, стола, дивана, окна, всего того, что молчало, наливаясь будущим словом. В твоих редких вставках, почти обмолвках, был привкус будущей письменной речи, которая пропитывалась телесным опытом молчания, пространственной близостью, возможностью прикосновений, графикой взглядов и неизменно точных жестов, какими ты придвигал к собеседникам бокал или пепельницу, подавал огонек или сигарету... Ты был мастером полутонов, что в дерюжной, размашистой, черно-красной советчине воспринималось как обряд посвящения в другую жизнь. Незвестную или забытую. Все, что ты делал, было как бы «вполу-», чуть-чуть, украдкой или вполголоса, с намеком на происходящее таинство. Суггестивно, внушительно. Подсказать забытое слово или строку или слегка поправить собеседника – так, что досказанное тобой казалось его собственным изречением. Ты был председателем странных радений. Медлительное опьянение едва «цедающимся» словом («как сад – янтарь и цедру»), трубка со словесным опиумом, переходящая по кругу.

Когда я писал «Философию возможного», не этот ли опыт пребывания в Ю-пространстве я бессознательно прорабатывал в понятиях? Главный термин там – овозможение, и это то, что из тебя исходило, происходило вокруг тебя. Ты пишешь, что вокруг меня сгущалась реальность. Вокруг тебя сгущалась аура возможного. Ореол, где каждый лучик – «бы». Овозможение – это не когда нечто возможное становится действительным, наоборот, это когда нечто реальное вдруг сдвигается в область гипотезы, начинает плыть и мерцать, как облако

иных возможностей. «Есть» расплывается в волну вероятностей – «может быть». Эта сослагательность, «бы» – было у тебя на лице, в глазах, в походке, в голосе, в интонации. Ощущалось, что при встрече с тобой может что-то случиться. Можно было ожидать чего угодно, и даже когда ничего не случалось, это не приносило разочарования. Понятно ведь – что уж такого может случиться на этом свете! Само по себе ожидание, возможность чуть-чуть затаиться, прищуриться, многозначительно помолчать и отодвинуть рассеянно и небрежно все достословные очевидности бытия – уже вызывало благодарность. Если Битов весь был в словечке «вот ведь», удивленном опознании неожиданных вещей или мыслей, ты был в словечке «как бы», которое придавало любой вещи признак допустимости, но необязательности. «Как бы пришел, как бы прочитал, как бы подумал...» Все было не вполне таким, каким оно было, все расцветивалось воздухом возможностей. Вокруг тебя водились призраки – нет, не полтергейсты, не метатели горшков, а Смывы, Расплывы, Промельки. Все действия становились условными, как слова. Письмовод бытия. Часто это бывал пустой, незаписанный лист, но ты подносил его ближе к глазам, и в свете лица в нем проступали водяные знаки.

В постсоветское время словечко «как бы» заразило вирусом сослагательности всю страну – вещи вдруг утратили свой бытийный статус, общество сменило не столько политический режим, сколько модальность. Даже провинциальная публика, даже деревня – все заговорили вдруг сослагательно, перемежая мат новооблюбленной частицей «как бы»: «Да фуй ли ты мне как бы не веришь?» И это была твоя меметическая победа, поскольку «как бы» было фирменным знаком твоих полутонов, твоих речевых университетов еще в 1960-е.

Теперь я не могу не удивляться, как пристали нашей речи, вообще персонам, заглавные буквы наших фамилий. Э – открытый звук, что-то провозглашающий, зовущий, призывный. Эй, Эх!.. Ю – звук влажный, упругий, уклончивый, скрытый за полугласной «й», но уходящий, ухающий в глубину «у». Я был Энциклопедией с ее готовыми ответами, пусть часто и не попад, ты – Юностью с ее загадками, томлением и вопросами. Вот теперь мы, Э-н и Ю-н, и пишем вдвоем Энциклопедию Юности, как нам на роду уже написано.

См. ДРУЖБА, СОПИСАНИЕ, ТЫ, МИША

У

Университет

Ю

Роман про университет. Гигантизм Главного здания отразился и в моем персональном ГЗ – Главном Замысле.

Это должен был быть роман об университете, столь же сложный и самодовлеющий – исчерпывающий мир в себе. Корпус его грезился мне и мерещился. Но как осуществить? Досспассовский путь казался архаичным. Джойсовский? Раздуть до вселенских размеров несколько ничтожных дней двух-трех обычных людей на фоне нижнеюрских окаменелостей эмгэушного мрамора Клубной части? Но обычные люди казались слишком уж неинтересными. Потом, какой же роман без любви? Но любви не было, и приходилось, отрываясь от литературы, ее искать, как будущий материал. («Я хотел бы стать функцией своей пишущей машинки», – писал я в те годы какой-то своей пассии – слово, где страсть сливается с переходящестью, не так ли?) Находя же любовь, проходя этот процесс, я дивился его странности и совершенной непохожести на любовь, о которой печатали книги. «– Лиля, – говорит она глубоким, грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку». («Голубое и зеленое»). Я же пишу о том, как пытаюсь сохранить исчезающий запах на своей руке, побывавшей в трусах у Тани***. Когда от любовей, начинавшихся по внутреннему заданию, но каждый раз лишавших меня Центра, я возвращался к себе, я приходил к выводу, что «адекватный» роман невозможен. Написать личный, экзистенциальный? (В конце концов так и вышло, уже в Париже, но Николь Занд, ведущий литературный критик «Монда», еще долго пеняла мне, что в «Нарушителе границы» ей не хватает собственно ГЗ – *Главного Здания Сталинизма* с его тоталитарной мистикой. ГЗ продолжало отражаться в других книгах – непобедимый многоглавый Дракон.)

Э

Для нас обоих Университет был Логополисом. Мое самое большое удовольствие – открывать для себя гигантский город, обживать его культурное, знаковое пространство, проникать в его поры и норы, распространяться в нем, подобно газу. Большой город равновелик мозгу как сложная семиотическая машина. Метрополь. Ментополь. Мозг похож на город, город на мозг, производящий миллиарды операций в секунду. Оттого с развитием человеческого мозга происходит урбанизация земли, она превращается в планетарный город, в который вкраплены сады и леса. Урбанизация – ментализация физических пространств, пронизанных нейрокоммуникативными сетями. Российское *бездорожье* и *безмозглость* властей – увы, явления одного порядка. Москва – единственный российский мегаполис. МГУ – это как бы Логополис внутри Мегаполиса, дальнейшая концентрация его мыслящих ячеек.

Я люблю логополисы – очаги мозгового возбуждения нашей «глобастой» планеты. Я остро чувствую это поле в американских университетах. Но в студенческие годы наш Московский университет меня не привлекал, вызывал какой-то холодок страха, одиночества, отчуждения. Особенно новое (с 1969 г.) здание филфака на Ленгорах, с длинными сквозными коридорами, словно предназначенными для просмотра и надзора. Старое здание, у

Манежа, еще помнившее Лермонтова, Белинского и Грановского (первые два учились как раз по словесному отделению, т. е. на нашем филфаке), было уютнее, скрипучее, темнее. Там можно было выскочить на совсем темную, задымленную лестницу и оказаться среди своих, курящих и болтающих. А в новом, стеклянном филфаке даже на лестницах как будто гулял сквозняк. (Такое же чувство холода и зажатости вызывал во мне впоследствии Центральный дом литераторов, хотя архитектурно он совсем другой, дореволюционный, усадебный, по преданию, даже дом толстовского семейства Ростовых.)

Только оказавшись в американском университете, понял, чего мне в Московском больше всего не хватало: преподавательских кабинетов, т. е. частных владений, – там были только факультетские и кафедральные. Это как город, состоящий сплошь из официальных учреждений и ведомств, город без жителей, с одними служащими, – без вечерних прогулок, без семейного уюта, но с красными коврами и зелеными сукнами. Это Логополис без души, мозг с одним только левым, рациональным полушарием.

Учителя

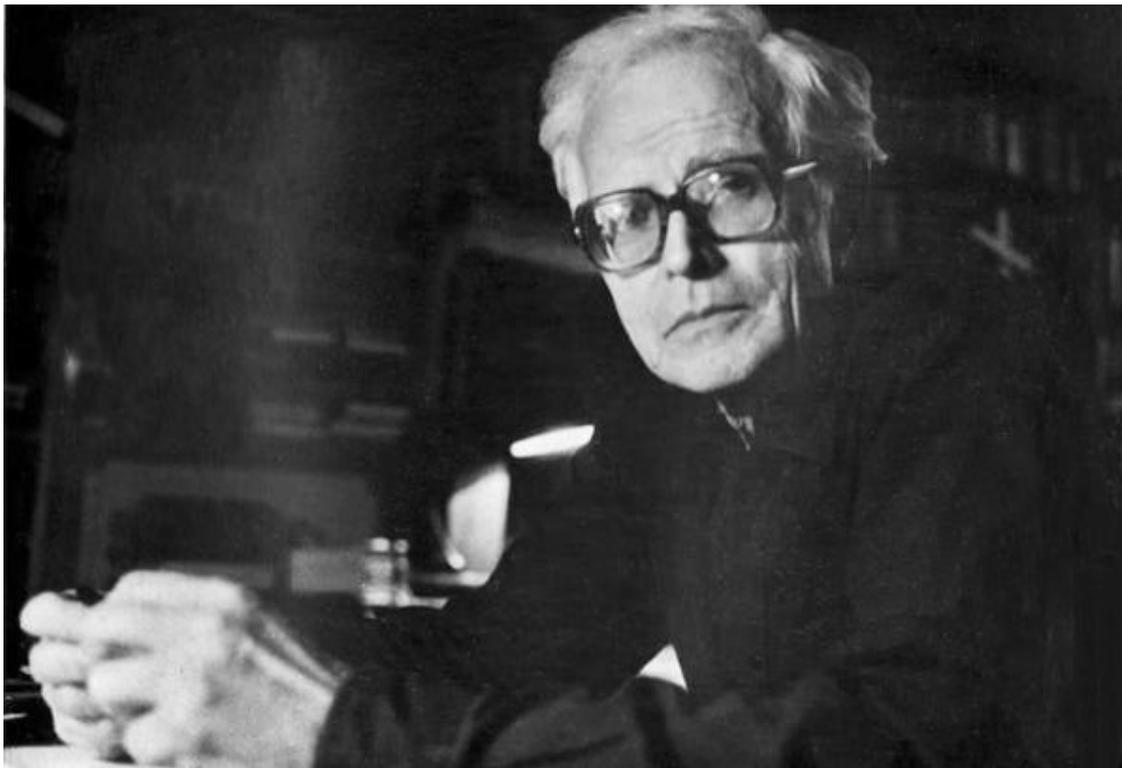
Э

Сразу стоит разделить учителей на формальных и неформальных, облеченных педагогической властью и необлеченных, хотя в некоторых личностях для меня это учительство совпадало. Среди школьных учителей никто не затронул моего ума и воображения (если не считать двух-трех милостивых учительниц, но это из другой оперы). Единственное исключение – учитель литературы в старших классах 5-й школы (Ленинский пр., 13) Марк Соломонович Либерман, очень полный, пожилой, шумный, бесцеремонный со школьниками. «Что ты тут мне натошнил?» – спрашивал он, щурясь в очередную ученическую тетрадь. И вместе с тем великолепный оратор и энтузиаст, неизменно воспламененный своим предметом. Он читал нам лекции на уровне популярного лектория для взрослых, и коронной его темой был не вставленный ни в одну программу «шекспировский вопрос». Он доказывал нам, что почти неизвестный нам Шекспир был всего лишь загадочной маской кого-то еще более неизвестного, и радовал тем, что можно быть большим ученым – и при этом почти ничего не знать. Более того, самые крупные ученые как раз и не знают, кто такой Шекспир, а мелким кажется, что они знают. Думаю, это был главный его урок, лично мне преподанный и, возможно, отождествившийся во всей моей позднейшей теории и практике гиперавторства, т. е. создания множества подставных авторов.

В 15 лет, проводя первое свое лето в пионерском лагере «Республика Юность Замоскворечья», я приобрел там замечательного педагога. Так называлась должность при пионерском отряде: вожатый был как командир (красивый Золкин, впоследствии судимый за мужеложество), а педагог – как комиссар. Агнесса Владиславовна Эггед, дочь австрийского еврея, приехавшего в 1930-е годы в СССР строить социализм, работала школьным учителем истории и на многое открыла мне глаза, в частности, обрисовала учение запретно-проклятого Льва Троцкого. (Не было более страшного имени в советском лексиконе: «Гитлер» звучало как имя давно разоблаченного и поверженного врага, а Троцкий – как имя предательства, всегда готового вспыхнуть изнутри, поэтому гитлеристов среди нас быть не могло, а троцкисты быть могли.) Хотя по своим тогдашним воззрениям Агнесса Владиславовна была, скорее всего, «социалистом с человеческим лицом», это ее лицо было действительно столь мило и человечно, что я с ней подружился на долгие годы, и даже мама немножко ревновала меня к ее авторитету. У Агнессы Владиславовны не было своей семьи, но было много друзей, в том числе таких же мальчишек, как я, нуждающихся в умной взрослой дружбе. И хотя я и не входил в ее ближайший круг и лишь два-три бывал у нее в гостях, но я чувствовал в ней и за ней таинственную для меня атмосферу взрослых разговоров, откровенных мнений и споров, какую не находил нигде, в том числе у себя дома. С ней можно было говорить обо всем, это был редчайший случай учителя по призванию.

В университете было много профессоров, но учителями, если говорить о профессиональном становлении, я могу считать только двоих: Владимира Николаевича Турбина (28.07.1927, Харьков – 13.10.1993, Москва) и Валентина Евгеньевича Хализева (17.05.1930-30.7.2016).

Турбину я обязан своим поступлением на филфак – на вступительных экзаменах он поставил мне две пятерки (за сочинение и за устный русский), чего золотому медалисту было достаточно для поступления и освобождало от сдачи двух других экзаменов, английского и истории.



В. Н. Турбин

В семинар Турбина, который назывался «Экспериментальная поэтика русской литературы», я пришел на 3-м курсе и был поначалу очарован свежей атмосферой живого и даже праздничного мышления. Это было неортодоксально, не по-марксистски, вообще не по-каковски – в широком диапазоне от умной гипотезы до дичайшего бреда. Сам Турбин любил беседовать с учениками, расхаживая по балюстраде второго этажа возле Большой Коммунистической аудитории, и называл себя «перипатетиком», т. е. прохаживающимся, или «философом на балюстраде». В этом, конечно, было немало позы и импозантности, в том числе очень мужской, с загорелым лицом, синими глазами и ранней серебристой седой. Он настойчиво отговаривал меня от семиотики и структурализма, подчеркивая, что у Ю. М. Лотмана и его учеников нет чувствительных пальцев, чтобы вживую ощупать литературную вещь, поэтому они изобретают машину. Он был органицистом, но без малейшего националистического оттенка, в отличие от другого бахтинского ученика, В. В. Кожинова. Вообще, Турбин, несмотря на некоторое самолюбование (но и было чем любоваться!), был добрый, хороший, заботливый человек. Об этом я впоследствии узнал и со стороны, от дальних родственников из Кисловодска, которым довелось вместе с незнакомым им Турбиным ехать в поезде в Москву: случайный попутчик, он помогал им и в путешествии (когда один из них заболел), и в последующем устройстве в Москве. Но обстановка семинара все больше напоминала мне нечто вроде лирического междусобойчика, Клуба самодеятельной песни, где главное – быть своим, в доску и до гроба, а качество мысли и ее научная весомость отступали перед блеском веселого, нетребовательного журнализма.

Моим главным учителем на всю студенческую жизнь и старшим другом на всю послестуденческую остался Валентин Евгеньевич Хализев. В его семинаре все было просто, душевно и вместе с тем деловито, а главное – добротное, доброжелательное и добросовестное. Хализев не ставил своей задачей нас куда-то вести, а скорее мягко подталкивал – каждого в особом направлении. Он снабжал нас нужными сведениями, отсылками, первоисточниками, задавал много вопросов и помогал каждому становиться самим собой. Если Турбин был

Светилом (или блестящим спутником Светила – Бахтина), то Хализев – Просветителем. Это была «школа» не в смысле единого идейного направления, а в смысле тщательного обучения процессу работы, исследования и письма. Валентин Евгеньевич не летал, не парил мыслью – он шел рядом и ставил нам «ногу». Он подробно разбирал с каждым его работу, писал на полях, отмечал неувязки, выражал сомнение. Мне он сказал в одну из первых встреч: «Мыслей и воображения у вас хватает, а я буду вашим сдерживающим, самокритическим началом». Это мне и было нужнее всего. В год нашего знакомства ему было всего 38 лет. И впоследствии, за годы нашего дружеского общения, постепенно дорастая и перерастая его прежний возраст, я все больше ценил в нем то, чем обычно пренебрегает юность: неторопливость и взвешенность суждений, добрую отзывчивость, ненавязывание себя и своего, вникание в каждую мысль как некое волеизъявление личности, которую нужно уважать, хотя и не обязательно соглашаться (даже это последнее предложение я невольно написал в хализевском стиле). Если человек есть мера всех вещей, то Валентин Евгеньевич всегда был для меня мерой самой человечности. Какой прекрасной была бы Россия, если бы в ней распространился, ее населил старинный, провинциальный, учительски-священнический род Хализевых!



С Валентином Евгеньевичем Хализевым у него в Матвеевском. 2003

Кроме учителей явных, были еще неявные, заочные, не ведавшие о своем учительстве. Главными среди них были: в прозе Андрей Битов (см. отдельную главу), в науке М. М. Бахтин (см. отдельную главу) и С. С. Аверинцев (с которым я лично познакомился много позже, а по-настоящему длительно разговаривал только раз, когда был у него в гостях в Вене).

Ю

Чтобы не записывать себе в учителя половину мировой литературы, ограничусь конкретными фигурами.

Когда отчима перевели с западной границы в Минск, меня принял в школу № 4 завуч, на которого я смотрел снизу вверх: высокий молодежавый мужчина с военной выправкой, копной русых волос и значком парашютиста на лацкане, 25 (то есть прыжков, но медная под-

веска с этой цифрой отпадала, держась на одном колечке и намекая на риск). Фамилия заставляла улыбнуться по-доброму: Владимир Лепешкин, или Уладзimir Ляпешкин, он был тогда начинающий белорусский поэт, еще без книжки³³.

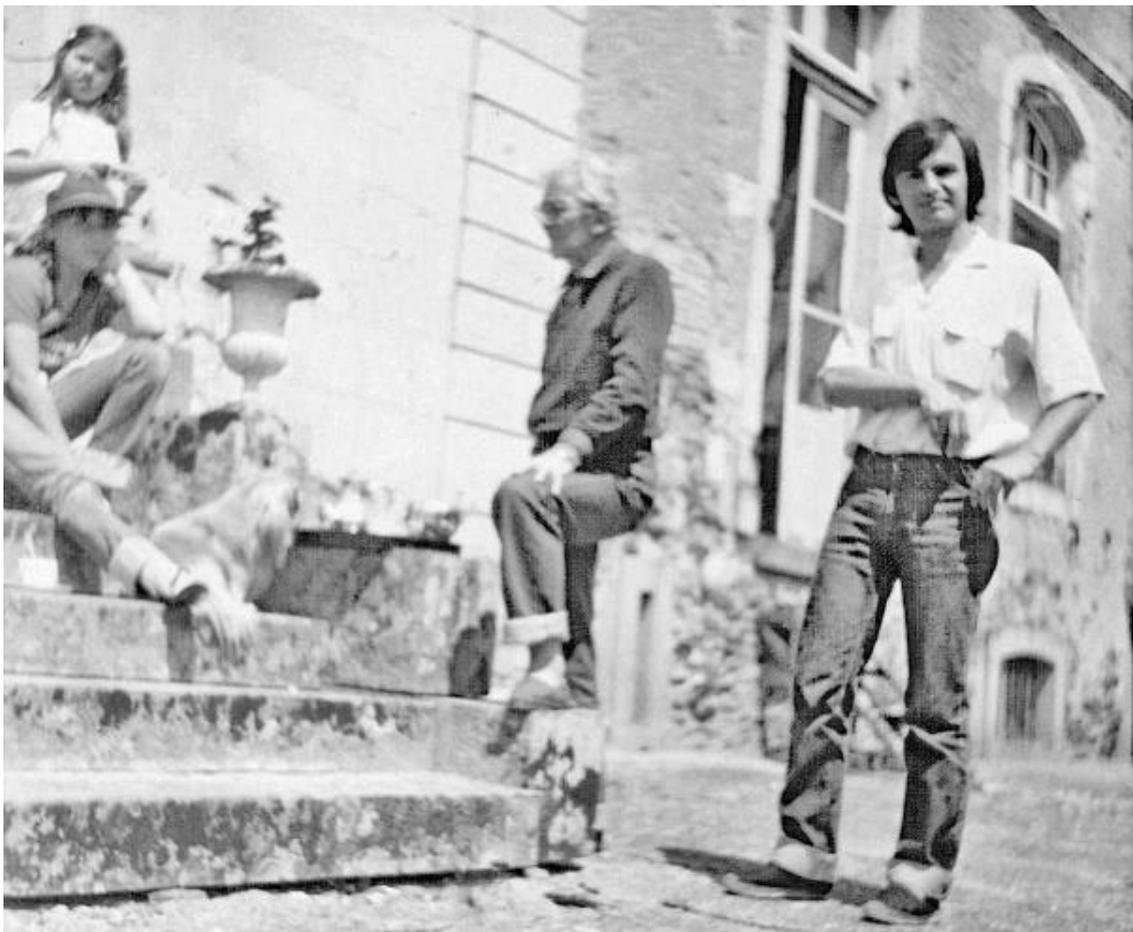
Свою дебютную книжку «Ранішнія росы» он подарил мне в 1963 году, когда взял меня, закончившего восьмилетку в окраинном Заводском районе, небезопасном для жизни чего-то взыскующего подростка, в свою школу, еще более центральную, № 2, где теперь был директором. Формально не должен был брать, но это был первый мой опыт литературской солидарности: удостоверенный поэт, член СП, он пришел на помощь пишущему юноше, чем, по сути, спас. Он назначил меня главным редактором машинописного школьного литературного журнала «Знамя Юности». Пишущих в школе было раз-два обчелся, и я просто был вынужден «писать в номер», заполняя журнал своими стихотворениями – «Старый город дымный/Надоедает...» и пр. – и эссе, из которых нашумело одно под сартровским названием «Экзистенциализм – это гуманизм». Будь школа более бдительной в идеологическом смысле, мне бы не поздоровилось, но директор смотрел сквозь пальцы на мою интеллектуальную активность. Он был со мной на равных, у меня было впечатление, что он вовлек меня в своего рода литературский заговор, мы – писатели, а они, все, – «сынки», как он говорил, имея в виду влияние родителей. Владимиру Игнатьевичу Лепешкину я обязан и первой своей известностью «в узких кругах», он устраивал мне «промоушн», посылал выступать с докладом о школьном журнале на республиканские педконференции, на слет стран Балтии и Белоруссии в Ригу, на радио, на ТВ, на съезд писателей. При этом он никак не пытался оказывать влияние на то, что выходило из-под моего пера, а затем из-под свинцовых литер моего «Ideal». Все вызвало одобрение и энтузиазм, разделенный, кстати, и нашей литераторшей Инессой Александровной, экзальтированной дамой с яркой внешностью Jewish princess.

С 12 лет, вдохновляясь «Мартиним Иденом», я упорно отправлял свои стихотворные, а затем прозаические тексты в Москву – в «Известия», в «Юность», в «Молодую гвардию». Я рассказывал, как из этого журнала пришел ответ Казакова. Когда впоследствии я слышал, что нет шансов возникнуть из самотека, я знал, что со мной произошло именно это – невозможное. Чудо. Вот Юрий Павлович и был моим московским учителем.

Мне было 17, когда в библиотеке Заводского района я наткнулся на растрепанную книжку «Большой шар» и буквально влюбился в эти интонации и многоточия, обращенные прямо ко мне. На призывном пункте военкомата Заводского района, где предстояло снять перед женщиной трусы, о чем с ужасом говорилось в очереди на медосмотр, листал подшивку многотиражки «Трактор» – вдруг наткнулся на неортодоксальное интервью с автором, распространяемое АПН. Я ему написал, на адрес, кажется, издательства. Еще одно чудо. Битов мне ответил. Так продолжалось до очного знакомства в 1967 году в Ленинграде, когда он дал мне первый вариант «Пушкинского дома». Неосторожно я рассказал о Казакове: «Зачем вам эти московские дяди?» Я понял, что попал в переплет меж двух столиц, двух модусов литературы. Нельзя сказать, что Битов «принял во мне участие», он вполне однозначно заявил, что «в смысле помощи я – ноль». Да и надеяться на публикацию мне – «с вашим трагическим опытом» – по его мнению, не имело смысла. Другое дело он, Битов, с его светлым жизнеотношением, улыбчивой прозой и трагедиями типа «жены нет дома». Но и при всем при этом ему просто очень повезло. К тому же он не стал артачиться там, где полез

³³ Ляпешкін Уладзімір (Игнатьевич. – С.Ю.), нарадзіўся 08.02.1928 г. У вёсцы Церабель Пухавіцкага раёна Менскай вобласці ў сям'і настаўніка. Сярэдняю школу канчаў у Рудзенску, у 1951 г. скончыў літаратурны факультэт Менскага педагогічнага інстытута. Працаваў у школах Менска выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, завучам, дырэктарам. У 1970–1979 гг. – дырэктар выдавецтва «Народная асвета». У 1979–1987 гг. – дырэктар СШ № 23 г. Менска. Сябра СП СССР з 1962 г. Узнагароджаны медалямі. Заслужаны настаўнік Беларускай ССР (1976). Друкавацца пачаў у 1949 г. Аўтар зборнікаў вершаў «Ранішнія росы» (1961), «Рупнасць» (1966), «Роднае» (1970), «Вусце» (1973), «Перадлеце» (1978). Для дзяцей выдаў кніжку паэзіі «Званкі-званочки» (1972). – Біяграфіі беларускіх пісателёў. См.: <http://www.slovo.ws/bio/bel/11/0034.html>

в бутылку Рид Грачев, в результате чего книжка Битова в ленинградском «Совпесе» вышла четыре года назад, а книжка Рида – то, что от нее ему оставили, – только что. («Не конформизм, а реализм», – оправдывал я жизнеспособного писателя, одновременно жалея этого Грачева, который, от собственной неуступчивости сломавшись, попал в психбольницу.) От Битова я впервые услышал о Юзе Алешковском, о прозе Добычина и Мандельштама, ленинградские стихи которого цитировал он постоянно. Битов был словоохотлив, на общение не скуп, не жалел для меня времени, но в его отношениях с женой, ради которой некогда он угнал машину, была некоторая напряженность, и мне на Невском, 110, было не очень по себе. Пересекались мы не часто, но переписка длилась года четыре, пока Битов не решил обосноваться еще и в главной столице.



Жорж Бельмон и Сергей Юрьенен. За месяц до выхода в Париже первого романа. Шато Ле Куран, Анжу. 1980

Тоже, можно сказать, учитель – однако чему же научил? Глазам его открылось истинное положение вещей в подцензурной советской литературе, и для меня, находящегося вообще за ее пределами, это был пусть и вторичный, но бесценный опыт. Тем более что Битов им делился откровенно. Как можно не любить того, кто бескорыстно, правдолюбием единым движимый, открывает тебе сокровища мира, в котором ты живешь? Взаимностью ответить я ему не мог, и меня тяготило, что отношения были «улицей с односторонним движением». В ответ я делал, что мог, стараясь, как это ни смешно звучит, расширить и его горизонт, доставлял труднодоступные книжки, вносил вклад в его личную набоковиану. Он одобрял меня за вкус, но сходились мы далеко не во всем, скажем, на Селине и Набокове – да, но не на Хемингуэе (которого Битов отвергал набоковскими словами «Майн-Рид для

взрослых»), не на Нормане Мейлере («им там просто – варежку открывать!») в ответ на мои восторги по поводу «Майами и осады Чикаго»), а о Джойсе вопрос, по-моему, даже не заходил. Особого энтузиазма по отношению к западной литературе Битов не проявлял, и я был вынужден напоминать себе, что передо мной не гуманитарий, а выпускник Горного института, инженер-геолог, чьи литературные вкусы утончал куда более просвещенный профессорский сын Сергей Вольф, открывший Битову и Пруста, и Добычина. Попав под влияние набоковского снобизма, Битов стал отрицать и учение Фрейда. Меня вообще задевало его отношение к «священным камням Европы» – к цивилизации, культуре и свободе.

Последним из учителей, уже во Франции, стал Жорж Бельмон (George Belmont). Сам романист в своем праве, мемуарист, журналист, один из лучших в стране переводчиков с английского, друг Джойса, Генри Миллера, Теннесси Уильямса, Мерлин Монро, Грэма Грина и Энтони Берджесса, Жорж был энтузиастом и редактором двух моих романов, вышедших по-французски.

В мое парижское семилетие он был для меня не только гидом по новейшей истории Франции, по живой французской и англо-американской литературе, не только советчиком по конкретным литературным делам («Избегай курсивов, Серж!»), но и настоящим другом – насколько можно дружить 30-летнему с человеком за семьдесят; впрочем, несмотря на возраст, всегда готовым сдвинуть в сторону свои работы и распить бутылку ирландского виски перед походом в ресторан VII округа (где Эйфелева башня).

См. ПРОФЕССОРА, СОБЕСЕДНИКИ, ФИЛФАК

Ф

Фамилия

Э

Эпштейн. Фамилия, идущая от городка Eppstein под Франкфуртом-на-Майне. Эту фамилию, как сообщает многотомная Еврейская Энциклопедия, носят потомки колена Леви. Из левитов набирались служители Иерусалимского Храма. Левиты охраняли порядок при богослужении, руководили народом при жертвоприношениях, были музыкантами и пели псалмы, составляли почетную храмовую стражу.

В 2000 г. я побывал в образцовом средневековом городке Eppstein с крепостью и замком. Меня довез от Франкфуртского вокзала живущий в Германии композитор А. Л. Соиников, мы гуляли и фотографировали друг друга и тени забытых предков. После этого я путешествовал еще месяц, от Кельна до Ливерпуля, и всюду снимал. По возвращении в Штаты оказалось, что ровно половина моих пленок засветилась, причем именно начиная с фамильного городка. Все, что было до того, сохранилось, а с Eppstein'a на пленку напало затмение. Короткое замыкание Эпштейна с Eppstein'ом, вспышка – и черный провал.

Обычно любимое лицо бывает труднее всего запомнить – засвечивает пленку памяти. А тут уж любовь так любовь – десятки поколений, вьевшиеся в кровь, так что и натуральную фотопленку заволокло. Ни единого снимка не осталось. А проклятый Нюрнберг, где побывал за день до того, остался весь целехонек.

Моя фамилия мне никогда не досаждала, хотя и отправляла в конец всяких алфавитных списков, что меня, в общем, устраивало, по крайней мере в советское время. Все-таки к концу алфавита уставала любая бюрократическая процедура вызова по именам, выявления опоздавших, проставления галочек и т. д. – легче было проскочить незамеченным. Не исключая, что название буквы Э – «Е оборотное» – в какой-то мере повлияло на мою склонность переворачивать всякие порядки и иерархии и вообще мыслить альтернативно.

Конечно, вхождению в «русскую советскую литературу» эта фамилия не благоприятствовала. Сочувствующий рецензент «Нового мира» (Лев Антопольский), куда я отправил свой рассказ «Мертвая Наташа», с комплиментами отклоняя рукопись, предложил автору подумать над псевдонимом, который облегчил бы ему дебют в советской литературе 1970-х. Скромный вариант рецензента, помнится, был «Наумов».

Ю

С фамилией были сложности. Я родился под фамилией Юрьенен. Потом у меня ее отобрали, и с первого класса по половину четвертого я носил хорошую русскую фамилию Арефьев. Дед, почувствовав себя на смертном одре, изъявил волю оставить продолжателя рода. С Арефьевым я уже отождествился, но, чтобы уважить волю деда, которая могла оказаться последней, русскую фамилию у меня отобрали. В старой школе дразнили «Орехом», в новой прозвали «Юрьеша», но это от меня отскочило. Как отошла и смерть от деда.

Фамилия одна такая. Уникальная – благодаря ЧК. Однофамильцев нет. Хотя в тщетных их поисках попал на сайт Рунета, который среди прочих загадочных предлагает расшифровать такую: *Топорец-Юрьенен*.

Послал запрос.

Ответа не дождался. Его и быть не может. Поскольку единственный в мире, прошу прощения, ономаст, способный в данном случае пролить хотя бы неяркий свет, – податель сего. Юрьенен изначальный.

Так вот, двойная эта фамилия, еще более абсурдно-уникальная, нежели моя, возникла в Ленинграде в результате бракосочетания сибиряка с Марией Васильевной Юрьенен, родной сестрой моего деда. Скуластый богатырь Петр Григорьевич работал бухгалтером Парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова (ЦПКиО), где и был разоблачен³⁴. Но фамилия погибла не с этим «врагом народа», а совсем недавно, когда в Питере на Пяти углах умерла последняя ее носительница, его дочь Ирина – моя крестная мать. Лет за пятнадцать до финала, в перестройку, крестная (химик, «Техноложка», дитя хрущевской оттепели) повредила рассудком. Трагическая гибель сына тому причиной. Совсем еще юный инженер.

«Записок», подобно дефенестрировавшему себя в 1991 году ленинградцу Генриху Шефу, оставить не успел, поскольку той зимой по пути с дачи на проклятом 45-м километре ОК ж/д был схвачен и повешен. Руки скрутили сзади проволокой, под ним валялась его пыжиковая шапка. Денег не взяли тоже. Надо думать, акт был принципиальным. В начале перестройки город моих предков стал называться «Бандитский Петербург», там формировали штурм-группы, сплавивая их, видимо, по давнему рецепту экстремистов: дело свято, когда под ним струится кровь. Но это только домыслы эмигранта. Никто не знает, кем убит сын моей крестной. Не близкий, но родственник. Мальчик, подраставший на моих глазах в комнатке-пенале, где когда-то жила прислуга дедушки и бабушки. С «телячьим» зализом на лбу, что вроде предвещало счастье. За что? Отец его Виталий Петрович Селюнин, теоретик слалома, научный сотрудник и преподаватель института физической культуры им П. Ф. Лесгафта, считал, что в качестве мести мне как сотруднику корпорации Radio Liberty/Radio Free Europe. Прозрачно намекал по телефону. Советовал не приезжать. Все может быть, но мне эта версия состоятельной не кажется, хотя бы потому, что произошло это в период, когда бывшие идеологические противники сливались в экстазе победы горбачевского «нового мышления». А тут старо как мир – убит в России. Белое безмолвие. Картину заметает снег.

Во флигеле на Невском, 110, даже дальних родственников не осталось. Как, может быть, и флигеля, который правым боком клеился к глухой стене. Наследственная квартира у Пяти углов, куда в августе 1917-го въехали, предполагая жить, новобрачные Юргенены, досталась неизвестным мне гражданам РФ. Что справедливо, я считаю. Род ушел в землю, последний представитель его – за океаном.

Итак: Юрьенен.

Изымем «мягкий знак», который деду вlepило ВЧК, восстановим досоветское «г»...

Финн, говорите? Коли бы так, то было б слишком просто. Финского только окончание – *нен*. «Сын» то есть. Юргену. Отцу. Среди финских имен есть Юрье (Юрий). Юргена нет. Потому что Jürgen – имя нижненемецкое. Нас призывают смотреть Георгий. Отлистаем... Из греческого. Георгос. «Земледелец». Добавочное имя Зевса, который, помимо прочего, покровительствовал земледелию – в особенности разведению маслин. Люблю. Предпочитая, впрочем, испанские. То есть тут мы в родстве со всеми Жорами: Егорий, Егор, Юрий... Гора, Юра, Гера, Геша, Гоша... Иржи, Джордж, Георг, Жорж, Джорджи, Хорхе, Дьердь, Йерген (кстати, в Дании и осенило, где почему-то на вывесках то и дело попадались «Йергенены»), Йерг, Юрген, Йерн...

³⁴ Топорец-Юрьенен Петр Григорьевич, 1899 г. р., уроженец г. Иркутска, русский, беспартийный, главный бухгалтер Управления домами отдыха Кировского о., проживал: г. Ленинград, пр. 25 Октября, д. 110, кв. 14. Арестован 11 февраля 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 19 июня 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-6-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 8 июля 1938 г.

Вышли мы все из народа.

Останавливаясь на нижнегерманском варианте, я представляю себе эпоху Крестьянских войн... как? Своими глазами видел, как рубились топорами первопролетарии, вчера оторвавшиеся от сохи... сквозь пелену, окрашенную артериальной кровью, вижу германского хлебопашца-первобеглеца: исход на север, через Нордзее, чисто экономическую эмиграцию в сытую Скандинавию. Потомки Юргена-праотца пересекли полуостров с запада на восток, разжившись чисто финской приставкой. Хладнокровные пассионарии, варяжские монголы. Кровь потомственных мигрантов, видимо, и толкнула предков, осевших в Финляндии, на финальное приключение – в роскошный Санкт-Петербург. Что есть, очевидно, век XIX.



Моя прапрабабушка Е. Юргенс, супруга Густава. СПб., вторая половина XIX века



Прадед Василий (Базиль) Густавович и его сын Александр – мой дед. СПб., 1896

Что ж, в эпоху «Преступления и наказания» «чухонские» растиньяки взяли столицу Империи. Как смогли. До меня дошло имя прапрадеда – Густав. Прадеда – Василий Густавович. В Праге, где пишущий эти строки отбывал последнюю перед Америкой страну своей пожизненной, а выходит так, что и наследственной эмиграции, уборщицы украли мой от бабушки доставшийся золотой православный крест, где была гравировка «Спаси и сохрани», а с задней стороны отчеканена 32-я буква русского алфавита «Ю». Крест был изготовлен мастером Юргененом, который трудился на родственника – хозяина ювелирного магазина «Юргенсон и сыновья», что находился на Невском проспекте, угол Лиговки.

Не без помощи Юргенсона, полковника Генштаба, Шура Юргенен, мой дед, из гимназии был принят во Владимирское юнкерское училище, а свадебное фото, на котором он, прапорщик и командир военной разведки, стоит за сидящей бабушкой, гордой купеческой дочкой, опираясь на шашку с темляком Св. Анны за Брусиловский прорыв, – есть кульминация того, что было достигнуто. Дальнейшее – обвал и катастрофа. Венчание произошло за два месяца до 25 октября 1917 г. Чем занимались в ту «первую ночь социализма» молодожены? Тактично не задавая бабушке вопрос, я все же выяснял: как так? Почему предусмотрительные Юргенсоны, переведя все авуары, вновь оказались в Северной Европе, тогда как «мы»... Неужели вы с дедушкой не знали, что произошло на Дворцовой площади? «Мы думали: очередная заварушка». Во всяком случае, официальный советско-российский праздник, День рождения ВЧК я отмечаю как личную дату: не успела эта аббревиатура возникнуть на Гореховой, как тут же и вломилась в квартиру у Пяти углов.

Я ничего не сказал про бабушку: Екатерина Александровна Грудинкина, родившаяся уже в СПб. в 1895-м, – новгородско-ярославских корней. В роду бабушки – колдун Сергей, наложивший магию защиты на город Крестцы, который с тех пор не был взят ни одним противником (исключая большевиков). Ее двоюродный брат – звезда сталинского балета Константин Сергеев, партнер Улановой, супруг Дудинской. Отец бабушки Александр Грудинкин, бабушкин отец, был в СПб. купцом второй гильдии, имевшим свой извоз. *Колеса.*



Александр Грудинкин, мой прадед по бабушке. СПб.

Таксопарк, переводя на современность. Выпускница реального училища в Питере – по этому случаю ей было презентовано Евангелие в апельсиновом переплете, первое, которое в жизни я раскрыл. Жена офицера, сидящего в ЧК на Гороховой, 2, затем в «Крестах». Незадачливая нэпманша, пекущая пирожки, которые дед внизу пытался продавать с лотка. Гнущая спину за швейной машиной «Зингер». Блокадница, варившая португую деда (нарезали на манер ориентальной кухни). Мать (и одновременно бабушка), получившая из побежденной Германии урну с прахом сына (плюс полуторамесячного меня)... Тридцать лет жизни с родными могилами на Больше-Охтинском. «Неужели это все?» – последние слова, когда ей было 84, а беглый внук в статусе особо опасного государственного преступника публиковал роман в Париже.



Екатерина Александровна Юргенен (Грудинкина) и ее молодой супруг Александр Васильевич Юргенен. СПб., август 1917

Деду же крупно повезло. Перед смертью он успел рассказать своему внуку (11 лет, первая записная книжка, карандашик наостретен), что был арестован по доносу Славки Мареничева – своего же ординарца. На Гороховой их было «как сельдей в бочке» – офицеров. Обматывая колючей проволокой, их топили в Финском заливе с барж. С Финляндского увозили на

расстрелы в дачные места с финскими названиями, знакомыми нам по Серебряному веку. Но дед был непричастен к «заговору Таганцева»³⁵. Прапорщик – мелкая сошка. Поэтому в том же 1921-м, когда расстреляли Гумилева, деда выпустили из «Крестов» живым. Правда, перевоспитанным и с туберкулезом. Академиев не кончавший следователь, собственноручно написавший справку (как мы с дедом над ней, протершейся на сгибах, хохотали!.. прочно стоит на платформе Советской власти!..), нечаянно русифицировал фамилию, тем самым спасши инородца в перспективе дальнейших сталинских отстрелов. Вместо «г» проставил мягкий знак. Так дед из рода Юргененов стал Юрьенен.

Новые американцы в момент натурализации имеют здесь традиционную возможность избавиться от своей старосветской фамилии. Делать этого не стал. И даже усилий на обратную замену «ъ» на «г» решил не предпринимать.

Такой шанс у меня уже был во Франции, где начиналась западная жизнь. Минута на раздумье, когда в парижской префектуре выдавали вид на жительство.

Но как тогда, так и в Америке, предпочитаю и дальше пребывать тем, кем сделала меня История – все та же самая, рассказанная идиотом... full of sound and fury, Signifying nothing.

³⁵ 24 июля 1921 г. ВЧК сообщила в печати о ликвидации крупного заговора во главе с В. Н. Таганцевым, имевшего целью вооруженное восстание в Петрограде, Северо-Западной и Северной областях. Чекисты подавали «Дело Таганцева» как «второй Кронштадт» (в марте 1921 г.). Было привлечено к уголовной ответственности 833 чел., из них расстреляно по приговору и убито при задержании 96, отправлено в концлагерь 83, выслано из губернии 11, заключено в детскую колонию 1, освобождено с зачетом и без зачета заключения 448 (судьба прочих неизвестна). – См.: В. Ю. Черняев. Дело «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева»// Репрессированные геологи. М. – СПб. 1999, с. 391–395.

ФЕМИНИЗМ

Ю

Помню ваши с Ауророй разговоры на темы феминизма: «Какой у тебя, Миша, идеал женщины?» – «Наташа Ростова...» Будто ток к Ауроре подключали. Спор разгорался такой, что мне неловко было за вас обоих.

Э

А между вами в практической жизни таких вопросов не возникало? Как ты в семье справлялся с феминистской проблематикой повседневности?

Ю

Я довольно рано приобрел опыт самостоятельной жизни, разве что готовить не умел. Потом научился. А в Париже – и вообще всему. Более того, почитав классику феминизма, стал и сам отчасти феминистом – но только с магическим уклоном. Этой теме посвящен малоизвестный мой роман «На крыльях Мулен Руж».

Э

Я уже тогда интуитивно различал *м-феминизм*, идейный, мускулинный, мужеподобный, борьба за политические права, и *ф-феминизм*, собственно фемининный, преклоняющийся перед «чудом женских рук, спины, и плеч, и шеи», как это неуклюже-перечислительно сказалось у Пастернака, а более красноречиво – у Вл. Соловьева, А. Блока, Д. Андреева, в трактатах и стихах о вечной женственности. Мне казалось, что м-феминизм, уравнивая женщину с мужчиной, не возвышает, а принижает ее, выдвигая вперед такие способности, как голосовать, объединяться в партии и программы, выдвигать лозунги, писать критические статьи. Способность любить, рожать, создавать новую жизнь, да и просто говорить нежным голосом казалась мне более важной.



Феминист Ю. на прогулке с дочерью читает себя в «Вечерней Москве». Новопесчаная (тогда Вальтера Ульбрихта). 1974

Филфак

Ю

Июль 1967. Филфак. Насупленный и как бы сизонебритый мальчик в тени у вывески со списком принятых. Живая «вещь-в-себе» – таким увидел я тебя впервые.

Два мальчика на группу девочек.

Э

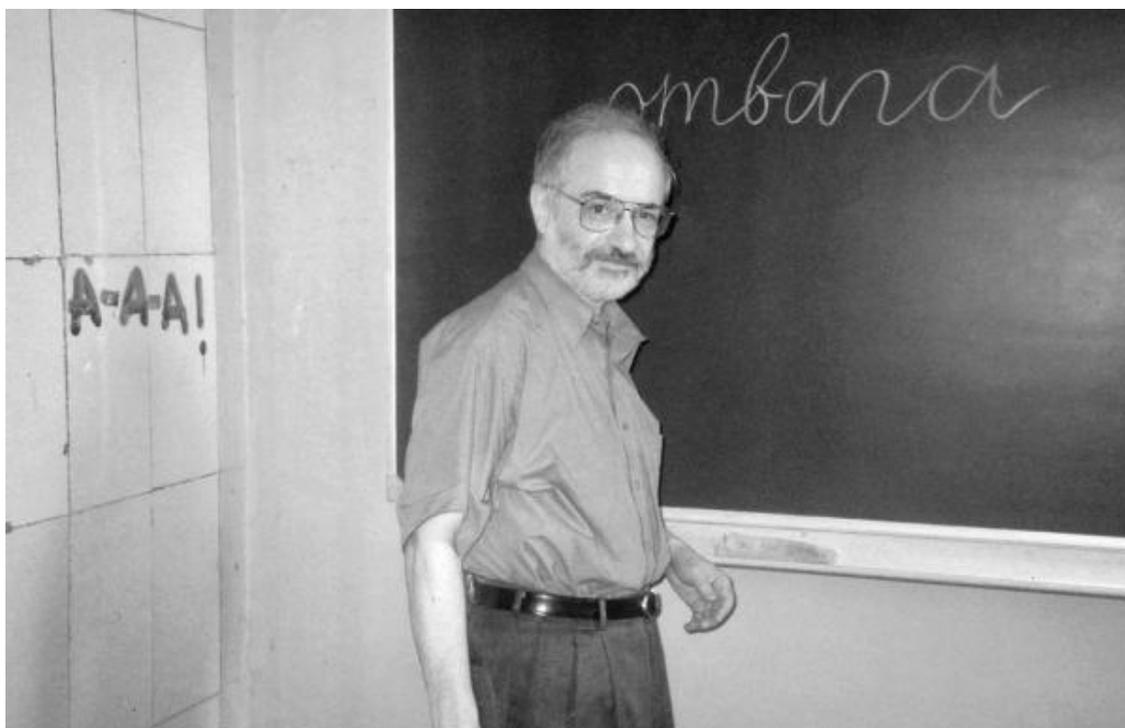
Родители хотели видеть меня в солидной и понятной им профессии – экономистом; сам же я склонялся к романтическому бродяжничеству, к журналистике (одно время даже хотел стать шофером, чтобы объездить страну). В результате сошлись на середине: пусть будет гуманитарная профессия, но более ученая, оседлая: филология. Я поступил на филфак МГУ в 1967 г., сдав, как золотой медалист, на пятерку два экзамена: русский письменный и устный. Благодарен Владимиру Николаевичу Турбину, который мне эти пятерки поставил (он же, кстати, принимал лет за десять до этого экзамены у С. С. Аверинцева, который, если не ошибаюсь, поступил на филфак только со второй попытки и тоже благодаря Турбину). Слуцись одна четверка – и мне бы пришлось сдавать английский и историю, а если учесть, что история – идеологический предмет и что экзамены пришлось на июль 1967 г., через месяц после первой израильско-арабской войны и на первом высочайшем пике послесталинского гомантисемитизма, их результат был бы непредсказуем (точнее, вполне предсказуем).

В «пятой английской» группе русского отделения нас было два мальчика, но позднее присоединился Сергей Бобков, сын Филиппа Бобкова, первого заместителя Андропова в КГБ. Он был уже женат, увлекался В. Хлебниковым и даже ездил по его следам в Персию (для нас такие «исследовательские» маршруты были немислимы). На занятия он приходил редко, еще реже тебя. Вот список девочек, очень неполный: Рая Бородько (комсорг), Ира Будажан (милейшая монголлка, флиртвала со всеми, даже со мной), Инна Тен (корейнка, уже замужем), Люба Рыбакова (на вид очень интеллигентная, застенчивая, «мой тип», но ко мне безотзывна), Галя Поворознюк (которая подарила мне черный том Ф. Кафки и играла «К Элизе» Бетховена), Люба Бабенко, Таня Ширма. С девочками внутри группы у меня никаких романтических отношений не завязалось, а единственные дружеские возникли с Таней Горбачевой, которая, как старшая на 3–4 года, меня опекала и учила хорошим, обаятельным манерам в обращении с девочками. В параллельных группах нашего курса учились: поэт Ольга Седакова («четвертая английская»); античница Нина Брагинская; вечный студент, исключаемый и восстанавливаемый, Борис Сорокин, друг Вени Ерофеева; Юрий Прохоров, сын известного текстолога, впоследствии директор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина; Александр Гура, сын шолоховеда, славист-фольклорист; Михаил Андреев, итальянист, сын декана филфака Л. Г. Андреева; Ольга Терновская, славистка... Вообще, на филфаке много было детей по-разному известных родителей: Денис Драгунский, Лена Гулыга, Саша Осповат, Ирина Андропова, Сергей Бобков...

У моей истории с филфаком было мажорное вступление и минорное окончание. Я закончил с красным дипломом (*summa cum laude*) – все отл., кроме двух хор. (по логике и фольклору), полученных за первый семестр, когда я бурно увлекся политикой. Но с аспирантурой и распределением случилась катастрофа. Вот что мне об этом рассказал мой диплом-

ный руководитель Валентин Евгеньевич Хализев при нашей встрече 13 авг. 2006 г. Удивительно, что 34 года он держал это под спудом, так больно в нем и на нем это отозвалось.

После защиты диплома Хализев рекомендовал меня в аспирантуру, что ввиду моего пятого пункта было уже поступком. Г. Н. Пospelов, заведующий кафедрой теории литературы (единственный беспартийный среди всех завов, бывший меньшевик), принял рекомендацию и объявил об этом на собрании кафедры. Ответом была гробовая тишина, в которой Хализеву уже почудилось нечто зловещее – никто не возражал, но и не поддержал. Потом на Ученом совете факультета проходило распределение студентов. По тогдашней практике, рекомендация в аспирантуру освобождала от распределения. Соответственно, и я отказался от распределения, объяснив, что у меня есть рекомендация в аспирантуру. Позвонил с этой новостью Хализеву. Он посоветовал мне принять распределение, что я и сделал день или два спустя. Почему мне не разъяснили этого раньше, я так и не понял, возможно, нарочно подставили. Далее на заседании кафедры теории литературы выступил парторг факультета Петр Юшин, который заявил, что в свете моего отказа от распределения кафедра, естественно, должна отозвать свою рекомендацию.



Филфак. На той самой доске в старом МГУ, где Сережа в 1968 г. писал «наваха», Миша пишет «отвага». 2003

Никто не посмел возразить, даже Пospelов. А Хализеву было вынесено официальное порицание за плохую воспитательную работу со студентом М. Эпштейном, и его назначение в доценты (из старших преподавателей) было отложено на два года.

В НИИ информации в области строительства и архитектуры, куда я пришел по распределению, меня не приняли, сообщив, что нужды в таких специалистах больше нет. В общем, раскрутили лоха по полному кругу: рекомендовали в аспирантуру, чтобы освободить от распределения; за отказ от распределения не приняли в аспирантуру; при согласии на распределение не приняли по месту распределения.

См.

ПРОФЕССИЯ, ПРОФЕССОРА, УНИВЕРСИТЕТ, УЧИТЕЛЯ

Франко

Ю

В сентябре в Испании еще казнили, но 25 ноября 1975-го, после долгой агонии, Франсиско Франко Багамонде приказал долго жить. Где-то 26–27 ноября я позвонил тебе на Стасова с Новопесчаной, чтобы выразить ликование. Не принимая мой контекст, ответил ты с небес. Твои слова были строги и безапелляционны: «Не думаю, что смерть человека, кем бы он ни был, есть повод для радости».

Э

Возможно, я его пожалел, потому что он, в сравнении с нашими, был умеренным и, может быть, даже мудрым тираном. Вот, между прочим, ясное воспоминание. Первый мой разговор с Ауророй у вас в Солнцево. Речь, конечно, об Испании. То ли я не разобрался, что Аурора – коммунистка (хотя и евро-), то ли... Но было естественно для всех приличных людей в нашей стране уважать антикоммунистов, хотя бы и вчуже. А Франко им был, и к тому же заслуженным, одной из главных мишеней сов. пропаганды. Поэтому я счел приличным сразу установить с Ауророй некий общий образ мыслей на примере «великого испанца». Кажется, так и поставил вопрос, насколько Франко, по ее мнению, крупная личность (т. е. речь шла только о масштабе, положительная оценка подразумевалась). Был поражен резкой отповедью, которая звучала в унисон с советской оценкой (фашист, диктатор, людоед, мучитель и т. д.). Это меня смутило и заставило призадуматься: оказывается, есть вполне осведомленные люди, которые искренне думают так же, как пишут наши газеты. Это побудило меня расширить свою политическую палитру, ввести туда нечто вроде розового, о котором я раньше не имел представления. Я также понял, что у европейцев перевернутая по отношению к нашей шкала оценок и в разговоре с ними нужно все время производить мысленную перестановку правого и левого, как перед зеркалом. Наши правые – их левые. Ауроре я остался навсегда благодарен за урок. Но боюсь, она не простила мне такого возмутительного начала нашего знакомства.

Ю

Этот ваш микроконфликт – зародыш позднейших и многолетних баталий «третьей волны» эмиграций, конфликт, отражающий максимум, отчеканенную еще в предреволюционной России, – о принципиальном отсутствии врагов *справа*. Владимир Емельянович Максимов, главный редактор «Континента», терял самоконтроль, когда *слева* – из того же «Синтаксиса» – ему напоминали об эксцессах антикоммунизма в Латинской Америке, чилийских стадионах или аргентинских «эскадронах смерти»...

Немудрено было тебе не разобраться в политических ориентациях моей француско-испанской жены – именно отчасти в этих видах впоследствии я написал целый роман, в журнальном варианте (который выдвигался на Букера) названный «Желание быть испанцем», а затем переименованный мной в «Дочь генерального секретаря». Суммирую: радикальное правдоискательство, присущее Ауроре, на третьем году нашей совместной жизни вывело ее далеко за рамки стандартных еврокоммунистических реакций. А в 1977 году в

Париже мы на пару стали политическими беженцами, только она, *refugiee politique*, – вдобавок еще и беженкой от «международного коммунистического движения».

Что же касается вашего разговора в Солнцево при первой встрече в 1972 году, то – множественность истины! – вы оба, конечно, были правы, и ты, умозрительный, и она, инсайдер, «владеющая информацией» дочь человека, который не на словах, а всерьез – как в фильме *La guerre est finie*, «Война окончена», с Ив Монтаном в главной роли – боролся с франкизмом, победил и стал одним из подписантов новой конституции демократической Испании.

Я, ставший со временем тоже инсайдером, знал, конечно, много больше, чем те два-три «бита» информации, которые использовал в прилагаемом рассказе «Телефон», который в контексте тогдашнего конфликта КПСС с еврокоммунизмом был признан политической ошибкой редакции газеты «Ленинское знамя» и разбирался на специальном заседании обкома КПСС Архангельской области, имея результатом увольнение сотрудника Андрея Сальникова, бывшего однокашника по МГУ, – благодаря которому состоялась эта моя северорусская публикация.

См. ПРИЛОЖЕНИЯ, рассказ «ТЕЛЕФОН»

Ц

Цвет

Э

Мне очень нравится серый. Тебя так в детстве не звали, как всех Сереж? Гете и его многочисленные цитатчики, включая Маркса, оболгали серый цвет. «Сера теория, мой друг, но вечно зеленеет древо жизни». Как будто само дерево не серого цвета! У серого даже больше оттенков, чем у зеленого: от жемчужного до дымчатого, от перламутрового до пепельного, от свинцового до суконного, от облачного до мышинового... Жизнь – это многоцветье, в котором преобладают оттенки серого. Из других цветов люблю сиреневый, лиловый и вишневый.

Ю

Серым меня звала крестная, и не могу сказать, что мне это нравилось: тем самым она меня ступшеывала, тогда как мне хотелось быть «радужным», что соответствовало самоощущению.

Когда мне подарили набор карандашей не только всех цветов, но и оттенков, было чувство, что я властелин мира, все многоцветье которого принадлежит мне. Помню борьбу с цветом в «изокружке» – за то чтобы удержать его «правильную» акварельность. На переходе к юности я отказался от цвета вообще ради графики, но, кажется, не случайно рука моя потянулась к книжке «Голубое и зеленое». Мои хроматические предпочтения определяются периодами жизни. После советского цветного голода я пережил бурный взрыв в Париже (который и есть тобой описанные «оттенки серого»). Наконец была доступна вся палитра. Но вот что я предпочитал: сиреневый, фиолетовый, бордовый, черный. Жемчужно-серый. Милитарный (но по-французски смягченный) хаки. С годами реабилитирован и красный, к которому постепенно, но утратилась политическая идиосинкразия (но я его люблю теперь малиновым, как моя любимая североамериканская птичка-кардинал). Вернулись из 50-60-х пастельные тона, вернулись и оттенки оранжевого. Здесь, в Америке, после знакомства с Атлантикой вышла на первый план никогда не покидавшая меня сине-зеленая тема – все ее оттенки. *Bleu de roi*. Вся маринистская палитра. Очень люблю лазурь – и карибскую, и «лермонтовскую» (за обещание, возможно, бури?).

Э

У меня был период помешательства на цветах и красках, кажется, летом 1977-го. Я ездил тогда в гости к Алеше Парщикovu в Киев и непрерывно писал акварелью на плотной бумаге, картоне. Ни малейшего дара и даже склонности к живописи во мне не проявлялось ни раньше, ни потом, но в течение месяца-двух меня обуревали изобразительные сюжеты. Они примерно так же относились к настоящим картинам, как мои конспекты, «идеи» рассказов к настоящим рассказам: это были аляповато раскрашенные «эйдосы». Но в ту краткую пору мир не просто мне предстоял, он набрасывался на меня сочностью красок, я изнемогал, как в любовной страсти. Второй раз это полнокрасие случилось по приезде в Америку и продолжалось уже два года, правда, без всякой живописи – просто утоление глазами много-

летнего цветового голода (само слово ЭСЭСЭСЭР было наполнено для меня тусклейшими оттенками серости).

Ч

Чтение

Э

Бесконечные общие тетради с конспектами и комментариями. Кого я больше всех читал в те годы, помимо общехудожественного? Лао-цзы, Платон, Гегель, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, В. Дильтей, З. Фрейд, Ч. Пирс, А. Бергсон, Б. Кроче, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Э. Кассирер, Ж.-П. Сартр, Г. Маркузе, М. МакЛюэн, Н. Фрай, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Н. Браун, Р. Гароди, С. Зонтаг... Из отечественных – А. Потебня, В. Соловьев, В. Розанов, Л. Шестов, Н. Бердяев, Д. Мережковский, М. Бахтин, Ю. Лотман, С. Аверинцев, П. Гайдено, Г. Гачев... Ленинка, Иностранка, Библиотека МГУ. Самиздат. Тамиздат. По какому-то удостоверению, может быть, от ИМЛИ, проник в Спецхран Ленинки. Помню это особое, торопливо-вороватое чувство поднадзорной территории, с которой надо как можно больше всего забрать, перенести в тетрадь, пока тебя не засекали и не прогнали.

Читал я всегда жадно и много, но медленно. 20 стр. за час – для меня это уже неплохой результат. Листогоном никогда не был, кроме, кажется, одного взрыва в отрочестве, когда за день проглотил «Всадника без головы». Медленно читаю потому, что бездвижно и беззвучно шевелю губами, т. е. мысленно произношу текст, а к тому же еще отвлекаюсь всякими попутными соображениями и ассоциациями. Читать и мечтать – эти занятия для меня сближаются.

В университете я предпринял единственную попытку обучиться скорочтению. Дело нехитрое: нужно всего-навсего читать глазами, не произнося текста про себя, не задерживаясь на имитации устного слова. Таким способом я читал к зачетам литературу народов СССР, например, «Раны Армении» Хачатура Абовяна. Прочитал быстро, но никакого удовольствия этот метод мне не доставил. Все равно как секс в «резиновом изделии номер 2»: вроде то же самое, но нет ощущения, что это происходит на самом деле. И в дальнейшем я уже никогда не возвращался к скорочтению.

Я читаю медленно еще и потому, что чувствую, как писатели меня пишут, сочиняют, пока я их читаю. Понятие «литературного произведения» намного шире, чем обычно трактуется. Читатель – тоже литературное произведение. В общении с человеком всегда чувствуешь степень и источник его «сочиненности». Вот этого сочинил М. Булгаков. А того – А. Камю. А в этом, увы, оттиск серой и сырой газетной печати. Мы все слегка сочиненные – теми, кого мы читаем. Если литературные персонажи сочинены целиком, то читатели сочиняют себя в сотрудничестве с писателями. Мы, читатели, – вольные персонажи, сами выбирающие себе авторов и привлекающие целый их сонм для создания всего лишь одного персонажа – самого себя. Только в создании этого единственного персонажа возможно сотрудничество таких непохожих, несовместимых авторов, как Данте и Рабле или Платон и Ницше. Мы пишем себя всем прочитанным.

Но и непрочитанным тоже, оставляя на своем я-полотне куски грубого, непрописанного холста. Может быть, для этих белых страниц еще нет на свете автора? или я его еще не нашел? – и именно поэтому рыщу по магазинам и библиотекам, роюсь во множестве книг, перелистываю, ставлю назад... И наконец, в поисках так и не найденного автора покупаю чистую тетрадь. Мне самому придется ее заполнять. Да, порой писателями становятся лишь

для того, чтобы прочесть наконец ту книгу, которую еще никому не довелось написать. Жажда чтения несуществующих текстов создает новых авторов. Как война есть продолжение политики иными средствами, так писание есть расширение читательского опыта иными средствами. Так что писательство для меня – тоже форма чтения.

Ю

Пока я не достал американскую Библию карманного издания, время от времени извлекал Евангелие в твердом переплете, преподнесенном в 1915 году выпускникам петербургских реальных училищ (бабушке).

Любопытство происходило в модусе интереса к восточной мысли (древнеиндийской, древнекитайской), психоаналитической и экзистенциальной. «Дхаммапада» и Лао-цзы. Платон. Стоики. Марк Аврелий. Монтень. Серен, конечно, как конкретная предтеча. Дневники и религиозно-философские работы ЛНТ из 90-томника. Шопенгауэр. Хайдеггер («Бытие и Время» у меня было в английском переводе). Ясперс (по-французски). Сартр (тут, кроме французских изданий, было кое-что и по-русски). Конечно, Зигмунд Фрейд.

Дневник

13 ноября 1969.

...Н. А. дала мне, и сегодня (сейчас 11 часов вечера) я прочитал верстку Ю. О. До- [Юрия Домбровского], пять печатных листов прекрасной прозы – три новеллы о Шекспире.

* * *

Самиздат и Тамиздат – позволь мне выразить несогласие – суть необщехудожественное в те времена. За наш с тобой московский период в этом «формате» я сумел прочесть «только» Бердяева, Мандельштама, Бродского, Пастернака, Набокова и Солженицына. Ни один яркий антисоветский нонфикш (вроде Автарханова) ко мне, как видишь, не добрался, хотя читатель я был ищущий и не робкого десятка.

Кроме того – стремящийся к чтению в оригинале, чему способствовала жена-полиглот, которая – что было делать нам еще в Москве? – перевела мне за несколько лет нашей совместной тамошней жизни все, о чем мечталось, включая главные романы Селина и никому тогда не доступный роман Кортасара *Rajuela* – «Игра в классики».

Вот авторы, которых я, убывая в свободный мир, частично раздарил (отчасти и тебе), частично оставил в своей библиотеке в «Белом доме» на Трифоной улице: James Joyce, D. H. Lawrence, Graham Green, E. Hemingway, V. Nabokov, James Jones, Norman Mailer, John Updike, Anré Jide, L.-F. Céline, J.-P. Sartre, S. de Beauvoire, B. Vian, J. Cortazar, Arabal, S. Mrožek...

За каждой книгой была своя история «доставания», своя цена самоотказа (недоедания-недопивания), и, конечно, было безумно жалко бросать круг чтения, который поддерживал нас в столице мирового тоталитаризма.

См. ВЛИЯНИЯ, КНИГИ

Э

Экстремальное

Ю

Пограничная ситуация – не просто то, что красиво звучало. Я и на свет появился в результате Grenzsituation – моей первой. Тем самым была задана программа испытаний, бросающая из одной ситуации в другую. Сортируя их, назову только пиковые.

Зима 1955/56.

Мгновение под топором.

5 декабря 1960.

День советской конституции, тогда еще Сталинской. Он же День Чудесного Спасения из зверских лап милиции. Помню удары кулаков и пудовых галош, которые были натянуты на их валенки. Удары об лед и вмерзшие в клумбу кирпичи, над которыми меня подбрасывали, глядя, как я об них расшибаюсь. Меня убивали, одновременно обещая издевательства и муки на случай, если выживу. А я изнутри этой «ситуации» с изумлением познавал Зло в образе советских людей.

Март 1961.

Ушел от облавы на нумизматов на улице Герцена в Ленинграде.

17 октября 1961.

Не зарезали под наркозом. Чудо опять. В больничке тракторного завода.

Через месяц, когда вернулся в школу, мне метили в живот во время драки, чтобы раскрылись швы. Ударов я не пропустил. Вообще, в мой «Заводской» период (1958–1967) месяца не проходило, чтобы они не возникали, «погранситуации».

1966. 30 октября.

Ресторан «Минск». Якобы сорвал операцию ГБ против американских прототипов памфлета Кочетова «Чего же ты хочешь?».

МГУ, конец первого курса. Тарелку супа съел в системе общепита. Чудом спасли от ботулизма.

Среди увлечений в Москве был Норман Мейлер. Не только романы и сборники всякой всячины, но и эссе-манифест «Белый негр», который мне привез Карлос из Парижа. «Американский экзистенциалист не боится ничего на свете... вне морали и вне закона... это человек в подполье. Забыть все, что узнал о жизни, обществе, людях, себе самом. Интеллигент может излечиться, лишь преодолев рационализм...» Как отвечала советская критика: *проповедь насилия, одичания, отщепенства и самой разнузданной эротики неотступно сопровождается мыслью о боге...* Я уже исповедовал принцип спонтанности, считая себя интуитом и «спонтанером», а теперь в моем «живи опасно» был оправдан еще и «хипстерством».

1969, летом.

И это уже с неметафорической приставкой «погран», поскольку *in the belly of the Beast* вышел к самым рубежам, ощупывая шкуру тоталитаризма изнутри. Калининградская область, Куршская дуга. Почувствовав недоброе, вовремя проснулся с тяжелого похмелья и дал деру из дома, где обещали устроить на рыболовецкий сейнер, напоили, уложили, а наутро готовились сдать «кому следует».

1970.

Доверчивые беседы и наделение самиздатом сокурсника, который (из деликатности, возможно) брал, в том совершенно не нуждаясь, ибо обладал неограниченным доступом к запретным плодам. С одной стороны, он скрывал, что его отец возглавляет «тайную полицию». С другой – не выдал меня сын.

Осень 1970.

Отравление и желудочное кровотечение в общежитии на Ленгорах. Потерял литры крови, но был спасен в 1-й Градской.

Май 1972.

Опять же милиция. Бегство из опорного их пункта на станции метро «Павелецкая» – с предварительно вырванным из рук дежурного студенческим билетом. Не догнали. Полночи колесили мимо меня, лежащего за забором в грядках зеленого лука. Не нашли.

После этого решил, что все: завет Ницше выполнен и перевыполнен. Но оказалось, что все предыдущее было только цветочки. 19 мая 1972-го ко мне в Солнцево приехала дочь лидера испанской компартии – и дождалась снаружи, набив окурками «шипки» бутылку из-под выпитого кефира, и дождалась внутри, когда я пришел в себя, отметив возвращение друга по первому курсу, пропущенного через армию, и не просто, а дивизию им. Дзержинского, где он дал подписку сообщать о контактах с иностранцами.

Так – и синхронно со сбором на нас материала – началась 5-летняя психодрама нашего с Ауророй московского периода.

Этикет

Э

Мы пришли к вам в гости, Аните было года 3–4. Нас поразило, какое ей давалось западное воспитание. Сколько хороших манер! Передник, салфеточки, манера брать ложку, не держать локти на столе. Аурора тщательно отслеживала каждый ее жест и терпеливо, мягко, но настойчиво внушала, как это делается в приличном обществе. «Вот он, Запад», – вздохнулось нам.

На самом Западе такой строгости этикета не обнаружилось. Или Америка не Запад? Как-то я был на обеде в честь исландского президента, сидел за одним столом с его женой. Подали кофе с пирожным. Я стал ковырять пирожное вилкой. Посмотрел на соседней слева (профессоров, в основном женщин), они ели пирожное чайной ложечкой. Я смутился и тихо заменил себе вилку на ложку. Потом посмотрел на соседней справа (профессоров, в основном мужчин). Они ели пирожное вилкой. Я почувствовал некоторое облегчение совести от релятивности светского этикета, но тут меня уже стал заедать познавательный интерес: а как же правильно? Посмотрел на первую леди Исландии, древнейшей демократии мира. Она ела пирожное и вилкой, и ложкой. Отламывала вилкой кусочки от пирожного и перекладывала в ложечку, которую и подносила ко рту. «Аристократизм – это компромисс и гармония», – решил я. Впрочем, трудно судить, насколько первая леди была аристократкой. Вообще-то она еврейка из Тель-Авива, где ее семья до сих пор занимается ювелирным бизнесом.

Так что правила этикета в нынешнем мире все более относительны, и единственный раз, когда они предстали мне во всей своей абсолютности, – у тебя в гостях, в Москве эпохи позднего коммунизма.

Ю

Непринужденная чистота движений, искусство неизменно быть «в своей тарелке», а не за ее пределами – это то, что завещал нам просвещенный французский абсолютизм и чего в его органическом виде не существует, по-моему, за пределами «Гексагона» (это одно из самоназваний Франции) – ну разве что в изученном виде на дипломатическом уровне или в «высших кругах» других стран. Конечно, без этого можно обойтись: едят же в Америке без ножа, а в пользу одноразовых пластиковых приборов можно привести гигиенические аргументы. Но глядя на это из Франции, или даже офранцузенными глазами, нельзя уже воспринимать прочий мир без усмешки, насмешки или сожаления.

Ю

Ювенильность: юность навсегда

Что у нас осталось от юности, какие переживания, открытия, устремления мы перенесли в последующий возраст? Сохранились ли черты, которые можно назвать «ювенильными» (не «инфантильными»)? Хотели бы мы сохранить их до конца или от чего-то избавиться?

Э

От юности у меня сохранилось желание большого, великого, какая-то гигантомания, которая, вообще-то, мешает специализации и успехам в области конкретных дисциплин. Я в глубине души не чувствую себя ни филологом, ни философом, ни культурологом (хотя и эти специализации слишком широки) и вообще не знаю, кто я такой, хотя понемножку вмешиваюсь во все, включая лингвистику и чуть-чуть психологию. Я определил это для себя как поле «гуманитарных наук», но и его постоянно пытаюсь раздвинуть все новыми дисциплинами, которые сам же и изобретаю по мере надобности. Это можно рассматривать как влияние утопической русской, мессианской еврейской или совокупно советской утопически-мессианской ментальности, которая стремилась решать все вопросы в «мировом масштабе». Но это можно и не скидывать на время и происхождение, а приписать только себе и считать ювенильностью. Я по-прежнему так же разбрасываюсь, работая параллельно над несколькими проектами и чередуя их иногда в течение дня. И в каждой области меня волнует только мировое, глобальное, поворотное и переворотное. Взрослые люди обычно так себя не ведут, они заканчивают одно и только тогда начинают другое; они сосредотачиваются на деталях, глубже входят в частные вопросы. Если юность моя была инфантильна, то зрелость, переходящая в старость, ювенильна – такое вот отставание по фазе. Наверно, я хотел бы приобрести больше взрослости, эмпиричности, специализации, но не за счет юношеского «все-и-всего» – да теперь уже и поздно.

Юность: метафоры

Чему бы ты уподобил юность? Есть ли какой-нибудь образ, символ, эмблема, метафора, которыми ты мог бы передать особенность этого возраста?

Э

В юности так все звонко, голосисто, а вместе с тем и так смутно, неопределенно, разбросанно, что напрашивается гоголевский образ: «струна звенит в тумане». Это из «Записок сумасшедшего». Но юность и есть своего рода сумасшествие, узаконенное биологическим естеством и социальным обычаем. Тот, кто в юности не сходит с ума, не ведет себя эксцентрично, экстремально, не отдается страстям, не бежит из дому, не устраивает скандалов, не доводит близких до обморока, – тот считается и впрямь не совсем нормальным. Этот переход от ненормальности к норме выражается оптимистическими глаголами с приставкой «пере-»: перебесится – успокоится; *перемелется* – мука будет...

На собственном опыте я бы заменил туман на чад. Туман прохладен и возникает из скопления в воздухе кристалликов льда и капелек воды, тогда как чад – это следствие огня, неполного или неправильного сгорания: едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля. Юность, конечно, не холодна, а пламенна, и именно поэтому ее смутность – это не туман, а угар. Ум пылает, сердце пылает, но это пламя трудно соединяется с веществом существования, еще сырым, зеленым, и поэтому производит угар, кромсает по живому и терзает удушьем. За что бы я второпях ни брался: за написание рассказа, за выступление в семинаре, за личные отношения, за политические разговоры, за общественные и научные проекты, – все отдавало каким-то чадом, и я не мог понять, откуда этот привкус угара. Ведь я горю, почему же вместе со мной, тем же чистым пламенем, не горит весь мир? А он не хотел, сопротивлялся моему огню. Такая у меня метафора – поправка к гоголевской.

Ю

Точная, полнообъемная метафора, которая отменяет все другие, приблизительные... Повторить ли за Казаковым – «голубое и зеленое»? Чего-то воспаленно-пламенного в этом спектре мне не достает. Перефразировать ли Стейнбека (то есть Шекспира, «Ричард III», *now is the winter of our discontent...*): «Весна тревоги нашей»?

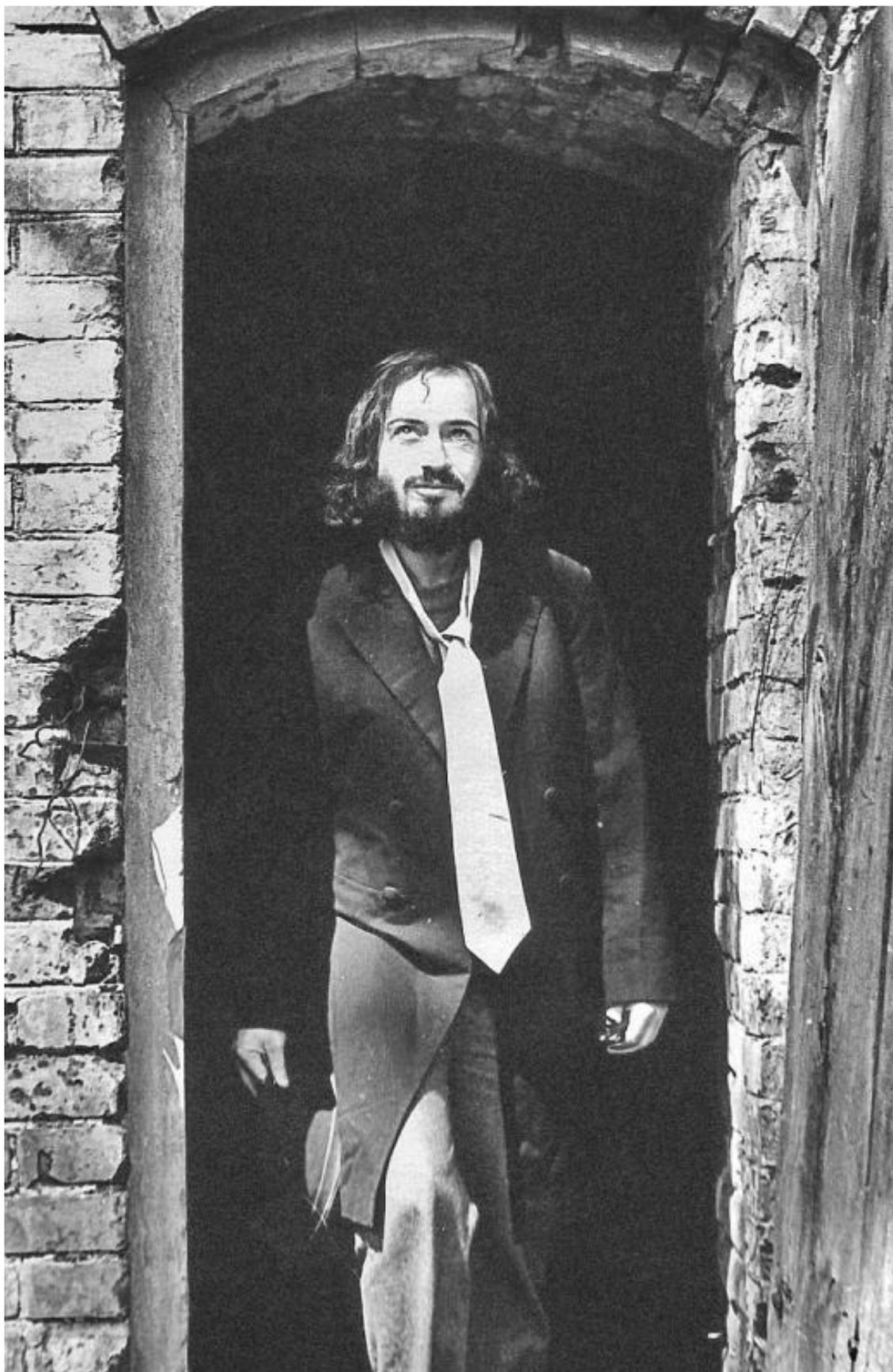
Тревога – более сильное слово, чем *discontent*, – здесь вполне уместно, потому что тревожность – свойство именно юности, что было замечено и в советский оттепельный период чутким тандемом Пахмутова/Ошанин – я имею в виду «Песню о тревожной молодости» (1958), которая меня волновала на подступах к юности: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет... меня мое сердце в тревожную даль зовет...» Нет спору, даль юности оказалась весьма тревожной, но куда сильнее алармировала самая что ни на есть экзистенциальная близость, душа.

Юность и молодость

Как мы определяем юность в границах своей жизни, какими годами? Чем она отделяется от предыдущих и последующих возрастов? Отличается ли она от молодости?

Э

В схемах научно-психологической периодизации юношеский возраст обычно определяется как 17–21 год для юношей и 16–20 лет для девушек. Для себя я определенно добавил бы еще один год до окончания университета: 17–22. Но и 2–3 послеуниверситетских года для меня были еще переходными от юности к молодости. Собственно же молодость начинается для меня в 25 лет, с создания семьи, и продолжается примерно до 30 лет, до рождения первых детей, когда, тоже постепенно, устанавливается состояние зрелости. Так что моя юность – с 17 до 24, молодость – с 22 до 30, тремя годами они накладываются друг на друга, создавая шлюз, систему переходов. Все эти границы условны и имеют смысл только в психодинамике индивидуального возрастного развития.



Миша, 1979, Марьевка, Украина. Конец молодости. Свободен, наконец свободен! Фото А. Монастыренко

Юность – это сила, которая еще не знает, что с собой делать, тычется во все углы и закоулки, набивает шишки, тратит столько же, если не больше, чем приобретает. Молодость – это сила, которая уже знает, что ей нужно с собой делать, или по крайней мере знает, чего ей делать не нужно, и мой промежуток в три года как раз состоял в переходе от отрицательного знания к положительному. Молодость так же шумна, бурлива и широкозахватна в своих переменах, как и юность, но у нее появляется вектор. Центробежное движение юности сменяется центростремительным, а разбрасывание камней, оставленных предыдущим поколением, сменяется собиранием собственных и строительством своего дома. Когда дом более или менее завершен и в нем есть кому обитать, начинается зрелость.



Serge Iourienen, 1983. Париж, рю Сен-Дени

Ю

Законы гравитации, которые формируют схему, предложенную тобой, в моем случае не имеют столь же притягательной власти. Я – человек Воздуха, строю не из камней. Мой образ дома – воздушный замок (по-французски – шато д'Испань, опять-таки замок, но – испанский). И опять-таки не случайно за порогом юности меня подстерегал эфир – подрывной, имею я в виду. В этих воздушных я преуспел настолько, что только чудом спас свою литературу и жизнь от полного в них благорастворения.

Юность: ее наследие

Кто у нас остался от юности, какие спутники жизни, мысли, воображения? Кто нас не оставил и кого мы сами не хотели бы оставить? А кого и почему мы больше всего уценили, отлепились душой?

Э

С юности у меня осталось совсем немного близких людей, с которыми все еще сохранилось внешнее и внутреннее общение. Иных уж нет, а те далече. Остался ты. Валентин Евгеньевич Хализев, мой научный руководитель, – общался с ним редко, но образ его крепко держу перед собой. Оля Седакова – регулярного общения нет, но когда встречаемся, я слышу в ней «хроносомы» своего поколения, нам легко понимать друг друга, и чем дальше, тем больше.



С поэтессой Ольгой Седаковой. Университет Эмори, Атланта, 2007

Андрей Битов – я по-прежнему ценю общение с ним и люблю написанное им тогда, хотя меньше восприимчив к последующему. Все другие близкие люди приобретены либо родственно, раньше, либо дружески, уже позже, в молодости и зрелости.

Что касается спутников мысли и воображения, то навсегда остались Платон, Монтень, Гете, Достоевский, Ницше, Бахтин, сохранилось восхищение А. Солженицыным, а вот увлечение «левыми» и «новыми левыми» мыслителями, такими как Сартр и Маркузе, сошло на нет, и блестящий Набоков тоже меньше стал меня занимать, как и литературный и художественный авангард.

Ю

Такое ощущение, что благодаря моему третьему браку я выпрыгнул из своего поколения – назад лет на двадцать. Кроме того, межличностные отношения к данному моменту почти окончательно виртуализовались. Не могу сказать, что охладел, тем более что впал в мизантропию и перестал быть «жаден до людей». Но в этом смысле якобы «живой» журнал, ЖЖ, потребности в общении вполне удовлетворяет. С другими, небезразличными и дорогими мне людьми – а они все «далече» – как писатель Анатолий Курчаткин, мой первопубликатор – общение опять-таки компьютерное. Даже с младшим братом – выпускником мехмата МГУ и очевидцем московской юности своего старшего брата. Даже с мамой – в свои 88 мама вполне еще очевидец.

Говоря же о неблизких, но с теми, с кем приятельствовал, знакомствовал и просто соседствовал в Главном Здании юности, – одни преждевременно сошли с трассы (в Ивделе, исходном пункте своего трансатлантического «путешествия» – работал он и в Перу, и на Кубе – умер Юра Токарев; без отзвука растворился Андрюша Ваненков, ментально сломленный Братиславой; оба замечательные полиглоты-самородки); другие, надеюсь, здравствуют, но вполне безмолвно. Моя репутация писателя-невозвращенца, вещавшего на коротких волнах от имени самой Свободы, предохраняла меня от излишнего общения при советской власти; видимо, эта репутация продолжает оказывать свое влияние в новых условиях электронной поднадзорности, и это понятно – поколение наше в среднестатистической массе своей и в юности было весьма оглядчивым и осмотрительным, о чем же говорить теперь, когда оно вступает в традиционно консервативный «третий возраст»... Но иногда оттуда раздаются анонимные звуки, по которым я и констатирую: «молчаливое большинство» поколения здравствует. С другими, возникающими в том же ЖЖ, я сам предпочитаю не вступать в отношения, поскольку помню их извиристо-рептильную комсомольско-карьерную юность – «мальчиков-чего-изволите».

Непосредственные встречи стали вообще редки – а здесь, в Америке, из современников моей юности встречаюсь я *live*, пожалуй, только с тобой.

И ты же – один из сохраненных мной «спутников мысли и воображения»: тебя я продолжаю читать.

Как и Нормана Мейлера, кстати, – он умер, когда я уже был в Америке и как раз открыл для себя место, где он родился; мы с Мариной часто там бываем, в обдуваемом и омываемом Атлантикой городке, делаем «миллю Мосса» по дощатой набережной, загораем, купаемся, плаваем; при этом с нами всегда его книги.

Мне, однако, легче перечислить тех, кого я перестал читать. Притом что я слежу за текущей мировой литературой, особенно русской, американской, в меньшей степени французской, я – в какой-то степени удерживая Джойса, Гертруду Стайн и Хемингуэя – утратил интерес к целому ряду магнетических имен юности: Фолкнер, Жид, Кортасар, Камю, Сартр, Селин, Набоков... сохраняя, разумеется, благодарную память «о том, как это было в первый раз».

Федор Михайлович, Лев Николаевич? Они настолько овнутрились, настолько вошли в мой состав, что, кажется, *tecum porto*, даже годами не снимаемые с полки.

Что касается чистого любомудрствования, то в этом плане философия уступила место эзотерике.

Юность: определения

Э

«Юность – это возмездие», Генрик Ибсен.

Я тогда не знал, в каком контексте это у Ибсена, но, как эпитафия к блоковскому «Возмездию», это изречение меня преследовало смутной своей правотой. Было у меня две догадки.

1. Юность – это возмездие за безмятежность детства, золотые сны единства «я» и мира (его всеблаготворительной опеки). Юность обнаруживает раскол в основании «я», его внезапное отщепенство, не укорененность ни в роде, ни в семье, ни в доме, одиночество странствия в никуда.

2. Юность – это возмездие старым и зрелым, тем, кто обустроился в своих домах, спальнях, заботах и службах, – и юность приходит, чтобы все это осмеять, поставить под вопрос, отнять экзистенциальный уют у этих заживо себя схоронивших.

Получалось, что юность – возмездие за детскую безмятежность или возмездие старшему поколению. Из пьесы «Строитель Сольнес» видно, что верно второе, простейшее толкование: «Сольнес. Юность – это возмездие. Она идет во главе переворота. Как бы под новым знаменем».

Но еще тогда, в юности, я пришел к третьему смыслу: что юность – это ее возмездие *самой себе*. Она мучит и мучится, она мнит себя расцветом жизни, лучшим возрастом, острейшей радостью, а между тем оказывается временем самых жестоких терзаний. Захлебывается, припадая к чаше жизни, и вместе с тем ее тошнит от перепоя. Не умеет пить. Юность – это запой длиною в 5–7 лет, который у иных затягивается на всю жизнь. И одновременно это приступ рвоты, выворачивающей наизнанку до опустошения. Экзистенциальная язва и готовность к самоубийству.

Ю

Но это и был перманентный экстремизм во всем. Хотя я себе и напоминал (во всерасширительном смысле): «Достоевский – но в меру», однако полумер не удавалось наблюсти ни в чем. Если чтение (или игра в карты), то до зари, когда уже пора вставать и ехать на фак. Если алкоголь, то до полного изумления. Если секс, то трое суток нон-стоп до полного зануления. Но если дисциплина, то до полного анахоретства, пережитого мной после завершения отношений с Леной на улице Северной в Солнцево.

Юность не столько возмездие. Прежде всего юность – это опасность. Смертельная и тотальная угроза. Со всех сторон. Изнутри. Вот именно что желудки еще не луженые: сколько раз меня самого чудом спасали в больницах. Инфекционное отравление в студенческой столовой на Мичуринском, месяц на Соколиной Горе (соляночки поел). Через 2 курса заварил кофе в оловянном чайнике образца 1953 года – желудочное кровотечение, 2 литра крови потерял. Лишенный осознанных суицидальных комплексов, не могу не упомянуть здесь всех ровесников, не переживших свою юность, самоубийц, всех сорвавшихся, утонувших, разбившихся, как говорят, «по глупости», всех, неудачно штурмовавших свои собственные пределы. Но и снаружи тоже. Сколько раз меня пытались убить! Взрослые – за то, что молодой; ровесники – за непохожесть, за инакость, а иногда и беспричинно, просто чтобы догнать и испытать тоже очень юную радость убийства, всаживая длинный немецкий

штык или групповым футболом превращая твою голову, столь бесценную, но только для тебя, в разможенную массу, не совместимую с дальнейшей жизнью.

Находясь внутри юности, я не исключал, что не переживу ее физически. Слишком уж неожиданно и часто прорывалась тонкая пленка, за которой нас, совсем к тому не готовых, ждали вполне серьезные, окончательно капитальные вещи – смерть, *non-being*, ничто. С тех пор мне ни разу не приходило в голову поблагодарить свою судьбу, своего демония, своего ангела-хранителя за то, что не без потерь, но все же вынесло меня за пределы того радостного и свирепого периода, где в наши мирные времена осталось не так уж и мало сверстников; так вот: *спасибо, Ангел.*

Юность: потери

Какие самые большие наши потери со времен юности? Можно ли и нужно ли их возвращать?

Э

Пожалуй, все самое хорошее, что было в юности, впоследствии оставалось со мной или возвращалось ко мне: открытия любви, дружбы, вер, книг, художественных и мыслительных миров, радость познания, скитаний, встреч.

Конечно, я бы не отказался возродить то чувство «первопутка», с каким входил в твой, гораздо более взрослый мир; того узнавания и сопереживания, с каким читал А. Битова, Ю. Казакова, В. Аксенова; того восхищения, с каким открывал для себя В. Набокова и А. Солженицына; тех жизнеоткрывающих разговоров, которые вел с Сашей Бокучавой, и смешных и веселых – с Сашей Николаевым. Тех тайн, которыми вдруг освещались женские лица. Тех вольных странствий по людям, тех непредсказуемых встреч, которые могли обернуться новой любовью или дружбой, может быть, на всю жизнь.

Но я помню и то, что со временем вся эта открытость стала оборачиваться пустотой, тяжестью и даже отчаянием. А потому моя благодарность юности не вызывает во мне желания ее повторить, вновь оказаться на месте того юнца, который жадно впитывает окружающий мир и жадностью своей часто губит то, что должен хранить в чистоте от себя.

Ю

Мне – нам с Ауророй – не удалось сохранить наш юношеский брак. Несмотря на то что мы продлили его через четыре страны и на 27 лет, мы расстались. «Это было в Праге». Никогда не верил в возможность подобного финала наших отношений. Но стал жить дальше.

Юность: разные поколения

Что отличает нынешнее поколение юных от нашего? Чему мы в них завидуем, о чем жалеем, чего ждем?

Э

Я могу наблюдать юное поколение своих студентов-американцев, которое отличается от нашего с тобой не только историей, но и географией, а значит, почва для сравнения ускользает. Мне кажется, метафора струны, звенящей то ли в тумане, то ли в угаре, к ним вообще неприменима. Юные американцы начинают встраиваться в профессиональные и социальные структуры гораздо раньше, чем мы, и у них нет такого разброда, размыва, как в нашей юности, тем более как было у нашего вольного племени филологов (да и совмещенной филологии здесь нет как дисциплины, есть отдельно лингвистика и литературные исследования).

Молодые люди выделяют себе – иногда между школой и университетом, но чаще между университетом и аспирантурой или дальнейшей карьерой – год или два (*gap year*), когда «живут, чтобы жить», приобретают опыт «*real life*». Но это именно сознательное, планомерное сужение юности, которая как бы забивается в щели между ступенями карьеры. Их нельзя за это винить. Плотность социальной жизни и теснота профессионального ряда здесь несравненно выше, чем в СССР, где социализация была навязанной извне, поверхностной, – и именно поэтому изнутри продлевала юность, оправдывала ее безделье, шатанье, межеумочность, бесцельный разброс. Здешней юности можно почти во всем позавидовать, а пожелать только большей широты мышления в обход профессиональных ячеек. Но если это благое пожелание может исполниться только ценою сползания в бесформенный, угарный, богемный дух, то лучше ему не исполняться.

Ю

Такие же безумцы-идиоты. Компьютер с Интернетом умерил их, конечно. Но, к счастью, не умертвил.

Юность: уроки и взгляд отсюда

Любим ли мы свою юность, и что в ней, а чего не любим и не приемлем?

Э

Нельзя сказать, что я люблю свою юность. Точнее, я не люблю себя в ней – но люблю многое из того, что она мне послала и с чем свела. Из всех возрастов я меньше всего приемлю себя таким, каким был в юности, для меня это духовно самый тяжелый возраст. Жестокость в попытке быть сильным; бесчувственность в попытке внушать и вызывать чувства; гордыня в попытке познать и воплотить свое «я»; обжорство в попытке утолить голод по впечатлениям и ощущениям.

Возможно, мое детство слишком затянулось, я вошел в юность с опозданием на несколько лет, и она осложнилась для меня не пережитым вполне отрочеством с его переломным, кризисным мироощущением. К страданиям юного Вертера прибавились еще страдания и искушения подростков Достоевского.

Ко многому в своей юности я отношусь двойственно. Я жалею, что бесился, – и что недостаточно перебесился: тот образ жизни, который ты вел в общежитии, остался мне недоступен в моей домашней скорлупе, и поэтому рецидивы юности, как болезни, настигали меня и позднее (хотя более вероятно, что человеку, увязшему в таком «юнейшем» образе жизни, потом труднее выбраться из него). А больше всего я ценю в своей юности три вещи:

– таинство любви и дружбы и то, что любимые и друзья относились ко мне щедрее и терпимее, чем я заслуживал;

– радость труда, умственного сосредоточения, свободного выбора тем и направлений мысли;

– то, что через фольклорные экспедиции и летние поездки я открыл для себя деревню, народ, песни, обширный мир непохожих на себя людей.

Ю

Упорствуя в избранном направлении, чисто тактически моя юность не очень ведала, что творит. Есть французская поговорка «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait», – и, кстати, Толстой упоминает ее в своей «Юности». Вторая половина поговорки для нас пока не вполне актуальна, на некоторые деяния мы еще способны, тогда как первая – «Если бы юность знала»...

Если бы моя юность знала то, что знаю я сейчас... Есть искушение сказать: наверное, – и не наверное, а разумеется! вне всякого сомнения! – многие мои «выборы», выражаясь экзистенциально, были бы другими. Другим было бы само качество отношений с теми, кого я любил: ведь я бы – «знал», подстрахованный опытом ошибок. Вот эти «правильные», верней, *исправленные* выборы, согласно «эффекту бабочки», имели бы последствием совершенно иную историю Юрьенена, чем та, которая осталась в его непоправимо-бурной юности на фоне застойной эпохи. Рискнул бы я прожить альтернативную историю, «другую жизнь»? При всей своей поверхбарьерной настроенности – разве что в воображении. Но сожаление, сложившее эту поговорку, тем не менее при мне. И хотя бы уже это доказывает несостоятельность полусознанного убеждения, которое владело мной в юности, – что уж я-то, вопреки всему человечеству, имея в виду и исторически мертвых, живу свою единственно-неповторимую жизнь правильно.

Я

Я, Миша

«Я» настолько выпирает из юноши, что впору переименовать «юность» в «яность» (яность), а юношу в яношу. Я-ноша – это, действительно, тяжкая ноша и для себя самого, и для окружающих. В отрочестве «я» уже пробуждается от снов детства, уже находит себя в горькой распре с миром, но оно еще такое стыдливое, пугливое, одинокое, зажатое или загнанное в себя, что хочется ему сочувствовать, опекать, гладить по бедной стриженной головке. А яношу уже не погладишь – он с револьвером. Разница – как между Илюшей Снегиревым в «Братьях Карамазовых» и Ипполитом Терентьевым в «Идиоте». И неважно, стреляет ли этот револьвер пулями, мыслями, словами, в себя или в других, он – оружие. Юность – это самый криминальный, террористический возраст, когда силами юноша уже почти равняется со взрослым человеком, а опытом еще почти с подростком. В этом расхождении силы и опыта, способности переделывать мир без понимания и уважения к миру, к вещам-в-себе и людям-для-себя – исток ювенильной преступности, агрессии против миропорядка.



Я был по воспитанию и характеру довольно смирным юношей, но «я» из меня так и перло, особенно на 1-м курсе университета, когда я вдруг увидел, насколько в отношении мужского развития отстал от сверстников, – и решил немедленно их догнать и перегнать. Едва ли не самое отвратительное воспоминание моей жизни – когда нашу группу или курс послали на строящийся тогда Новый Арбат (1967) что-то убирать, подметать на верхних этажах высоток. Там среди сухих листьев шуршали мыши, и, поскольку в руках у меня была лопата, я с внезапной радостью ожесточения стал бить ею по зверькам, а может быть, и убил несколько. Почему-то мне вдруг вздумалось, что этих мелких вредителей нужно уничтожать. Конечно, это мышеборство творилось на глазах девочек и почему-то должно было изобразить, какой я крутой и мужественный. Возможно, в 11–12 лет такую мерзкую «крутизну» еще можно было бы понять, но мне-то было 17! Уже на следующий день я вспоминал об этом со стыдом. А недавно на автобусной остановке в Москве один малыш лет 5–6 стал топтать муравьев, проложивших по асфальту свои дорожки, и очень старательно их

придавливать своей резвой ножкой. Я сделал ему замечание, раз, два, три, все настойчивей, а потом его мать испугалась, решив, что я сумасшедший, и увела его от меня подальше. Эта злость, как я теперь понимаю, относилась не столько к малышу, сколько к себе самому, когда-то поднявшему лопату на мышей.

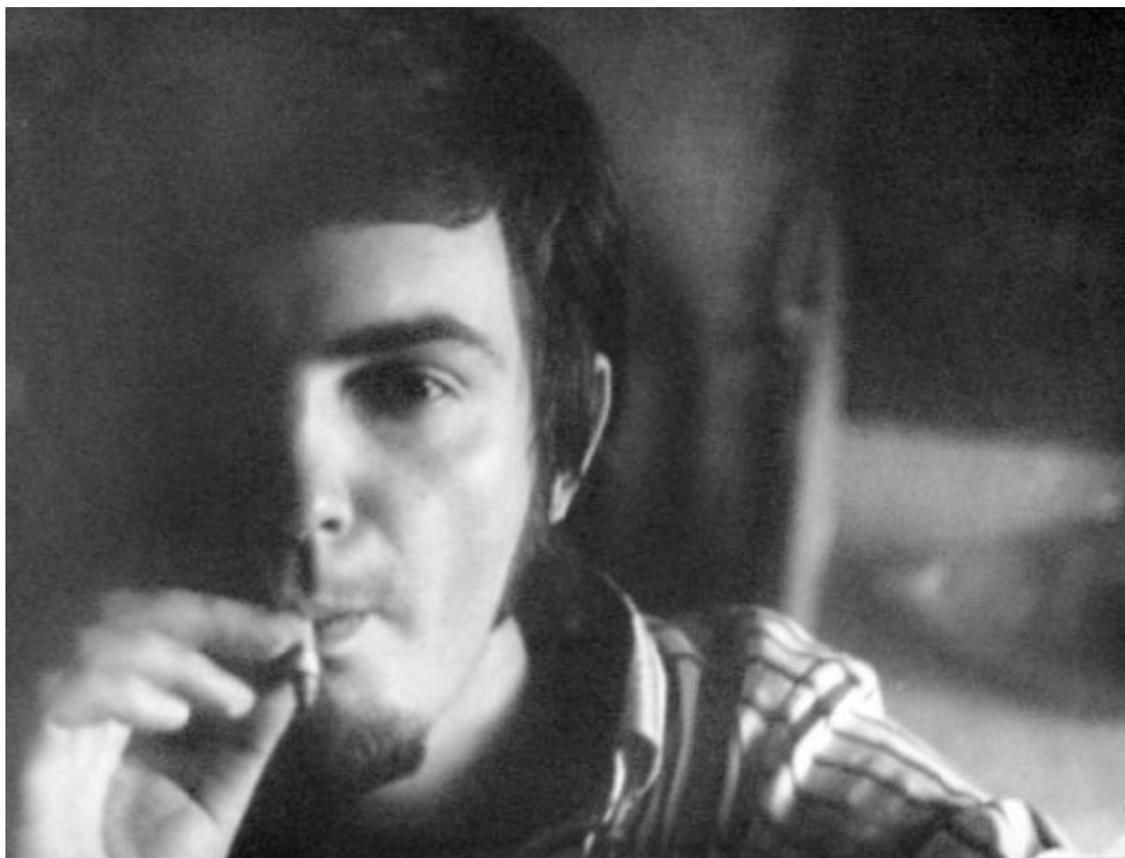
И дело, конечно, не только в мышах – это были годы каких-то надрывных, компенсаторных попыток стать «сверхчеловеком», от чего страдал я сам, как от спертости, духоты, замкнутости своего «я». Когда я читаю экзальтации Ницше: «почему я так умен», «почему я так силен» и т. д., – то порой узнаю это опь-Я-нение задержанной «яности», перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов сломавшей его рассудок.

Тогда же, в юности, я усомнился в заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Не потому что «возлюби» – это было несомненно. А потому что «как самого себя». Мое отношение к себе вряд ли можно было назвать любовью, и я не понимал, как можно из него извлечь урок и образец любви к другим. Я себя понимал и не понимал, боялся, любил? да, любил, но и презирал, и ненавидел, и удивлялся себе, и тосковал с собой. Такого, как я, и мама бы не любила, если б знала меня изнутри! А впрочем, любила бы. Когда у меня родилась дочь, я переиначил эту заповедь: «возлюби ближнего как свое дитя». И тогда уже и в самом деле мог руководиться ею и некоторых ранее не любимых людей возлюбить, представляя их детьми.

Я, Сережа

Начать с того, что сам я никогда не обращался к себе по имени. Конечно, свыкся, но мне оно не очень нравится. Что с того, что римское родовое?

И то, что это патроним Пушкина, его не оправдывает. Тем более что скомпрометировано Есениным: не то что я противник его поэзии, но мне не хотелось вызывать ассоциаций, связанных с его образом жизни и смерти. Когда я выбрал свободу во Франции, там еще не знали о политкорректности, и в префектуре меня переименовали в *Serge*. Это было удобней для французов, но и для меня тоже: никаких коннотаций, исключая не сказать чтобы очень обидное *Un beau Serge*, «Красавчик Серж» – как почти автоматически реагировало старшее поколение французов обоих полов, вспоминая повесть Мопассана.



Однако во времена юности Сержем меня называла разве что только Аурора – автор прилагаемого снимка. Для прочих же я был или Сергей – обидно, так как туго и резко, как спусковой крючок (поскольку *gay* еще массово не знали), – или так, как названа эта моя подглавка, но оно имело лишь условное отношение к тому трепету воли, страха и надежды, к тому азарту бытия/небытия, которое наполняло того юношу *былых времен* – как мы с тобой уже смело можем сказать. Все, чего ему хотелось, – это писать. Все, чего ждалось от жизни, – это любовь. Все, на что боялся даже надеяться, – это свобода. Ну и благосклонность фортуны – все, на что уповал. Иногда, на поднебесных этажах МГУ, я смотрел в окно на дождь, и мое отражение в стеклах раздваивалось, являя мне двойника с тем же именем, и, выходя из мира грез, я вспоминал, что так оно и есть, что на самом деле – я и есть Сергей Сергеевич.

Тогда я еще не знал про мистически-окультурную веру в то, что если при рождении человека умирает кто-то из его близких, энергия умершего умножает витальность новорожденного.

Дневник

16 лет.

20 сентября 1964.

«Сережа, Сережа». Я роняю журнал, сплю. Эти слова, они не имеют конца, не имеют они и начала. Может, они продолжают еще: Сережа, Сережа, через время, через пространства, как свет звезд приходит через N-е световые годы.

Вместо заключения

Михаил Эпштейн

Юность и метафизика

Есть такая дисциплина – возрастная психология, которая изучает психосоциофизические особенности каждого возраста. То, что присуще одному возрасту, выглядит аномалией для другого. Нелепо ребенку выглядеть старичком, а старику – ребенком. Обычно юношеское творчество характеризуется как «незрелое» с точки зрения профессиональных образцов. Но ведь каждый возраст можно рассматривать как особую культурную формацию, живущую по собственным стилевым законам. Юношеские стихи почти всех поэтов уступают их взрослым творениям, но если рассматривать их не с профессионально-литературоведческой точки зрения, а как образцы юношеской культуры, они заслуживают отдельного внимания. В этой книге мы пытаемся понять юность как особую культурно-психологическую формацию – не путем исследований и обобщений, а изнутри, на опыте нашей собственной юности, одновременно созерцая ее из нашего иновозрастного далека, с расстояния почти полувека.

Вопреки устоявшемуся мнению о «прекрасной и счастливой» юности, это тяжелая и мучительная пора, когда личность открывает свою чуждость миру, трудную совместимость с ним, проходит через сомнение в собственной ценности, через болезненный опыт нелюбви к себе, который порой компенсируется бредом непризнанного или будущего величия. Юность – это мечта и сила, которая не знает, что делать с собой и как приложить к действительности, а потому томится без цели и постоянно оглядывается на себя. Это эксцентризм пополам с эгоцентризмом, попытка вырваться из круга заведенного и общепринятого с неизбежным упиранием в- и отталкиванием от- самого себя. Вот точный портрет юности, данный Львом Толстым в первой же главе одноименной повести: «Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения». Бессвязные мечты, шляние без цели, накопление силы и разглядывание себя (ну и, конечно, девичья) – вот толстовская формула юности.

Я уже упоминал четкую и многозначную формулу Ибсена: «Юность – это возмездие». Это определение верно в трех смыслах. Во-первых, юность – это возмездие взрослому, устоявшемуся миру, ценности которого она оспаривает и взрывает своим нетерпением, максимализмом. Во-вторых, юность – это возмездие самим юным, страшное открытие своей потертости в мире, который еще недавно был так приспособлен к безмятежным сказкам и мифам детства. В-третьих, юность – это возмездие миру в целом, за то что он не понимает и не любит меня, это ревность, раздражительность, иногда озлобленность даже по отношению к друзьям, возлюбленным, реальности как таковой.

Юность – наиболее питательный возраст для всякого радикализма, экстремизма, терроризма; это самый криминогенный возраст – и одновременно благоприятствующий террору в отношении себя, самоубийству. У юности, в отличие от детства и отрочества, уже есть сила, но, в отличие от зрелости и старости, еще нет опыта. Сила без опыта податлива химерам, соблазнам разрушения и радикальной переделки бытия. Юность увлекается идеями преобразования мира, потому что мир ей еще не дорог, она в него не вжилась, а силу для победы над ним она уже набрала. Юность часто увлекается широковещательными идеями, в основе которых лежит нелюбовь к существующему миру: тоталитарными, фашист-

скими, коммунистическими идеями – и становится опорой таких режимов. По Маяковскому, «коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым». Поэтому тоталитарная власть время от времени устраивает «чистки» или «культурные революции» (Сталин, Мао Цзэдун) ради смены поколений, чтобы уничтожить старших и возвысить юных, а тем самым и возвести силу над опытом, идею – над бытием.

Счастье и несчастье нашей юности в том, что она пришлось на старческое время, конец 1960-х – начало 1970-х. Нам выпало быть юными в эпоху одряхления коммунизма. Пока мы юнели, все вокруг стремительно ветшало: идеи, вожди, ценности, нравы, сама система, которой в год нашего поступления в университет (1967) исполнилось полвека. Поэтому у нашей юности не было выхода в социальное действие, нам было смертельно скучно в обществе «зрелого» (уже и «перезрелого») социализма. Вялый темп окружающей жизни отставал от биологически ускоренных часов юности, и мы не знали, что делать с собой в этом инертном или, как потом стали говорить, «застойном» обществе. Юность – стремнина времени, когда оно течет с особой скоростью и напором, а мы попали в безвременье. В этом состояло наше несчастье.

Но оно же обернулось и редкой удачей. Впервые в истории тоталитарного XX века выросло поколение, которое своей молодостью отвергло «молодость мира», отказалось участвовать, бороться и вдохновляться. На этом поколении сломалась связь коммунистических времен, преемственность советских поколений. Предыдущее поколение, «шестидесятническое», родившееся в тридцатые, еще было увлечено революционным проектом, еще воспевало «Остров Свободы» и «Братскую ГЭС». Последующее поколение, восьмидесятники, состоявшее из детей «гласности и перестройки», уже двинулось из комсомола в коммерцию, уже осваивало, в диапазоне от прагматизма до цинизма, ценности рынка.

Наше поколение, бежав с передовых «строек века», повисло в паузе между двумя эпохами наступательного социального действия: от капитализма к коммунизму – и обратно от коммунизма к капитализму. Мы оказались в ничейной полосе, нейтральной зоне, где, как известно, «цветы необычайной красоты». Мы пришли в эпоху отступления как представители нового вида – «человека капитулирующего». «Отступая, человек учится узнавать свой минимум, свой предел. Предел человека – это и есть ты, человек! Человек отступающий. Homo recedens», – так заканчивался мой дневник 1971 г.

Мы – это поколение промежутка, когда оставалось только слушать абсурдное тиканье часов на застывшем циферблате времени. Это и было удачей: затесаться в трещину между двух исторических эпох и услышать молчание, услышать разговор великих и вечных, не заглушаемый шумом быстротекущего времени. У общественного застоя была своя глубина, своя полная звезд бездна. Безвременье – это пародийный памятник вечности.

Отсюда не следует, что наша юность отличалась высокой моралью или творческой продуктивностью. Бывали поколения гораздо более культурные, начитанные, умные, одаренные, решительные, результативные. Но было то, что отличало нас, по крайней мере, от двух предыдущих и двух последующих поколений: интерес к метафизике. Я бы даже сказал: *необходимость метафизики*, испытанная на собственной шкуре, поскольку из исторической кожи своего времени мы старались выпрыгнуть – и облечься во что-то другое, более тонкое, чувствительное и долговечное. Под метафизикой я понимаю далеко не только философию и ее самый умозрительный раздел, учение об основных началах и принципах мироздания. Метафизика есть не только в философии, но и в литературе, в истории, войне, живописи, театре, в семье, в быту, в деньгах, даже в спорте. Метафизика – это интерес к устойчивым, вечностным, вневременным основаниям, структурам и целям любого опыта или вида деятельности, будь это политика, литература или кулинария.

Предыдущие поколения жили во власти историзма, они политизировали все проблемы, включая метафизические, и пытались решить их социальным действием. Это верно по отно-

шению не только к советским, но и к западным поколениям 1910–1960 гг., включая наших сверстников из «первого» мира. У нашего поколения в СССР впервые за несколько десятилетий возник вкус к метафизике, метафизическая жажда, и в этом мы, через головы всех революционных и послереволюционных, предвоенных, военных и послевоенных поколений 1910–1960 гг., перекликались с поколением русских философов, идеалистов, символистов, экзистенциалистов начала XX в. А через них – с немецкими и английскими романтиками, американскими трансценденталистами, французскими символистами. Мы не так уж много знали о них, мы далеко, на полвека, отставали в круге чтения от наших западных сверстников, но метафизическая жажда не рождается книгами, она сама их ищет, выбирает и создает. Мы жадно читали все, что удавалось добыть в самиздате, тамиздате, тогдаиздате (дореволюционные издания) и специздате (малотиражные издания для узкого круга специалистов и идеологических работников).

Следы этой метафизической жажды, «вечностного» подхода ко всему, от академических предметов до романтических чувств, от бытовых мелочей до жизненного и профессионального призвания, рассеяны по всей этой книге. В этом – ее стиль и понимание юности как самой метафизической поры, когда зарождается осознание наибольших смыслов жизни, когда даже самые частные, личные, практические вопросы обнажают свою метафизическую подоплеку. Остается только благодарить наше застойное время за то, что, загнав нас в исторический тупик, оно позволило нам осуществить призвание юности: постигать мир как целое без поспешной попытки прогнать его под себя.

Приложения

Приложение I

Юность в вопросах и ответах разных лет

1. Анкета 1972/2004.

Вопросы Э, отвечает Ю

Так получилось, что вопросы Сережи, вопреки Мишиному совету посланные в конверте, опущенном в почтовый ящик Главного здания МГУ на Ленгорах, до адресата на улице Е. Стасовой никогда не дошли. Сохранились только вопросы Миши, переданные Сереже из рук в руки. Сережа отвечал на них дважды: в 24 года (1972) и в 56 лет (2004). Ответы Миши не сохранились.

25 ВОПРОСОВ

*Февраль-март 1972,
Москва-Солнцево.*

Вот, Сережа, двадцать пять моих вопросов тебе, которые, с другой стороны и отчасти, являются моими ответами о тебе. Ибо интервью – это всегда предвосхищение человека, поиск человека по заранее имеющимся намекам и ориентирам. Кроме того, это еще и ответы себе по поводу тебя. Полупризнания. Вообще, надо сказать, интервью – жанр труднейший и в основе своей – художественный, исповедь наизнанку, причем изнанка богаче и интереснее. Исповедь основывается на одной личности; интервью основывается на системе личностей, допускает динамику, игру и подстановку. Трудность же в том, чтобы спрашивать, избегая прямой подсказки, перебегать границу, не оставляя следов; ибо уж слишком тесно, в обнимку живут в душе спрашивающего вопросы и ответы.

Вопросительность содержится, как химический ингредиент, во всяком человеческом бытии, но искусство интервьюера заключается в том, чтобы выделять этот элемент в чистом виде. Пестовать и взращивать вопрос. Питать его ситуацией общения.

Ответы на интервью, я думаю, не следует доверять почте.

Передадим лично. Итак, до встречи. Миша.

2004.

Твои вопросы, помню, были как гром с небес. Так впадают в руки Бога живаго. И Бог этот вопрошал устами друга. Сиюминутное все отпало, и я остался с Ним наедине. Сидел в Солнцево, в неоплаченной за несколько месяцев квартире, перед своей «Колибри», стремясь соответствовать и мучаясь несостоятельностью.

К твоим вопросам приложен мой черновик, оставшийся не законченным (см. выше): был апрель 1972 года – период после Лены и до Ауроры, – и я был охвачен насущными заботами любви и выживания. Но материал для комментариев бесценный. На то пытался ответить, а это пропуская, оставляя впрок, на «когда озарит».

Произошло ли это 32 года спустя? Так или иначе – вот, в кратком виде.

Вопросы Эпштейна 1972 г.

Юрьенен отвечает дважды: в 1972 г. и в 2004 г.

1. Что такое родина: начало или конец пути?

1972. Родина есть приговор. Форма твоей судьбы.

2004. Нравился мне завет Будды про безродность, и, похоже, своей жизнью я его воплотил. Спросил сейчас случившихся рядом, мне сразу ответили: Конечно, начало! *Родина* ведь! Где родился! А мне суждено было родиться – в нулевой час неантенизированной страны. Победенным среди победителей. Конец отца и преднатальная травма борьбы с матерью за право на жизнь предшествуют началу. В схватке на уровне бытия чувство родины как-то отступило на задний план, куда впоследствии так и оттеснялось – более важным чувством. Быть или не быть – Юрьенен родился перманентным принцем датским. Откуда, возможно, исторически и происходит.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ВОПРОСОВ
СЕРГЕЮ ЮРЬЕНЕНУ.

1. Что такое родина: начало или конец пути?
Сходство
2. ~~Видны~~ в судьбах художника и эмигранта? Творческие преимущества эмигрантства?
3. Колыма, барак №6. В чем бы ты нашел там смысл существования?
4. Первое твоё распоряжение в чине президента?
5. Знаком ли тебе соблазн другой эпохи, другой земли?
Где и когда тебе хотелось бы воплотиться?
6. Странность иметь сына? Чем бы ты стал для него?
7. Оставим в стороне бога; но в какой степени религиозно твоё сознание? и отразится ли в творчестве?
русского
8. Метафизические черты современного молодого человека?
Чем войдет в предание наше поколение?
9. Каких публичных и исторических лиц ты хотел бы взять
своими
~~ключевыми~~ персонажами?
10. Чем российская интеллигенция может обогатить Запад?
Перспектива вклада в мировую культуру?
11. ~~Каждому криданеженному дайни~~ Уважаешь ли ты циников?
12. Каким может быть рай?
13. В какой мере личная свобода может лечь в основу общественного устройства? Какой свободы ты хотел бы для себя?
Возможен ли излишек свободы?
14. Что такое великий человек?
Выше или ниже сверхчеловека?
15. ~~И~~ Кому и зачем нужна литература?
16. Парочку метафизических идей относительно своего ~~мирного~~
~~творчества?~~
17. ~~И~~ Что в самом себе тебе кажется: а/ заслуживающим наибольшего восхищения, б/ заслуживающим презрения.
Материал для панегирика и пасквиля?
18. ~~И~~ В каком случае ты мог бы стать убийцей?

19. Существуют ли для тебя проблемы в сфере морали? ^{практической}
20. Что такое моральный образ жизни? Хотелось ли бы тебе быть евреем?
21. Чем отличается женщина в жизни художника? ~~Чем отличается женщина в жизни художника?~~
22. В каких традициях ты себя ощущаешь? ~~Чем отличается женщина в жизни художника?~~
23. Любишь ли ты бездарей и импотентов? ~~Чем отличается женщина в жизни художника?~~
24. Чего ты больше всего боишься? ~~Чем отличается женщина в жизни художника?~~
25. Какие, по-твоему, анекдоты и слухи будут распространяться о тебе, когда ты получишь известность?

Вот, Сережа, двадцать пять моих вопросов тебе, которые, с другой стороны и отчасти, являются моими ответами о тебе? Ибо интервью — это всегда предвосхищение человека, поиск человека по заранее имеющимся намекам и ориентирам. Кроме того это ещё и ответы ^{на себя} по поведению тебя. Вообще, надо сказать, интервью — жанр труднейший, и в основе своей — художественный, исповедь ^{наизнанку}, причем изнанка богаче, или интереснее. Исповедь ^{основывается} на одной личности; интервью основывается на системе личностей, допускает динамику, игру и ^{подстановку}. Трудность же в том, чтобы спрашивать, избегая ^{прямой} подсказки, ^{статьи}, перебегать границу, не оставляя следов; ибо уж слишком тесно, в обнимку живут в душе спрашивающего вопросы и ответы. Вопросительность содержится, как химический ^{ингредиент}, во всяком человеческом бытии, но ^{нужно} искусство интервьюера заключается в том, чтобы выделить этот элемент в чистом виде. Пестовать и ^{питать} вопрос. Скорлупку лица ^{преклянул} вопросик И высунул в свет свой остренький носик.

И т.д. Не знаю, удастся ли выбраться мне к тебе в эти дни, но если да, то, наверное, в воскресенье. У меня сейчас небольшая конкретная работка по заказу — статья в БСЭнциклопедию о конфликте.

Ответы на интервью, я думаю, не следует доверять почте. Передадим лично.

Итак, до встречи. Мина.

2. Сходство в судьбах художника и эмигранта? Творческие преимущества эмигрантства?

1972...

2004. Как только я узнал, что родился в Германии, так и ощутил себя эмигрантом в России. Только привык к России в форме Ленинграда, как вышвырнуло в первую реальную эмиграцию – БССР. Россия стала тоской и ностальгией. Я совершал туда паломничества на каникулах. Но когда «вернулся», чтобы жить «в России», стал чувствовать, что это не вполне моя страна. Протест, например, вызывала повышенная жестокость жизни – по сравнению с той же Белоруссией, захолустной, но озападной и гуманизированной Польшей. На Россию границы никакого благотворного воздействия не оказывали – сама по себе. Что хочу, то ворочу. Душегубка на вольном просторе, как ты и показал в работе «Бес». В Китае, конечно, было б хуже. Но в советской России для меня это стало единым – эмигрантство и писательство. Всюду был не вполне свой. И во Франции, и в Германии, и в Чехии, – всюду знал, что выход, возможно, только Америка, где все не свои, но «лишних людей» нет. Главная же ловушка эмигрантства в том, что оно предельно обостряет в тебе «страну отказа». На русскости в эмиграции можно свихнуться – что, конечно, абсурдно, прибывая на Запад «западником».

3. Колыма, барак № 6. В чем бы ты нашел там смысл существования?

1972. Не верю, что мне подошли бы традиционно оптимальные условия для обретения смысла («каторжнику без Бога нельзя!»). Реальность современного барака на протяжении всего срока кропотливо уничтожает твоё достоинство, и надо так же последовательно отстаивать его, для чего необходимо иметь за собой силу внутренней готовности к смерти, заранее принять ее как единственный выход, не унижительный тебе. Страх преодолевается только со стороны смерти.

2004. У меня есть приятель-писатель, для которого смысл был только в том, чтобы не опустили. Защита достоинства сводится к защите ануса. Кроме этого, конечно бы, я кропал и прятал, и пытался переправить в «большую зону».

4. Первое твое распоряжение в чине президента?

1972. Отмена смертной казни.

2004. Тут могу только повторить. Возможно, единственный раз, когда я испытал гордость за Францию, это когда Миттеран своей волей – большинство его сограждан было против – отменил смертную казнь. При мне было.

5. Знаком ли тебе соблазн другой эпохи, другой земли? Где и когда тебе хотелось бы воплотиться?

1972. Да. Очень. Везде, во все времена, исчерпать всю сумму человеческого опыта.

2004. Соблазн другой эпохи – нет. Впрочем, если бы мне гарантировали возвращение, я бы посетил СССР в тридцатые. Земель соблазны тоже испытаны.

6. Странность иметь сына? Чем бы ты стал для него?

1972. Сын стал бы для меня реальной возможностью освободить будущее от предрассудков, которыми прошлое наделило меня. С другой стороны – воспитание будущим.

2004. Уже не будет.

7. Оставим в стороне Бога; но в какой степени религиозно твое сознание? И отражается ли в творчестве?

1972. Очевидно, пропорционально моим прорывам в творческое начало сознания. Думаю, что отражалось и отражается, если понять под религиозностью очарованность ощущением тайны, так зримо проявляющей себя во всем.

2004. Отчасти религиозно, но подсознание над тем смеется и опровергает.

8. *Метафизические черты современного российского молодого человека? Чем войдет в предание наше поколение?*

1972. Современный молодой человек – это иссякание творческой потенции, духовный опыт человечества на излете. Думаю, что поколение войдет в предание как излишне крупнозернистое, что, к счастью потомков, не затруднило гусеничный накат истории. Вообще же, поколения будут исчисляться, очевидно, по принципу выделяемости лиц.

2004. Ну и что тут скажешь, Миша? Вся метафизика поколения вобрана тобой. В целом же получилось промежуточным. Транзитным.

9. *Каких публичных и исторических лиц ты хотел бы взять своими персонажами?*

1972. Диогена и его традицию.

2004. Одно время в Париже хотел написать роман «Салтычиха».

10. *Чем российская интеллигенция может обогатить Запад? Перспектива вклада в мировую культуру?*

1972. Отнюдь не перебежчиками. Туманна.

2004...

11. *Уважаешь ли ты циников?*

1972. Да. Способность к полному отрицанию – да. Высоко ценю стремление к искусству эпатажа, скандала.

2004. Нет. Избегаю. Но в чистом виде не так много и встречал.

12. *Каким может быть рай?*

1972. Мгновенным, мелькнувшим.

2004. Только единым с адом.

13. *В какой мере личная свобода может лечь в основу общественного устройства? Какой свободы ты хотел бы для себя? Возможен ли излишек свободы?*

1972. Существуют типы общественных устройств, дозволивших ее в полной мере. Ограниченной моим диктатом. Думаю, что это предусмотрено Господом.

2004. Какую хотели, такую мы с тобой и получили.

14. *Что такое великий человек? Выше или ниже сверхчеловека?*

1972...

2004. Ну, и что мы думаем о Солженицыне?

15. *Кому и зачем нужна литература?*

1972...

2004. Мне. Для удовольствия. Жить без которого не могу.

16. *Парочку метафизических идей относительно своего творчества?*

1972...

2004. Защищал партию Эроса. Был на стороне любви.

17. *Что в самом себе тебе кажется: а) заслуживающим наибольшего восхищения, б) заслуживающим презрения? Материалы для панегирика и пасквиля?*

1972. а) женщина; б) мужчина... черпать из опыта любви.

2004. а) Способность любить. Верность. б) Нетребовательность эго. Недостаточное сопротивление, которое мое эго оказывало воле к небытию.

18. *В каком случае ты мог бы стать убийцей?*

1972. Встречая насилие. Готовность к убийству – непосредственная, ближайшая реакция.

2004. В случае сопротивления.

19. *Существуют ли для тебя проблемы в сфере практической морали? Что такое моральный образ жизни?*

1972. Да. В идеале – быть исполнителем своей воли. На практике – стремиться к этому.

2004...

20. *Хотелось ли бы тебе быть евреем?*

1972. Вряд ли я принял бы этот вариант соборности, и меня с позором и проклятием изгнали бы из евреев за утроенное отщепенство.

2004. Это как родиться вечным. Конечно, хотелось. Это было бы *cool*.

21. *Чем, по-твоему, является женщина в жизни художника? Чем остается в судьбе?*

1972. Необходимая, постоянная боль. Всегда возвращающаяся возможность счастья. Твое «я», которое требует преодоления. Ритм возвращений к себе. Условие самодисциплины. Балласт свободы. Сдерживающее начало бунтарства. Соблазн небытия. Тайна, не заинтересованная тобой. Твоя опора. Твоя цель. Твоя слабость. Твое мужество. Ты всегда мгновенен перед женщиной. Исчезающ в редкие моменты подлинного счастья, даруемого ею. Именно она вынашивает твоё небытие. Этот условный ген обреченности – вклад женщины в творящуюся тайну зачатия.

Все эти Наташи, Сони, Ани, Веры пропадают в состоявшихся судьбах.

2004...

22. *В завершении и истоке каких традиций ты себя ощущаешь?*

1972...

2004...

23. *Любишь ли ты бездарей и импотентов?*

1972. Бездарность и бессилие, раз обнаруженные, обжалованию не подлежат.

2004...

24. *Чего ты больше всего боишься? Плодотворность страха?*

1972. Что застанут врасплох. Жить вопреки страху – плодотворно.

2004...

25. *Какие, по-твоему, анекдоты и слухи будут распространяться о тебе, когда ты получишь известность?*

1972. Как наиболее актуальные и стойкие: а) что я еврей; б) что я продался евреям; в) что я недостойн быть евреем.

2004...

2. Вопросы Эпштейна.

Отвечают Юрьенен и Эпштейн

1 января 2009 г.

1. *Россия, Европа, Америка. Как эти три твои жизни взаимодействуют в твоём опыте? Стирают, опровергают, осмеивают, дополняют друг друга?...*

Ю. Знаешь, я всегда относил к себе, только в единственном числе, роман Гертруды Стайн «Становление американцев».

Э. Россия таинственно зияет на фоне плосковатой Америки. Америка величественно сияет на фоне тускловатой России. Вместе, как инаковость друг для друга, они придают бытию ту многомерность, которой мне бы не хватало без каждой из них.

2. *Что сбылось?*

Ю. Свобода.

Э. Сбылась надежда что-то произвести, родить из себя, не остановить на себе генетическую и культурную эстафету жизни и слова.

3. *Чего не сбылось?*

Ю. Опять-таки свобода – в отдельно взятой...

Э. Мир нежности, взаимности, полной отдачи чувств и слов, проницаемости и отзывчивости близких и дальних, да и собственной прямоты и прозрачности перед Богом и людьми – нет, не удалось построить.

4. *На что ты надеешься?*

Ю. Что сумею написать если не «абсолютную» книгу, то захватывающую. Надеюсь, даже не одну.

Э. Надеюсь, что еще смогу сам себя удивить, что и жизнь удерет со мной какую-нибудь смелую и веселую штуку, блеснет на мой закат печальный каким-нибудь замыслом, смыслом, сомыслием.

5. *Что ты понял о русском языке за 40+ лет работы над ним?*

Ю. Есть ощущение, что за эти годы я, беглый его носитель, родной язык свой перерос – его при этом продолжая обожать... Другого такого нет.

Э. Он беднеет, мелеет, вянет на корню, не справляясь с потоком новых идей и подставляя под них готовые, бетонные русла английского языка. Потерял способность богато рождать и плодиться, как и говорящий на нем народ. Участь языка трагична. Он заслуживает сострадания, самоотдачи, героических усилий всех, кто пользуется им по профессии и призванию. Он нуждается в далевско-хлебниковско-платоновско-набоковском волшебстве, способном его оживить.

6. *Есть ли судьба и как ты взаимодействуешь с ней?*

Ю. Провидение, несомненно, существует, и я наведываюсь к нему – прости за выражение – в «астрал».

Э. В конце концов понимаешь, что судьба – это самая упрямая, негнущаяся часть самого себя, роковой «характер», который ты бессилён сам изменить, если Бог не поможет.

7. Что для тебя главное в любви и как это менялось с юности?

Ю. А вот как-то нарастала, знаешь ли, гуманизация. Причем независимо от качества эрекции.

Э. В любви становится больше загадок: откуда она приходит, куда исчезает? Любовь отделяется от эроса, но не становится менее плотской, скорее, наоборот, она охватывает всю плоть и душу более сильно и равномерно. И растет тоска по любви: сколько бы ее ни было, ее все равно мало и все больше недостает.

- I. Родина есть приговор. Форма твоей судьбы.
3. Не верю, что мне подошли бы традиционно оптимальные условия для обретения смысла /"каторжнику без бога нельзя!"/ Реальность современного барака на протяжении всего срока кропотливо уничтожает твое достоинство, и надо так же последовательно отстаивать себя, для чего необходимо иметь за собой силу внутренней готовности к смерти, заранее принять ее, как единственный выход, не унижительный тебе. Страх преодолевается только со стороны смерти.
4. Отмена смертной казни.
5. Да. Очень. Везде, во все времена, исчерпать всю сумму человеческого опыта.
6. Сны стал бы для меня реальной возможностью освободить будущее от предрассудков, которыми прошлое наделило меня. С другой стороны - воспитание будущим.
7. Очевидно, пропорционально моим прорывам в творческое начало сознания. Думаю, что отражалось и отражается, если понять религиозностью очарованность ощущением тайны, так зримо продолжающей себя во всем.
8. Современный молодой человек - это иссякание творческой потенции, духовный опыт человечества на излете. Думаю, что поколение войдет в предание, как излишне крупнозернистое, что, к счастью потомков, не затруднило гусеничный накат истории. Вообще же поколения будут исчисляться, очевидно, по принципу выделяемости лиц.
9. Диогена и его традицию.
10. Отнюдь не перебежчиками. Туманна.
11. Да. Способность к полнейшему отрицанию - да. Высоко ценю стремление к искусству эпатажа, скандала.
12. Мгновенным, мелькнувшим.
13. Существуют типы общественных устройств, позволяющих ее в полной мере. Ограниченной моим диктатом. Думаю, что это предусмотрено господом.
17. а/ женщина; б/ мужчина.
...черпать из опыта любви.
18. Встреча насилия. Готовность к убийству - непосредственная, ближайшая реакция.

20. Вряд ли я принял бы этот вариант соборности, и меня с позором и проклятием изгнали бы из евреев за утроенное отщепенство.

23. Бездарность и бессилие, раз обнаруженные, обжалованию не подлежат.

21. Необходимая, постоянная, любимая боль. Всегда возвращающаяся возможность счастья. Твое "я", которое требует преодоление. Ритм возвращений к себе. Условие самодисциплины. Балласт свободы. Сдерживающее начало бунтарства. Соблазн небытия. Тайна, не заинтересованная тобой. Твоя опора. Твоя цель. Твоя слабость. Твое мужество. Ты всегда мгновенен перед женщиной. Исчезающ в редкие мгновения подлинного счастья, даруемые ею. Именно она вынашивает твоё небытие. Этот условный ген обреченности - вклад женщины в творящуюся тайну зачатия.

Все эти Наташи, Сони, Ани, Веры пропадают в состоявшихся судьбах.

24. Что застанут врасплох. Жить вопреки страху - плодотворно.

25. Как наиболее актуальные и стойкие:

а/ что я еврей;

б/ что я продался евреям;

в/ что я недостоин быть евреем.

19. Да. В идеале - быть исполнителем своей воли. На практике - стремиться к этому.

8. Талант – по ту сторону морали? Или по эту?

Ю. По ту сторону морали есть только модификации Зла.

Э. По эту сторону – талантливый человек, а сам талант – по ту сторону, питается прямо с древа жизни, еще не отравленный плодами познания добра и зла.

9. Как ты представляешь жизнь после смерти?

Ю. Эта жизнь будет, мне кажется, другой, чем до рождения. Другая форма того, что мы называем небытием, в котором теперь вместе со мной волеется моя «прожитость». Другая, благодаря присутствию и ожиданию встречи с душами, которые при жизни-в-жизни стали родственными.

Э. Думаю, что там есть свои ландшафты, стихии, причинно-следственные или ассоциативные связи и взаимодействия (вещей, знаков, полей, духов, сил). Но все это мгновенно меняется под дыханием Божьей милости и любви. Безбожники, там оказавшись, будут сильно удивлены, а верующие, быть может, еще сильнее (именно из-за избыточной четкости своих представлений).

10. Чем тебя разочаровала литература и чего ты от нее ждешь?

Ю. То есть охладел ли, как допускал мой ментор? Нет. «Еще стоит». Литература, которая так или иначе, но организовала мою жизнь, остается главным делом, и, благодаря любви

мой жене Марине, моему волшебному «прощальному лучу»³⁶, сегодня я еще более зачарован, чем тогда, когда мне приходилось финансировать свое писательство, служа литературе другими, как говорится, способами.

Не потеряла меня литература и в том смысле, что я остаюсь ее преданным потребителем-читателем. Конечно, обратное воздействие на реальность оказалось куда более «неисповедимым», чем представлялось в юности и было подтверждено Александром Солженицыным. И все же мне кажется, что даже *sub specie aeternitatis* наши царапины на скрижалях не совсем бессмысленны. Я верю в магию литературы.

³⁶ Марина Каминская (КАМИ) – родилась в Москве. Михаил Львович Гельфанд, ее отец, в 60-е годы профессор МФТИ им. Баумана, в своей эмгэушной юности был арестован за «космополитизм», после смерти Сталина освобожден из лагеря и реабилитирован. Мама-кардиолог работала в отделении «Скорой помощи» Боткинской больницы. Марина закончила среднюю школу с математическим уклоном и одновременно музыкальную им. Мясковского. Выпускница Московского технического университета. Изучала психологию в университете Дрю (Drew). Работала программистом в корпорации UPS. В роду Марины небезразличные к литературе люди – Лиля Брик; Эльза Триоле; Иосиф Бенционович Каминский, врач-гинеколог, расстрелянный в 1938 году за организацию сионистского подполья в СССР; а также известный израильский политик, доктор экономических наук, депутат кнессета и поэт Юрий Штерн. В 2007 году Марина Ками стала сооснователем и директором издательства Franc-Tireur USA.



Марина. Вашингтон, Округ Колумбия. 2006

Э. Когда-то литература была для меня центром жизни и самосознания, потом она отодвинулась и заняла свое место среди других форм культуры. Увы, я почти перестал быть литературоведом: философия, теология, лингвистика, культурология, гуманистика в целом – потребовали более прямого и горячего участия. Но когда я думаю об общем знаменателе всего написанного – наверно, это и есть литература, только невымышленная, бессюжетная.

Литература в жанре трактатов, словарей, манифестов. Все, что исходит из слова, в него и возвращается.

3. Вопросы Юрьенена

Отвечает Эпштейн

1 января 2009

1. Для чего, по-твоему, нужно больше мужества: юными глазами смотреть в непрожитое будущее или нашими теперешними – в жизнь-без-нас?

Наибольшего мужества требует твоя собственная жизнь, и она никогда не прожита, даже на пороге смерти. Жизнь – это окружающий объем, пространство возможностей, которое всегда впереди тебя (и немножко сбоку, по сторонам). По мере того, как мы стареем, жизнь юнеет, поскольку перед ней открывается все более дальний простор – и в прошлое, и в будущее. Мы становимся более соизмеримы возрастом с человечеством и с величайшими из людей, и нам легче соотнести с ними свой опыт. Старость требует наибольшего мужества, потому что впереди еще больше неизвестности, чем в юности.

2. С какими чувствами ты представляешь себе эту жизнь-без-нас?

Если говорить о будущем человечества, цивилизации, которая после нас останется на земле, то мне и жаль, что она легко без меня обойдется; и тревожно за то, что она может сотворить с моими детьми и потомками; и досадно, что вершинные ее открытия и достижения останутся мне не известными.

3. Смерти нет. Или все-таки? ...

Смерть – это событие в 3-м лице. С 1-м лицом оно никогда не совпадает. «Я» и «умер» исключают друг друга. Умирает всегда кто-то другой. То, что извне наблюдается как умирание, изнутри переживается как переход в иное состояние, для которого у нас нет слов и представлений. Конечно, обо всем этом мы можем судить только гадательно, «сквозь тусклое стекло».

4. А бессмертие?

Бессмертие для меня – это не то, что будет или может быть потом, после смерти, а то, что происходит всегда, включая и настоящее, и сегодня, и сейчас, т. е. это дарованная нам способность жить в полную меру, быть новыми для себя и для других, переступать все границы, включая границы одной, биологической формы жизни. Вообще, нам все дается по мере жажды, потому что сама жажда возникает в ответ на источник своего утоления (или наоборот – не нам судить). Мы хотим пить, потому что есть питье; хотим есть, потому что есть еда; хотим любить, потому что есть любовь. И если мы хотим жить вечно и не умирать, значит, этому желанию тоже что-то соответствует в природе вещей – есть источник ее утоления.

5. Имел ли место Божий промысел по нашему поводу, и если да, то какой?

Нашему, условно говоря, «задержанному» поколению 1970-х, видимо, предназначено было созреть в промежутке между полным расцветом Утопии и ее окончательным крушением, а значит, остаться утопистами (в отличие от более поздних прагматиков и циников) и вместе с тем перенести утопию из социально-моральной плоскости (в отличие от шестидесятников) в какие-то иные измерения: языковые, эстетические, мистические. Это поколение, которое постоянно колеблется между утопией и иронией, и сама эта колебательность

и нерешенность придает смысл его бытию в культуре. Наверно, Богу было угодно, чтобы утопия не отрывалась полностью от иронии, а ирония – от утопии. Поэтому он подарил нам этот промежуток между последним взлетом утопии в 1960-е и ее крушением в 1980-е.

6. Исчезновение иллюзий – приносит ли это горечь?

Да, приносит горечь, но со временем этот вкус может переходить в сладость угаданного, уточненного пути, потому что она избавляет от всего лишнего, что было предназначено другим, и оставляет тебя наедине с твоим предназначением, с маленьким, но уже невычитаемым, неразстворимым остатком себя, с единичным замыслом о себе. Уже не думаешь о себе с горечью как о возможном, но не состоявшемся (по чьей-то там вине или воле обстоятельств) Платоне или Л. Толстом, но постепенно находишь утешение в том, что и не мог быть никем, кроме как самим собой.

7. Зло, в котором «лежит» мир. Постоянная ли это величина?

Думаю, что постоянная, хотя и с определенной амплитудой колебаний между добрыми и жестокими временами. Наш мир – это и есть форма испытания злом, преодоления его прежде всего в самом себе, а потому этот мир не может без зла; видимо, и оно не может без этого мира.

8. Изменился ли твой взгляд на красоту?

Я стал меньше думать о ней, вернее, она сблизилась для меня с общим ощущением жизни. Раньше я замирал перед красотой, чтобы ее разглядеть, а теперь я переживаю ее как событие, как праздник, в котором надо участвовать. Красота – то, что живет взахлеб, напролом, в чем нет признаков застывания и смерти. Или она так вбирает смерть, что являет ее преодоленной, в образе воскресения. Эстетика для меня постепенно уступила место... нет, не биологии, а скорее, биософии, «жизнемудрию», которое через красоту заглядывает в тайну жизни и таких ее всегда неожиданных проявлений, как любовь, щедрость, милосердие.

9. А на Слово?

Да, Слово – и как Логос вообще, и как его воплощение в языке и в отдельном слове – очень выросло для меня и легло в основу того синтеза поэзии, филологии, философии и магии, которым я пробую заниматься последние годы (проект «Дар слова»).

10. Итак, итог... Осанна? Или – совсем напротив?

Pro или contra?

Осанна, если принять этот мир как один из миров, преподнесенный тебе как незаслуженный дар, как альтернатива небытию, нерождению. Это не лучший из возможных миров, но он гораздо лучше, чем ты заслужил (если вообще можно заслужить свое рождение, а не принять его просто как милость). Жизнь вполне стоит того, чтобы ее желать всегда и никогда не пресыщаться.

Приложение II

Тексты юности и о юности

Михаил Эпштейн

Осеннее отступление

Метафизический дневник

*О, как полезен упадок творчества!
Как воображение голодной прислуги, это состояние способно
краткою чертой обнять и выразить всю суть своего отсутствующего
господина.*

Б. Пастернак, «Сейчас я сидел у раскрытого окна и ждал...» (1913)

1. Ты принялся за работу с утра³⁷. И вдруг наступил момент – тебе не удалось всего одна фраза, полфразы, словечко, – когда ты почувствовал, что силы тебя покидают. Ты откинулся на спинку стула, совершенно опустошенный. Кажется, ветер, залетающий в окно, играет тобою, как легкой оболочкой.

Ты печально трогаешь разложенные на письменном столе вещи – суставы и сочленения твоей работы, испутившей дух. Внезапно до тебя доносится их отчетливый запах – запах кожи, бумаги, пластмассы, клея. Он прятался от тебя, пока ты работал, теперь же хочет с тобой познакомиться. Кто ты и зачем пришел поработить его вещи?

О, что это значит для расстроенного и ослабленного человека – очутиться наедине с наивным запахом и его доверчивыми вопросами!

В течение целого месяца ты возвращался к тетради, начатой в тот день. Еще чаще ты сидел подле нее, отложив в сторону ручку, глядел в окно на темнеющие деревья и повторял себе с отчаянием: «О, сколь я слаб, я ничего не умею, мысль мне страшна, ведь выводы ее бесконечны».

Через месяц ты понял, что твой первоначальный замысел был плох. То, что он не удался, – не вина твоя, а горькая заслуга. Но пришли другие замыслы. А тетрадь эта осталась – свидетель слабости, овладевшей тобой в одно ветреное утро. Вот эта тетрадь. Пахнет кожей, бумагой и клеем.

2. Слабость подступает к сердцу, и слезы навертываются на глаза. Мысли покрыты коркой беспамятства, но во всем, что я знаю и вижу, мне является теперь кристальная ясность и чистота бытия. Вещи источают из себя бытие – запахи, звуки, краски, – как глаза, погружившись во мрак после резкого света, источают слезы: слезы переутомления, слезы слабости. Таковы сейчас эти вещи, погруженные во мрак моего бесчувствия и бессознания: их присутствие прозрачно во мне.

Для человека, вдохновенного и властного в своих замыслах, существуют лишь тени вещей, отбрасываемые светом его «я». Мир для него – лишь символ его беспредельных возможностей. Для разочарованного в себе и унылого вещи выступают в полном и самостоятельном бытии. Запахи кружат голову и доводят до обморока. Он сам – символ, этот человек. Он средство выразить бытие этих вещей, их всеприсутствие. В миг своей творческой слабо-

³⁷ В этом дневнике на «ты» я обращаюсь к самому себе.

сти он впервые становится тем, кем хотят его видеть: окно, вянущее комнатное растение и далекий дым заводской трубы. Они долго ждали и незаметно лепили тебя, и вот наконец ты – произведение их бессловесного искусства.

3. Теперь ты перестанешь навязывать всем свою упрямую волю. Пойми и будь благодарен: то, что начинается в тебе как слабость, кончается в других как свобода.

По наличию свободной воли в человеке суди о его Создателе. Какая немощь Господня сквозит в прекраснейших человеческих чертах! Он пришел к шестому дню творения во всеоружии своей слабости, когда все силы уже были отданы небесной тверди, морям, светилам, рыбам морским и гадам земным. И человек у него вышел «хорошо весьма».

4. Что останется от молодого человека нашего времени? Большие от удивления глаза, легкая (уже начинающая кривиться) усмешка, поползновения к житейской мудрости, зависимость от мелочей и смутное уважение к чужой вере. Все это – милые свойства людей разных времен, но только наше время решило собрать их все вместе. Этим оно вынесло себе приговор.

5. Основной предрассудок, мешающий нам правильно видеть и понимать мир, – это предрассудок собственной исключительности и «сверхъестественности», слишком близкое, а потому неизбежно заключающее в скобки, в кавычки восприятие себя. Как будто где-то в уголке сердца остается жить частица детской веры в свое беспорочное зачатие. И вот: о жизни, о счастье, о вере говоришь иными словами, чем о себе. Эта ложь – не от неискренности, а от сентиментального такта по отношению к себе.

Но если ты заранее не готов пожертвовать мифами самосохранения, если боишься забыть, пограть, оскорбить себя, – как смеешь ты вступать в разговор о том, что неизмеримо выше тебя?!

6. Глазные болезни... Но ведь еще раньше – порок в самом видении, не достигающем сердцевины вещей. Лечат физическое отклонение от метафизического порока. Если я вижу человека туманным, расплывчатым – чем я погрешаю против истины? Разве он не таков? Разве знает себя?

7. Разврат начинается с того, что уточняются требования к жизни. Не хлеб вообще, а мягкий и белый; не милое лицо, а чем-то особенно красивое. Образ жизни, конкретизированный до мелочей. Человек создан для простых и грубых желаний и для изысканного, утонченного творчества. Принцип творчества, перенесенный в сферу желаний, – это и есть разврат. Творческое потребление. Принцип потребления, перенесенный в продукцию, дает массовое искусство, «политику» и порнографию. Что в практическом смысле всего тоньше и изощреннее, то в метафизическом всего грубее. Метафизическая тонкость поведения состоит в том, чтобы избрать самый прямой, широкий и общий всем путь.

8. Куда ты идешь и зачем? – Я провожаю дорогу.

9. Чтобы производить глубокое впечатление, речь должна быть эстетически не вполне совершенна. Слово, выпадающее из контекста, антитеза, не получающая предварительной тезы, вывод, не окупающий предпосылки... Чтобы слушатели делами своей жизни доводили и замыкали круг, начатый речью; чтобы жертвами и подвигами возмещали стилистические изъяны. Провал искусства, подготовленный шествием его к триумфу, становится мощным призывом к жизни.

10. Суть твоих отношений с окружающими: ты превращаешь их историю в свою метафизику, они поверяют твоей метафизикой свою историю. Совершается подмена, а не обмен. Ибо ведь за твоей метафизикой не стоит никакая история, а их история в своей простоте не нуждается ни в какой метафизике. Бедный ты! Бедные они!

11. В дни, когда монополия на истину захвачена демагогами, духовный авторитет приобретает чаще всего заблуждение; и героем становится тот, кто больше других заблуждается. Подтверждается истина: «блаженны нищие духом».

Верить приходится не тому, кто лучше других, а тому, кто хуже других. Из добродетели легко сделать предмет для спекуляции и средство благоустройства, но заблуждение, ведущее к потерям и кризисам, не может быть корыстно. Именно заблуждение выдает в человеке принадлежность к породе «лучших». Заблуждающийся относительно состояния вещей находится в ситуации истины относительно самого себя.

Так стихийно и из демократических побуждений начинают освящаться нищета, бред, потемки, богема души.

Увы, это уже есть в «Вертере». Не тогда ли начал покидать истину аристократический дух?

12. Какую местоименную форму принять в дневнике? Тот, кто вечером перед настольной лампой записывает свой день, и тот, кто в суете и озарениях провел этот день, – не одно и то же лицо. Нечестно было бы называть его «я», относя на его счет свою теперешнюю мудрость, приписывая себе его победы и т. д. Но постыдно было бы и отречься от него, присвоив ему третье лицо – «он», как будто нет твоего участия в его поражениях и грехах, как будто и сейчас он не из тебя ревнивой памятью вызывает прошедший день. Пойми: он брат твой по духу и по судьбе; он так же, как и ты, нуждается в сочувствии, справедливости и суде. Будь с ним на «ты».

13. Здоровое тело – как чистая гладь зеркала, которая возвращает тебе твой внутренний образ незамутненным и непоколебленным. Ты узнаешь в нем себя.

14. В болезни есть свои бездари и гении. Одни смущаются: свою болезнь они воспринимают как постыдное отклонение от нормы. Другие наглеют: болезнь снимает обязанности и дает права. Настоящий больной вынашивает в душе тайную гордость: он смущен оказанным ему доверием. Не законодательство, но сама природа вручает ему в форме болезни неслыханные права: право тела на небытие, право духа на всеприсутствие. Как распорядиться ими? Гениально – внутренне реализовать в болезни все мифы, сказки и религии человечества. Болезнь – реальность того, чего нет, и нереальность того, что есть. Какая превосходная возможность метафизической фронды перед миром!

15. Ты, быть может, наивнее своих сверстников и коллег; но никогда не станешь их жертвой и даже вряд ли понесешь какой-нибудь ущерб. Отчего это так, что в кругу испорченных и растленных наивному всегда находится место по его наивности? Не приговор ли это ему?!

16. Воссоздать Создателя. Простить ему вину немогущества. Возвести немогущество в подлинно божественный атрибут.

Так же, как мы прежде нуждались в силе, так теперь нуждаемся в слабости; как нуждались в ведущем, так нуждаемся в ведомом; как раньше нуждались в будущем, в апокалип-

сисе, так теперь нуждаемся в истории и преданиях. Чем Он может стать для нас? – Не тем, чем раньше, но едва ли не большим, чем раньше. Подарить нашей «свободе», утратившей свои границы, второе измерение – в несвободу.

17. Философ может завидовать только писателю, писатель – только музыканту. Источается материя, кружится голова, захватывает дух...

18. Политика – это искусство победителя прикинуться побежденным и искусство побежденного разыграть победителя; это искусство выдавать победу за поражение, а поражение за победу; это искусство слабого – утрашивать и сильного – пресмыкаться.

Истина же в том, что победитель в некотором смысле и есть побежденный, а побежденный есть победитель. Мудрость в том, чтобы победу принимать за поражение, а поражение – за победу. Эстетический феномен жизни состоит в том, что слабость несет угрозу, сила же себя не знает.

Политика – игра на противоположностях, составляющих жизнь, мудрость, искусство.

19. В той же мере, в какой гений открывает истины, он создает заблуждения, ибо обосновывает превосходство своей истины над всеми прочими. Кладет в основание системы одни факты и выводит из них другие. Демократическая же мысль не утверждает – она пробует и предлагает, и только в тех ситуациях, которые требуют мысли (а не тех, которых сама мысль требует). Принципиальный эклектизм – вот кредо и великий вклад стихийного мышления масс в историю духовной культуры. Демократические философы (никогда и нигде не известные, слабые мыслью) сводят воедино то, что аристократические философы объявляют противоположными началами («духом» и «материей» и т. д.). В их путанице и эклектизме больше правды. Мир существует, следовательно, силы единства превышают в нем силы отталкивания. Мир «эклектичен». То, что искони считалось слабостью в философии, является ее силой.

20. Афоризм – нежное утешение мозга, бессильного перед яростными (в самозащите) тайнами бытия. Афористична может быть вещь. Осенний лист, занесенный порывом ветра в открытую форточку. Лопата на плече дряхлого старика. Забытая на скамейке книга с отчеркнутой строкой о любви. Природа сама изготавливает, чеканит афоризмы в знак милости к человеческой мысли. «Я помню о тебе».

21. В освоении своей телесной природы мы находимся на той же ступени развития, что древний человек, недочеловек – в освоении внешнего мира. Мы равны с ним в глухоте и бессилии. Для дикаря весь мир, его окружавший, был сплошное яркое пятно. Так и тело в нашем восприятии – сплошное пятно, скорее даже тусклое, чем яркое. По сравнению с посторонними наблюдателями мы даже проигрываем в точности непосредственного, чревного знания о себе. Преимущество *пребывания в себе* остается не использованным; мы только иногда приглядываемся, прислушиваемся к себе, но отдельных мышц, сосудов, капилляров, нервов внутри себя не различаем. Глухие и гладкие стены тюрьмы...

Йоги же учат своим примером, что тело – не тюрьма для души, а выход в путь, и дальний. Ничего нет в окружающем мире и в самых высоких его материях, в религии, искусстве или революции, чего сознание не могло бы обрести в собственном теле, полностью овладев им и научившись понимать его и трактовать. Тогда, может быть, и вовсе не было бы нашего «цивилизованного» мира вне нас; все, в чем утверждалось бы сознание человека как в материальной твердыне, замыкалось бы поверхностью его тела. Пределом и естественной границей всего человеческого оставался бы сам разносторонний и гибкий человек.

Однако после всего, что сделано, после всех праведных и неправедных жертв, которые только в будущем, только в «потустороннем» окупятся – не извращение ли этот «здоровый» путь?

22. Чья кровь в красном цвете полотнища? Тех, что несли его, или тех, чью кровь проливали? – Две крови. Две слившиеся, спекшиеся в одном цвете крови. Символ слияния всех кровей, на которых замешана история. Капля алчет другой капли, и кумач – это только эстафета крови, короткий зов крови пролитой – к той, что еще в сердце³⁸.

23. Мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы... Вот мысль! Мысль, которая не нуждается в доказательствах.

24. Почти все донныне существовавшие философии напоминают кроссворды, где часть клеток с самого начала затушевана (как условие игры), а другая часть образовавшейся конфигурацией сама подсказывает свое заполнение. Настоящая же философия (которая в основном еще только в будущем) должна не из клеточек исходить, а из чистоты и незапятнанности мира. Не сводить смыслы в готовый и замкнутый «переплет», но творить грозный и всеобъемлющий хаос смыслов.

25. Я говорю философии «должна», чтобы она перестала говорить «должен» миру.

26. Ведь сказано же: человек создан по образу и подобию Божью. А если без Бога? Что, если человек всего-навсего метафора? Эвфемизм? Уклончиво-пристойное обозначение какой-нибудь метафизической непристойности? Что, если человек – прием риторики? Украшающая фигура речи? Риторический вопрос – когда все уже решено и ясно? Что, если поиски его и сомнения – лишь форма для усиления категорической констатации? «Счастливы ли ты, что живешь на земле? Имеешь ли все необходимое для блага?» И человек мучительно колеблется между «да» и «нет», и весь размах его искусства, его философии, его морали – между этими двумя решениями, как виноград в давяльне. А вопрос-то задан поверх выбора, поверх сомнений, задан не для того, чтобы получить лишний ответ, но для того, чтобы всей силою голоса и разума воскликнуть: «Да, счастлив ты, что живешь на земле, да, все необходимое имеешь ты для блага!» (И не укоризна ли еще прозвучит?)

27. Самое сокровенное мое ощущение: что меня нет. Ни здесь, ни там, ни раньше, ни потом. Но я возможен.

28. Родная моя, как горько! Я дал тебе имя, и оно замкнуло тебя, исчерпало. Да, вот это и есть ты – то, как я втайне назвал тебя. И уже никуда не уйдешь.

Но жизнь твоя, необходимая мне, вселилась в это имя и стала его поэзией.

Когда рождается поэзия, что-то в ней непременно умирает. То, что ты любил, чему ты не побоялся дать точное имя, что принадлежало когда-то твоей жизни, а теперь – бог весть кому.

29. Там, где перед нами самый несомненный, человечески убедительный тип поведения, – там нет места принципам. Принципы лгут. Начать с правил вежливости: нелепо же их возводить в принцип! Можно нарушать их из принципа, но если следовать им, то, конечно, отнюдь не из принципа, а из потребности, привычки, хорошего вкуса, уважения к людям.

³⁸ Об этом фрагменте см. в статье «ПОЛИТИКА».

Еще нелепее как принцип: «не убий». Но убивать (определенного рода) людей вполне может сделаться принципом. Принцип – самообман человеческой природы, причем злостный и небескорыстный самообман. Можно думать, что принцип – это служба, ответственность, повиновение; на деле принцип – это требование, и требование лишь по видимости к себе, на деле же – к другим, через себя как инстанцию, пример, образец.

Почему же ты когда-то твердил себе: будь смелым, будь великодушным? Неужели ты заблуждался?

Или это ты сейчас принципиален – против принципов? А тогда, с принципами, ты не был принципиален?

30. Те, кто любит тебя, – вот судьи твои на земле. Ты обязан им повиниться во всем. Но пойми свой страх, когда приблизишься и узнаешь: они – твои потерпевшие. Все твои преступления были против них.

Отсюда формула суда и судей. Это потерпевшие, но любящие. Одного страдания или одной любви недостаточно для справедливого приговора.

31. Гуманизм смотрит на человека сквозь туманную дымку, порожденную как бы далеким воспоминанием, когда предмет приобретает расплывчатые, нежные, воздушные очертания. Гуманизм существует только в этом далеком от человека измерении; гуманизм – это любовь к человеку, отвергнутая им самим, изгнанная им с его путей и теперь только вспоминающая и фантазирующая о нем. Настоящая любовь ясными глазами глядит на человека в упор и испытывает весь трагизм смертной схватки с ним. Столкновение и битва с человеком – вот что такое любовь к человеку. Хорошо также расскажет о человеке заяц, затравленный охотой, укрощенная бетоном река, солнце, ослеплявшее его по утрам, дерево, которое растет над его могилой. Не именем человека, но именем солнца, травы и земли надо называть любовь к человеку: только они его знают, только они сохранят память о нем.

Гуманизм же покрывает лишь крохотную часть человека; фиговый листок на старинных картинах – это аллегория и гипербола гуманизма. Гуманизм – это первое ощущение человека, изгнанного из рая Божья, пришедшее на смену вере: это стыд за себя и жалость к себе. Уж и Бога нет, и рая, и греха, а стыд все остается. И этот стыд за человека мы называем почему-то именем человека – гуманизмом.

32. Болит? – это смерть чем-то восторгается в тебе.

33. О, пусть будет неудача; но дай ей быть моим творением, а мне – ее творцом. Творчество оправдывает любую неудачу.

Но только удача оправдывает творчество.

34. Как люблю я тип небольшого писателя, который выполняет все, что может! В их писаниях ощущаешь это их тихое счастье с собой.

35. Что есть быт в его отношении к подлинному бытию? Да, это «суета сует и томление духа»; но какой дух, не познав томления, набирает высоту? Отречение Екклесиаста от земных благ сурово и величаво, но в нем нет гордыни, нет высокомерия перед отряхаемым прахом мира сего; и разве имело бы это отречение религиозное достоинство и высокий смысл, если бы Екклесиаст не любил страстно этот пылящий и смердящий, но блистающий мир? Он перечисляет подробно, с вожделением памяти, виноградники, и дома свои, и скоты, и все, чем обладал в этом мире. Поэма быту, ностальгия по быту как по брошенной милой

родине, скорбь, что не быту суждено обозначить человеческий удел и упокоить душу, – вот что такое «Екклесиаст». Не проклятие и осуждение быта, как обычно понимают, а невоплотимая и потому мучительная любовь к быту, жалоба на непрочность быта и мечта о нем, сокрушаемом в потоке времени. Как бы он желал, чтобы верность быту не противоречила его бытию в вере, чтобы свыше на быт была наложена печать вечного блага!

Быт как источник творчества имеет ряд преимуществ перед небытовыми состояниями жизни. Быт учит суровому мужеству, долготерпению и воспитывает послушников в искусстве. Быт сопротивляется поэзии «высоких мгновений». Быт – почва и орудие мифа. Восторг, любовь, страдание, экстаз – все это слишком тонкая материя для мифа; они с трудом поддаются символизации, переводу в инобытие, ибо и здешнее их бытие само по себе почти символично. Лишь бытовой факт может выдержать высокое смысловое напряжение мифа, не превращаясь при этом в аллегория. Быт, как тема, великодушен: и мистику, и натуралисту он выложит немало откровений.

36. Говорят о возмужании, зрелости; в частности, о том, что повышенное внимание к социальным и политическим проблемам (в отличие от психологических и метафизических) – признак зрелости. Но есть две разные зрелости: зрелость тридцатилетних и зрелость пятидесятилетних. Зрелость силы и зрелость разума. Если одни пытаются воздействовать на разум силой, то другие – на силу разумом.

37. Когда, кому, кем сказаны эти страшные слова: «пусть тот, кто вопиет о голоде, проглотит свой язык»?

Гротескная формула самодостаточности. Не обольщайся, что они – не твои.

38. Сальерианский вклад (пусть легендарный) в мораль и философию гуманизма. Убийство Моцарта – торжество духовности и разума над слепым выбором природы. Моцарт своим легким даром творчески обездолил множество музыкантов (современников и потомков) – менее вдохновенных от природы, но куда более мощных и целеустремленных человеческих натур; Моцарт был отравлен во имя человека и его труда, его пота. То, что Шиллер говорил о новом времени (перевес духа над природой и т. д.), чуть раньше гротескно доказал Сальери.

Не так ли и нынче укрощают «природу»?

39. Двух родов личности остаются в истории. Одни остаются своими деяниями, влиянием на судьбы потомков, другие – только собой, фактом своего существования. Первые – субъекты истории, вторые – ее объекты. О первых история оставляет священные или героические жизнеописания, о других – характерные анекдоты. Из жизнеописаний мы узнаем, кем делается история, из анекдотов – кого она делает. Александр Македонский – и Алкивиад. Юлий Цезарь – и Антоний. Наполеон – и Фуше. Маркс – и Бакунин. Моцарт – и Сальери. И среди писателей: Гете – и Гельдерлин. Достоевский – и Розанов. Великие творцы и великие персонажи. Если первые дают истории субстанцию и смысл, то вторые дают истории символы. Поступательный ход истории – и миф, складывающийся в ее недрах.

Наша ситуация весьма предрасполагает к символистическому вкладу в историю. Поскольку не мы делаем, а нас делают. И очень упорно. Что за причудливые типы всплывут со временем! Пожалуй, на сотню лет хватит романистам со вкусом к мифологическим сюжетам.

40. Какое слово остается победителем в этом мире? Самое безумное слово, эпилептическое вещание Мухаммеда.

Будущее любит в настоящем только крайности, а из всех крайностей – отклонение от разума. Разумное слово требует и разумного к себе отношения – как ему подчиниться?! Но нет ничего легче, радостней и возвышенней, чем отозваться на безумный клич и пойти на дело, исход и последствия которого – тайна. Только это и есть возвышенное слово. Всякое другое – мудрое или глупое.

Будущее составляется из крайностей настоящего и «золотых средин» прошедшего. Только это и можно брать в расчет. Но как найти свой край, чтобы он не был с какой-нибудь стороны глупой серединой?

41. Все то, что плохо усваивается природой человека (в этическом смысле), достается его памяти. Хорошее растворяется в нем выше и ниже сознания. Человек несет хорошее, выпавшее ему на долю, в клеточках своего тела, в инстинктах, в выражении лица. Все непереваренные остатки жизни откладываются в его памяти – чтобы долго мучить. Ты помнишь свои постыдные дни – значит, в существе твоём нет их яда, ты здоров. Забыл – болезнь твоя скажется как-нибудь невзначай, выдаст себя в нечистом взгляде, в потливости рук, в циническом разговоре, который ты разрешишь себе продолжить на минуту дольше, чем раньше.

42. Если тот или иной человек идет дорогой своего рода или своей страны, а страна идет дорогой человечества, то в чей след ступает человечество? – Ему не остается дороги, не остается шагов впереди идущего. От самых границ человеческой вселенной к нам приходит дыхание свободы. Необходимость наступает только там, где человечество делится на степени и разряды. Необходимость всегда рангом ниже свободы.

43. Эта женщина для тебя – подготовка к призванию. набросок невоплотимой идеи. Тем сильнее ты любишь. Тем меньше она верит тебе.

44. «Праздновать труса...» Так оно и есть. Трусость – великий праздник победы над самим собой. Ликующие послания друзьям, созывающие на торжественный пир: «Я трус отныне, веселитесь, друзья, бытие мое теперь – полная чаша. А вы не смеете, друзья мои? Для вас еще не пробил час? Эй, наберитесь мужества». И восхищенные возгласы вокруг: «Он – трус! Он – трус!»

45. Самое грандиозное сознание, на какое способен человек, – это сознание собственной бездарности и пустоты. Это выше и труднее всех прочих сознаний. Больше голова человека вместить не может. И так уже его сознание – впервые! – превосходит его бытие.

46. Творить нужно через себя, вопреки себе, в мечь и поношение себе; творчество должно исходить из начала, идеи, цели, противоположной и враждебной творцу. Поиск врага и убийцы в самом себе – вот что такое творчество. Переверни свою жизнь, опрокинь свои расчеты, оскверни свои вкусы. Только одолев наше сопротивление и муки, творчество становится вполне нами, нашей кровью и судьбой. Теперь можешь ставить свою подпись.

47. Люди пожившие, люди в годах задумываются о счастье. Но более правы отроки, которые задумываются о гении. Гений и счастье – одна судьба; полная мера счастья достается только Гете и Моцарту. Вместить в себя жизнь может лишь тот, кто создан для жизни.

48. «Как я могу поверить в Бога, – говорю я, – если Бог впервые явит себя, чтобы покарать меня за неверие?»

49. Преследование добычи и безудержное бегство от опасности: в эти две крайности вмещается животная природа. А также природа прогресса и реакции.

Но человеку известен еще третий путь: путь героической капитуляции. Не жизненный плюс к жизненному плюсу. Не минус к минусу. Но превращение минуса в плюс. Веди, веди в наступление свою капитуляцию! Верни себе путь и цель в самой невозможности их и в отказе от них! Услышь в ударах судьбы стук собственного сердца!

Отступая, человек учится узнавать свой минимум, свой предел. Предел человека – это и есть ты, человек!

Человек отступающий. Homo recedens.

16 сентября – 25 октября 1971 года

ПРИМЕЧАНИЯ

к «Метафизическому дневнику»

(26 июня 1973 года)

1. Придет когда-нибудь время страшиться за широту своих вчерашних обобщений. Самый страшный суд – суд точности, суд факта над сибаритствующей мыслью. Суд филолога над философом. Седая профессорша французского языка, до последних тонкостей познавшая долготу гласных в поэзии XVI века, – вот кошмар, который отныне станет являться мне в сумеречных застольях ума.

2. Любовь к афоризму, к краткой и четкой записи настигает нас в момент перехода от созерцательного расположения ума к напряженной концептуальности. Возвращаешься из отпуска, оторвавшись от травы, воды и своих отражений в ней, от всего, что ласкает и усыпляет ум, к своему сравнительно чистому, еще не загруженному столу (на нем только несколько полуспециальных журналов, разбросанных в беспорядке твоего отсутствия и мамино заботливого неухода). И вот – настоятельно тянешься к чистому листу: чтобы излить на него всю впитанную ласку одного только созерцания, не развращенного корыстной опекой идей. Мысль струится в ум, словно рассеянный утренний свет на чистые поля зрения. Позади – сладкая дремота созерцания; впереди – палящий зной идеи; и вот из рассветного состояния ума нечаянно рождается афоризм.

Сергей Юрьенен Три рассказа

Третий рассказ по понятным причинам не напечатан в России и по сей день, а второй – самый первый из прорвавшихся в печать в Советском Союзе. Первый же дорог тем, что написан в 16 лет, когда самоцензура означала «вдруг мама прочтет?».

Побег

Мама сказала:

– Тебе сколько?

– К восьми.

– Тогда вставай.

– Ладно, сейчас, – сказал я и высунул ногу.

Я встал, сделал зарядку. Сходил в ванную. Во время еды мы поговорили с мамой о юге. Я попрощался и пошел в школу.

– Один, пожалуйста.

Прошел вперед и стал с парнем. Он читал английскую книжку. У него была стильная сумка. Он был подстрижен ежиком. Он сошел на Долгобродской. Много народу сошло на Долгобродской.

На передней площадке стояла девочка, жила она где-то в новых домах. Мы учились в одной школе. Она была в белой кофточке без рукавов. Потом из глубины вагона пришла одна женщина и стала впереди нее, лицом ко мне. Брюнетка, в зеленом платье, лицо темноватое, нечистое.

Трамвай свернул на Первомайскую. Справа висело солнце. Улицу Первомайскую солнце разделяло надвое. Трамвай шел по границе солнца и тени.

Остановка – ул. Захарова. С передней площадки вошла девушка в черном платье, волосы у нее тоже были черные...

(Италия, подумал я.)

...она пошла в конец вагона, оплатила за проезд, и села, справа. Жгучая женщина.

Я вышел на Энгельса и зашагал вверх. Тень моя с погонами двигалась слева по тротуару. Я прошел мимо рекламных щитов, кого-то обогнал. Впереди шли девчонки из нашего класса, синяя кофточка Спивак. Свернул во двор.

Тень большого тополя закрывала песок.

На фоне забора стоял Ивашин и говорил с кем-то. Я подошел к нему, пожали руки. Пошли вниз в тени тополей на детскую площадку к беседке. Никитков стоял у ее столба, Казеко, Максимов, Ивашин сидели, – жал руки. Поговорили о вчерашнем матче на кубок Европы. Не сошлись мнениями Ивашин и Максимов. Шошитайшвили сидел и курил.

– Шыцко, говорят, утонула, – говорит Шоша.

– Ну и... с ней, шлюха, – говорит Ивашин.

– Не успел ты, – Максимов.

– Ну ее в... – Ивашин.

Приходит Коченков, жмет ладони.

– Чего ты в поход не пошел? – Казеко ему.

Он:

– Ну его, этот поход.

Казеко:

– А Женя Короткевич пошел.

Ивашин:

– И ты бы пошел, одним дураком меньше было бы.

Подходит Фролов.

Нехай.

Я:

– Чего у тебя глаза мутные.

Он:

– Чуть не загнулся вчера.

Ребята говорят о походе; кто был, как понравилось – никому не понравилось.

– Четыре минуты до звонка, – отмечает Никитков.

– Кому охота учиться в такую жару.

– А может, у нас первый физика?

– Он экзамены принимает.

– Да, экзамены с девяти, может, у нас первый.
– Давай чухнем.
– Ведь он, гад, засыпет. Как Вадика Белошеева.
– А где он?
– Тоже в поход ушли.
– Ну так как, чухнем?
– Если уходить, так сразу.
– Ты чухаешь? А ты? Ты? И ты? Пойдем на озеро. Ты пойдешь на озеро?
– У меня плавок нет.
– В трусах, у тебя же не рейтузы. Помню, как на море чухнули, а Вадик в порванных трусах. Все мы в длинных, понял.
– Э, Никита, сходи в класс, выброси папки.
– И я с тобой!..
Папки падают из окна сквозь листву тополя. Их ловят. Шоше папка свалилась на голову.
– Я думаю, где моя, а она мне по балде!
– Сквозь листву?
– Ну да!
Сашкина папка плашмя упала на землю, поползли тетради.
Чухнули.

23 июня 1966

Телефон

Единственной публикации этого рассказа – в районной газете Архангельской области «Ленинское Знамя» и под защитной рубрикой «Мы – интернационалисты» – предшествовала преамбула от редакции:

Сергей Юрьенен – молодой московский писатель. Его произведения публиковались в центральных журналах – «Неман», «Наши современник», «Дружба народов», газете «Московский комсомолец».

С. Юрьенен – участник семинара творческой молодежи Москвы, организованного МГК ВЛКСМ и московскими отделениями творческих союзов.

В издательстве «Советский писатель» готовится к выпуску первая книга писателя, куда, кроме рассказов, войдет и документальная повесть «Главные люди», главу из которой печатала наша газета.

Сегодня мы предлагаем читателям рассказ «Телефон», вошедший в сборник С. Юрьенена.

Телефон

...Аресты, допросы и пытки активистов, вожakov рабочего класса, студенчества и интеллигенции стали повседневным явлением. Власти держат в тюрьме – фактически в качестве заложников – Ромеро Марина, Санчеса Монтера, Фернандеса Игуансо, Лусио Лобото и других коммунистов.

Игнасио Гальего, член Исполкома и Секретариата ЦК Компартии Испании.

И никому не открывать...

Там, за дверью, еще слышно лестницу. Мама уходит на собрание, и ступеньки, затихая, спускаются все ниже.

Этажом ниже. Двумя...

Уже не слышно.

Ушла.

А телефон остался. Вот он. Черный, толстый. Выпятил диск. Пухлые уши свесил. Слушает, затаив гудок. Эспе сняла трубку. Прислушалась. Гудок перетекал в ухо, наполнял голову... Голова закружилась. Эспе положила гудящую трубку. С оглохшим ухом она вбежала из коридора в комнату, к окну. Придвинула стульчик, взобралась на него с ботинками.

Внизу лежала улица, солнечная до половины. Тротуар на их стороне был еще на солнце, и мама вышла к самому краю. Стояла, помахивала сумочкой. Мимо проехали раз, два, три... семь машин, последняя без крыши, красная внутри, на заднем сиденье развалился мужчина в белом костюме, он повернул голову на маму. Улица опустела, мама вошла в тень. Идет так, что на маму не похожа: чужая женщина. На той стороне она прошла под полосатыми тентами над кафе. Из кафе вышел мужчина, огляделся по сторонам. Нерешительно. Наверное, не знал, куда идти. Он курил сигарету, и на нем был белый костюм. Он решил пойти в ту же сторону, что и мама. Курил сигарету на ходу. Держа стульчик перед собой, Эспе перебежала в кухню. Мужчина в белом костюме быстро приближался к правому краю окна. Перед тем как исчезнуть, он успел бросить сигарету в водосток. Все. В окне то же, что и всегда. Никому-никому.

Эспе прыгнула на пол. Один апельсин лежит у самого края стола, отдельно от двух других. Эспе толкнула его пальцем и проследила, как он катится к остальным, чтобы лежать вместе. Апельсин катился медленно. При каждом обороте он делал усилие, чтобы перекатиться вмятым местом, где у него плоско. Этот, конечно, достанется ей.

В открытую дверь родительской комнаты видно, что Тити полусполз с тахты на пол, разбросал руки и так лежит. Ладонь разжалась вокруг рукоятки игрушечного револьвера. Эспе вошла в комнату. Рамон сидел глубоко на тахте, спиной к стене. Стена за ним белая, от этого волосы у него совсем черные. У него на ногах Ла Нена, и руки Рамона осторожно ее поддерживают, чтобы не повалилась.

Ла Нена еще маленькая, и поэтому на ужин ей будет не апельсин, а яблочное пюре. И не давать ей салат из помидоров. Все были в тех же позах, что и при маме, только Тити лежал повернутыми ногами на полу, как будто он мертвый. С закрытыми глазами. И пусть себе лежит. Не обращать внимания... Рамон положил себе под ботинки газету, и это снова показалось ненужным. Все равно они не выходят на улицу, и ботинки чистые. Поэтому газета под его ботинками – вранье. Этой ненужной газетой он хочет показать, что он, Рамон, никогда не залезет с грязными ногами на тахту, даже если на самом деле они у него чистые. Такой у нее брат. И оба они, старшие, даже дома обуты в ортопедические ботинки. Чтобы предупредить плоскостопие. Вот.

Ла Нена любопытно посмотрела на нее с Рамона: потому что Эспе вошла, и что-то в комнате изменилось. Тити на нее не смотрел, потому что продолжал быть мертвым. Рамон над головой Ла Нены смотрел так, будто просил разделить с ним его тревогу: «Мы одни дома, наедине с телефоном...» Рамон ее сегодня раздражал. С самого утра, когда мама сказала, что вечером им придется снова побыть одним.

Тити смутился от затянувшегося молчания. Приоткрыл один глаз. Он поглядел, что все в порядке, и скатился на пол совсем, грохоча револьвером. Он покатился дальше. Каждый раз, оказываясь на спине, целился в Эспе, скользяще ударял по курку револьвера другой ладонью, выкрикивал с азартом:

– Пах!

– Пах!

– Пах! – револьвер не щелкал, и приходилось помогать ему голосом. Тити докатился до шкафа и стукнулся об него (не больно). Шкаф заскрипел в ответ. Он был непрочный, этот шкаф.

– Что же ты не падаешь? – удивленно спросил Тити с пола. – Я разрядил в тебя весь автомат, и ты давно убита. Падай!

Эспе ответила ему строгим взглядом. Взрослым... Тити поднялся с пола, сердито дыша. Все испортила.

– Так нельзя! Если мертвая, то мертвая. А так нельзя.

Он прошел рядом и нарочно отстранился, чтобы не коснуться Эспе. Он выглядел очень сердитым и от этого – совсем ребенком. Несмышленишем. Револьвер ненужно свисал в руке, уже неинтересный. Он вышел из комнаты.

Шкаф наконец надумал и приоткрылся.

Угрожающе скрипя, дверь поехала все быстрее, сметая зеркалом отражение всех троих.

Отворившись, шкаф умолк.

Внутри брякали голые вешалки, на одной висел папин пиджак.

Пиджак был такой пустой на вешалке. На отце он сидел хорошо...

Вряд ли папа станет носить его, когда выйдет из тюрьмы. Через двенадцать лет будет другая мода. Эспе станет взрослой через двенадцать лет. Вот и они пойдут по улице с папой, и на папе будет другой пиджак. Не этот, черный, а на папе будет белый костюм, новый, белый, и красная гвоздика в петлице, и все будут останавливать папу, и жать ему руку, и хлопать по спине.

Эспе быстро взглянула на Рамона. Глаза у него блестели, веки припухли, и Эспе отвела взгляд. Мужчина должен держать себя в руках, а Рамон – мужчина.

Ла Нена пропищала: «Пи-пи!»

– Видишь, она уже просится, – значительно сказал Рамон. Как будто в этом его заслуга.

Эспе взяла Ла Нену на руки и понесла в ванную. Такое ощущение, что Ла Нена каждый день прибавляет в весе. Рамон открыл перед ними дверь, Эспе внесла Ла Нену в прохладную темноту. Рамон щелкнул снаружи выключателем, и в зеркале напротив возникло пол-лица: два белых банта. Черные волосы. Уши, как обычно, торчат, и это вряд ли хорошо. Как-то Эспе обратила внимание мамы на свои уши. Мама засмеялась и сказала, что у твоего отца, когда он был маленьким, они тоже торчали. Рамон выволок из-под ванны горшок, и Эспе спустила с Ла Нены штанишки и посадила ее точно и удобно. Старшие, они удовлетворенно посмотрели сверху на Ла Нену, а Ла Нена, запрокинув головку, посмотрела на них. Горшок под ней не отзывался, и старшие, чтобы не отвлекать Ла Нену, вышли из ванной. Рамон остался ждать за дверью, а Эспе пошла взглянуть на Тити.

Он был на кухне. Выпрямился на стульчике, когда вошла сестра, и его ладони схватились за подлокотники.

– Я апельсин хочу, – заявил он. С непрощедшей обидой в голосе, с готовностью к новой.

Эспе сказала мягко:

– Но ты ведь знаешь, Тити, что апельсины на ужин... – и, заметив, что кулачки его побелели от злости, добавила загадочно: – Это ведь не простые апельсины.

Взяла со стола и показала.

– Видишь? Это «бычья кровь»³⁹.

³⁹ «Бычья кровь» – сорт апельсинов.

Тити с интересом перевел взгляд с апельсина на сестру.

– «Бычья кровь», – повторила Эспе. – Внутри он весь красный, и если съесть его перед заходом солнца, то...

Тити перебил восторженным криком:

– Я стану быком!

Он выпал из стульчика, шлепнулся ладонями об пол и медленно побежал на четвереньках. Бежал, забирая немного боком, бодал воздух затылком. На некоторое время он станет быком и прекратит наконец свою пальбу.

Рамон посторонился и пропустил перевоплотившегося Тити дальше в коридор, а в это время Ла Нена встала вместе с горшком.

– Что у вас тут? – подбежала Эспе.

– Ла Нена, – брезгливо показал Рамон. – Вытри.

Эспе натянула сестренке штанишки и передала ее с рук на руки Рамону.

Вытирая, спросила:

– Почему – я? Ты ведь отвечал за горшок – ты и должен.

– Это не мужское дело, – отрезал Рамон.

Эспе взглянула на него жестко – исподлобья.

Она неуклюже ворочала тряпкой по кафелю. Швабра была выше ее. Она растерла мокрое по всему полу, перевернула тяжелую тряпку и вытерла еще раз – досуха. И поставила швабру в угол. И с вызовом посмотрела на брата.

– А папа, – сказала она, предвкушая победу, – сказал, что нет мужских и женских дел. Помнишь? В последний раз, когда нас к нему пустили? И что должно быть равноправие.

Из-за Ла Нены Рамон ответил ей яростным взглядом. Но возразить против папы он не мог, и Эспе это знала. Это был удар ниже пояса, и Рамон переживал его мучительно, но молча, стиснув зубы от бессилия ярости. Как подобает мужчине. Он бережно протянул сестре Ла Нену, Эспе протянула руки, чтобы бережно ее принять, и в этот момент раздался телефонный звонок.

...Если уронить ребенка – у него вырастет горб.

Крепко и бережно держали они Ла Нену, глядя друг другу в глаза. Лицо Рамона осунулось, когда телефон позвонил в третий раз. А Ла Нена между ними вдруг заплакала.

В коридоре пробежал топот, удвоенный ладонями.

– Нет, – выкрикнул Тити. – Здесь живет сеньор Бык! И грохнул трубкой.

– Сеньор Лопес здесь не живет. Здесь живет сеньор Бык!

«Сеньор Бык» выбежал на них и остановился на четвереньках, поводя медленно головой: выбирал, кого забодать сначала, брата или сестру.

Эспе отнесла Ла Нену в родительскую комнату, опустила в загончик. Потом она открыла шкаф, в котором беспомощно висел пиджак папы. Отступила на шаг, посмотрела на себя внимательно в зеркало. Лицо у нее тоже осунувшееся. Но оно всегда такое. Очень уж они у вас худые, сеньора...

В коридоре Рамон пытался поставить Тити на две ноги, Тити вырывался и упрямо вставал на четыре.

Эспе решила вмешаться. Сказала внушительно:

– Тити.

Нарочито медленно братишка поднялся и стал, не глядя на Эспе, внимательно рассматривать свои ладони. Одну. Потом другую.

– Ты не должен подходить к телефону. Ты понял?

– Понял, – легко согласился Тити. И вытер ладони о джинсики.

– Скажи мне: «Я...»

– Я, – сказал Тити.

– «...Больше не буду...»

Тити повторил и вздохнул прерывисто.

– «...Подходить к телефону!»

– Хорошо, – сказал Тити и взглянул на сестру с удовольствием.

– Честное слово?

– Честное слово, – крикнул Тити, все опаснее оживляясь.

– Все, – сказала Эспе.

– Я могу посторожить там... – предложил Рамон. – У телефона?

Эспе проницательно на него посмотрела. Если ему хочется увильнуть от более ответственных дел – пожалуйста. Только зачем напускать на себя такую важность? Подумаешь, сидеть у телефона! Все равно, когда мамы нет, трубку берет не он, потому что очень боится, а она, Эспе, потому что – старшая.

Выразив все это взглядом, Эспе небрежно кивнула в знак разрешения.

Мальши – вот ответственное дело.

– Садись, – подтолкнула она Тити.

Братишка охотно забрался на тахту. Она окинула его задумчивым взглядом. Решила:

– Будем слушать музыку.

Снимая крышку с проигрывателя, оглянулась на загончик. Вцепившись ручонками в веревочные ячейки, Ла Нена внимательно следила за ними сквозь сетку. Пусть и она послушает. Слух надо развивать с детства. Под крышкой лежала пластинка, которую ставила мама, когда была одна в комнате, и еще мама слушала ее ночью, очень тихо. Это, конечно, не для детей.

Эспе опустила мамину пластинку в прозрачный мешочек и положила сверху на стопку. Что же им поставить? – приподнимала стопку в разных местах, заглядывала на обложки. Потом она вытащила советскую пластинку, подарок папы.

– «Петя и волк», – объявила она детям.

Пластинка стала вращаться, и в сумерках заиграла музыка.

Тити обмяк в ее руках, молчал под музыку, окно на кухне все красное от заката, и в комнате уютно, сумерки, музыка тихо, и братишка такой мягкой и теплый...

Когда она услышала первый звонок, ей до слез стало жалко, что придется тревожить Тити. Ла Нена заплакала.

Пробив дыру в доме, телефон умолк, собираясь с силами.

И зазвонил снова. Яростней. Др-р-релью, др-р-р-релью дырявит дом. Угроза забирается в эти дыры. Вползает, забирается во все уголки. Заполняет дом. Жутью пробегает по спине, сводя лопатки. Дрррр! Она идет. В коленках слабость. Снимает трубку. Трубка говорит. Прямо в ухо. Этот голос... Она сразу узнает его, голос. Из него вынули губы. И язык. И дыхание. Люди говорят не так. Это голос телефона. Красных и зловещих проводков, блестящих железок, мертвой пластмассы, пыли в решетках его ушей. Голос этой твердой тяжести, которую так легко поднять двумя руками... И грохнуть! Чтобы голос разлетелся вдребезги, на кусочки, на твердые злобные звуки – по всему полу! Его нельзя будет собрать снова. Даже если кто-нибудь попытается... Его можно будет смести со всех углов в аккуратную кучку. И отнести на краю совка. В мусорное ведро. Вот куда!

...Телефон трясся от ярости, умолкал, снова принимался звонить. Рамон прижимал к себе толстый том, каталог игрушечных электропоездов, и ему нестерпимо хотелось в уборную. Но он боялся шевельнуться. Сестра брала трубку. Слушала ее, изо всех сил прижимала к уху. И смотрела на Рамона, как слепая, будто и не было его здесь, перед ней. Рамон почувствовал, что уши, как у зайца, прижимаются к вискам, стягивают кожу на лбу.

С трубкой в руке сестра сползла по стене, жестко стукнулась об пол. Уставилась, еще слепая, на свои колени. Они у нее белели в сумраке. Рамон вынул потную трубку из ее руки. Приложился робко. Никого. Гудок... Он бережно положил пустую трубку на две податливые кнопки телефона. И присел на корточки, пытался заглянуть снизу сестре в лицо, а она все упрямее нагибала голову, один бант развязался, пока совсем не скрылась в своих жестких коленках. Туго обняла их руками. Рамон растерянно сидел перед ней на корточках, не придумать, как поступить? Может быть, она плачет, как все женщины? Тогда, как мужчина, он должен утешать. Но как к ней подступиться?

Эспе резко поднялась и пошла от неслышного телефона, волоча за собой тяжелые ботинки.

Она выключила бесшумно крутящуюся пластинку. Тити сонно дышал, и она прикрыла его углом пледа. Ла Нена еще всхлипывала над сеткой. Один за другим Эспе отделила ее пальчики от веревочек и положила Ла Нену на мягкое дно, а сама уселась на полу перед вагончиком, поудобнее разместив свои ботинки. Они долго смотрели друг на друга, всхлипыванья Ла Нены все реже, и Эспе погода спела сестренке такую песенку, из папиного детства, в его деревне пели эту песенку:

У меня есть дойная корова. Это не простая корова -
Она дает мне сгущенное молоко.
Вот такая симпатичная корова. Динь!
Дон!

Даже сама развеселилась.

* * *

«Звонили сегодня?» – первым делом спрашивает мама.

«Угу. Спрашивали, где ты. Я молчала, а они все спрашивали, а потом сказали, что все равно до тебя еще доберутся. Потому что ты тоже «красная», как папа».

«Ты не должна их бояться».

«Я и не боюсь».

«Товарищи узнали, что папу на днях переведут в другую тюрьму. Мы тоже переедем вместе с папой. В другой город. Может, там будет по-другому».

«Сказали еще, что мы тоже «красные», только еще не подросли как следует. Но что мы тоже на очереди у них, пусть только подрастем. А я молчала».

Мамины руки прижимают ее к себе.

«Пусть у нас не будет телефона, хорошо? – бормочет она в мамино тепло. – Там, в другом городе...»

Октябрь 1973

[Газета «Ленинское Знамя»,

Орган Устьянского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся, вторник.

31 декабря 1974 года (Устьянская типография уприздата Архоблсполкома. Шангалы, Школьный переулок, 2.

Тираж 10146.)]

Москва, ты кто?⁴⁰

*Stay away from CIA.
Студенты 60-х
в США*

Остальные были девушки.

Мы пропускали их вперед, пытаясь, как плоско они шутили, надышаться перед смертью, пока не остались вдвоем в загибе коридора – я и незнакомый юноша. Москвич.

Он стоял, опираясь плечом о стену, я сидел в нише на подоконнике. Стриженный мех импортных его ботинок топорщил складки брюк. Впалую грудь под пиджаком обтягивал темно-зеленый свитерок нездешней выделки – не из простой семьи москвич. Впрочем, кроме меня и Э***, ныне профессора в Америке, кто был там из простой? Одна из девочек, к примеру, родилась в Женеве. Та самая, которая распоролла себе ладонь в метро – бритвой, врезанной кем-то в поручень эскалатора.

Сокурсник к нашей группе не принадлежал. За первый семестр на общих, строго обязательных лекциях в Коммунистической аудитории мне примелькался весь курс – кроме него. До этого на факе я, кажется, вообще его не видел. Полгода проболел? Богатырским здоровьем от него не веяло, но особо болезненного впечатления он не производил, разве что был бледноват и очень уж сутулился с видом озабоченности чем-то потусторонним. Предстоящее его, видимо, не волновало. Я тоже не мог дожидаться, когда я, наконец, забьюсь в нагретый задний угол автобуса 111, чтобы в предвкушении дальнего маршрута до Ленгор достать из сумки «По ком звонит колокол». Но здесь и сейчас, сидя в выстуженной нише, все же заставлял себя сосредоточиться на книжке Лихачева Дэ Эс. Он же был отрешен всецело. То и дело он вынимал пачку «Столичных» и удалялся на черную лестницу, возвращаясь бледней, чем прежде. Вдруг он запрокинул голову и выхватил носовой платок. Освобождая место, я подвинулся. Он сел, распространяя тонкий запах духов – не удушливой «Красной Москвы», которой душили мои точно так же наглаженные платки, пока я не оказался за пределами маминой досягаемости.

– Россия, я твой кровеносный сосудик...

Стихи, которые он иронически прогнусавил, я, конечно, знал, но этого ничем не выдал. С зажатым носом сокурсник повернулся:

– А ты, я знаю, пишешь.

Узко посаженные глаза смотрели пронизательно – но в то же время и застенчиво. Словно бы стыдились своей зоркости. Тогда он был младше и не столь неотразим, как этот двадцатилетний ветеран Великой Отечественной и курсант школы контрразведки «СМЕРШ», фото которого помещено в мемуарах, лежащих рядом с моим компьютером теперь, когда я неизвестно отчего об этом вспоминаю в цивилизованной стране – спустя не жизнь, эпоху! Но глаза те же. Взгляд. Который красивому курсанту обеспечивал доверие послевоенного поколения советской творческой интеллигенции, а сыну его – мое. Хотя, как помнится, тогда я отчего-то воспротивился порыву расколоться:

– С чего ты взял?

– Вид у тебя такой... Что, прозу?

Машинально я пошерстил свою бородку а-ля Мышкин.

⁴⁰ Прототип главного героя этого рассказа Андрея Друганова – Сергей Бобков, в то время – студент филфака, сын начальника 5-го управления КГБ Филиппа Денисовича Бобкова, занимавшегося борьбой с диссидентством и «идеологическими диверсиями». Сергей Бобков впоследствии стал поэтом и литературным администратором, получил премию Ленинского комсомола, в 1991 г. выступил на стороне ГКЧП, после чего всякие упоминания о нем исчезают из прессы.

– А ты?

– Наоборот.

Момент сближения тех юношей прервала уроженка Женева, которая выскочила как ошпаренная: «Садист!» – и гневно затрещала за углом паркетом пустого здания на Манежной. Кому-то надо было идти, но поэт сыро потянул носом и запрокинул голову. Делать нечего: я поднялся и отправился на экзамен по родной словесности, которая тысячу лет назад в своих монастырях не ведала, что превратится в дело государственной важности.

– Андрюша Друганов? – с какой-то насильственной улыбкой приподнялся навстречу мне доцент. Пропустив всех наших девочек, выглядел он изнуренно. На что и был расчет, который оправдался – несмотря на то что для начала я его сильно разочаровал. Дуя в зачетку, я вышел в коридор, где Андрюша успел высказать пожелание, что надо бы продолжить нам знакомство, ибо: «Важно не то, чему ты в университете научился, а каких людей там встретил...»

– Сказал Хемингуэй, – ответил я. – Ни пуха!

– К черту.

* * *

Продолжили мы только в следующем учебном – сразу после Августа.

С одной стороны, не самый паршивый был момент. Я еще ничем не осложнил себе жизнь. Еще не влюбился, еще получал стипендию плюс перевод из дома. С другой стороны, вот уже года три как мои рассказы, несмотря на поддержку Абрамцева, не могли пробиться в печать: то журнал менял курс, то год оказывался юбилейным. Тем не менее надежда оставалась вплоть до того самого момента, когда мы услышали с проспекта странный гул. Я был на каникулах в городе, который одновременно был столицей Западного военного округа. Бывшие одноклассники, мы распивали у приятеля, который жил в центре. «Кино, что ли, снимают?» Прекратив распитие, мы вышли на лоджию и увидели, что движение перекрыто. По Ленинскому проспекту слева направо, то есть строго на Запад, двигалась головная танковая колонна. Приятель, отец которого работал в республиканском ЦК, обычно знал все, но при виде бронированной мощи, рассекающей город, обалдел, как и мы. «К параду, может, готовятся...» – «В честь Дня шахтера, что ли?» – «Может быть, Курскую дугу решили отметить. Двадцать пять лет...» – «Сегодня мы не на параде, а к коммунизму на пути», – пошутил я, но так оно и оказалось. Утром 21 августа по радио прозвучало «Заявление ТАСС» насчет оказания братскому чехословацкому народу неотложной помощи, «включая помощь вооруженными силами».

Не могу сказать, что мое возмущение не имело пределов, поскольку даже на кухне в отчем доме был риск нарваться на кулак отчима-полковника. Когда я вернулся в Москву и встретился на станции «Проспект Маркса» со столичным знакомым, этот румяный бородач опирался на трость своего деда, поскольку был избит на улице за выражение протеста. Флоренский сказал, что нашлись ровесники, которые вышли даже на Красную площадь, где сразу попали в лапы ГБ. В то время для меня были очень важны такие понятия, как «целостность» и «подлинность». Если целостность и была, то Август ее расколол, и чувствовал я себя не подлинным, а подлым. Я не только не вышел на площадь, я даже на комсомольском собрании курса не возвысил голос против, предпочтя на него не пойти: вся демонстрация протеста бушевала исключительно внутри меня. Все это значило, что время моей жизни вступило в конфликт с объективным – Большим историческим. Оно, Большое время, поставило под вопрос мое будущее, мой Проект и самого меня.

В общем, пребывал я не в самой лучшей форме, когда, вынув «солнышко», протиснулся на лестничную площадку. Было это на Ленинских горах, в только что открывшемся корпусе гуманитарных факультетов.

Студентки из хороших столичных семей щебетали как ни в чем не бывало. Американские сигареты курили не все, но большинство, поскольку отцы имели доступ в спецраспределители. Зависти, а тем более гнева я не испытывал, поскольку длинные эти сигареты с белыми фильтрами, тронутыми губной помадой с блестками, так элегантно выглядели в девичьих пальцах, совершали такие красивые движения к губам, так меняли движения ртов, что я впал в прострацию на тему об оральном сексе, который к тому времени испытал только три раза, причем партнерша мне, скорей, не нравилась, и было это еще во время вступительных экзаменов и в самом начале первого курса – давно. Без таких экстремумов, конечно, можно прожить, что мой случай и доказывал, но вовсе без любви... Вынимая пачку «Столичных», на площадку вышел Андрюша Друганов. Он был загорелым и выглядел намного лучше, чем той зимой, когда у него лопались сосудики. В коридоре от него как раз отвалил краснощекий детина в джинсовой паре «Ливайс», о которой я даже не мечтал. – На пьянку зывал, – кивнул ему вслед Андрюша. – Внук Молотова, кстати...

– А с дедом, кстати, что? – Фамилия ассоциировалась у меня, скорей, с «коктейлем», прославленном бунтующими сверстниками Запада, нежели чем с кошмарным прошлым родной страны.

– Вячеслав Михайлович живет и здравствует.

– Да ну? Что же он делает?

– Мемуары диктует поэту хуеву.

Меня, который думал, что монстра нет в живых, поразил не только факт, но уверенная его осведомленность.

– Откуда ты это знаешь?

– От отца.

– А кто он у тебя?

– Историк. А ты ведь как будто не курил?

– Закурил.

– Давно?

– Недавно. Двадцать первого августа...

Узко посаженные глаза оставались непроницаемыми. Но играть в гляделки Андрюша не стал, отвернулся к окну. Сквозь чистые новые стекла с высоты факультета открывался вид на внутреннюю территорию, включая двускатную крышу корпуса изначальной сталинской постройки, где, по слухам, находится Первый отдел. Все это озарялось зябким солнцем, и Андрюшу передернуло:

– Скоро дожди зарядят, потом зима... А ведь совсем недавно я нежился на Золотых Песках! – Он увидел, что в географии курортов я не силен. – В Болгарии...

Я открыл глаза:

– Ты был за границей?

– Ну, если можно так назвать... Курица – не птица.

– Все-таки, – отдал я должное, добавив, что перед каникулами тоже собирался за пределы одной шестой.

– Куда?

Я цинично ухмыльнулся.

– В Прагу.

– Ах да... Со студенческим строительным?

– Вот именно. Метро собирался братскому народу строить.

Был уже в списке...

– И?

– Отряд не заметил потери бойца.

– Может, оно и к лучшему. Все равно их эвакуировали раньше срока. Что меня возмущает, это как Зорина могли пустить?

– Причем комиссаром, – поддержал я с наслаждением, ибо прямо напротив факультетских лифтов уже третий день висел приказ об отчислении. Комиссар на досуге вел драмкружок. По возвращении из Праги он изнасиловал своего Гамлета, который, не задаваясь лишними вопросами по малолетству, тут же выбросился из Дома пионеров.

– На лице же была печать порока, – с брезгливой гримасой сказал Андрюша и добавил, возможно, в адрес Первого отдела, неизвестно почему забравшего меня: – Ддуболомы...

После чего пропал.

* * *

Через год, когда я был уже безнадежно влюблен, он с опозданием вошел в кабинет заместителя декана по учебной части. В своем импортном костюме Хохлушин выглядел как цэрэушник в фильме «Ошибка резидента». Переливаясь стальным блеском, он поднялся из-за стола.

– Прошу любить и жаловать: наш новый семинарист. Только что напечатался в научном журнале. Поздравляю с первой публикацией, Андрюша. Где мой экземпляр?

Андрюша пообещал – когда получит авторские.

– Смотри! Чтобы с автографом.

Во время семинара все поглядывали на дебютанта, а старый мой знакомый отчужденно сидел в углу, держа себя за худое колено переплетенными руками. На безымянном пальце правой у него появилось золотое кольцо.

– Поздравляю, – сказал я, когда мы вышли в изморось и двинулись к высотной пирамиде с озаренным шпилем.

– Подумаешь, анноташка... Стихи мои не печатают.

– С законным браком.

– Ах, ты об этом... Дочь, между прочим, видного ученого.

– Тоже историк?

– Почему? – удивился он. – Физика ядра. Наталья будет синхронисткой. ООН, ЮНЕСКО... Завидую! Увидит мир.

– Ты тоже видишь.

– В отмеренных пределах. Я ведь, – вздохнул Андрюша, – на соцлагерь обречен.

– Почему?

– Из-за отца.

После Москвы меня, не москвича, ждало распределение в неведомые дали одной шестой, но, будучи юным и отзывчивым, я проникся внеклассовым чувством сострадания к обладателю столичной прописки, который стал жертвой, как я решил, отца-инакомысла из круга академика Сахарова. Из тех, что пытаются ревизовать официальную историю страны и покушаются на героические мифы.

– Но сын ведь за отца не отвечает? Те времена прошли.

– Как для кого...

* * *

Шпиль со звездой в лавровом венке ушел высоко в небо. Дом студента смотрел на нас сотнями окон. Они, эти глубоко врезынные окна без переплетов, светились или пребывали

в темноте, вдруг вспыхивали или гасли: не иначе в столовую спешили обитатели. Вид этот всегда возбуждал меня своей постоянно меняющейся перфокартой, шифром, ключ к которому ускользал от меня – притом что в этом световом хаосе я чувствовал присутствие послания лично себе. Он будет, конечно, главным персонажем моего романа, этот Дом.

У проходной сокурник поразил меня признанием. Оказалось, что он ни разу не был в общежитии:

- Действительно, рассадник вольнодумия?
- Идем покажу.

Пропуском для нас служила синяя книжечка студенческого билета со стершимся золотом аббревиатуры «МГУ». Во внутреннем дворе со скверами, где пахло отсыревшим листопадом, нас замкнули стены корпусов. Мы поднялись под нависающую громаду Главного здания, прошли турникет, и внутри нас охватило гулкое великолепие мрамора и колонн из полированного красного гранита. Еще две лестницы. Центральный коридор. Под сводами зоны «А» остановились. Это был перекресток всех внутренних маршрутов. Резонировали шаги. Мелькали лица – белые, желтые, черные. «Вавилон...» – сказал он потрясенно. – «Больше ста стран!» – «И все живут вперемешку?» – «А то и вповалку. Можно обернуться вокруг света: не вынимая и без виз».

- Не страшно?
- Гондоны в киосках на входе. Конечно, баковские, но бесперебойно.

Но Друганов, человек женатый и вообще для поэта, на мой вкус, излишне чопорный, имел в виду отнюдь не венерические угрозы:

- Шпионов ведь, наверное, полно?
- Стукачей хватает.
- Нет, – отмахнулся он. – Настоящих?

– Меня не вербовали. Даже в КГБ. – Это его не рассмешило, и я добавил, что шпионов здесь мы видим только в фильмах, который показывают в Клубной части.

- А что показывают?
- «Вид на жительство» – про ужасную судьбу невозвращенца. Потом этот, с Банионисом...

- «Мертвый сезон»? Как он тебе?
- По-моему, лажа.

– Есть мнение, – почему-то обиженным тоном, – что это лучший в мире фильм о разведке.

- Не знаю. Джеймса Бонда не смотрел.
- Банионис лучше в тысячу раз!

Он меня начал раздражать, тем более что за день я съел только сосиску на факультете:

- Ебал обоих, как и все разведки мира. Идешь? Столовую закроют.

– Меня ждет ужин дома, – ответил холодно Друганов, и без рукопожатия мы разошлись, он к выходу Клубной части на автобус, я в свою зону.

Почему так трудно с москвичами?

Или я уже разложился под тлетворными сквозняками космополитизма?

* * *

К очередному юбилею Победы на факультете вывесили фотостенд «Наши ветераны». Среди отвоевавших представителей профессорско-преподавательского состава поблескивало глянецом фото замдекана Хохлушина, он же научный руководитель семинара по Толстому. Бравый этот капитан, как было написано внизу, войну закончил комендантом одного из городов Германии.

– Ложь-пиздеж, – сказал партнер по играм, запрещенным в общежитии. – Войну он продолжает. На незримом фронте.

– «То есть?» – «Man sagt, полковник...» – «Хохлушин? Толстовед?» – «В штатском толстовед, – сказал приятель. – Кстати, на его костюме ты обратил внимание?» – «А что?» – «Подумай. Помедитируй. Вынеси за скобки все, кроме этой якобы акциденции. Тогда тебе откроется мир нашей сучности...»

Медитировать на тему чужих прикидов я не собирался – своих забот был полон рот.

* * *

По пути на мою верхотуру Друганов поделился информацией. Би-би-си недавно зубо-скалило: мол, этот наш Дом с его лабиринтами – лучшее место в Москве, чтобы исчезнуть в случае провала.

Шпиону.

Не давали они ему покоя. Когда намного актуальней проблема стукачей. Слишком много начинаний в нашем общежитии проваливалось из-за отсутствия конспирации – побег Михеева, к примеру.

Я запер на два оборота и оставил ключ в замке. Гость повернулся и оцепенел.

– Откуда это?

Изнутри стекло в моей двери закрывало прикнутое

«NON au totalitarisme». Над койко-местом красовалось «Vive les perversions!».

– Братской Сорбонны дары, – ответил я небрежно. – Садись и будь как дома...

Андрюша поставил кейс на стол. Положил пару простроченных перчаток из пупырчатой замши. Расстегнул на пальто нижнюю пуговицу и взглянул на сиденье жесткого кресла так, будто мог запачкаться. Ему явно было не по себе. Вопиющей антисанитарии у меня при этом не было, и носки, разумеется, не стояли.

Я вытащил из-под дивана чемодан, с которым три года назад приехал покорять столицу. Слой пыли был не тронут. Никто не интересовался моим багажом, хотя запора не было. Я щелкнул замками, откинул крышку и вынул из-под книг обещанную в качестве приманки статью, автор которой, давно умерший в эмиграции, все еще оставался под запретом. Под названием «О свободе творчества».

– Откуда у тебя?

– Тут много чего бродит.

– Сам перепечатал?

– За ночь.

– Что называется, самиздат... – Перелистав статью, взял за уголок и покачал. – Лет ведь на пять потянет.

Почувствовав себя польщенным, я сделал безразличный вид.

– Живешь опасно... Здесь читать?

Кейс у него имел шифрованный замок. Я разрешил домой.

Чем еще развлечь мне москвича...

– Была «Рябиновая горькая», но какая-то падла выжрала.

Хочешь, с полькой познакомлю?

– Андрей и полячка? Во-первых, сюжет избитый, а во-вторых, не забывай, что я женат.

– Ах да. Пардон...

– Лучше взгляну на книги. Если можно?

– Изволь.

Нагнувшись к чемодану, он стал перебирать мои глянцевые покетбуки. Поднял глаза с упрехом:

– «Доктор Живаго»? В переводе?

– По-русски не достал.

Он полистал роман, за чтение которого в дыре, откуда я сделал ноги, давали срок.

– Между прочим, – сказал, – Бориса Леонидовича знал я лично.

– То есть? Он же умер, когда тебе было... сколько? Двенадцать?

– Я познакомился с ним раньше. Когда ему дали Нобеля.

– Каким же образом?

Друганов вздохнул.

– Отец... Поехал к нему в Переделкино и взял меня с собой. Специально, чтобы сын увидел великого поэта.

Я проникся еще большим уважением к образу такого отца, который в хамские те времена осмелился поддержать человека, которого с трибун называли свиньей.

– Они дружили?

– Я бы не сказал, – проявил скромность Друганов. – Но отец очень уважал Бориса Леонидыча... – Он достал из моего чемодана пакет с провокативной орхидеей на обложке. – «Ада»? Отец его тоже ценит.

– Он читал Набокова?

– Статью в «Литгазете» помнишь?

– Еще бы! – Единственную публикацию в СССР, по форме разоблачительную, но весьма информативную, конечно же, я не забыл, хотя автора не помнил. – «Владимир Набоков, во-вторых и во-первых»?

– Я знал, что ты знаешь.

– Это он написал?

– Инспирировал.

– То есть?

– Родина должна знать своих писателей.

– Почему тогда не напечатать?

– Напечатают.

– Когда?

Он возвел глаза к потолку, вздохнул и закурил «столичную». Я выдвинул ящик стола, где было заначато полпачки «Беломора». Обстучал набитую часть папиросы, сплющил мундштук и затянулся горьким дымом.

– Что значит – инспирировал?

– То и значит. Вдохновил.

– Он что, занимается историей эмиграции?

– Среди прочего... У тебя что, все по-английски?

– Есть и по-французски.

– Странный круг чтения для человека, который хочет стать русским писателем...

– Кто сказал, что русским?

– Каким же еще?

– Просто, – ответил я, отворачиваясь к окну. – Каким получится. Но только не советским...

Мрачное небо на западе было разорвано, как рана, и не мое писательское будущее волновало меня в тот момент. Пора было лететь в эту кроваво-красную дыру за погибающей девчонкой с огромными глазами – ох, пора...

Но денег не было.

Даже на один авиабилет.

Он издал возглас, и я обернулся, чтобы увидеть, чем вызвано потрясение.

– Мне гораздо приятней смотреть на звезды, чем подписывать смертный приговор... – Книга в твердом переплете дрожала у него в руках. – Они ведь, знаешь ли, сорвали его переиздание... Нет, это просто невероятно! Тридцатый год! Антисоветчиной меня ты не удивишь, но это... Откуда у тебя?

Не знаю, почему я затемнил – мол, как-то затесался в мои раритеты будетлянин.

– Ты хоть представляешь, сколько это стоит?

– Бери за половину.

– Нет у меня таких денег, – сказал он с торжественной скорбью. – А другие тома?

– Только первый, – сказал я, глядя, как бережно снимает он защитную страничку узорчатой папиросной бумаги с портрета Велимира Хлебникова.

– *Москва, ты кто?* – стал он зачитывать. – Чаруешь иль зачарована? Куешь свободу иль закована?...

Особого благозвучия я в том не находил, но принял соответствующий вид.

Из вежливости.

* * *

Выложив поверх одеяла ногу и с головой укрывшись, она отсыпалась.

Я сидел за машинкой.

До Нового года можно было дожить. Битов ссудил сто пятьдесят. «Колибри», правда, мне пришлось в залог оставить. Взамен я получил заедающую дребедень, на которой была написана «Жизнь в ветреную погоду» и на которой в гулкой однокомнатной квартире на Плетешковском у Елоховской церкви я – любимую не разбудив – за час до семинара добил курсовую...

Читал я вслух.

Из угла внимал Друганов: непроницаемо и сумрачно. Хохлушин, предполагаемый полковник, вначале бросавший недоуменные взгляды, впал в дрему. Что вполне устраивало меня, переставшего маскировать невнятным чтением идеологически сомнительные места. Единомышленники из общаги ухмылялись там, где было надо. Заложив ногу на ногу и светя из-под мини красными трусиками, Солдатенкова смотрела в упор, непримиримо выгнув бровь в знак того, что, некогда давший из ее койки деру, я не прощен – пусть и семи пядей во лбу.

– ...и в этом смысл слов, произнесенных Гертрудой Стайн о молодом Хемингуэе: выглядит авангардистом, но пахнет от него музеем, – дочитал я и, чувствуя глазами воспаленный жар лица, стал собирать страницы.

– Вопросы по докладу? – проснулся Хохлушин. – Андрюша, у тебя? Странно: я предполагал... – Повернувшись ко мне, он свел кустистые брови. – Стало быть, Лев Николаич, которого сбросили с парохода современности, вынырнул за океаном? Американская литература как форма выживания нашей классики? «Вопросы литературы» вряд ли приняли к печати, но в диплом, пожалуй, можно и развить. А что? Предпосылка мне кажется здоровой. *Ex Orientis lux*: Свет, он с востока! Мол, тихой сапой, но Россия все равно берет свое... Оригинально. Компетентно. Ставлю вам отлично. Зачетка с собой?

* * *

Снег трещал под ногами. На пути к метро «Университет» меня догнал Андрюша. В свете фонарей дыхание вырывалось белым паром.

– Поздравляю! Но насчет ранней советской не согласен.

– Да? А крошево из старых слов? А с неба смотрела какая дрянь, значительно, как Лев Толстой?

– Видишь? Нам есть о чем поспорить. Но ты же пропал куда-то? Я заходил в общежитие. Сказали, съехал.

– Обстоятельства.

– А что случилось?

– Может быть, я тоже...

– Что?

– Женюсь?

– О? Как зовут?

– Мила.

– Кто она?

– Звезда.

– Кино?

– Пленительного счастья.

– А социально... Из каких кругов?

– Не из каких. Понятие не приложимо...

– Но прописка московская?

– Не-а.

Друганов изумился:

– Чистая любовь?

Перед тем как мы расстались у метро, он пригласил нас с Милой к себе: «Попьем винца? Почитаем друг другу?» – «Мерси, – сказал я. – Только сначала у нас в программе, ты не поверишь... Красная площадь». – «Еще не видела?» Я отрицательно мотнул окоченевшими завязками ушанки. «Но очень хочет».

* * *

– Ленина видели? – спросил он, глядя, как снаружи, в коридорчике, мы стряхиваем снег друг с друга.

– В гробу, – кивнул я утвердительно, но он смотрел на Милу, которая весело ответила:

– Не достоялись! А почему у вас внизу охрана?

– В доме много состоятельных людей. – Друганов кивнул на соседнюю дверь, понизил голос: – Тут, например, живет одна из самых богатых вдов Москвы.

– Надежда Яковлевна?

Улыбка сошла с его лица. – Ты читал «Воспоминания»?

– А вышли?

– В Соединенных Штатах. Злобная старушонка...

Удивленно я глянул на него.

– Так муж околел на лагерной помойке. Можно понять.

– Понимают... Потому и терпят. – Он принял плащ, в котором Мила бежала из отчего дома. – И вам не холодно?

– Кровь горячая!

От волнения по поводу выхода в столичный бомонд Мила чрезмерно надушилась своими польскими «Быть может». Бедро обтягивало купленное на толкучке в Вильнюсе платье *Made in Italy*. Взглядом я призвал любимую к сдержанности, поскольку от имени новейших поколений готовился выразить солидарность соратнику Сахарова. Слева дверь из коридора была закрыта, и я уважительно понизил голос:

– Отец работает?

– Не здесь. Это мой кабинет... – Он распахнул вид на книжные полки до потолка. – Он же гостиная. А тут, – показал на вторую дверь, – мы спим с Натальей. Квартирка так себе, две комнатки...

Поскольку ребята жили не с родителями, я сделал вывод, что они снимают, как и я – который при этом столкнулся в столице с такими исчадиями ада, о существовании которых и не подозревал.

– Хозяева хорошие?

– Об этом вам судить. – И Друганов уточнил, видя, что мы не понимаем: хозяева – они с женой.

Им было столько же, как нам, за душой ничего не имевшим, и вообще не знал я ровесников со своей собственной жилплощадью. Мы были потрясены, и Мила этого не скрала:

– Так это ваша квартира? – Он кивнул.

– Каким же чудом?

– Кооператив. Родители сложились...

Она оглянулась:

– Нам с тобой таких бы предков – да?

В окно кухни издали смотрела альма матер, общежитское лоно которой я покинул. Стены оживляли сувениры из разных стран соцлагеря. С мороза натошак я предпочел бы жажнуть водки, но в хрустальные бокалы уже наливался рислинг.

– От товарища Живкова... Ну как? – Отдавало глицерином, или чем там болгары лакируют свою кислятину.

– Отличное вино! – Мила закинула ногу на ногу и вынула пачку «Парламента». – Так чья это вдова, что рядом с вами? Подпольного миллионера?

– Нет.

– А кого же?

– Был такой деятель... Берия.

Фамилия на Милу воздействия не оказала. Кто такой Брежнев, не зная она, конечно, не могла, но спроси, к примеру, про Андропова – точно так же открыла бы глаза. Меня же как вырубил коротким замыканием:

– Ты имеешь в виду...

– Вот именно. Лаврентий Палыч...

Но как же так? С одной стороны, Пастернак, с другой... Наслаждаясь моим состоянием, Друганов добавил:

– Дама вполне интеллигентная. Наталья моя с ней дружит.

Это что, американские?

– Кури, – придвинула Мила. Не прикасаясь, Друганов покосился на сине-белую пачку.

– Откуда у вас американские?

– Из ГУМа.

– «Маленького»?

Мила растерянно засмеялась, взглядывая на меня в поисках поддержки, но что я мог тогда сказать...

– Разве ГУМ маленький? Там потеряться можно! Нам грузчик предложил и за десятку вынес блок. Попробуй. Кайф!

– Предпочитаю наши, – отказался Друганов и тут же подтвердил необъяснимую верность тошнотворным «Столичным». – Нравится вам Москва?

– Очень!

– Что, например?

– А все! Кроме мороза. Из-за него я еще мало что увидела.

Хотя не замерзают только глаза.

Она засмеялась.

– Москву как раз в мороз смотреть и надо, – наставительно сказал он и зажмурился: – А в Подмоскowie как сейчас, ребята...

– Красиво?

– Сказка! Русь, ты вся поцелуй на морозе...

– Генитальный, – снизил я пафос. Он не услышал. Или сделал вид.

– Как, кстати, вы собираетесь встречать Новый год и новое десятилетие?

Бросив на меня озорной взгляд, Мила засмеялась – не иначе как вспомнив свой любимый анекдот сомнительного вкуса: про завтрак, который разогревают для молодой жены на батарее. Что? Познакомившись в незабываемом 69-м, лыком мы шиты не были, так что Друганов смутился правильно:

– Я к тому, что... Может быть, встретим вместе? – Групповщина не входила в наши планы, но как отказаться, если на тебя глядят в упор. Я посмотрел на любимую и произнес то, что прочел в ее глазах:

– Почему нет?

Мила почувствовала необходимость внести энтузиазм в согласие.

– Пирог могу испечь. Это у вас рубить капусту или мясо?

Мы с Другановым одновременно оглянулись на мачете, подвешенное в виде кухонного украшения, но я его опередил:

– Тростник!

– Сахарный.

– А также мыслящий, – добавил я. Чтобы это оценить, надо было знать Паскаля, так что Мила засмеялась неведомо чему. Возможно, нашей пикировке. Друганов усмехнулся тоже, но взглянул с укором:

– От Фиделя, между прочим...

– Личный друг?

– Не мой.

– «Остров Свободы», – пояснил я Миле, которая засмеялась недоверчиво:

– А разве есть такой?

– Что же вы не пьете? – поспешил Друганов снять момент неловкости. – Может быть, есть хотите? Вообще-то мы с Натальей не готовим...

При этом здесь был огромный финский холодильник, который он открыл и удивился:

– О! Саями! Откуда бы?

– От Имре Надя, – подсказал я, чем его очень насмешил. Нарезая ломтиками, он никак не мог успокоиться, но потом, перестав смеяться, заверил, что саями все же будет посвежей:

– От Яноша...

– Тоже друг отца?

– Представь себе, что да.

– И ты у него вырос на коленях?

– Как ты угадал?

Мила смеялась, ничего не понимая. В отличие от нас была она животным отнюдь не политическим.

* * *

Мы начинали третью бутылку, когда в прихожей раздался приятный женский голос: «Кто это тут курит сигареты основного противника?»

Это была жена Наталья.

– Сокурник и его невеста Мила, – представил нас Андрюша.

– Очень приятно... Папа, – перенесла внимание на мужа, – поздравляет тебя с публикацией.

В университете было много таких девушек – коренастых, крепко стоящих на ногах, уверенных в себе и мире. При этом милое лицо. Вернувшись без роскошной своей дубленки, она сказала, что от бокала не откажется, хотя уже отужинала:

– В «Берлине».

– Имеется в виду отель, – сказал я Миле. – Где зеркало на потолке...

Наталья взглянула на мужа.

– Это из «Озы», – проявил он компетентность. – Наталья, посмотри на этого человека.

Представляешь? У него есть Хлебников.

– Завидовать не хорошо.

– Последнее издание. Сорокалетней давности!

– Достану я тебе...

– Где?

– Куплю на черном рынке. – Его перекосило:

– У спекулянтов?

– Ну и что?

– Ни в коем случае! Мразь эту поощрять нельзя.

Я даже протрезвел. У ровесника была не только своя жилплощадь. Принципы тоже.

– А белье?

Они устали на Милу, которая этого не убоилась.

– Где же еще достать – приличное? Только у них.

Супруги молчали.

– А что? Рейтузы советские носить с начесом? – Я поднялся.

– Ребята, нам пора!

– Куда? Метро уже закрылось, – сказал Друганов. – Диван в гостиной вас устроит?

Раскладной?

Жена его хлопнула в ладоши.

– Как раз нам все чистое привезли! Мила, пошли устраиваться. Пусть мужики поговорят. Только смотрите у меня! Андрюша, слышишь?

* * *

«Люблю попить винца, – сказал он, наливая бледно-зеленую немочь... – Скажи, а что ты думаешь об Э***? Ты, кажется, с ним дружишь?

«Гений».

«Я серьезно?»

«Даже его научный руководитель написал... С чертами гениальности».

Он уперся, отказывая моему лучшему московскому приятелю даже в «чертах», а на исходе четвертой бутылки заявил, что вообще, в рабочем, так сказать, порядке делит людей на светлых и на темных. «Что за манихейство?» – «Манихейство или нет, а Э***, он темный». – «Ладно, – сказал я. – А Набоков кто?» – «Набоков? Светлый». – «Пастернак?» – «Еще бы!» – «Вознесенский?» – «Андрей Андреевич? Светлый». – «Битов?» – «Не исключено. Ты его, я знаю, любишь, но я еще не разобрался». Я сказал: «А я кто?» – «Светлый, конечно».

– «Ты уверен? Я, – сказал я, – в этом совсем не уверен». Но он отмел мои сомнения: «Иначе я с тобой бы не сидел на этой кухне. Тогда как Э***, он темный. Да. Что бы ты ни говорил».

– «Но не черный?» – «Этого я не утверждаю. Но знаешь? Будем посмотреть».

«А сам ты?»

«Ты как думаешь? Но только искренне?»

До отказа накачанный вином, я думал то, что чувствовал, а чувствовал я, что передо мной существо с еще более незащищенным «я», чем мое собственное. Но как сказать ему об этом, я не находил. И ответил, причем совершенно искренне, что у меня иное видение. «Мне нравятся оттенки. Серого!»

«Что ж, ты прозаик... Кстати? Когда себя дашь почитать?»

«А ты?»

«Тебе интересно? Сейчас перейдем на красное, и я почитаю. Но сначала должен сделать тебе одно признание...» Он хмурится, протягивает руку. Горлышко звякает о хрусталь. Буль-буль-буль. «Если помнишь, я сказал тебе...»

– «Что?»

– «Что мой отец историк... Это не совсем так. Понимаешь? Но я ведь тебя тогда еще не знал...»

Блеск клеенки режет мне глаза. На руке, отчасти к ней прилипшей, вены вздулись. Пепел уничтожает сигарету с американской скоростью. Пусть он молчит. Не знаю и знать я не хочу. Отказываюсь расставаться с образом ученого, который мыслит иначе...

«Он у меня разведчик».

Я роняю сигарету, обжигаясь, ее подхватываю. Он внимательно смотрит, как я затягиваюсь в последний раз, пытаюсь погасить в керамической пепельнице, переполненной окурками с фильтрами – белыми американскими и бежево-желто-крапчатыми советскими. Дает время прикурить следующую. Я выпускаю дым сквозь ноздри.

«Ты имеешь в виду... «Мертвый сезон?»»

«Не совсем. Он не простой разведчик. Сверх...» Его ладони при этом описывают купол, но все равно я ничего не понимаю, только в виски колотит тупо: «ГБ. ГБ...» Глава жандармов Бенкендорф вылетает на орбиту мозга спутником-шпионом. Нет, самым дьяволом с узко посаженными глазами, от которых не ускользает ничего на грешной земле, включая нашу с Милой любовь на отмели среди осоки. Не демонизируй, не демонизируй, говорю я себе и вдруг вспоминаю, что статью о свободе творчества он мне вернул без комментариев, а перед этим произнес: «Потянет на пять лет». В глазах темнеет. Приступ дурноты я подавляю залпом рислинга. Он выливает мне остатки, чтобы перейти на красное. Господи, почему не на водку?

«Понимаешь? И все, с ним связанное, сверхсекретно. Даже марка этого вина, кстати, от Чаушеску...» Он ввинчивает штопор сквозь бордовый станиоль. Шпок. «Дорого бы дали они за информацию о том, что мы здесь пьем...»

«Кто?»

«Они, – кивает на окно с усмешкой. – Снующие с дипномерами. Не только ЦРУ, не только... Темные силы – точно сказано. Ибо им имя – легион. И вот представь себе положение человека, который, можно сказать, родился с пером в руке. С одной стороны, он должен держать язык за зубами. С другой – обязан самовыражаться. Не может не! Трагедия эпохи классицизма. Корнель. Расин... Когда-то, в очень ранней юности я сблизился с бунтующими поэтами, которые грозили кулаками из-под памятника Маяковскому. Би-би-си тут же заложило: среди московских «сердитых» есть дети руководящих работников Комитета. Отец вернулся с текстом перехвата: «Кого я вырастил?» Скажи, ты мог бы не писать? Я тоже не могу. Но как совместить одно с другим? Этот вон строчкогон, зять во дворянстве, в погоне за миллионом рублей пытается доказать, что литература и разведка – одно и то же. Дефо там, или этот британский лева двоежопый, как его? Приятель Филби... «Наш человек в Гаване». Но ты меня прости... Это же не литература. В нашем, русском то есть, понимании. Основоположником ведь сказано: две вещи несовместные. И все! По-твоему, можно быть шпионом и писателем?» Было бы странно отрицать: смотря каким. Однажды, лет в

одиннадцать, я выкрал у отчима с торшерной подставки пухленький томик под названием «Охотник за шпионами». Переводные мемуары асса Интеллидженс Сервис. Читал всю ночь напролет, но в памяти осталось только, как писались тайные послания на яйце, сваренном вкрутую. Текст уходил сквозь скорлупу и покрывал белок. Снаружи ничего не видно. Проходимо через любой кордон. А получателю достаточно кокнуть скорлупу, чтобы прочесть. Конечно, не роман. Нет, «Преступление и наказание» шпиону вряд ли написать. Тем более гэбэшнику...

Он смаковал винцо и, взглядывая, ждал ответа, а в голову мне бухало одно: «Пять лет, пять лет...»

Я думал про деда, которого они арестовали сразу как возникли – в Питере. На Гороховой, 2. Про его брата из Хельсинки, об лысину которого в Большом доме на Литейном тушили папиросы. Про другого деда, исчезнувшего в силу приговора «десять лет без права переписки». Только в моей отдельно взятой генеалогии, сколько их, срубленных ими ветвей? Муж тети Мани – «Кировский поток». Отделавшаяся лесоповалом сама она и дочь ее – кока, крестная моя мать? А родная, которая в зажоппе на жалкой кухне то и дело срывается на шепот, тыча как безумная в вентиляционную отдушину под потолком: «Тише! МГБ!..» А те ровесники, которые без отзвука исчезли с Красной площади? А провинциалки в нашем Доме студента, Средняя полоса и Черноземье, вся эта запуганная глубинная Россия, во все дырки ебомая сексотами Первого отдела? Я, наконец, со своим Проектом и чемоданом падающий под какую-то их статью, о которой понятия не имею... Незнание не освобождает от ответственности – всплыла вдруг формула.

Я взял бокал, чтобы залить изжогу.

«Как ни крути, а настоящая литература – это искренность. Владимир Померанцев правильно начал разморозку статьей «Об искренности в литературе». Вот если бы я сейчас рубаху на груди. Вот что со мною сделал этот мир. Смотрите! Мир бы сразу признал: «Писатель!» Но как им стать, когда с рождения под колпаком?»

«Разбить колпак».

«Разбить... Легко сказать. Ты знаешь, конечно, это непечатное под названием «Нобелевская премия», от которой Бориса Леонидовича заставили отказаться? Я пропал, как зверь в загоне...»

Неохотно я кивнул.

«А кто был охотник, ты догадываешься? Ну, зачем, зачем он взял меня с собой? Когда они вышли из кабинета, Борис Леонидович погладил меня по голове: «А вы кем хотите быть?» Только один вопрос. Но проросло. Может быть, это и есть возмездие?» Он выпил залпом свой бокал и стал читать:

«На меня наставлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси, если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма...» Осекся и взглянул в упор. «Ты что?»

Пытаясь улыбнуться, я чувствовал, что скалюсь.

«Тебе нехорошо?»

Удерживая соляную кислоту, в которую превратился этот вечер на московской кухне, я хотел было заверить, что все со мной нормально, просто не принимает организм. Но рта не смог открыть. Я сглатывал в попытке забить все внутрь. От этих усилий волосы на висках взмокли, как от предсмертной истомы. Вдруг изнутри поперло с такой невероятной силой, что я вскочил. Он откачнулся, чтобы не запачкаться.

Но я донес.

Зеркало еще не отпотело после наших женщин.

Ударило фонтаном. Черным! Я разогнулся, снова подкатило. Никогда я так самозабвенно не блевал. Отплеывался и стонал, и снова меня выворачивало наизнанку. Еще, еще, еще – пока не повисла нитка желчи, которая никак не отрывалась.

Отмывши ванну, я сидел на корточках, лбом упираясь в кафель и зажимая в ладонях тихий вой. Жить дальше не хотелось. То есть хотелось, но не здесь. Исчезнуть. Провалиться на этом самом месте и вынырнуть у антиподов, которые об этом позоре не узнают никогда.

На плиточном полу валялись мыло, другие мелочи, смытые с эмалированных отворотов. Я подобрал и разложил все по местам, избегая встречаться с собой взглядом в зеркале.

Прислонясь к дверному косяку, он ждал. «Все в порядке?»

«Пардон...» Уводя глаза, я сказал, что не привык к сухому вину, и вообще, понимаешь ли, студенческий желудок...

«Красное с белым, наверное, не стоило».

«Наверное. Пойду...»

«Жаль. Себя тебе не почитал. Может быть, кофе?»

«Нет. Спасибо...»

«В другой раз тогда? Спокойной ночи. Да... Мы завтра хотели подольше поваляться. Если утром не увидимся, будем считать, что мы договорились: Новый год встречаем вместе».

Когда мы договаривались?

И вдруг я понял. Он очень одинок, Друганов. И, несмотря ни на что, считает, что отныне мы с ним – друзья.

* * *

Попа любимой, пышущая жаром, не могла меня согреть. Продолжало колотить. Зуб на зуб не попадал. Я вылез из-под одеяла и, завернувшись в положенный нам сверху плед, босиком прошел ковер, паркет и сел в чужое кресло у темного стола. Шторы шевелились. Дуло. Я немного успокоился, поскольку было объективно холодно. Нашарил кнопку. Лампа осветила порядок на полированной поверхности – бумага, стаканы с невероятными тогда фломастерами. Номер журнала «Новый мир», раскрытый на повести Трифонова «Предварительные итоги». Вещь эту читала вся Москва, ее праздновали в Центральном Доме литераторов. Даже приведшей меня туда Росляков (который прокламировал возврат к сталинизму и даже сочинил по-своему трогательное послание единомышленникам: «Где ты, Вася Кулемин? Где ты, милый Семен? Не роняйте знамена. Не хватит знамен!») с нетрезвым восторгом говорил мне, подающему надежды: «Там – все мы! Все наше больное общество!»

Чтобы отвлечься, я начал читать и не бросил до конца. С этими предварительными итогами истории СССР все было ясно, кроме одного: как просочилось? Может быть, я переоцениваю несокрушимость стены? Как там, согласно мифу, ответил бунтующий Ульянов приставу: «Стена, да гнилая, ткни – и рухнет». Может быть, и ленинская стена уже вся в трещинах? Что же по этому поводу должен испытывать он, человек умный, сидя в своем уютном кресле?

Озноб не проходил. Я встал, раздвинул шторы. На горизонте светились красные сигнальные огни высоты, где за мной сохранялось койко-место, а хлеб в студенческой столовой был бесплатный. Чего мне не жилось там, под плакатом из Сорбонны? Почему не мог, как все? Кончив на сон грядущий в раковину, спал бы сейчас мирно, как все, сдавал бы зачеты в срок, получал бы свою стипендию и никогда не попал бы в этот переплет...

Я приблизился к стеллажам, сквозь смутное свое отражение стал изучать корешки. Отодвинул стекло, вынул одну. С почтительным автографом. Отцу. Вынул другую. Тоже. Хоть и либералы... Слышший бунтарем поэт – и тот подписал. Но, может быть, только лишь советские? Нашел и вынул знаменитого соцреалиста с Запада, возвышавшего голос против

отдельных наших зверств... Тоже подписана – хотя и не по-русски. Что, все одним миром мазаны? Я ничего не понимал. Чувство возникло – что заглядываю за кулисы. Что вот-вот откроется мне нечто, после чего все станет необратимым.

Удерживая свой образ мира, пусть иллюзорный, всем существом рванулся я назад – к незнанию. Перед тем как всунуть книгу обратно, краем плеча затер отпечатки пальцев. Задвинул стекло. Оголившись, стал тереть его тоже, одновременно придерживая сквозь плед. Я вздрогнул от голоса спросонок:

– Что ты там делаешь?

Она отдернула руку, когда я опустился рядом: «Ледышка! Почему не спишь?» – «Ст-т-трашно», – сотрясался я. – «Приснилось что-нибудь?» – «Кошмар!» – «Про что?» – «Дома расскажу. Поехали». – «А который час?» – «Счастливые часов не наблюдают», – машинально ответил я, вручая Миле пояс с пристегнутыми чулками.

Мы сложили простыни, диван. Прокрались за дверь.

В тишине заработал мотор лифта.

Стены кабины привлекли ее внимание: «Дом высокой культуры быта! Ни слова на три буквы». Ни о чем не подозревая, она имела в виду совсем другие буквы. «Исправить?» Я сунул руку за пазуху, где вертикально стояло стило...

– С ума сошел?

На проспекте было как в поле. Этот простор меня успокоил и согрел. Никогда еще мне не было так хорошо снаружи, как в эту ночь, которую, в конце концов, прорезал зеленый огонек.

* * *

Из постели мы не вылезали, наверное, неделю. Сбросив одеяло, я голым задом чувствовал, как дует от окна. Пар валил с меня. Косо упавшая прядь намочла. Глаза ее открылись:

«Мне надо в туалет». – «Сейчас...» Я надеялся догнать, но с голодухи ускользало. В глазах сверкнул гнев. «Но я описаюсь!» – «Можешь на меня», – сказал я, продолжая наяривать. Как вдруг обдало кипятком. Я отпрянул, струя догнала.

«Ты что? – соскочил я на пол. – С ума сошла?» – «Но ты же сказал...» – «Что я сказал? Смотри, что ты наделала!»

Она зарыдала, бросилась из комнаты.

Выйдя после нее из ванны, я заглянул на кухню. Она курила с надменным видом. Я оделся, снова заглянул.

«Кто кого обоссал? Может быть, я тебя?» Ноль реакции.

Тогда уехал в общежитие, где в Северной башне приоткрыли на условный стук. Покер здесь, в дыму, не прекращался. С первого прикупа пришел мне фул.

Наутро я подбил бабки, откинулся на стуле и взглянул в упор на аспиранта кафедры совлитературы. Глядя на цифру, тот почесал в затылке. «Хлебниковым возьмешь?» – «Играли на наличность». – «Первый том есть, а будет все собрание в пяти». – «Я не библиофил». – «Загонишь, до весны питаться будешь исключительно в профессорской». – «Кому я загоню?» – «А чернокнижникам. У Первопечатника толкутся. Могу в придачу футуристов?» – «Да на хера мне, – начал я, но передумал... – Ладно! Давай!»

Дома возвестил, что можно жить спокойно до весны.

* * *

Тридцать первого она сидела в собственноручно сшитом платье, заметывая на себе подол. На голом столе сверкали две бутылки «Советского шампанского». После этого не осталось даже на такси, а предстояло пережить все праздники, так что я поглядывал на стопку выигранных книг, прикидывая, сколько можно запросить, чтобы не показаться спекулянтom, но и не продешевить. Взял том, открыл наугад: *Я вышел юношей один в глухую ночь...* Отворил другой, ткнул пальцем: *Здравствуй же, старый приятель по зеркалу...* Но *тень отдернула руку и сказала: «Не я твоё отражение, а ты мое».*

Про ночь мне понравилось, но в зеркалах я потерялся. С третьего раза палец попал на цифру, о которой не мечталось, даже если округлить: 317.

Она вставила ноги в туфли и поднялась. «Как я выгляжу?» Платье было до пола. «Статуарно», – ответил я. «Как статуя, что ли?» Она отражалась в стеклах под голой стоваттной лампочкой – возбужденная своей обнаженной спиной, плечами и руками. «Трусы не проступают?» – «Нет». – «А когда будут надеты?» Поймав меня, она засмеялась, стала кружиться, глядя на себя в окно. «Я тебе нравлюсь?» Я остановил ее в движении, мы зашаркали в танце без музыки. Серебристый материал скользил по гладкой ее коже. Она ко мне прижалась всей своей мшистостью под впалым животом. На фоне заснеженного дерева, которое почти прикасалось к окну, что будет здорово весной, я видел, как, сминаясь, платье оголило подколенки. Она отпала поперек разложенного дивана, зрачки расширились:

«А мы не опоздаем?»

Она была права. Куда спешить? Целая жизнь впереди. Я поднялся, протянул любимой руку.

* * *

На другом краю Москвы мы вышли из метро. Был уже одиннадцатый час. Шпиль университета торчал, как на ярко освещенной елке. По лицу хлестнуло снегом. Она подняла воротник. Пригнула голову, притиснулась. Втягивая руку в рукав, я пер сумку с туфлями, шампанским и футуристами, должно быть, только по причине меховых своих шуб и сытости находившими во всем этом очарование: поцелуй на морозе... Ха!

За углом открылся белый ужас Ленинского проспекта. Мы шли в метели, как слепые. Когда наконец проступили эти башни, я ничего уже не ощущал.

В подъезде пахло свежесрубленной елью. Дежурный был при галстукe.

– К кому, молодые люди?

– К Другановым.

– Их нет, – и сел обратно. Шея распирала воротник его белой рубашки. На полированном столике чисто вымытая стеклянная пепельница, никелированная газовая зажигалка и пачка западногерманских «Ernte 23». Не проявляя лицевых реакций, он смотрел, как негнушными руками я выкладываю на стол ему раритеты.

– Пожалуйста, – сказал я. – Передайте. На Новое десятилетие...

Охранник уточнил:

– Андрею Фомичу?

За дверью я чмокнул мраморную щеку, и Мила ожила.

– Где же мы будем встречать десятилетие?

– На Красной площади.

– Успеем?

* * *

Сейчас мне трудно ответить себе на вопрос о природе того движения – внешне вполне спонтанного. Нет, но почему? Деньги отдалили бы развязку нашей любви – свяжись я с чернокнижниками. Чего, конечно, не хотелось. Как и таскаться с мертвым грузом по метельной столице в ночь на Семидесятые. На тебе, Боже, что мне не гоже? А может, все же – страх и трепет? И бессознательный расчет задобрить дьявола? Так или иначе, раритеты даром не пропали. На Западе, куда я свалил при первой же оказии и где к тому моменту загнивал уже давно, в газете, которую называли «советским Гайд-парком», попало набранное мелким шрифтом сообщение о том, что Андрюша выступал с докладом о русских футуристах в одной «финляндизированной» стране.

Из других источников узнал и про отца.

И отдал должное сокурснику: ведь стоило ему насторожить папашу, я оказался б не в Европе, и даже не в мордовских лагерях. Крестиком стал бы – на фоне колючей проволоки. Сбитым из посылочной фанеры крестиком ниже колена и с лагерным номером вместо имени – такого, как, скажем, Юрий Галансков, который, кстати, начал свой путь из-под памятника Маяковскому.

Этого поэта в публичном отчете о своих деяниях заслуженный чекист не вспоминает. Как и тех мальчиков и девочек, которые вышли тогда на Красную площадь.

Впрочем, и о сыне он молчит. Потом явился Горби.

С Андрюшей мы встретились в Париже. А именно, в 16-м арондисмане, где здание бель эпок под номером 61 оказалось отгороженным от рю Буассьер высокой железной решеткой. С площадки второго этажа французские товарищи, за ускорением не поспевавшие, еще не убрали скульптуру, от колен до горла закутанную в нечто среднее между саваном и рогожей и устремленное в лицо вам намеками на женственные формы. На пьедестале зеркально сияла табличка с гравировкой по-русски: «Ассоциации Франция – СССР от Л. И. Брежнева, 21 июня 1977 года».

Друганов руководил группой советских писателей среднего возраста. «Замороженное поколение», – твердил я в микрофон «Свободы». И вот их вывезли на Запад. Впервые. Для пропаганды, как тогда шутили, «ГПУ» (Гласность, Перестройка, Ускорение). Чем это все кончится, никто не знал. И несмотря на общий дух надежды, подлее не было времен – на субъективном уровне. Даже в Париже писатели не размораживались. Осторожничили. Кроме национал-большевиков, которые рвали рубаху на груди. Поэт Чуев, более всего известный книгой «Беседы с Молотовым», под занавес этой двухдневной встречи миров, имевшей место ранней весной 1986 года, ошарашил французов панегириком Сталину и заградбатальонам, которые, дескать, и выиграла войну («*Mais quel salaud!*») – шепнула мне подруга из газеты «Монд»).

Руководитель группы, которого на исходе первого дня увезла посольская машина с бодигардами, тоже чувствовал себя непринужденно, только вполне по-светски. Он совсем не изменился, хотя теперь и сам был шишкой. Не просто поэт – лауреат премии Ленинского комсомола. Секретарь Союза писателей. Но признаков разврата никаких. Меня называл по имени. Вполне был дружелюбен, несмотря на войну миров, которая продолжалась; несмотря на то, что знал, что я, конечно, знаю все, включая и то, что он тоже знает обо мне; несмотря на то, что кругом – на деликатном удалении – стояли сотрудники, которые выедали меня глазами, а за ними – застывшие писатели, которые ничего не могли понять в беспрецедентном факте общения между своим руководителем и мной (постфактум заклеянным «патентованным антисоветчиком» в «ЛГ», которая от себя приписала мне «коварную улыбку»).

«По-твоему, – спросил я тогда, – у перестройки будущее есть?»

Андрюша засмеялся, стал озираться в поисках дерева, костяшкой пальца постучал по лакированному ясеню перил, укрепляя меня в рабочей гипотезе, что все происходящее – дело их рук.

Что оказалось неверно – в его случае. Перед тем как он сошел с подмостков, опять же из газет, уже не советских, а российских, стало известно, что в дни ГКЧП – попытки завернуть обратно колесо истории – бывший мой сокурсник пытался заставить писателей поддержать заговорщиков, которые так позорно выглядели по телевизору на своей пресс-конференции: все серые и в сером, а главарем банкротов бывший комсомольский цезарь – опухший и с дрожащими руками.

* * *

Из тоннеля задуло.

Стали раскачиваться, и все чаще, матово-белые шары, а кругом был на века подогнанный мемориальный мрамор с золотом – да, именно тогда, на станции «Библиотека имени Ленина», я помню, накатило и ударило: Москва!

Что мог я знать тогда?

Мне было девятнадцать. Трех месяцев не прожил я в столице коммунизма, когда взбрело писать о ней роман.

*(Из дилогии об отрочестве-юности-молодости «Союз сердец.
Разбитый наш роман»)*

Послесловие Михаил Эпштейн Жизнь как нарратив и тезаурус

«Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью...» В этой знаменитой шекспировской дефиниции жизни (из «Макбета») нас так поражает ее «идиотизм», что мы не замечаем другого, более глубокого парадокса: жизнь – это история, рассказ, способ повествования.

Как однажды выразился Генри Джеймс, истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать. Если нет рассказа, то нет и самой истории. У одних самые ничтожные происшествия перерастают в долгие захватывающие истории, а другие пережили множество волнующих событий, были причастны к Истории с большой буквы, но весь их рассказ сводится к одной-двум сухим протокольным фразам. Значит ли это, что их жизнь беднее, если они не умеют о ней красочно рассказать? Или, быть может, им требуется другой способ жизнеописания, которому ни сами они, ни их собеседники не научены?

В нашем мире дискурсивно преобладают рассказчики историй, а словарям и энциклопедиям отведена пассивная роль обобщения этих историй, суммирования всех слов и значений, в них промелькнувших. Но может быть, некоторые люди мыслят и чувствуют не событийно, а именно словарно, суммарно: вдумываются в сущность юности, в *смысл* любовных переживаний? Может быть, нужно задавать иные вопросы? Не «что было с тобой в юности?», а «чем была для тебя юность?». И пусть не будет никакого рассказа, никаких историй об экзаменах и кутежах, но будет видение и понимание юности. И тогда «жизненная сумма» таких людей будет состоять не из историй «как это было», а из пониманий того, *как это бывает*: из таких *биограмм* – жизнеописательных и жизнемыслительных единиц, как «юность и любовь», «юность и стыд», «юность и одиночество», «первый заработок», «первое предательство»... Опыт и сознание выстраивают картину жизни из таких надвременных, надсобытийных категорий – образов, понятий, – которые уподобляют ее не повествованию, а энциклопедии. И тогда становится выразимо то, что невыразимо в жанре повествования.

В середине 1980-х годов Джером Брунер, один из основателей когнитивной психологии, выступил инициатором нового подхода в психологии и социальных науках – «нарративного», который иногда называют «второй когнитивной революцией». Задача нарративной психологии и терапии (практики) – создать условия для того, чтобы каждый из партнеров смог услышать историю другого и по-новому ее воспринять. Нарративный терапевт сотрудничает с «пациентами» в развитии их историй о себе и мире. Сначала свою историю рассказывает один партнер, другой его выслушивает и делится своим восприятием услышанного. После этого роли меняются, слушатель становится рассказчиком.

Основной тезис нарративной психологии так выражен Брунером в статье «Жизнь как нарратив» (1987):

«... У нас, по-видимому, нет иного способа описания прожитого (и проживаемого) времени, кроме как в формах нарратива. <...> По сути, один из наиболее важных способов охарактеризовать культуру – выявить предлагаемые ей нарративные модели описания хода жизни». <...> С психологической точки зрения такой вещи, как «жизнь сама по себе», не существует... Жизнь есть рассказ, нарратив, сколь бы несвязным он ни был»⁴¹.

Но действительно ли жизнь есть только нарратив, т. е. способ рассказывания о ней во временной последовательности? Прежде всего, сама интенция «рассказывания о жизни»

⁴¹ Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология. 2005. № 1 (2). С. 11, 13, 28.

предполагает не просто наличие конкретного случая (события, эпизода), но осознание любого случая как составляющей частицы жизненного целого. Сознание – это более или менее связанная система знаний и представлений о себе и о мире, о том, чем была и что есть жизнь индивида. Сознание имеет свой словарь, свой тезаурус, который охватывает все содержание жизни не во временной последовательности, а как предстоящее мне здесь и сейчас, во всем объеме памятного мне бытия. Этот тезаурус включает имена и образы людей, с которыми я был знаком, – соучастников моей жизни; названия вещей, составлявших мое материальное окружение; те страны и города, где я бывал; прочитанные книги; эмоциональные состояния, которые мне доводилось переживать; понятия и идеи, которым я придавал ценность или которые отвергал... Эта совокупность имен и названий, образов и переживаний, понятий и идей и образует тезаурусное наполнение жизни. Если нарратив – это временной срез жизни в последовательности ее событий, то тезаурус – это континуум событий, одновременно предстоящих сознанию, где содержание жизни развернуто в виде всеобъемлющего «каталога» людей, мест, книг, чувств и мыслей...

Термин «тезаурус», как и «нарратив», взят из лингвистики, и оба они артикулируют жизнь как лингвокультурную конструкцию, как способ описания жизни в рамках определенного языка. Такой психологический подход лингвоцентричен. Но если нарратив описывает *историю* жизни, то тезаурус – ее *картину*. В лингвистике «тезаурус» – это идеографический словарь, где представлены смысловые отношения между всеми лексическими единицами данного языка. В тезаурусе, в отличие от обычного толкового или энциклопедического словаря, слова расположены не по алфавиту, не в формальном порядке, а в порядке их смысловой близости, ассоциативной и концептуальной связи, принадлежности одному семантическому гнезду. Например, общий блок образуют все слова, обозначающие пространство, а внутри него – слова, описывающие линии, расстояния, объемы, формы и т. д.

Тезаурус – это срез нашего сознания и видения жизни как целого, куда включаются такие лексические единицы:

личные имена: Петя (друг детства), Таня (соседка), Николай Сергеевич (начальник); Пушкин, Толстой;

географические названия: Москва, где я живу; Черное море, где я отдыхал;

термины родства: мама, папа, сестра, жена;

понятия: молодость, старость, честь, смелость, деньги, удача, природа;

эмоции: радость, печаль, удивление, любовь, ревность;

социальные институты, профессии, дисциплины: школа, университет, государство, литература, физика.

исторические события: революция, война, террор, перестройка, и т. д.

Тезаурус включает, конечно, и разнообразные идиосинкразии, например, любимые и нелюбимые цвета, запахи, блюда, буквы, цифры, фигуры. Все, что в этом мире имеет название и значимо для данной жизни, составляет ее тезаурус. Единицу тезауруса мы назовем *биограммой* (biogram), «начертанием, письменным знаком жизни»⁴². Биограмма – структурная единица жизненного целого. Биографический опыт может включать такие биограммы, как «дружба», «одиночество», «встреча», «разлука», «учеба», «болезнь», «замужество», «роды» и т. д. Если нарратив – это биограммы во временном порядке, как последовательно рассказанная биография, то тезаурус – это совокупность биограмм, организованных системно как описание целостной картины жизни и жизневоззрения.

Даже на уровне повседневного разговора мы порой общаемся тезаурусно, не столько рассказывая о чем-то, сколько перечисляя и сопоставляя элементы опыта, набрасывая сетку

⁴² Греч. gramma – «письменный знак, черта, линия», от grapho, «пишу». Слова «биография» и «биограмма» произведены от одних и тех же греческих корней.

различительных категорий на пространство своей и чужой жизни. «Я болею за такую-то команду. А ты?» «У тебя в школе какой любимый предмет? А у меня...» При всей своей обычности такой разговор есть, в сущности, диалог тезаурусов, как и детское: «А у меня в кармане гвоздь. А у вас?» (С. Михалков). Это поиск «языка жизни», который значим для обоих собеседников. У каждого в жизни есть свой «гвоздь». В основе – желание сопоставлять картины мира, причем выделяются общие рубрики, биограммы, по которым проводится сравнение. «У меня... а у вас?...»

Сама человеческая память, особенно долгосрочная, как показали исследования И. Тулвинга и других психологов, имеет две основные разновидности. *Эпизодическая* память хранит информацию о событиях, развернутых во времени («пришел, увидел, победил»; «позавтракал, поработал, поплавал»). *Семантическая* память хранит обобщенное знание человека о себе и мире, о всех символах и концептах, их взаимоотношениях и правилах их использования («что я ем на завтрак», «какое питание мне полезно», «какой стиль плавания я предпочитаю» и т. д.)⁴³. Соответственно и жизненное целое выстраивается памятью в двух конфигурациях, как серия эпизодов и как система биограмм.

Нарратив и тезаурус образуют две оси языковой репрезентации жизни, которые постоянно пересекаются в каждой ее точке. На основе нарратива данной жизни можно составить ее тезаурус путем выявления самых значимых, часто упоминаемых слов и соединения их в лексико-концептуальные гнезда, причем каждая единица такого тезауруса объясняется примерами ее употребления в нарративе. С другой стороны, и тезаурус жизни включает в свои словарные статьи какие-то нарративные элементы, истории, которые иллюстрируют значение данной биограммы. Например, статья «Мать» в тезаурусе Н. может включать не только описание ее внешности, душевного склада, привычек, анализ отношения Н. к матери, но и ряд эпизодов, которые наиболее выпукло ее характеризуют. Иными словами, внутри нарратива складывается своя тезаурусная картина мира, а внутри тезауруса есть место для жизненных историй.

И тем не менее нарративный и тезаурусный подходы, будучи дополнительными (условно говоря, как «частица» и «волна» в квантовой физике), сильно различаются. Одна и та же жизнь может быть представлена нарративно и тезаурусно, но это два разных способа представления нельзя без остатка свести один к другому. В нарративе всегда будет утеряна полнота тезауруса, а в тезаурусе – динамика нарратива. Повествуя о своей жизни, нельзя включить каждое лицо, место, предмет, явление в системную картину мира, – иначе рассыплется сюжет. И точно так же нельзя в тезаурусе представить все события данной жизни в их последовательности – тогда рассыплется словарная картина жизни, перейдя в цепочку ее сменяющихся эпизодов.

Вероятно, выбор подхода во многом зависит от самой жизни. Есть жизни более действенные, событийные, полные приключений, динамично развернутые во времени. И есть более созерцательные, вбирающие разные стороны бытия не столько в последовательности событий, сколько в совокупности переживаний, размышлений, воззрений, значимых отношений. Есть жизни – романы и жизни – панорамы. Точно так же есть и личности нарративного и тезаурусного склада. Во время общего застолья одни сыплют бесконечными историями, анекдотами, случаями из жизни. Другие делятся мыслями и взглядами и выясняют отношение к ним собеседника. Как правило, нарративные личности легче привлекают к себе внимание, становятся душой общества; тезаурусная личность склонна скорее к персональ-

⁴³ Впервые эта концепция изложена в статье: Tulving E. Episodic and semantic memory // Tulving E., Donaldson W (Eds.). Organization of Memory, N.Y.: Academic Press, 1972. P. 381–403. Разработаны разные модели семантической памяти: модель «цепной активации» (spreading activation model, Collins and Loftus), где содержание памяти представлено как карта взаимосвязанных концептов; признаково-сравнительная модель (feature-comparison model, Smith, Shoben, and Rips), где характерные признаки концептов даются в виде сравнительных перечней.

ному или профессиональному разговору, предмет которого – не частные случаи, а картина мира.

Очевидно и то, что нарратив резко преобладает в литературных жизнеописаниях. Люди предпочитают биографические романы и лишь в редких случаях прибегают к биографическим энциклопедиям (как правило, если речь идет о действительно любимых и почитаемых личностях, о которых хочется знать «все-все-все»). Тезаурус – это во многом «рецессивный» ген нашей жизнеописательной культуры, тогда как нарратив – ген «доминантный».

Но тем более значимо и для психологии как науки, и для терапевтической практики обращение к этому малоисследованному, однако равноценному способу представления жизненного мира. Есть множество людей, не наделенных даром рассказчика и тем не менее расположенных к саморефлексии и глубокому мирозерцательному разговору. Есть даже такое житейское определение интеллектуального развития человека по тому, какой тип беседы для него наиболее органичен: низшая ступень – разговор о вещах; средняя – разговор о событиях; более высокая – о людях; высшая – об идеях, понятиях. Возможно, это те самые люди, которые предпочли бы описать свою жизнь в форме тезауруса. А поскольку жизнь, согласно современной лингвоцентрической психологии, и есть способ ее описания, то бытие этих людей, их ценностные ориентиры и цели располагаются в *пространстве тезауруса*, а не во времени *нарратива*. Для них жизнь есть постепенно растущая сумма «биограмм» – ключевых слов, понятий, образов прошедшего, настоящего и будущего, поскольку с каждым поворотом меняется вся перспектива дороги. Жизнь – это не то, что случилось со мной, но совокупность всего, что я помню и знаю.

Для тезаурусной личности нет существенной разницы в последовательности событий: любое из них воспринимается как приобретение или углубление еще одной грани опыта, как прибавление к тезаурусу новой биограммы, которая позволяет пережить судьбоносность, жизнецельную значимость каждого события. Тезаурусная личность проживает свою жизнь с конца в начало едва ли не интенсивнее, чем с начала в конец; она воспринимает все последующие события как прояснение смысла, придание формы предыдущим. Здесь больше действует судьба, а не жизнь, т. е. обратный распорядок смыслов, когда каждое событие находит себе место в целостной, надвременной системе личного мира.

Среди великих литературных образцов тезаурусного самопознания – «Опыты» М. Монтеня. Обычно обращают внимание на жанровое своеобразие «опытов» – но не на то целое, которое они образуют, а именно монтеневский автотезаурус, своего рода лирическую энциклопедию. «О скорби», «О стойкости», «О дружбе», «О воспитании детей», «О запахах», «О возрасте», «О книгах» – это построенный Монтенем многогранник его жизни, отраженной в зеркалах общих понятий. Это способ рассказывать о себе не в хронологическом, а в тематическом, идеографическом порядке.

«...Содержание моей книги – я сам...» – предупреждает Монтень в обращении к читателю (1, 7)⁴⁴. И в заключительном опыте «Об опыте» повторяет: «Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, – это я сам» (3, 474). Казалось бы, если хочешь говорить о себе, почему бы не прибегнуть к последовательному повествованию? Монтень так отвечает на это: «Я не могу вести летопись своей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения» («О суетности», 3, 264).

Другой знаменитый образец автотезауруса – «Ессе Ното» Ф. Ницше (1888), маленькая энциклопедия основных идей, книг и самодефиниций, которая завершает его творческий путь. «Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Рождение трагедии», «Веселая наука», «Почему являюсь я роком» – таковы некоторые разделы этой «автоциклопедии», цель кото-

⁴⁴ Монтень М. Опыты. В 3 кн. М.: Наука, 1979. Номер тома и страницы указываются в тексте.

рой в предисловии определяется так: «...Я считаю необходимым сказать, *кто я*». «Итак, я рассказываю себе свою жизнь»⁴⁵. Но то, что следует дальше, есть отнюдь не рассказ, а попытка охватить тезаурусно свою жизнь и мысль, ее основные темы и произведения.

Еще один пример книги, представляющей жизненный опыт в форме тезауруса, – «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта. Для всякого, кто читал эту книгу, очевидно, что она глубоко автобиографична, причем в ней раскрыт самый интимный пласт жизненного опыта. Но именно поэтому его нельзя пересказать в виде историй – только в виде статей словаря, раскрывающих разные грани этого опыта: ожидание, удивление, скитание, аскеза, катастрофа, нежность, безответность... За каждой из статей стоит неизвестное нам множество событий или лиц, которое суммируется в биограмме как концептуальной единице тезауруса. Это редчайший пример не автобиографии, а автотезауруса, который перерастает в тезаурус любовного опыта всей европейской цивилизации, поскольку Барт конструирует тот обобщенный язык, на котором можно одновременно описывать и страдания юного Вертера, и страдания искушенного Ролана. Распадись этот суммарный опыт на истории – исчезла бы его семантическая плотность, культурная насыщенность каждой фигуры, которая вбирает в себя множество микроисторий, как из жизни самого Барта, так и из сюжетов мировой литературы.

Различие нарратива и тезауруса проявляется в дискурсивной организации целых профессиональных полей. Например, художественная словесность (*fiction*) в целом тяготеет к нарративу, тогда как философия мыслит тезаурусно. Но при этом одни национальные литературные традиции могут вбирать в себя тезаурусные элементы больше, чем другие. Например, немецкоязычные писатели: Т. Манн, Г. Гессе, Р. Музиль – гораздо тезауруснее, чем их английские или русские современники. Ранняя японская проза (Сэй-Сенагон, Кэнко-хоси), да и поэзия (хокку, танка) в значительной степени неповествовательна, «инвентарна»... Но если говорить не о профессиональной деятельности (литература, философия), а о жизненном опыте большинства людей, то, конечно, нарратив пока еще преобладает как способ его описания. Грубо говоря, большинство людей – писатели, а не мыслители, рассказчики, а не обобщатели, и это причина (или следствие?) того, что они предпочитают читать Дюма, а не Гегеля.

И все-таки представляется, что тезаурусность – это не удел меньшинства, а тот слой личного самосознания, который пока еще меньше выговорен, недостаточно культурно проработан. По мере рефлексивного роста человечества он выходит на первый план. Нон-фикшн постепенно вытесняет фикшн из круга повседневного чтения, хотя и в нон-фикшн преобладают пока еще нарративы (биографии, истории войн и других эпохальных событий). Но заметим, что в исторической науке тезаурусный подход уже составил сильную конкуренцию нарративному благодаря французской Школе «Анналов» (с 1926 г.), которая оказала широчайшее воздействие на историков во всем мире. В центре исследований оказываются не событийная канва истории и не биографии великих людей, а языковая картина мира, привычки, традиции, мифологемы, социальные, возрастные, гендерные ментальности и структуры жизненного опыта⁴⁶. Не только профессиональное, но и общественное сознание постепенно сдвигается от синтагматики к парадигматике языка культуры, о чем свидетельствует массовый читательский успех словарей и энциклопедий. Тезаурусность начинает обретать общественный престиж, чему в огромной степени способствует Интернет со своими поисковыми системами, каталогами и гипертекстами.

⁴⁵ Ницше Ф. Соч. В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 694, 697.

⁴⁶ См., например: Блок М. Апология истории; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. (том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное); Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.

Можно предполагать, что этот сдвиг исторического самосознания человечества в сторону тезауруса будет дополнен и сдвигом личностного самосознания, новой ориентацией психобиографического дискурса. То, что лингвоцентрическая психология пока отдает приоритет нарративам, вполне понятно и закономерно, но пора переходить к следующей фазе. Огромная часть человеческого опыта, как личного, так и социального, остается неизвестной из-за преобладания нарративных приемов и неразработанности тезаурусных полей. Как выглядел бы микромир, если бы мы исследовали его только корпускулярно и не выработали корпускулярно-волнового дуализма его описания? Точно так же односторонне выглядит человеческая жизнь, сведенная к нарративной цепочке событий. Разработка иных методов ее описания могла бы наполнить смыслом и словом жизнь миллионов людей, нарративно немых, обладающих другим, тезаурусным опытом ее постижения.

Один из важнейших вопросов: насколько тезаурусный подход может быть терапевтически продуктивным, в частности, в семейных консультациях, где составление тезауруса собственной жизни и его сопоставление с тезаурусом партнера может значительно углубить взаимопонимание? Достоинства такого подхода здесь особенно очевидны. Ведь у каждого человека – своя история жизни, тогда как тезаурусные поля, смысловые классы событий и переживаний пересекаются у множества лиц, что облегчает их сопоставление.

Можно предположить (хотя это и требует экспериментальной проверки), что тезаурусам разных людей, именно вследствие их «категориальной» общности, легче вступить в диалог друг с другом, чем нарративам, которые заранее не эксплицируют своей концептуальной модели и столь же прихотливо-индивидуальны по языку, как и описанные в них цепочки событий. Если жизненный нарратив – это просто речь, язык (код) которой еще только подлежит реконструкции со стороны исследователя, то тезаурус – это речь, демонстрирующая свой собственный код, ту концептуальную модель, которая кладется автором в основу его мировоззрения и самосознания. Тезаурусная личность выступает не только как автор речи, но и как автор (или, по крайней мере, компилятор, «лексикограф») того кода, на котором производится эта речь, т. е. самописание здесь восходит на более высокий рефлексивный уровень. Тезаурусная личность берет на себя часть тех функций языкового самописания, которую в отношении нарративной личности выполняет терапевт или исследователь. Это, конечно, не мешает последнему выстраивать новые уровни метаязыковых описаний той картины мира, которая предстает в тезаурусе, но первым и главным *теоретиком себя*, а значит, в какой-то степени и *терапевтом себя* выступает сам автор тезаурусного текста, что придает последнему еще большую личностную напряженность и знаковую многослойность.

Что же это такое – жизнь в тезаурусе? Как собирать и обобщать эмпирический материал автобиографии в этом жанре? Какие типы концептуальных единиц – биограмм – можно выделить в такой системе жизнеописания, как они группируются, в какие роды и виды складываются? Как развивать в людях тезаурусное сознание, как открыть им те грани опыта, которые не могут быть выражены в нарративе? Какие методологические и педагогические процедуры могут вести к росту тезаурусного сознания не только в отдельных личностях, но и в целом обществе, чтобы мог быть артикулирован глубочайший его исторический опыт, не сводимый к «историям»?

Все эти вопросы еще только предстоит поставить перед современной психологией, прежде чем она сможет искать на них ответы. Но закономерно предположить, что в основе личности гуманитария, мыслителя, наблюдателя человеческой жизни лежит именно тезаурусный подход к себе и к другим.



Сергея и Миша. Риджвуд, Нью-Джерси, США. 31 августа 2008

Summary

This book is an experiment in a unique genre of autobiographical encyclopedia. It is a joint autobiography of the cultural scholar and thinker Mikhail Epstein and the novelist Sergei Iourienn. Their friendship began in 1967, as freshmen at the philological faculty of Moscow State University, and has continued for half a century, now in the USA. It is not merely a dual and dialogical autobiography, but an encyclopedia of youth, the most mysterious, passionate, tormenting, egoistic, and metaphysical age. The encyclopedia includes 120 entries in alphabetical order, such as Absolute, Absurdity, Age, Anti-Semitism, Books, Girls, Desire, Diary, Dorm, Friendship, Generation, Influences, Interlocutors, Jew, KGB, History, Literature, Loneliness, Love, Pilgrimage, Politics, Professors, Reading, Rebellion, Religion, Rules of Life, Self, Sex, Silence, Things, University, Women, Writing...

Focused on seven years, from 1967 through 1974, the book reveals the world of youthful fascinations and anguishes, creative endeavors, love sufferings, social fears, and professional and existential quest. At the same time this is an experiment in lyrical cultural studies: the authors discuss the transition from the «thaw» to the «stagnation», the historical and metaphysical dimensions of social life, the visions of the past and the future and the moral challenges of living one's youth through the senile age of the communist utopia. The book introduces the academic and students' life and many colorful figures of that time: writers, scholars, critics, and the professors of Moscow University. The coauthors proceed from the depth of their memory and at the same time from the viewpoint of their subsequent life experience, thus combining various historical and psychological perspectives on youth. The book includes several appendices: aphoristic dialogues in the form of questionnaires, stories and meditations written in youth and about youth, and an article on the genre of autobiographical encyclopedia/thesaurus. This edition is richly illustrated by the photos from the authors' personal archives.

Книги Михаила Эпштейна

- Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001, 334 с.
- Проективный философский словарь: Новые термины и понятия. СПб.: Алетейя, 2003, 512 с.
- Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004, 864 с.
- Все эссе, в 2 т. т. 1. В России; т. 2. Из Америки. Екатеринбург: У-Фактория, 2005, 544 с. + 704 с.
- Новое сектанство. Типы религиозно-философских умонастроений в России 1970-1980-х гг. (серия «Радуга мысли»). Самара: Бахрах – М, 2005, 256 с.
- Великая Сось. Советская мифология. (серия «Радуга мысли»). Самара: Бахрах – М, 2006, 268 с.
- Постмодерн в русской литературе. М., Высшая школа, 2005, 495 с.
- Слово и молчание. Метафизика русской литературы. М., «Высшая школа», 2006, 559 с.
- Философия тела. СПб: Алетейя, 2006, 194 с.
- Амероссия. Избранная эссеистика (серия «Параллельные тексты», на русском и английском) М., Серебряные нити, 2007, 504 с.
- Стихи и стихии. Природа в русской поэзии XVIII–XX веков (серия «Радуга мысли»). Самара, Бахрах – М, 2007, 352 с.
- Каталог (совместно с Ильей Кабаковым). Вологда, Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010, 344 с.
- Sola Amore: Любовь в пяти измерениях. М., Эксмо, 2011, 496 с.
- Религия после атеизма. Новые возможности теологии. М., АСТ-пресс, 2013, 416 с.
- Отцовство. Роман-дневник. М.: Никая, 2014, 310 с.
- Клейкие листочки. Мысли вразброс и вопреки. М., Arsis Books, 2014, 266 с.
- Ирония идеала: Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015, 384 с.
- От совка к бобку. Политика на грани гротеска. Киев: Дух і Літера, 2016, 312 с.
- Просто проза. New York: FrancTireurUSA, 2016-194 с.
- От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. М. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016, 478 с.
- Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров. СПб.: Азбука (серия «Культурный код»), 2016, 480 с.
- Проективный словарь гуманитарных наук. М: Новое литературное обозрение, 2017, 616 с.

Книги Сергея Юрьенена

«Помни Странжета», «Воскрешая председателей», «Евророманы», «Фён», «Dissidence mon amour», «Липси», «В графстве Оранском», «Санкт-Петербург, СССР. СамоАнтология», «Музей шпионажа», «Линтенька, или Воспарившие», «Ива Джима», «Входит Калибан.», «Суоми», «Эмигрантка Эмма», «Мальчики Дягилева», «На крыльях Мулен Руж», «Холодная война», «Фашист пролетел», «¡Муэртэ!», «Груды Цецилии», «Словацкий консул», «Были и другие варианты», «Союз сердец. Разбитый наш роман (Книга 1. *Пара на Пушкинской*; Книга 2. *Передний край борьбы*)», «Дочь генерального секретаря», «Беглый раб», «Сделай мне больно», «Скорый в Петербург», «Сын Империи», «Нарушитель границы», «Вольный стрелок», «Под знаком Близнецов», «По пути к дому»

* * *

«Германия, рассказанная сыну» (с Л. А. Москвичевой)
«Текст ведущего, или Содеянное на Свободе», «Воскреснуть в Америке»
«Аурора» (вместе с А. Гальего)

* * *

«Принцип Дьявола»
«Обращенная вперед: Оригиналы в переводе»

Эпштейн Михаил Наумович –

филолог, культуролог, философ, эссеист. Профессор теории культуры и русской литературы Университета Эмори в Атланте, основатель и директор Центра гуманитарных инноваций. Автор 30 книг и 800 статей и эссе, переведенных на 23 языка. Лауреат премии Андрея Белого, Института социальных изобретений (Лондон), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар), премии «Liberty» (Нью-Йорк).

Юрьенен Сергей Сергеевич –

прозаик, журналист, радиожурналист, переводчик, редактор, издатель. Автор более тридцати книг. Среди них романы «Дочь генерального секретаря», «Фашист пролетел», «Суоми», «Фён» и др. Переведен на ряд европейских языков. Пять литературных премий, включая премию имени Набокова и «Русскую премию». Более четверти века работал на Radio Liberty/Radio Free Europe Inc. В 1986 году основал программу «Поверх барьеров» с литературным приложением «Экслибрис».

ЭТО УНИКАЛЬНАЯ КНИГА.
ЕЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ДВОЙНОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ
АВТОБИОГРАФИЕЙ ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ЮРЬЕНЕНА
И ФИЛОЛОГА И ФИЛОСОФА МИХАИЛА ЭПШТЕЙНА.



Но прежде всего это энциклопедия юности, периода самого метафизического. Сто двадцать статей раскрывают в алфавитном порядке основные проблемы и лирико-философские грани юности от «Абсолют» до «Я».

ВМЕСТЕ С ТЕМ
ЭТО ОПЫТ
ЛИРИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЛОГИИ:

ПОДРОБНО РАССМАТРИВАЕТСЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ И БЫТОВОЙ КОНТЕКСТ
ЭПОХИ, ПЕРЕХОДЯЩЕЙ
ОТ «ОТТЕПЕЛИ»
К «ЗАСТОЮ».

ISBN 978-5-699-99091-7



9 785699 990917 >